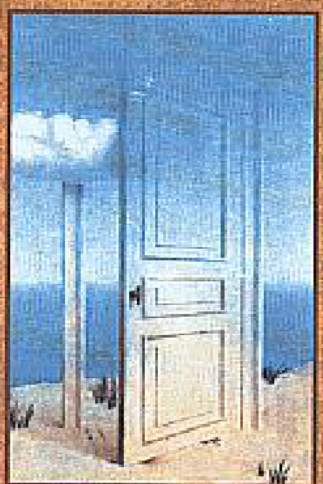
Владимир
ОРЛОВ



АЛЬБИНОС
ДАЛЬФЛОВ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В начале 80-х годов роман «Альтист Данилов», созданный в редком жанре «магического реализма», принес Владимиру Орлову огромную популярность. Его перечитывают и сегодня более чем в 20 странах мира. «Альтист Данилов» – роман о вечных ценностях, о большой любви как основе творчества. В этом поэтическом и воздушном, как музыка, произведении переплелось все: и безудержный полет фантазии, и острая социальная сатира с реальными свидетельствами, пусть и недавней, нашей истории.

- Владимир Орлов
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31

- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47

- notes
  - 1
  - 2
  - 3

Владимир Орлов
Альтист Данилов

1

Данилов считался другом семьи Муравлевых. Он и был им. Он и теперь остается другом семьи. В Москве каждая культурная семья нынче старается иметь своего друга. О том, что он демон, кроме меня, никто не знает. Я и сам узнал об этом не слишком давно, хотя, пожалуй, и раньше обращал внимание на некоторые странности Данилова. Но это так, между прочим.

Теперь Данилов бывает у Муравлевых не часто. А прежде по воскресеньям, если у него не было дневного спектакля, Данилов обедал у Муравлевых. Приходил он с инструментом, имел для этого причины. Вот сейчас я закрою глаза и вспомню одно из таких воскресений.

…В квартире Муравлевых с утра происходят хлопоты, там вкусно пахнет, в кастрюле ждет своего часа мелко порубленная баранина, купленная на рынке, молодая стручковая фасоль вываливается из стеклянных банок на политые маслом сковороды, и кофеварка возникает на французской клеенке кухонного стола. Ах, какие ароматы заполняют квартиру! А какие ароматы ожидаются! В этот день никакой иной гость Муравлевым не нужен. В особенности Кудасов с женой. Но Кудасов чаще всего и приходит.

На обеды, выпивки и чаепития у Кудасова особый нюх. Стоит ему повести ноздрей – и уж он сразу знает, у кого из его знакомых какие куплены продукты и напитки и к какому часу их выставят на стол. Еще и скатерть не достали из платяного шкафа, а Кудасов уже едет на запах трамваем. Иногда он и ноздрей не ведет, а просто в душе его или в желудке звучит вещий голос и тихо так, словно печальная тень Жизели, зовет куда-то. Чувствует Кудасов и то, как нынче будут кормить и поить гостей, и если будут кормить скудно и невкусно, без перца, без пастилы к чаю или без ветчины от Елисеева, то он никуда и не едет. Но насчет обедов для Данилова, да и ужинов и завтраков, тоже у него никаких сомнений нет. Тут все по высшему классу! Тут как бы не опоздать и не дать угощениям остынуть. Тут своему нюху и вещему голосу Кудасов не доверяет, мало ли какие с теми могут случиться оплошности. Он с утра смотрит в афишу театра и догадывается: играет сегодня Данилов на своем альте или не играет. Весь репертуар Данилова ему известен. Обязательно Кудасов звонит и в театр: «Не отменен ли нынче спектакль?» Кудасов знает, что Данилова будут кормить у Муравлевых и в связи с отменой спектакля.

Кудасов и сам не бедный, он лектор, а вот тянет его кушать

на люди. При этом он так устает от слов на службе, что за столом становится совершенно безвредным – молчит и молчит, только жует и глотает, лишь иногда кое-что уточняет, чтобы чья-нибудь шальная мысль не забежала сгоряча слишком далеко и уж ни в коем случае не свернула за угол. Молчит и его жена, но она неприятно чавкает.

Ни Данилову, ни в особенности Муравлевым Кудасов не нужен, однако они его терпят. Все же старый знакомый, да и нахальству Кудасова никакие препоны, никакие дипломатические хитроумия, никакие танковые ежи не помеха. Все равно он придет, извинится и сядет за стол. Как лев у Запашного на тумбу. При этом обязательно вручит хозяевам бутылку сухого вина подешевле – совсем уж неловко будет гнать его в шею. Одна радость – съест порции три мясного и тут же за столом засыпает. Ноздрей лишь тихонечко всасывает воздух, а с ним и запахи – как бы чего эдакого грешным делом не пропустить. И жена его, деликатная женщина, делает вид, что и она дремлет с открытыми глазами.

А Данилов с Муравлевым потихоньку смакуют угощения.

– Как нынче лобио удалось! – радуется Данилов.

– Ты вот салат этот желтенький попробуй, – спешит в усердии Муравлев, – тут и орехи, и сыр, и майонез.

– Соус провансаль, – поправляет его Данилов, а отведав желтое кушание, принимается расхваливать хозяйку как всегда искренне и шумно.

Хозяйка сидит тут же, краснея от забот, готовая сейчас же идти на кухню, чтобы готовить гостю новые блюда.

И вот является на стол узбекский плов в огромной чаше, горячий, словно бы живой, рисинка от рисинки в нем отделились, мяса и жира в меру, черными капельками там и сям виднеется барбарис, доставленный из Ташкента, и головки чеснока, сочные и сохранившие аромат, выглядывают из желтоватых россыпей риса. А дух какой! Такой дух, что и в кишлаках под Самаркандом понимающие люди наверняка теперь стоят лицом к Москве.

Кудасов, естественно, приходит в себя и получает миску плова с добавкой. Теперь он может спать совсем или идти еще куда-нибудь в гости, не дожидаясь кофе.

– Ну вот, – говорит Муравлев Данилову, накладывая тому последнюю порцию плова, – а ты два года мучил себя и нас своим вегетарианством!

– Мучил, – соглашается Данилов. И добавляет печально: – А мне их и сейчас жалко… И этого вот барашка… И мать его осталась теперь одна…

– Глупости… Метафизика… – просыпается Кудасов. – Вы,

наверное, все семинары по вечерам пропускаете.

– Это вы зря, Валерий Степанович, – тут же грудью встает на защиту Данилова хозяйка. – Напротив, Володя ходит на все семинары!

– А мать-то этого плова, – добавляет Кудасов, – давно уж ушла в колбасу. И нечего о ней жалеть.

– Зачем вы так… – кротко говорит Данилов.

Но приходит время чая и кофе – и все печали тут же рассеиваются. Над чаем и кофе в доме Муравлевых обряд совершает сам Данилов. Чай он готовит и зеленый и русский, кофейные же зерна берет только с раскаленной аравийской земли, а бразильские надменно презирает, находя в их вкусе излишнее томление и кисло-горький оттенок. Каждый чай по науке Данилова должен иметь свою степень цвета – и русский, и зеленый, а уж о кофе не приходится и говорить, и Данилов доктором Фаустом из сине-черной оперы Гуно (играл ее в среду, Фауста пел Блинников и в перерыве после второго акта проспорил Данилову в хоккейном пари бутылку коньяку) стоит на кухне над газовой плитой. И вот он молча приносит к столу на жостовских подносах чайники и турки, и гости с хозяевами пьют божественные напитки, кто какой пожелает.

– Ну как? – робко спрашивает Данилов.

– Прекрасно! – говорит Муравлев. – Как всегда!

Потом Данилов с хозяевами сидит в полумраке, вытянув худые длинные ноги в стоптанных домашних тапочках Муравлева, и в блаженной полудреме слушает пластинку Окуджавы, купленную им в Париже на бульваре Сен-Мишель за двадцать семь франков. Или ничего не слушает, а напевает куплеты Бубы Касторского из «Неуловимых мстителей»; куплеты эти он ставит чрезвычайно низко, но отвязаться от них не может. Он так и засыпает в кресле, не ответив на реплику Муравлева о строительстве в Набережных Челнах; он очень устает – играет и в театре и в концертах, он должен платить много денег – за инструмент и за два кооператива. Хозяйка подходит к нему, поправляет подтяжку, съехавшую с острого плеча, укутывает Данилова верблюжьим одеялом, смотрит на него душевным материнским взором, вздыхает и уходит из столовой, не забыв погасить свет…

Но опять скажу: так было. Сейчас Данилов обедает у Муравлевых редко. Раз в месяц. Не чаще…

2

Не бывает теперь Данилов и в собрании домовых. А раньше Данилов после спектаклей иногда приходил в дом с башенкой на Аргуновской улице, где по ночам при ЖЭКе встречались останкинские домовые. Сам Данилов не домовой, но был прикреплен к домовым.

Некоторые домовые были ему приятны. Домовой Велизарий Аркадьевич, смешной старик из особняка в стиле модерн, считающий, что он целиком состоит из высокой духовности, питал к Данилову слабость. Как одинокий жиздринский пенсионер к блестящему столичному племяннику. Когда Велизарий Аркадьевич пребывал в меланхолии, он тихо просил Данилова напеть ему стансы Нилаканты. И Данилов, добрая душа, ему не отказывал. С домовым Федотом Сергеевичем из разрушенных палат семнадцатого века Данилов часто спорил об архитектуре. Федот Сергеевич сердился, когда Данилов защищал Гропиуса и Сааринена, говорил ему: «Ах, бросьте, они скучны и убоги, все их балки и линии не стоят одного нашего коробового свода!», но потом выходило, что взгляды у спорщиков схожие. Артем Лукич, самый сознательный в доме на Аргуновской и признанный авторитет, хотя и видел в Данилове чужака, однако и он относился к Данилову с уважением.

Спьяну однажды чуть было не полез скандалить с Даниловым Георгий Николаевич из двадцать пятого дома. «Да я таких! – шумел он. – Лезут всюду разные!.. С бородами!» Но Георгий Николаевич тут же был вынужден вспомнить, что он домовой, а Данилов не домовой, а только прикреплен к домовым.

Георгий Николаевич вообще оказался дурной личностью. Данилов был на гастролях в Ташкенте, когда домовой Иван Афанасьевич, превратившись в нечто прозрачное и зеленое, с хрустальным звоном взлетел в останкинское небо и был унесен туда, откуда возврата нет. Данилов услышал о случившемся, расстроился. Он любил Ивана Афанасьевича. Данилов и Екатерину Ивановну знал, встречал ее у Муравлевых и не раз танцевал с ней и джайв и казачок. Он и подумать не мог, что Иван Афанасьевич страдал по Екатерине Ивановне.

Иван Афанасьевич не имел права любить земную женщину. Потому его и не стало. Но все бы и обошлось, если бы не Георгий Николаевич. Тот в судьбе Ивана Афанасьевича сыграл мерзкую роль. Георгию Николаевичу бы после всего голову в плечи вжать и где-нибудь у себя в доме отсиживаться в телефонной трубке между углем и мембраной или сухим листиком съежиться на

зиму в гербарии третьеклассника, а он по-прежнему ходил в собрание домовых и держал себя чуть ли не героем. Мол, что я сделал, то и сделал, и мне еще за это спасибо скажут, а ваша собачья забота меня уважать и пить со мной виски. И с ним пили виски, молчали, а пили. «Скотина! – думали. – Была бы наша воля, мы бы тебя…», но пили, полагая, что ведь действительно Георгию Николаевичу спасибо скажут. А может быть, уже и сказали. Тихо стало на Аргуновской. Зябко даже. Словно озноб какой нервный со всеми сделался. Или будто грустный удавленник начал к ним ходить.

И вот вернулся с ташкентских гастролей Данилов. Давно не был у домовых. Решил зайти. Дыни бухарские привез и шкуры каракумских варанов, сначала высушенные, а потом замоченные в соке гюрзы. Домовые брали угощения, а жевали их, и не только влажные ломтики дынь, но и каракумские деликатесы, вяло, словно бы из вежливости. Не было ни у кого аппетита. Один Георгий Николаевич проглатывал все шумно и со слюной. Рассказали Данилову, в чем дело. Через день Данилов явился в собрание прямо со спектакля «Корсар» в утюженном фраке с бабочкой и с черным чемоданчиком. Он и всегда был красив, а тут выглядел прямо как молодой Билибин с картины Кустодиева. С застенчивой своей улыбкой и чуть ли не торжественно стал он со всеми здороваться, а когда Георгий Николаевич протянул ему руку, Данилов свою руку отвел. Все так и замерли.

– Вы что, мной брезгуете, что ли? – спросил Георгий Николаевич с вызовом.

– Нет, – сказал Данилов. – Просто я соблюдаю правила гигиены.

– Что же, я заразный?

– Да, – сказал Данилов. – Вы заразный.

– Я больной, что ли? – растерялся Георгий Николаевич.

– Вы больной, – сказал Данилов. – Вы больны гриппом. К тому же перенесли на ногах холеру восемьсот сорок четвертого года. А бациллы ее, как известно, десятилетиями могут жить даже во льду. Ну холера ладно, оставим ее. А вот грипп в этом году дает тяжелые осложнения.

Тут Данилов открыл чемоданчик, достал оттуда свежую марлевую повязку и не спеша в тишине завязал на затылке шелковые тесемки. Повязка накрахмаленной паранджой закрыла ему нос, рот и бороду, но и в ней он остался красив. Домовые, незаметно отодвинувшиеся от Георгия Николаевича, бросились теперь к Данилову, и каждого из них Данилов оделил марлевой повязкой.

– А мне? – жалостливо попросил Георгий Николаевич.

– А вам не надо, – сказал Данилов.

Георгий Николаевич опустился на стул и заплакал.

– Что же вы плачете? – сказал Данилов. – Вам лечиться надо.

– У меня друг погиб… растворился там, – Георгий Николаевич пальцем вверх указал, – мне тяжело, а вы надо мной издеваетесь…

– Какой, простите, друг?

– Ваня… Иван Афанасьевич… Мы с ним юность вместе провели на Третьей Мещанской за церковью Филиппа Митрополита… Мы в жмурки вместе играли… Он под конец жил неправильно… Я ему правду в глаза говорил… И все равно он мне был другом. А вы надо мной издеваетесь… Стыдно вам потом будет…

– Полно, Георгий Николаевич, – сказал Данилов. – Не были вы другом Ивану Афанасьевичу. Оттого его нет, что вы никому другом быть не можете.

Тут Георгий Николаевич вскочил, со злыми, сухими уже глазами бросился к Данилову, ручищами своими схватил Данилова за суконные отвороты фрака и дернул их так, что нитка, хоть и была от хорошего портного, все равно затрещала, а в иных местах и поехала.

– Выдал! Выдал себя! – кричал Георгий Николаевич. – Из-за него, из-за слюнтяя этого весь спектакль затеял! Ничего ты мне не сделаешь! Я – правильный домовой! Я и тебя за сегодняшнюю вольность скручу в бараний рог!

– Уберите руки, – сказал Данилов, и Георгий Николаевич отлетел мгновенно к стене напротив, опрокинув при этом стол для бриджа.

– Я на тебя управу найду! – все еще кричат Георгий Николаевич. – Раз ты к нам, к мелким тварям, ходишь, значит, ты из демонов разжалованный! Наказали тебя, и я уж узнаю за что!

Не был Данилов способен на мелкую месть, а тут взволновался, не смог сдержать себя, и Георгий Николаевич сейчас же, прямо у стены, заболел австралийским гриппом. Он начал чихать, температура в Георгии Николаевиче подскочила до предельной черты, брожение сделалось в крови и во всякой прочей жизненной жидкости, газообразные вещества стали оседать в нем голубыми кристаллами, а из носа потекло.

Еле нашел в себе силы Георгий Николаевич удалиться из общества в спасительную конуру, обернулся на пороге и прошептал:

– Это тебе дорого обойдется…

Данилов тихонько развязал тесемки на затылке, сложил повязку аккуратно и торжественно, словно японские офицеры в

присутствии императора флаг на закрытии зимних игр в Саппоро, и убрал ее в чемодан. И все домовые поснимали повязки. Один Велизарий Аркадьевич, стесняясь, сказал, что хотел бы поносить материю еще неделю.

Не то чтобы все повеселели, а как-то просветлели, словно путы какие скинули с затекших рук. Подходили поодиночке к Данилову, говорили шепотом: «Спасибо вам… Вам-то можно было его оконфузить…» Шалопаи из блочных домов на электрогитарах заиграли композиции Маккартни и Леннона. И скоро в разговорах стало выясняться, что если бы сегодняшнее не произошло, то через день, через два Георгия Николаевича из собрания бы непременно выгнали. Шалопаи говорили, что они этого консерватора Георгия Николаевича рассчитывали завтра же отправить в плавание по системе канализации двадцать пятого дома. Жизнерадостный нахал Василий Михайлович, тот прямо заявил: «Я-то чуть-чуть замешкался, а то уж сейчас же бы, через две минуты этого неверного друга под зад бы коленом! Сменную обувь бы на месяц послал его протирать в соседнюю школу!» Артем Лукич и даже Константин Игнатьевич с Таганки, домовой в собрании случайный, но как бы и свой, смотрели на Данилова дружелюбно, словно он с них кружевной перчаткой, как клопа, снял ответственность.

Сам же Данилов был опечален оттого, что взволновался и не смог сдержать себя. И само по себе это было нехорошо, но главное – даже мелкий жест его должен был принести теперь беды ни в чем не повинным существам, а приостановить что-либо Данилов был уже не в силах. С ним это случалось. Не так давно Муравлевы отправились на выходные дни в Планерскую, в хороший дом отдыха. Но в Планерской Муравлеву не понравилось, он ругал жену, заманившую его за город редкими путевками, ругал местную кухню, а ночью, почувствовав сердечным боком пружину матраца, пробормотал в полудреме: «Чтоб он сгорел, этот дом отдыха!» Данилов находился далеко, но он был вольный сын эфира и принимал любую звуковую и душевную волну. И слова Муравлева тотчас дошли до него мольбой приятеля освободить его от незаслуженных мук. Подумать Данилов ни о чем не успел, но от одного лишь его сострадания Муравлеву флигель в Планерской вспыхнул. Муравлев в ужасе спасал припасенную на завтра бутылку «Экстры», сын его Миша дрожал, прижав к груди казенные лыжи, а жена Тамара мужественно швыряла в чемоданы семейные вещи и припасы. Всю ночь погорельцы провели на снегу, теперь Муравлев ругал не только жену, но и пьяных электриков, работавших днем на чердаке флигеля. Данилов страдал, но

флигель восстановить уже не мог.

Вот и теперь он не ждал добра. И точно, австралийский вирус, возникший в Георгии Николаевиче, оказался таким сильным, что весь двадцать пятый дом назавтра заболел. И гипсовая Грета в Останкинском парке, девушка с лещом под мышкой, предмет тайной страсти Георгия Николаевича, стала чихать, распугивая публику, да так, что в шашлычной напротив шампуры подпрыгивали в электромангалах и гнулись. Домовые в собрание на Аргуновскую приходили уже в повязках и смазав носы пироксилиновой мазью, усиленной порохом. Велизарий же Аркадьевич, по мнительности и начитавшись газет, решил месяца на два под видом степной черепахи впасть в спячку и переждать эпидемию.

Данилов опять страдал и не знал, что делать. К Муравлевым после пожара в Планерской он стыдился заходить, а они ни о чем и не подозревали. Звали его, но он отказывался, находил причины. Думал: «Нет, все! Это в последний раз! Неужели я не умею властвовать собой! Ну осадил бы Георгия Николаевича, а зачем устраивать чих и кашель!» Он даже подбросил ценные пилюли Георгию Николаевичу, какие могли помешать австралийскому вирусу. А это было противу правил. Но и когда грипп стих, Данилов не успокоился.

И тут в собрании на Аргуновской появился новый домовой, присланный в двадцать первый дом на пустовавшее три месяца после улета Ивана Афанасьевича место.

3

Звали его Валентин Сергеевич, он носил пенсне на платиновой цепочке, в разговоре, удивляясь каким-либо словам собеседника, например о том, что рыба протоперус, выйдя из аквариума, может зарезать среднюю кошку, откидывал, голову назад и произносил пронзительно: «Це! Це! Це! Це!» В звуках этих действительно было удивление, но имелось и еще нечто, что пугало или по крайней мере настораживало. Шалопаи, получавшие телевизионное образование, поначалу из-за пенсне прозвали его меньшевиком, но потом отчего-то стали попридерживать язык. Старожилы Валентину Сергеевичу указывали на то, что приходить в собрание должно в клубном кафтане, а не в немодной куртке, но Валентин Сергеевич будто бы этих слов не слышал, и разговоры про его куртку затихли.

Валентин Сергеевич оказался егозой. Мелким скоком он перебегал от одной компании к другой, играя в карты или шашки, все время ерзал и смущал противника напористым своим: «Це! Це! Це! Це!» Да и вообще садиться с ним за стол или за доску выходило делом скверным, все он выигрывал. История жизни Валентина Сергеевича останкинским старожилам была неизвестна, выяснили только из личного дела, что новичок раньше служил где-то возле Колхозной площади. А там был дом Брюса. Генерал-фельдмаршал Петра Великого Брюс Яков Вилимович числился же, как известно, чернокнижником и алхимиком, у него и в июльскую жару гости катались на коньках, а запахи и флюиды от Брюсовых тиглей и посудин могли протушить на долгие века ближайшие к его дому кварталы. Как бы и от Валентина Сергеевича не пришлось увидеть странностей. А вдруг чего и похуже. Может, и цепочка-то к пенсне досталась Валентину Сергеевичу от тех алхимий. Призадумались на Аргуновской умные головы. Неспроста, решили, появился Валентин Сергеевич в их мирном собрании.

Данилов долго не ходил в собрание домовых, ему хватало людских забот. Но однажды зашел и сразу почувствовал, что между ним и Валентином Сергеевичем возникла некая связь. «А ведь он имеет что-то ко мне», – сказал себе Данилов. Он не подходил к Валентину Сергеевичу, полагая, что тот сам не выдержит и обнаружит себя. Но Валентин Сергеевич, видно, был натурой терпеливой и волевой, а может, и не сам он управлял своими поступками. Он вертелся, скакал невдалеке от Данилова, но к Данилову будто бы приблизиться не смел, как титулярный советник к генеральской дочери. Однако в его взгляде Данилов

иногда замечал и уверенность в себе, и чуть ли не сознание превосходства. «Экий гусь!» – думал Данилов. Теперь он уже считал, что Георгию Николаевичу указал на дверь не зря. Теперь, пожалуй, Данилов был сердит, и не то чтобы азарт, а некое будоражащее душу ожидание приключения поселилось в нем.

Наконец Валентин Сергеевич подошел к нему, предложил сыграть в шахматы. «А то меня почему-то все стали побаиваться…» – сказал он, как бы смущаясь. Данилов сел с ним за стол и скоро понял, что игрок Валентин Сергеевич – сильный. Данилов даже засомневался: играть ли ему против Валентина Сергеевича в силу домового или взять разрядом выше. И все же он решил играть в силу домового, посчитав, что иначе они с Валентином Сергеевичем будут не на равных. Но ходов через десять Данилов понял, что Валентин Сергеевич может выступать и лигой выше. Данилов поднял голову и посмотрел на соперника внимательно. Стеклышки пенсне Валентина Сергеевича излучали удивительный зеленоватый свет, отчего в голове у Данилова начиналось выпадение мыслей. «Ах вот ты как! – подумал он. – Да тебе эдак против Фишера играть… А я вот против твоих световых фокусов включу контрсистему…» Он включил контрсистему и двинул белопольного слона вперед.

Раздался электрический треск, Валентин Сергеевич запрыгал на стуле, ладонями застучал по краю стола, и Данилов понял, что поставит мат ястребу останкинских шахматных досок на тридцать шестом ходу.

– Здесь принято играть в силу домовых, – сказал Данилов. – Нарушение вами правил может быть превратно истолковано.

– Вы… вы! – нервно заговорил Валентин Сергеевич. – Вы только и можете играть в шахматы и на альте. Да и то оттого, что купили за три тысячи хороший инструмент Альбани. С плохим инструментом вас бы из театра-то выгнали!.. А на виоль д’амур хотите играть, да у вас не выходит!..

Данилов улыбнулся. Все-таки вывел Валентина Сергеевича из себя. Но тут же и нахмурился. Какая наглость со стороны Валентина Сергеевича хоть бы и мизинцем касаться запретных для него людских дел!

– Что вы понимаете в виоль д’амур! – сказал Данилов. – И не можете вы говорить о том, чего вы не знаете и о чем не имеете права говорить.

– Значит, имею! – взвизгнул Валентин Сергеевич.

Он тут же обернулся, но домовые давно уже забились в углы невеселой нынче залы, давая понять, что они и знать не знают о беседе Данилова и Валентина Сергеевича.

– Вы нервничаете, – сказал Данилов. – Так вы получите мат

раньше, чем заслуживаете по игре.

Он и сам сидел злой. «Стало быть, только из-за хорошего инструмента меня и держат при музыке, думал, и виоль д'амур, стало быть, меня не слушается, ах ты, негодяй!» Но на вид был спокойный.

– Значит, вы сочувствующий Георгию Николаевичу, – сказал Данилов, забирая белую пешку.

– Не угадали, Владимир Алексеевич! – рассмеялся Валентин Сергеевич. – Известно, что вы легкомысленный, но уж тут-то могли бы понять… Что нам с вами Георгий Николаевич? Он – правильный домовой. Но он мелочь, так, тьфу! Заболел, ну и пусть болеет. Из-за другого к вам интерес! Если это можно назвать интересом…

– А вы-то что суетитесь?

– Я давно о вас слышал. Раздражаете вы меня. Мучаете. Невысокий вы рангом, да и незаконный родом, а позволяете себе такое… Я о вас слушал и чуть ли не плакал. «Да и есть ли порядок?» – думал.

– Ну и как, есть?

– Есть, Владимир Алексеевич, есть! Вот он!

И тут Валентин Сергеевич чуть ли не к лицу Данилова поднес руку, разжал пальцы, и на его ладони Данилов увидел прямоугольник лаковой бумаги, похожий на визитную карточку, с маленькими, но красивыми словами, отпечатанными типографским способом. Прямоугольник был повесткой, и Данилов ее взял.

– Прямо как пираты, – сказал Данилов. – Еще бы нарисовали череп с костями, и была бы черная метка.

– Не в последний ли раз вы смеетесь?

– А вы что, карателем, что ли, сюда прибыли?

– Нет, – словно бы испугавшись чего-то, быстро сказал Валентин Сергеевич. – Я – курьер.

– Вот и знайте свое место, – сказал Данилов.

– Какой вы высокомерный! – снова взвизгнул Валентин Сергеевич. – Я личность, может, и маленькая, но я при исполнении служебных обязанностей, да и вам ли нынче кому-либо дерзить! Вам ведь назначено время «Ч»!

Багровыми знаками проступило на лаковом прямоугольнике объявление времени «Ч», и Данилову, как он ни храбрился, стало не по себе. «Но, наверное, это не сегодня, и не завтра, и даже не через месяц!» – успокаивал он себя, глядя на повестку. Однако не было в нем уже прежней беспечности.

– Ваш ход, – сказал Валентин Сергеевич.

– Да, да, – спохватился Данилов.

Он поглядел на доску и увидел, что у Валентина Сергеевича слева появилась ладья, какую он, Данилов, семью ходами раньше взял. Он взглянул на записи ходов и там обнаружил собственным его почерком сделанную запись хода, совершенно не имевшего места в действительности, но оставлявшего ладью белых на доске. Данилов забыл о повестке, стерпеть такое жульничество он не мог! Испепелить он готов был этого ловкача, осмелевшего от служебной удачи! Но тут Данилов на мгновенье вспомнил о пожаре в Планерской и эпидемии гриппа, подумал, что Валентин Сергеевич, может быть, нарочно вызывает его на скандал, и употребил по отношению к чувствам власть. Не то вдоль Аргуновской улицы тянулись бы теперь черные и пустые места с обугленными пнями. Лукавая мысль явилась к Данилову: «А дайка я ему еще и слона отдам, просто так, – решил он, – а там посмотрим…» Валентин Сергеевич схватил с жадностью подставленного ему слона, как троллейбусная касса медную монету. Но тут же он спохватился, поглядел на Данилова растерянно и жалко, захлопал ресницами, крашенными фосфорическими смесями:

– Вы совсем меня не боитесь, да? Вы меня презираете? Зачем вы опять мучаете-то меня!

«Что это он? – удивился Данилов. – Нет у меня никакой плодотворной эндшпильной идеи, слона я отдаю ни за что».

– Не выигрывайте у меня! – взмолился Валентин Сергеевич. – Не губите, батюшка! Я ведь вернуться не смогу! Я на колени перед вами встану! Помилуйте сироту!

Данилову стало жалко Валентина Сергеевича. Он сказал:

– Ну хорошо. Принимаю ваше предложение ничьей!

– Батюшка! Благодетель! – бросился к нему Валентин Сергеевич, руки хотел целовать, но Данилов, поморщившись брезгливо, отступил назад.

Валентин Сергеевич выпрямился, отлетел вдруг в центр залы, захохотал жутким концертным басом, перстом, словно платиновым, нацелился в худую грудь Данилова и прогремел ужасно, раскалывая пивные кружки, запертые на ночь в соседнем заведении на улице Королева:

– Жди своего часа!

Он превратился в нечто дымное и огненное, с треском врезавшееся в стену, и исчез, опять оставив двадцать первый дом без присмотра. Домовые еще долго терли глаза, видно, натура Валентина Сергеевича при переходе из одного физического состояния в другое испускала слезоточивый газ.

«Ну и вкус у него! – думал Данилов, глядя на опаленные обои. – И чего он так испугался жертвы слона?.. Странно… А ведь

бас-то этот кажется мне знакомым…»

Он опять ощутил на ладони лаковый прямоугольник повестки. И опять проступили багровые знаки. «Скверная история», – вздохнул Данилов. Хуже и придумать было нельзя…

4

Данилов набрал высоту, отстегнул ремни и закурил.

Курил он в редких случаях. Нынешний случай был самый редкий.

Под ним, подчиняясь вращению Земли, плыло Останкино, и серая башня, похожая на шампур с тремя ломтиками шашлыка, утончаясь от напряжения, тянулась к Данилову.

Данилов лежал в воздушных струях, как в гамаке, положив ногу на ногу и закинув за голову руки. Ни о чем не хотел он теперь думать, просто курил, закрыв глаза, и ждал, когда с северо-запада, со свинцовых небес Лапландии, подойдет к нему тяжелая снежная туча.

В Москве было тепло, мальчишки липкими снежками выводили из себя барышень-ровесниц, переросших их на голову, колеса трамваев выбрызгивали из стальных желобов бурую воду, крики протеста звучали вослед нахалам таксистам, обдававшим мокрой грязью публику из очередей за галстуками и зеленым горошком. Однако, по предположениям Темиртауской метеостанции в Горной Шории, именно сегодня над Москвой теплые потоки воздуха должны были столкнуться с потоками студеными. Не исключалась при этом и возможность зимней грозы. Данилов потому и облюбовал Останкино, что оно испокон веков было самым грозовым местом в Москве, а теперь еще и обзавелось башней, полюбившейся молниям. Он знал, что и сегодня столкновение стихий произойдет над Останкином. От нетерпения Данилов чуть было не притянул к себе лапландскую тучу, но сдержал себя и оставил тучу в покое.

Она текла к нему своим ходом.

И тут Данилов ощутил некий сигнал. Сигнал был слабый, вялый какой-то, не было в нем ни просьбы, ни вызова неземных сил. Однако Данилов заволновался, посмотрел вниз и определил, что сигнал исходит от тридцатишестилетнего мужчины в нутриевой шапке, стоявшего у входа в Останкинский парк возле палатки «Пончики». Мужчина был виден плохо, Данилов включил изображение, осмотрел мужчину и заглянул ему в душу. Оказалось, что мужчина этот, только что выпивший стакан кофе и съевший горячий мнущийся пончик, приехал сюда троллейбусом из больницы и должен был теперь пересесть на трамвай. В больницу же его вызвали утром неожиданно и сказали, что отец его находится на грани жизни и смерти, спасти его может только операция, и то, если ее делать теперь же, а не через час. В полубреду больной от операции отказывался, и сын его написал

расписку, разрешая операцию, с таким чувством, словно сам сочинял отцу смертный приговор. Потом он сидел три часа внизу и ждал. Операция прошла удачно, но жизнь отца все еще оставалась в опасности. Мужчине и раньше было нехорошо, а теперь, когда напряжение спало, его била нервная дрожь и тошнило. Тогда он подумал: «Сейчас бы стакан водки – и все!» Мысль эту Данилов понял.

Данилов опять посмотрел на тучу и покачал головой. Туча еле ползла. Данилов вздохнул и спустился на скользкий асфальт. К мужчине в нутриевой шапке он решился подойти не сразу. Данилов и всегда с некиим волнением знакомился с новыми людьми, а этот мужчина был интеллигентного вида и тихий, учитель географии по профессии, и неизвестно еще, как он мог отнестись к появлению Данилова.

– Холодно, – сказал Данилов, улыбаясь от смущения.

– Да, зябко, – кивнул мужчина.

Помолчали.

– Не кажется ли вам, – сказал Данилов, – что вон те новые дома на Аргуновской совершенно не гармонируют ни с башней, ни тем более с Шереметевским дворцом?

Мужчина удивленно поглядел на Данилова, поглядел на дома и сказал:

– Это еще не самые худшие дома…

– Не уверен, – сказал Данилов и, помолчав опять, начал скороговоркой, робея и от робости заикаясь: – Вы меня извините, у меня к вам нижайшая просьба, вы можете послать меня куда угодно, но выслушайте сначала меня… У меня тяжело на душе… Мне сейчас выпить надо… А один я не могу. Не могли бы вы составить мне компанию?

– То есть как? – растерялся мужчина.

– У меня все есть, – сказал Данилов. И достал из кармана пальто начатую бутылку водки и стакан. – Вы, если не желаете, хоть только постойте рядом со мной…

– Ну что ж, – неуверенно сказал мужчина, – если вам нужно, чтобы я постоял…

– Вот и спасибо! – обрадовался Данилов. – Только давайте отойдем отсюда вон за тот забор. А то не ровен час – милиция или женщины-дружинницы. И по десятке сразу возьмут, и письма отправят на работу.

Они зашли за коричневый забор бывшего рынка и встали возле мусорной ямы. Данилов предпочел бы сейчас достать из пальто бутылку бургундского, или коньяка, или зелено-лукавого шартреза из монастырских подвалов Гренобля, водку он пить не хотел, тем более возле мусорной ямы, но что ему оставалось

делать! Выпив свою долю, Данилов наполнил стакан, бросил бутылку и протянул стакан мужчине:

– Вот, пожалуйста, примите… Я больше не могу… Но не пропадать же добру!..

– Нет, нет, нет! Что вы! – заговорил мужчина, однако стакан взял и водку одним махом выпил.

Данилов протянул ему яблоко закусить и, заметив, как тот провожал взглядом стакан, сказал:

– А больше стакана вы и не хотели.

– Что? – как бы очнулся мужчина и поглядел на Данилова испуганно.

– Нет, нет, это я так, – быстро сказал Данилов.

Тут Данилов почувствовал, что самая пора им расстаться, мужчина сейчас мог пуститься в откровения, и в этом ничего плохого не было бы, но назавтра мужчина этот сам стал бы каяться и казнить себя за то, что открыл душу первому встречному и пил с ним водку, хорошо хоть еще документы не показывал и не давал своего телефона. Данилов решительно извинился перед мужчиной, сказал, что опаздывает, и быстро пошел в сторону парка. Зайдя за пустой рыночный павильон, он взлетел в останкинское небо и опять, расслабив тело, разлегся в воздушных струях в ожидании тучи.

Теперь он был спокойнее и даже стал насвистывать мелодию из «Хорошо темперированного клавира» Баха. Туча проплывала уже над Клином и домиком Петра Ильича и через час должна была достигнуть московских застав. Терпеть больше Данилов не мог, он не любил вынужденного безделья, да и сладость предстоящих удовольствий манила его. Он сорвался с места и полетел из теплых струй навстречу туче. Над станцией Крюково он врезался в темную, влажную массу и, разгребая руками лондонские туманы нижнего яруса тучи, стал подниматься на самый верх ее к взблескивающим ледяным кристаллам. Там он вытянулся и начал сам преобразовываться в ледяные кристаллы, принимая их же положительный заряд. Ему и теперь было хорошо, он не торопил тучу, а она упрямо теснила теплый фронт воздуха, намереваясь дать в небе над Останкином генеральное сражение.

Минут через двадцать они уже были над Останкином. Тут и началось! Все в туче пришло в движение, задрожало, занервничало, забурлило, сила лихая ощутила в себе способность к взрыву. Где-то внизу холодный воздух уже столкнулся с теплым, и вот наконец движение дошло до льдистого покрывала тучи, а стало быть и до Данилова, и он вместе с другими кристаллами льда ринулся вниз, чтобы там, внизу, превратиться в водяные

пары. Ринулся без оглядки, отчаянно, теряя в загульном падении ионы и приобретая отрицательный заряд. «Хорошо-то как! – думал Данилов, ощущая в себе пронзительную свежесть нового заряда. – Ах как хорошо!» Но он помнил, что это только начало.

И тут он не удержался, а, махнув на все рукой, позволил себе созорничать – противу правил оделил себя еще и положительным зарядом, и теперь два заряда жили в нем, никак, по воле Данилова, друг с другом не взаимодействуя, и Данилов в суете электрического движения несся, блаженствуя, но и рискуя потерять навсегда душевные свойства.

А свободные электроны уже стекали из тучи со скоростью сто пятьдесят километров в секунду на землю, пробивая в воздухе канал для молнии и для Данилова. Данилов почувствовал, что рисковать хватит, и испустил из себя положительный заряд. Как только канал для молнии был пробит, туча совсем задрожала. Крутою и гладкой дорогой, открытой теперь для движения, отрицательные заряды полетели вниз со скоростью в десятки тысяч километров в секунду, и Данилов вместе с ними понесся к земле на самом острие молнии, завывал, гремел от восторга. И с голубыми искрами ухнул, врезался в стальную иглу громоотвода Останкинского дворца. Но не ушел в землю, не нейтрализовался и не исчез, а, оттолкнувшись от иглы, словно бы отброшенный ею, с артиллерийским грохотом взвился в небо, да так бурно, что сразу же был бы неизвестно где, если бы не обуздал себя, не опрокинул обратно в тучу. Данилов и теперь мог лететь куда собрался, но он знал, что в туче есть еще силы на два или три разряда, и он не смог отказать себе в удовольствии еще три раза искупаться в молнии. И вот он опять и опять падал с молнией на землю, кувыркаясь и расплескивая искры. А однажды в безрассудстве упоения бурей, ради гибельных и сладких ощущений, нейтрализовался на миг и все же успел вернуться в свою сущность. Дважды опять он попадал в стальную иглу, а в третий раз, увлекшись, промазал и расщепил старый парковый дуб возле катальной горки. Тут и опомнился.

«Хватит! – сказал себе Данилов. – Все. Надо остановиться. Дубу-то зачем страдать…» И отскочил в небо, оставив внизу выстуженную теперь Москву, что, впрочем, и было предопределено прогнозом Темиртауской метеостанции.

Скорость его была уже хороша, даже слишком хороша для нынешнего столь ближнего полета, да и сам Данилов чувствовал себя сейчас опьяненным, он захотел перевести дух. Собственно говоря, в грозе как в подсобном для разгона средстве не было у Данилова никакой необходимости. Он и так мог улететь куда хотел. Но вот привык к купаниям в молниях. Да еще не в шаровых

и не в ленточных, а именно в линейных. Да еще с раскатистым громом. Стыдил иногда себя, упрекал в непростительном пижонстве, но вот не мог, да и не хотел отказаться от давней своей слабости. Как, впрочем, и от многих иных слабостей. Но если раньше, в юношескую пору, Данилов сам устраивал грозы и, блаженствуя в их буйствах, ощущал себя неким Бонапартом, командовавшим сражением стихий, то нынешнему Данилову быть причиной жертв и бедствий натура не позволяла. Теперь он поджидал гроз естественных, дарованных ему и людям природой, и не был в них уже Бонапартом, а был кристаллами льда и водяными парами, оставаясь, впрочем, и самим собой.

Отдышавшись, Данилов показал себе рукой направление. И куда показал, туда и полетел. Было у него в Андах место успокоения.

Но в движении он почувствовал некий стеклянный зуд во всем теле, да и слуху его что-то мешало и хотелось чихать. Данилов остановился, выковырнул из ушей серую мерзость, включил пылесосы и очистители, вытряс из себя песок, мелко истолченное в ступе стекло и капитанский трубочный табак. Кто-то нарочно и со зла напихал в тучу стекла и табаку, а Данилов в своих купаниях ничего и не заметил. Неужели это Валентин Сергеевич постарался? Но тогда выходило, что Валентин Сергеевич вхож в атмосферу. «Ну и пусть! – подумал Данилов. Однако он почувствовал, что ему было бы неприятно, если это так. – Неужели и такие теперь вхожи?.. Кто же он есть-то?..» И он полетел дальше.

Лететь он имел право со скоростью мысли. Вот он в Москве, вот он подумал, что ему надо в Верхний Уфалей, и вот сейчас же он в Верхнем Уфалее на базаре. Но так летать Данилову было скучно, и со скоростью мысли он передвигался только по рассеянности и выпивши. Обычно же он позволял себе от мыслей отставать. Вернее, перебивать мысль главную мыслями и интересами случайными, а порой и бестолковыми, которые, однако, доставляли Данилову удовольствие. Мог он и в единое мгновение увидеть и понять все, что лежало на его дороге, любую людскую судьбу, любое происшествие, любую букашку и любую пылинку, но это, по мнению Данилова, было бы все равно что пробежать эрмитажные залы за полчаса и смешать в себе все краски и лица. Ничто бы он тогда не принял близко к сердцу. Ни один бы нерв в нем не зазвенел. А только бы голова разболелась. Оттого он по дороге все и не рассматривал, а о чем хотел, о том и узнавал. Вот отправится, бывало, в Японию к своей знакомой Химеко на остров Хонсю, а сам вдруг услышит звон каких-то особенных колокольцев, обернется поневоле на звон и сейчас же

пронесется в Тирольских горах над овечьим стадом, дотрагиваясь на лету пальцами до колокольцев. И тут же вспомнит, что хотел узнать, бросил ли писать Сименон, как о том сообщили по радио, или не бросил, и вот, не упуская из виду желанную Химеко, он заглянет в лозаннский дом Сименона, благо тот рядом. Потом его привлекут запахи жареной баранины в Равальпинди, стычки демонстрантов на Соборной площади в Санто-Доминго и плач ребенка в пригороде Манилы; ребенку этому Данилов тихонечко подложит конфету и слезу утрет и полетит к Химеко, но и теперь он не сразу окажется возле нее, а приключений через пять.

Сегодня Данилов летел строго по курсу, не спешил, но и не снижался. Все системы работали в нем нормально, ничто не барахлило. Под ним была Европа. Справа впереди мерцал Париж, и окна светились в известных Данилову квартирах, в самом Париже и в пятидесяти лье от него в галантном городе Со. А чуть дальше и слева Данилов разглядел мрачный ларец Эскориала, сколько раз он собирался заглянуть в его залы и подземелья и самшитовым веником вымести наконец оттуда черные мысли Филиппа Второго. Да все никак не выходило. И сегодня он сказал себе: «Непременно в следующий раз», однако тут же вспомнил, что следующего раза может и не быть. А под ним уже плескалась атлантическая вода.

Летел он, прижав руки к туловищу, вытянув ноги, но и без особых напряжений мышц. Никаких крыльев у него, естественно, не было. Да и кто нынче осмелился бы их надеть! Мода на них давно прошла, даже тяжелые алюминиевые крылья от реактивных самолетов, из-за которых страдали и плели интриги всего лишь пятнадцать лет назад, никто в эфире уже не носил. А Данилов был не из тех, кто в обществе хоть и в мороз мог появиться в валенках. Он был щеголем.

Когда принято было летать с рулем и ветрилами, он летал с рулем и ветрилами, но уж какие это были ветрила! Потом увлеклись крыльями, и Данилов одним из первых пошил себе крылья, глазеть на них являлись многие. Каркасы из дамасской стали Данилов обтянул прорезиненной материей, материю же эту он обложил сверху павлиньими перьями, а снизу обшил черным бархатом и по бархату пустил дорожки из мезенских жемчугов. Крыльев он пошил восемь, два запасных и шесть для полетов, чтобы было как у серафимов. Крылья были замечательные, теперь они валяются где-то в кладовке. Данилов не выбросил их совсем, старые вещи трогают иногда до слез его чувствительную душу. Потом были в моде дизельные двигатели, резиновые груши-клаксоны со скандальными звуками, мотоциклетные очки, ветровые гнутые стекла, выхлопные трубы с анодированными

русалками и еще что-то, все не упомнишь. Потом кто-то нацепил на себя алюминиевые плоскости – и начался бум. Что тут творилось! Многие знакомцы Данилова доставали себе удивительные крылья – и от «боингов», и от допотопных «фарманов», по четыре каждый, и даже от не существовавших тогда «конкордов». «Тьфу!» – сказал себе Данилов. Он был щеголем, порой и рискованным, но маклаковскую моду принять не желал. Мода ведь только создается в Париже или там в Москве, а живет-то она в Фатеже и Маклакове. А пока дойдет она до Маклакова, через голову десять раз перевернется и сама себя узнавать перестанет, вот с приходом ее и начинают юноши в Маклакове носить расклешенные на метр штаны с бубенцами и лампочками на батарейках возле туфель. Нет, Данилов тогда не суетился, он скромно достал крылья от «ИЛ-18», ими и был доволен. И теперь, когда знакомые его увлеклись космическим снаряжением, Данилов не стал добывать ни скафандров, ни капсул. То ли постарел, то ли надоели ему обновки. И не нужны были ни ему, ни его знакомым ни крылья, ни двигатели, ни скафандры, все ведь это было так, побрякушки! Цветные стеклышки для папуасов! Однако и теперь, может, по старой привычке, а может, ради баловства, Данилов приобрел для полетов кое-какие приборы и технические приспособления. Не захотел отставать от других…

Но давно уж пора было появиться Андам. Они и появились. Данилов увидел свое заветное место и стал снижаться. Место было тихое, в горах, у моря, а здешние жители его отчего-то не любили. Прямо под Даниловым тянулась теперь посадочная полоса километров в пять длиной, а вокруг нее там и тут на пустынном каменистом плато в зеленом мху кустарников виднелись изображения странных животных и птиц. Данилов произвел посадку и пошел к своей пещере. Посадочная полоса была еще хороша, не хуже иных бетонированных, камень пока не искрошился. Полосу эту Данилов устроил в пору ложного увлечения алюминиевыми крыльями. И с крыльями-то этими совсем она была не нужна ему для посадки, а вот спижонил, наволок камней, уложил их да сверху еще их и вылизал, и раза три, теперь-то об этом стыдно вспоминать, садился на полосу как самолет, с ревом, с ветром, выпуская из-под мышек шасси. А потом он и плато вокруг изрисовал всякими диковинными фигурами и мордами да еще и оплел их орнаментом дорожек, нравились тогда Данилову индейские примитивы. Вскоре явились на плато ученые и с шумом открыли работы инков. Другие же ученые с ними не согласились и доказали, что полосу с рисунками создали пришельцы, Данилов с увлечением читал их

исследования, страницы с жадностью перелистывал, до того было интересно. Однако охотников за пришельцами в пух и прах разнес проницательный профессор Деревенькин, за что был проклят детьми, в числе их и Мишей Муравлевым. Миша вместе с другими юными умами устно объявил этому профессору кислых щей кровную месть, уроки уже не делал, а точил нож. Профессор теперь нервно вздрагивал, на работу ходил в черной маске, но Данилов считал, что дети правы.

Данилов подошел к пещере. Вход в нее был прикрыт, гранитный тесаный камень в сорок тонн весом Данилов сдвинул плечом. В пещере было темно, сыро, пахло пометом летучих мышей. Данилов погнал летучих мышей палкой, смахнул с каменной лежанки пыль и всякую дрянь, застелил лежанку шкурой древесного ягуара, на шкуре и разлегся.

Надо было что-то решать. Необходимость этого решения мучила Данилова. Эх, отложить бы сейчас, думал Данилов, все это на когда-нибудь потом да и забыть обо всем… Но нельзя. Данилов достал лаковый прямоугольник повестки, и багровые знаки тут же проявились на ней, мрачно осветили пещеру, напоминая Данилову о времени «Ч». Данилов убрал повестку в карман жилета, вздохнул и закрыл глаза.

Ему стало жалко себя. И чего они к нему пристали?

Ведь хуже него есть личности – и живут себе, и никто их не трогает…

Понять бы, чем он вызвал назначение времени «Ч»? И кто ему это время назначил?

«А-а-а-а! Что гадать-то! – подумал Данилов с чувством обреченности. – Гадай не гадай, а исход один…»

Он был нервен, печален, купание в молнии и полет, успокоившие немного его, были теперь в далеком далеке. Жалел он свою молодую неисчерпанную жизнь. Но, оплакивая себя, Данилов все же краешком мыслей старался предположить, какой ему припишут состав преступления. Это и само по себе было интересно. Но, главное, зная про этот самый состав, можно было бы предпринять что-нибудь, что-нибудь придумать, да как-нибудь и судей и исполнителей, пусть и всесильных, а обвести вокруг пальца…

«Какие же статьи договора они мне припомнят?» – думал Данилов. Между ним и Канцелярией от Порядка был заключен договор. Начальник канцелярии поставил свою подпись желтыми несгораемыми чернилами, Данилов по закону расписался кровью из вертикальной голубой вены. В договоре было сто три статьи, и все без шарниров. Туда-сюда их повернуть считалось невозможным. Главным образом там перечислялись обязанности

Данилова, признанного отныне демоном на договоре, но гарантировались и кое-какие его права. Когда вышло решение подписать договор, Данилов, да и многие его знакомые, посчитали это решение либеральным и великодушным, Данилов кувыркался от радости в воздушном океане. Да что там говорить! За своеволия Данилова и шалости его и тогда уже могли покарать крепче, а вот все обошлось договором.

Тут следует сказать, что Данилов был демоном лишь по отцовской линии. По материнской же он происходил из людей. А именно – из окающих людей верхневолжского города Данилова. Отца Данилов не знал. Данилов был грудным ребенком, когда отца его за греховную земную любовь и за определенное своеобразие личных свойств навечно отослали на Юпитер. Там ему положили раздувать газовые бури. Да и мать Данилова тогда же и сгинула. С отцом Данилов в переписке не состоял и никогда не встречался. Они и узнавать друг о друге ни словечка не имели права. Пунктом «б» семнадцатой статьи договора Данилову было установлено пролетать мимо Юпитера, лишь закрыв глаза и заткнув уши ватой. Сам же Данилов мог всю жизнь провести в своем городке, разводить в огороде ярославский репчатый лук, а теперь уж и покоиться смиренным мещанином под тополями и березами на даниловском кладбище – ведь по людским понятиям он родился в конце восемнадцатого столетия. Однако влиятельные приятели его отца из жалости к невинному младенцу выхлопотали ему иную судьбу и перенесли Данилова прямо в мокрых пеленках из Ярославской земли в небесные ясли. А потом пристроили его в лицей Канцелярии от Познаний. Лицей был с техническим уклоном. И дальше Данилов двигался укатанной дорогой молодого демона, срывая на ходу цветы удовольствий.

Жизнь он вел рассеянную и блестящую. Но между тем положение его было сомнительным, во всех документах он числился незаконнорожденным. Иные ретрограды, не имеющие и понятия о правилах приличия, принюхивались иногда в присутствии Данилова к атмосфере и шептали раздраженно: «Фу ты! Человеком пахнет!» Одна беззубая старушка с клюкой, нечесаная и немытая, заявила об этом громко. Потом, в Седьмом Слое Удовольствий, прикинувшись юной красавицей, она, заискивая перед Даниловым, крутилась возле него, надеясь обольстить, но Данилов нарочно поел лука и луком дышал юной старушке в лицо. А один гусь из мелких духов долго шантажировал Данилова, но потом этот гусь был разоблачен как буддийский разведчик и со строгим конвоем отправлен в Обменный Фонд. Ну, ладно, гусь и старушка! Дело в том, что и

серьезные личности подозревали в Данилове человека. Доверия к нему у них не было, а значит, не могло быть у Данилова и особого продвижения.

Впрочем, и сам Данилов давал поводы для подозрений. По окончании лицея Канцелярии от Познаний он должен был бы все знать, все чувствовать, все видеть и все людское в этой связи презирать и ненавидеть. Но это были идеальные требования. А далеко не все лицеисты получали дипломы с отличием. Иным лодырям и тупицам дипломы выдавали махнув рукой, жалко было затрат на их воспитание, да и не хватало кадров. Вот и Данилов считался не лишним, но легкомысленным и бестолковым учеником, какому вершины демонических наук были недоступны.

На самом же деле Данилов был лицеистом способным и сразу же научился все знать, все чувствовать, все видеть в пространстве, и во времени, и в глубинах душ, все – и прошлое, и настоящее, и вечное, и вдоль и поперек, и все это – в единое мгновение! Но от этой возможности ему стало тоскливо, скучно и начались мигрени. Куда правильнее показалось Данилову возможностью этой не пользоваться, а открывать все заново и самому, как это делали люди. С любопытством, дотошностью и умением удивляться любой мелочи. Да и что за тоска была бы жить, зная наперед все!

Вот Данилов и прикинулся простаком с малым количеством чувствительных линий. Да так ловко, что ни один ум, ни один аппарат его не раскусил. Знания же были у него теперь, какие он сам себе добыл, иные из высших сфер, иные на уровне даниловской средней школы. А чтобы никого не раздражать, Данилов с усердием занялся фигурными полетами и музыкой. Его выделяли от лицея на соревнования и олимпиады внеземных талантов. Тут он многих превзошел, получал разряды, звания, премии, чуть было не ушел в профессионалы. Еще в лицее на него стали указывать со словами: «Наша гордость». Стало быть, об успехах в учебе Данилову нечего было беспокоиться.

Хуже обстояло у Данилова дело с необходимостью все презирать и ненавидеть. В теории-то он жутко стал все презирать. Как он все ненавидел! Но вот на практике, то ли из-за нехватки общих знаний, то ли по какой иной причине, чувство ненависти к человечеству то и дело вызывало у Данилова колики в желудке и возле желчного пузыря. Однако Данилов не требовал у лекарей справок об освобождении, а хотел преодолеть себя и, выполняя курсовые работы, со рвением стажировался в группах, готовивших землетрясения, стихийные бедствия и ограбления банков. Кое-чему научился, но в животе кололо все сильнее и к горлу что-то

подступало. Да и руководители стажировок Даниловым оставались недовольны. В ограблениях он был еще хорош, а вот из кратеров в окружающую среду мало выбрасывал пеплу и камней. А преподаватель труда, тот даже пригрозил Данилову отправить его на практику в столовые города Саранска вместе с юными тугоухими демонами портить там салаты и вторые блюда.

Это было унизительно! То есть педагог трудовой подготовки хотел указать Данилову на то, что место его и не среди демонов вовсе, а среди бесовского отродья с привинчивающимися ко лбу рожками и развитыми мохнатыми копчиками, а то и среди каких-нибудь там леших или водяных. Данилова эти слова взволновали, и он стал стараться. Но лучше не выходило! Да и к людям Данилов все отчетливее относился не с ненавистью, а с жалостью и даже с приязнью. Это было опасно! Эдак его могли дисквалифицировать в херувимы! А что уж хуже и позорнее этого! Да и ходить босым Данилов не любил. И тут Данилову повезло. Его направили в Группу Борьбы за Женские Души.

Данилова и раньше тянуло к красивым женщинам, теперь же, укутывая свои симпатии к ним видимыми глазу наставников презрением и ненавистью, – иначе не иметь ему стипендии! – Данилов очень быстро приволок на склад учебной базы восемнадцать теплых и страстных женских душ. А ему и еще вослед с мольбой и надеждой протягивали руки десятки земных красавиц! Даже демоны из золотой молодежи, но в учебе прилежные, разве что списывавшие у Данилова гороскопы, ему завидовали. «Как это ты их?» – спрашивали. «Да уж чего проще, – говорил Данилов небрежно, – сны-то им золотые навевать!» – «На шелковые ресницы, что ли?» – «Ну если желаете, то и на шелковые…»

Данилов окончил лицей, и на него пришла заявка из Канцелярии от Улавливания Душ, из Управления Женских Грез. Однако его забрали во внутреннюю Канцелярию от Наслаждений и поручили устраивать фейерверки и аттракционы на ведомственных балах в Седьмом Слое Удовольствий. Должность выпала незначительная, но и она для Данилова была хороша. Он работал, играл на лютне и в ус не дул. Времени свободного имел много, вел вполне светский образ жизни, влиятельные дамы ласково глядели на Данилова, и были моменты, в какие Данилов считал себя баловнем судьбы. И вдруг – раз! Жизнь его круто изменилась.

И порядок-то остался старый, но из недр его нечто изверглось. И помели новые метлы по всем сусекам, по всем канцеляриям, по всем Девяти Слоям (так Данилов называл теперь тот мир). Пересматривали бумаги и личные дела, наткнулись и

на зелененькую папку Данилова. «Ба! Ба! Ба!» – раздалось в комиссии, и давние подозрения всколыхнулись, потекли в атмосферу, уплотнились там, осели на телячью кожу и толстым томом легли на стол комиссии. Делали Данилову и анализы. Вспомнили еще, что отец Данилова был вольтерьянец. И вышло решение, среди многих прочих: Данилова как неполноценного демона отправить на вечное поселение, на Землю, в люди.

Данилову земной возраст определили в семь лет, и по людскому календарю в тысяча девятьсот сорок третьем году он был опущен в Москву в детский дом. Там очень скоро один из воспитателей обнаружил у Данилова недурной слух, и способного мальчика, худенького и робкого, взяли в музыкальную школу-интернат. Потом была консерватория, потом – оркестр на радио, потом – театр. Оттого, что за Даниловым вины никакой не было, а вся вина была на его отце, многие привилегии и возможности демона Данилову сохранили. Вот только летать в Девять Слоев Данилов имел право лишь изредка и ненадолго. Да и то с особого разрешения. Данилова в Девяти Слоях еще узнавали, шепотом просили рассказать земные анекдоты, но для многих он был уже пришельцем из потустороннего мира, демоном с того света. У них во всех бумагах и разговорах Земля так и называлась – Тот Свет, а иногда и – Тот Еще Свет. Данилов теперь и был в ведении Канцелярии от Того Света.

Поначалу от него многого не требовали, но уж когда Данилов был в консерватории и потом на радио, к нему все чаще и чаще стали поступать всякие глупые указания из Канцелярии. Сонные чиновники, там, наверху, Даниловым были недовольны, ему указывали на то, что он мало приносит пользы, а людям, стало быть, вреда. Данилов скрепя сердце вынужден был взяться за мелкие пакости, вроде радиопомех, разводов и снежных обвалов, при этом он устраивал неприятности лишь дурным, по его понятиям, людям. А ему и за это учиняли разносы. Тогда в годовом отчете Данилов объяснил свои недостатки тем, что он не получает от Канцелярии молока за вредность. Из Канцелярии поступил запрос, какую вредность он имеет в виду. Свою ли собственную внутреннюю вредность или же ощущаемую людьми в его присутствии, или же вредность окружающей среды? Данилов, подумав, сообщил, что он имеет в виду все три степени вредности, и потребовал, чтобы ему присылали тройную порцию молока. Данилову ответили, что он не прав, но что его вопрос будет рассмотрен. Четыре года шла переписка о молоке, и четыре года Данилов ничего не делал. Наконец в молоке ему было отказано, потому как лабораторным путем ученая комиссия установила в Данилове низкое содержание внутренней

вредности. Однако в связи с вредностью окружающей среды Данилову для поддержания сил решили высылать яблочный сок с мякотью. И опять от Данилова ждали действий, и опять на него кричали. Тогда Данилов отправил в Канцелярию нервное послание и в нем заявил, что его учили иметь дело с духовными ценностями и истинным знанием, а не устраивать бури и скандалы, они куда лучше могут получаться у мелких духовнедоучек. Начальник Канцелярии принял слова Данилова на свой счет, бился в ужасном гневе громил казенную мебель, грозил упечь Данилова в расплавленные недра Земли.

Тут и Данилов перепугался. Опять ему припомнили все его грехи земных лет, все его шалости и гусарские молодечества. Данилов поначалу храбрился, грудь колесом пытался выставить, но очень скоро стих и стал ждать кары. Ни с помощью приятелей, ни с помощью ласковых светских дам не хотел он облегчать свою судьбу. И тут случилось неожиданное. Ему предложили подписать договор.

Данилов не верил, думал, что над ним издеваются, а его вызвали в Канцелярию от Порядка и прямо в белые руки вложили три экземпляра договора.

Мудрые умы из теоретиков, разбиравшие дело Данилова, пришли к мысли, что все его отклонения от нравственных и трудовых демонических норм вызваны не чем иным, как его неопределенным положением. Демон Данилов в последние годы, посчитали теоретики, жил и трудился как в тумане. То есть Данилов не знал вовсе, кто он. То ли демон, то ли человек, то ли неведома зверушка, то ли вообще черт знает кто. Последнее соображение на бумагу, естественно, не легло. Это люди склонны были приписывать чертям большие знания, демоны же и чертей, и систему их образования, как, впрочем, и все их системы, ставили чрезвычайно низко. Вывод теоретиков был такой: заключить с Даниловым договор, с сохранением Данилову демонического стажа, и считать его отныне демоном на договоре.

Но мало ли что могли предложить теоретики, не всякая их глупость принималась всерьез чинами. Однако Данилову повезло, и, как он выяснил позже, вот почему. Да, он многое нарушал, решили чины. Но в Девяти Слоях о нем сложилось мнение не как о злостном нарушителе, а как о шалопае. А где же обходятся без своих шалопаев? К тому же Данилов был признан шалопаем милым и обаятельным, светскими дамами в особенности. Нарушать-то он нарушал, но никаких публичных заявлений, порочащих Девять Слоев, не делал, критик не наводил, арий не пел, не то что его отец, вольтерьянец. Из шалопаев же, пусть и отчаянных, выходили потом самые примерные демоны.

Но Данилову все это не было сказано. Его бранили и унижали, брали с него клятвенные заверения в том, что он покончит с легкомыслием. Данилов с охотой давал заверения, выглядел благоразумным и понятливым. Договор с ним подписали, оставив в ведении Канцелярии от Того Света. В третьей статье договора категорически требовалось, чтобы Данилов всегда знал, в каком состоянии он находится – в человеческом или в демоническом. На складе под расписку Данилову выдали серебряный браслет системы «Небо – Земля», часы Данилову были не нужны, вместо часов Данилов и носил теперь браслет, никогда и нигде, даже и в парной в Сандунах, его не снимал, а если бы какой грабитель в темном переулке, хоть и с пистолетом, пожелал получить от Данилова браслет, то вряд ли бы это его желание осуществилось.

На одной из пластинок браслета была художественно выгравирована буква «Н», на соседней – буква «З». Стоило Данилову рукой или волевым усилием сдвинуть пластинку с буквой «Н» чуть вперед, как он сейчас же переходил в демоническое состояние. Движение пластинки с буквой «З» возвращало Данилова в состояние человеческое. Быть демоном и человеком одновременно Данилов не имел права. Много имелось в договоре строгих правил и ограничений, Данилов поначалу делал вид, что не может держать в голове все статьи документа, но ему их напоминали.

Долго гадали, чем теперь занять Данилова. К важным делам он был признан неспособным. Данилов, пока в Канцелярии ломали головы, не вытерпел, решил опередить чиновников и сам нашел себе дело, не очень к тому же противное. Он потихоньку стал отсылать в Управление Умственных Развлечений земные шутки, очень ценимые в Девяти Слоях. Шутки передавали в Канцелярию от Наслаждений. Однажды он забыл отправить в Управление очередной ящик с шутками и немедленно получил выговор вкрутую. От Данилова потребовали и объяснительную записку. Данилов сообщил, что задержался с отправкой шуток оттого, что земные шутки, оказывается, следует с терпением отмачивать в специальном растворе, тогда они становятся особенно хороши, – это открытие Данилов сделал недавно. Данилов и действительно начал отмачивать шутки с анекдотами в ванне и вскоре получил из управления теплое письмо, в нем Данилова хвалили, сообщали ему, что отмоченные им шутки имеют большой успех, просто шумная мода на них! Тогда Данилов осмелел, написал о жалких условиях, в каких он отмачивает шутки, и попросил изготовить ему специальный аппарат – рисунок его тут же приложил. Попросил Данилов и

несколько баночек горчицы – для особой крепости раствора (он ждал Муравлевых на пельмени). Горчицу Данилов шиш получил, у них и у самих ее не было, но Данилову посоветовали купить за наличный расчет горчичников в аптеках, их и пустить в дело. Зато аппарат умельцы изготовили Данилову славный, чудо какое-то явилось ему, сверкающее и прозрачное, с ракушками и камнями, с батарейками для подогрева воды. Данилов налюбоваться не мог аппаратом.

Все шло ничего, вроде бы Данилов был при деле, мог бы жить и играть себе на альте. Но оказалось, что только Канцелярия от Наслаждений довольна им. С точки же зрения его Канцелярии от Того Света он бездействовал, слишком много позволял себе и слишком часто нарушал порядки. Что было, то было. Данилова вызывали куда следует, тыкали носом в статьи договора, уговаривали не позорить честь непорочной Канцелярии, грозили карами. Данилов глядел на сановников невинными глазами, каялся и обещал исправиться. Однако не менялся.

Данилова, желая проучить его, даже прикрепили к останкинским домовым, по месту жительства. Другой бы демон ночей не спал от бесчестья – это демона-то и к домовым! А Данилов ничего, поначалу, конечно, был расстроен, но потом заглянул как-то ночью в собрание домовых на Аргуновскую улицу, и домовые пришлись ему по душе. Он стал ходить к ним и пальцем о палец не ударил, чтобы изменить унизительное свое положение. (Впрочем, теперь он бывал у домовых редко. Но это – из-за занятости музыкой.)

Суета человечьей жизни опять захватила его, он махнул рукой на угрозы и предостережения и решил, что пусть все идет как идет. И вот – дождался! Явился порученец Валентин Сергеевич или кто он там на самом деле и преподнес лаковую повестку с багровыми знаками времени «Ч».

Данилов лежал теперь в сырой пещере в Андах под шкурой древесного ягуара и никакого выхода из нынешнего своего печального положения отыскать не мог.

«А ведь они мне дают срок что-то предпринять, – думал Данилов. – Последний срок, но дают. Иначе бы они меня немедля вызвали в судилище… Хотят, чтобы я сделал выбор… Это еще не конец… Время есть… Что-нибудь, а придумаю… Правда, не сейчас… а потом… потом…»

Соображения эти немного успокоили Данилова, и он, дав себе решительное обещание в ближайшие же часы продумать план действий, на каменной лежанке и задремал.

Но вскоре его разбудило хриплое знакомое мурлыканье. Данилов открыл глаза и увидел перед собой кота Бастера. Кот

был старый, полуслепой и облезший – и хороший скорняк вряд ли бы взялся пошить из него кроличьи шапки. Да что там скорняк! Не всякая живодерня согласилась бы принять такого кота. Впрочем, служащих живодерни Бастер, наверное, бы удивил – он был ростом с теленка. Когда-то Бастера признавали красивым, даже великолепным, но до того он устал жить, что внешность его теперь совершенно не заботила. И то ведь – завелся он в Египте во времена Изиды и Озириса и очень скоро, без всяких рекомендательных писем, а только благодаря своим трудам и талантам, стал священным покровителем Музыки и Танцев. Вокруг стояла тьма египетская, но и в той тьме стараниями Бастера кое-что делалось. Кое-что звучало и подпрыгивало. Сейчас он уже нигде не служил, а находился на заслуженном отдыхе. Он был добр, в нем еще тлел интерес к музыке, потому-то Данилов и любил кота и позволял ему появляться в своей пещере, а в пещеру он допускал немногих.

– Здравствуй, Володя, – сказал Бастер. – Я тебе не помешал?

– Здравствуйте, – кивнул Данилов. – Я рад вас видеть. Я так… вздремнул…

– Хорошо, – сказал Бастер. – Я посижу молча.

Данилов закрыл глаза, говорить ему не хотелось, но он знал, что кот сейчас же начнет расспрашивать его о новостях московской музыкальной жизни – и тут кота можно понять, но вот отвечать ему будет невмоготу. «А отчего же потом-то искать выход? – подумал Данилов. – Надо решить теперь же, непременно теперь…»

Но тут как бы игрой бликов на перламутре жемчужной раковины, как дуновение Эола, лишь чуть всколыхнув сырой воздух пещеры, с цветами анемонами в руках явилась нежная Химеко, вечная жрица и пророчица, тончайшее создание природы, давняя подруга Данилова. Шелком фисташкового кимоно проведя по щербатым камням пещеры, Химеко поклонилась Данилову и цветы анемоны положила к его изголовью. Данилов привстал в смущении, ноги свесил с лежанки. Кот Бастер поднял хвост трубой и сейчас же деликатным дымком рассеялся в сумраке пещеры. Химеко стояла молча, голову кротко наклонив, а Данилов любовался ею. Однако он тут же осознал, что теперешнее явление Химеко вовсе некстати. Когда-то между ними была страсть, от страсти той таял лед в Гималаях и вспухали великие реки, острова поднимались в океане, лава клокотала в безумных кратерах Курил. И теперь Химеко иногда волновала Данилова, но страсти прежней, увы, в нем не было больше. Бывало, Данилов весь дрожал, спеша на свиданья с Химеко, теперь он был с ней спокоен. Когда-то он желал навсегда

поселиться рядом с Химеко в туманных горах острова Хонсю. Но Химеко прижала тогда палец к губам и покачала головой, и Данилов, смирясь со своим печальным жребием, принял ее обычай, называемый цумадои, а значит, и стал приходящим другом Химеко. Прилетать к ней на крыльях любви он имел право лишь по ее вызову. А каково было мечтательному в ту пору Данилову с его нетерпеливой натурой видеть в мыслях мягкие округлые плечи Химеко, ее безукоризненно верную грудь, томительный танец ее тонких, гибких рук, думать о Химеко и сидеть дурак дураком, ожидая ее вызова. Как давно это было! Кабы вернуть те хмельные полеты юных лет!

Химеко все стояла молча и глядела на Данилова, была покорна, словно его раба, чувство жалости шевельнулось в Данилове, и правая нога его сама собой стала нащупывать камень пола. Но тут же Данилов сказал себе: «Нет! Ни в коем случае! Нынче не до баб!.. Разве примешь с ними важное решение!» Данилов так и застыл в глупейшей позе, правой ногой касаясь пола.

А во взгляде Химеко появилось нечто новое, тревога какая-то или даже испуг. Что-то угадала она в судьбе Данилова, всплеснула птичьими рукавами кимоно и вскрикнула.

Сразу же, руки вытянув прямо перед собой, она отступила на несколько шагов в глубь пещеры, там и замерла в забытьи. Потом, вернувшись из ниоткуда, она тихонько ударила ладошкой о ладошку – и в руках ее оказалась лопатка оленя. У ног Химеко вспыхнул ровный синий огонь, а чуть поодаль возникла большая каменная чаша с ледяной водой. Химеко осторожно опустила лопатку оленя в синий огонь, а сама встала перед костром на колени. Некий таинственный, но мелодичный звук возник в пещере. Данилов так и застыл, свесив ноги с лежанки, придерживал дыхание, не шевелился, боясь помешать гаданию Химеко. Но вот лопатка оленя раскалилась, нежными своими пальцами Химеко подняла ее, задержала на мгновение в воздухе и тут же бросила кость в чашу с ледяной водой. При страшном шипении и новых таинственных звуках, теперь уже не мелодичных, а нервных, пещеру заволокло паром, у Данилова потекли слезы и уши защипало, но Химеко бросила в чашу лепешку кагамимоти вместе со змеей, менявшей кожу. Шипение стихло, пар исчез, оставив камни пещеры влажными. Молча смотрела теперь Химеко на лопатку оленя, в извилинах возникших на ней трещин читала судьбу Данилова – и вдруг пошатнулась, швырнула кость на камни, в ужасе взглянула на Данилова, вскричала «Дзисай!» – и исчезла.

– Постой! Не надо! Не делай этого! – Данилов, вскочив с

лежанки, крикнул вослед Химеко.

Данилов и прежде с иронией относился ко многим предрассудкам Химеко, к ее наивным приемам, уж больно не вязались они с нынешним веком, но вслух ей ничего не говорил – и нежная Химеко была упряма, и сам он уважал чужие заблуждения. Но сейчас-то из-за него, Данилова, мог погибнуть его Дзисай, или несущий печаль! По древнему обычаю Химеко одного из своих родственников, находившихся у нее в услужении, чтобы оградить любезного ей Данилова от бед и напастей, сделала Дзисаем Данилова. Все печали Данилова, по мысли Химеко, обязаны были теперь стекать в него. Этот бедный Дзисай, как, впрочем, и Дзисай по иным поводам, не должен был уже ходить в баню и парикмахерскую, отобрали у него и электрическую бритву «Филипс», было ему категорически запрещено ловить на себе насекомых, не ел ничего он мясного, даже и из консервных банок, а на женщин глядеть он и вовсе не имел права. Но худшее его ждало впереди. Если какая беда свалилась бы на Данилова или бы он опасно занемог, сейчас же Химеко должна была бы объявить Дзисая виноватым и убить его, полагая, что тем самым она облегчит участь Данилова. Значит, теперь Химеко унеслась убивать кривым самурайским мечом его Дзисая, а он, Данилов, как бы ни желал воспрепятствовать этому варварскому обычаю, ничего изменить не мог. Он слишком ясно знал это и сидел в пещере печальный.

«Дела мои, стало быть, плохи, – пришло ему на ум, – может, и выхода нет…»

Но снова послышалось хриплое мурлыканье – и возник кот Бастер, покровитель Музыки и Танцев.

– Я потихоньку посижу, – сказал Бастер.

– Сидите, – кивнул Данилов.

Но тут произошло сотрясение воздуха, все в пещере осветилось, запрыгало, заходило ходуном, вежливый кот Бастер, не дожидаясь. Когда бурное движение воздуха обернется видимой и плотной материей, истек тихим фиолетовым дымом, а перед очами Данилова предстала и сама по себе сверкающая, но и вся в дорогих камнях демоническая женщина Анастасия, смоленских кровей, роскошная и отважная, прямо кавалерист-девица, схожая с Даниловым судьбой, однако удачливее его, предстала, засмеялась от удовольствия, теперешнего или будущего, сказала красивым низким своим сопрано: «Вот ты где, ненаглядный мой Данилов! Что же ты теперь со своим браслетом прячешься-то от меня?» И, не дожидаясь ответных слов Данилова, крепкими полными руками обняла его и прижалась к нему, робея. Данилов хотел было отстранить от себя Анастасию, но, взглянув в ее

счастливые и верные оранжевые глаза, ощутив ее сладкое, жаркое тело, понял, что не прогонит Анастасию, да и глупо было бы делать это, пошло бы все прахом, рассудил он, и в тот же миг забыл обо всем на свете. А вскоре в районе Карибского моря, несмотря на все предосторожности Данилова возник не предсказанный учеными ураган, он стремительно пронесся над Флоридой и двинулся на запад, срывая на ходу железные крыши, катя изящных форм автофургоны по хлопковым полям Луизианы. От службы погоды он тут же получил акварельное имя «Памела». Среди знакомых Данилова, случайных и далеких, действительно была Памела, но к нынешнему урагану она не имела никакого отношения.

5

В дверь позвонили. То есть звонок у Муравлевых был музыкальный, за семь рублей, и он закурлыкал по-журавлиному.

Муравлев, ворча и подтягивая мятые польские джинсы, пошел открывать.

На пороге стояла жена его Тамара, держала в руках авоськи, тяжелые, как блины от штанги Алексеева.

– Ну проходи, – сердито буркнул Муравлев. – Любишь ты эти магазины. Часами готова в них бродить.

– Что же делать? – вздохнула Тамара.

Муравлев рассмотрел покупки, пиво было «Жигулевское» и с сегодняшней пробкой, и был кефир, жена ни о чем не забыла, но Муравлев сказал на всякий случай:

– Пива могла бы взять и больше.

Он проследовал за женой, тащившей сумки на кухню, на ходу извлек из авоськи круглую булочку за три копейки и, откусив от булочки половину, сказал:

– Данилов звонил.

– Он каждый день звонит, – сказала Тамара, – да все заехать нет времени.

– Сегодня заедет.

– Надо же! – обрадовалась Тамара. – Я точно предчувствовала, фасоли зеленой давно не было, а сегодня захожу в кулинарию, смотрю: стоит. Я и подумала: вот бы Данилов пришел к нам на лобио.

– Придет, придет, – дожевывая булочку, сказал Муравлев. – Ты хозяйничай, а у меня работы много.

Отдышавшись, Тамара заглянула в комнату своего сына Миши, склонного к глубоким раздумьям, с намерением увидеть страдания пятиклассника над домашними заданиями. Но Миша спал, прямо за столом, положив голову и руки на лист ватманской бумаги. Вскоре Миша был разбужен, и, пока он тер глаза, Тамара разглядела, что на ватман наклеена вырезка со статьей проницательного профессора Деревенькина, громившего легенды о пришельцах, а вокруг статьи были нарисованы ножи, пушки и кулаки, грозившие и профессору и статье.

– Да, Витя, а как у Данилова с деньгами? – вспомнила Тамара.

Муравлев, лежавший с журналом «Спортивные игры» на диване, отозвался не сразу:

– С деньгами? Да все так же… Даже хуже, по-моему.

– Он сказал?

– Ничего он не скажет, ты же знаешь Данилова…

– Что же нам делать?

– Я не знаю, – сказал Муравлев. – У меня будет приработок… И ты хотела решать с шубой…

– Да, – вздохнула Тамара, – с шубой надо решать.

Шуба у Муравлевых была роскошная, колонковая, с черными полосками судьбы на коричневой глади, купленная за шестьсот трудовых рублей у Тамариной сослуживицы Инны Яковлевны Ольгиной. Деятельность семьи Муравлевых в последние полгода оправдала покупку шубы, Муравлевы гордились ею, сам Виктор Михайлович Муравлев даже и в жаркие дни с охотой выгуливал шубу на балконе, проветривая и ее и себя. Однако скоро шуба стала трещать, греметь, словно жестяная, и как бы взрываться мездрой. Скорняки сказали, что дело гиблое и надо было глядеть раньше, – шуба досталась Муравлевым гнилая. Выслушали Муравлевы и совет – теперь же и нести шубу в комиссионный магазин, чтобы вернуть хоть кое-какие деньги. Знакомый художник Н.Д.Еремченко предложил поделать из шубы колонковые кисточки и торговать ими за рубль штуку, охотников на них нашлось бы много, в художественных салонах нынче предлагалась одна щетина. Вот Муравлевы на поприще искусства и вернули бы за шубу не то чтобы шестьсот рублей, а и всю тысячу. Но жалко было Муравлевым шубу. Чуть ли не со слезами смотрели они на нее, понимали, что, может быть, такой шубы у них и не будет больше никогда. Однако теперь денежное положение Данилова стало острее – и надо было действительно с шубой что-то решать.

Данилов платил за два кооператива и за инструмент. Инструмент обошелся ему в три тысячи, собранные у приятелей и у знакомых приятелей. Купил он его четыре года назад. Но это был истинный альт, возрастом в двести с лишним лет, сотворенный певучими руками самого Альбани. Себе Данилов построил однокомнатную квартиру, а бывшей своей жене Клавдии Петровне отдал кооперативную двухкомнатную квартиру с хорошей кухней и черной ванной. И за то и за другое жилье он посчитал нужным платить. Да и как же не платить-то! Женщина, что ли, слабое существо, обязана была тратиться на условия существования? Данилов был музыкант, а музыка и есть сама душевность. Когда жена Клавдия Петровна ушла от Данилова, он догнал ее, взял под руку, вернул в квартиру и ушел сам. С женой ему было тошно, он чувствовал, что ошибся, что не любит ее, как, впрочем, и она его, и обоим им стало легче оттого, что они разошлись. Клавдия Петровна накануне развода вела с Даниловым гремучую войну, но когда она узнала, что Данилов

уступил ей квартиру и вызвался платить за нее, она сейчас же пообещала навсегда быть ему настоящим другом. Она и до сих пор считала себя до того другом Данилова, что после каждого возвращения его с заграничных гастролей обязательно являлась к Данилову домой и принималась разбирать чемоданы с желанием помочь уставшему с дороги. «Ах, какая вещь, какая вещь! – радовалась она и добавляла: – Но зачем она тебе, скажи мне, Данилов?» Данилов сто раз собирался гнать в шею эту совершенно чужую ему женщину, но по причине застенчивости не гнал, а ограничивался тем, что дарил понравившиеся ей вещи.

Новая его квартира в Останкине походила на шкатулку, но в ней вполне было место, где Данилов мог держать свой инструмент. Он оставил себе и прежний инструмент, ценой в триста рублей, таких и сейчас лежало в магазинах сотни, Данилов хотел было продать его, но потом посчитал: а вдруг пригодится? Звук у альта Альбани был волшебный. Полный, мягкий, грустный, добрый, как голос близкого Данилову человека. Шесть лет Данилов охотился за этим инструментом, вымаливал его у вдовы альтиста Гансовского, вел неистовую, только что не рукопашную, борьбу с соперниками, ночей не спал и вымолил свой чудесный альт за три тысячи. Как он любил его заранее! Как нес он его домой! Будто грудное дитя, появления которого ни один доктор, ни одна ворожея уже и не обещали. А принеся домой и открыв старый футляр, отданный Данилову вдовой Гансовского даром в минуту прощания с великим инструментом, Данилов замер в умилении, готов был опуститься перед ним на колени, но не опустился, а долго и тихо стоял над ним, все глядел на него, как глядел недавно в Париже на Венеру Бурделя. Он и прикоснуться к нему часа два не мог, робел, чуть ли не уверен был в том, что, когда он проведет смычком по струнам, никакого звука не возникнет, а будет тишина – и она убьет его, бывшего музыканта Данилова. И все же он решился, дерзнул, нервно и как бы судорожно прикоснулся смычком к струнам, чуть ли не дернул их, но звук возник, и тогда Данилов, усмиряя в себе и страх и любовь, стал спокойнее и умелее управлять смычком, и возникли уже не просто звуки, а возникла мелодия. Данилов сыграл и небольшую пьесу Дариуса Мийо, и она вышла, тогда Данилов положил смычок. Больше он в тот вечер не хотел играть. Он боялся спугнуть и первую музыку инструмента. Он и так был счастлив. «Все, – говорил он себе, – все!» Теперь он уже ощущал себя истинным хозяином альта Альбани. Да что там хозяином! Он ощущал себя его повелителем! Это были великие мгновения. Он плясать был готов от радости.

Потом, будучи повелителем инструмента, он уже без прежней

робости, хотя и с волнением, рассмотрел все пленительные мелочи чудесного альта, ощупал его черные колки, нежно, словно лаская их, провел пальцами по всем четырем струнам, тайные пылинки пытался выискать в морщинах завитка, убедился в том, что и верхний и нижний порожек, и гриф, и подставка из клена крепятся ладно, а после – сухой ладонью прикоснулся к декам из горной ели, покрытым в Больцано нежно-коричневым лаком, ощутил безукоризненную ровность обегающего верхнюю деку уса, сладкие выпуклости обечайки и крепкие изгибы боковых вырезов. Все было прекрасно! Во всем была гармония, как в музыке! Данилов закрыл глаза и теперь прикасался пальцами к инструменту, как слепой к лицу любимого человека. Все он узнавал, все помнил! Данилов опять сыграл пьесу Мийо, а потом достал из шкафа большой кашмирский платок. Платок этот был куплен в Токио на всякий случай, чтобы ублажить им бывшую жену, однако она, разбирая чемоданы Данилова, отчего-то проглядела его. Данилов завернул инструмент в платок, уложил его в футляр. Позже именно в кашмирском платке он и держал инструмент.

Но радость радостью, искусство искусством, а инструмент был еще и материальной ценностью. Данилов сразу же застраховал его. Он и представить себе не мог, что когда-либо расстанется с инструментом, но надо было иметь и какие-то гарантии. К бумажке страхового полиса он относился с презрением, чуть ли не с брезгливостью, однако взносы платил исправно. А ведь весь был в долгах. Велика ли зарплата оркестранта, хоть и из хорошего театра! Причем деньги Данилову приходилось отдавать приятелям по эстафетной системе – у одних он брал и тут же нес казначейские знаки поджидавшим их кредиторам. Иногда в движении долга случались заминки, с трудом Данилов добивался у знакомых пролонгации ссуд. Теперь же он срочно должен был вернуть Добкиным семьсот рублей, а раздобыть их нигде не мог. Как ни мучил его стыд за пожар в Планерской, а сегодня он уж точно собирался зайти к Муравлевым – и чтобы просто отдохнуть у них в доме, и чтобы обсудить с ними, как быть дальше. Благо, что вечернего спектакля у него не было.

Однако Муравлевы ждали его в тот день напрасно. И лобио напрасно жарилось на газовой плите.

С утра Данилов заскочил в сберегательную кассу и, выстояв очередь, произвел коммунальные платежи. В кассе было душно, неграмотные старушки именно Данилова просили заполнить вместо них бланки и квитанции – такое доверие он рождал в их душах. Данилов выпачкал пальцы чернилами, а подымая от

бланков глаза, упирался взглядом в грудастую даму на плакате с жэковскими книжками в руках – над дамой медными тарелками били слова: «Красна изба не кутежами, а коммунальными платежами!» Данилов сам платил, укоряя себя: уж больно много он нажег за месяц электричества. Потом Данилов пошел сдавать стеклянную посуду, а возле пункта приема стояла очередь с колясками и мешками. Однако тут Данилову повезло, приемщица, важная как императрица на Марсовом поле, ткнула в него пальцем и сказала: «Парень, ну-ка иди нагрузи машину ящиками, а то мы закроем точку. Пальтишко-то сними, не порть!» Данилов исполнил справедливое распоряжение приемщицы и меньше чем через сорок минут заслуженно сдал свои бутылки с черного хода. В химчистку за брюками он не успел забежать, решив, что уж ладно с ней, с химчисткой. Да и с брюками тоже, к ним ведь еще и пуговицы следовало пришивать.

В одиннадцать Данилов появился на улице Качалова в студии звукозаписи, там он с чужим оркестром исполнил для третьей программы радио симфонию Хиндемита. И музыка была интересная, и платили на радио сносно. Когда Данилов уже укутывал инструмент в кашмирский платок, к нему подошел гобоист Стрекалов и что-то начал рассказывать про хоккеиста Мальцева. Данилов болел за «Динамо», слушать про Мальцева ему было интересно, однако он нашел в себе силы произнести: «Извини, Костя, опаздываю в театр!» На ходу он успел перекусить лишь фруктовым мороженым, но в театр не опоздал. Репетировали балет Словенского «Хроника пикирующего бомбардировщика», дважды Данилову приходилось играть поперек мелодии, а то и прямо против нее, но и сам он собой, и дирижер им остались довольны. В перерыве Данилов стал отыскивать гобоиста Стрекалова, однако тут же вспомнил, что играл со Стрекаловым в другом оркестре. «Фу-ты! – расстроился Данилов. – Ведь мог же дослушать про Мальцева и успел бы!..» Он побежал в буфет, но по дороге встретил Марию Алексеевну из книжного киоска, он был ее любимец, она шепнула Данилову, что достала ему монографию Седовой о Гойе и пропущенную Даниловым Лондонскую галерею. «Мария Алексеевна! Волшебница вы наша!» – шумно обрадовался Данилов. Сейчас же к нему подошла в костюме Зибеля женщина-боец Галина Петровна Николева, отвечавшая за вечернюю сеть. «А вот, Володя, – сказала Николева, – план шефских концертов. Это не наш сектор, но и для тебя, сочли, тут есть работа». – «Хорошо, – сказал Данилов, взяв бумагу, – я с охотой». Он совсем уж было приблизился к буфету, но тут его подхватил под руку Санин, один из летучих администраторов. «Пойдем, пойдем, – сказал

Санин. – Тебе звонят, звонят, а я должен бегать за тобой по всему театру».

Звонил Сергей Михайлович Мелехин, старый знакомый Данилова.

– Володенька, – нервно заговорил Мелехин, – я редко о чем-то прошу, но сегодня не прошу, а умоляю…

Мелехин заведовал клубной работой в богатом НИИ и умолял Данилова часто.

– Что надо-то? – спросил Данилов.

– Устный журнал, сыграть-то всего несколько опусов, у нас платят, ты знаешь, хорошо, нынче вечером…

– Сегодня вечером не могу… Меня люди ждут…

– У тебя нет спектакля! А тут всего-то сыграть, ты к людям успеешь… У нас платят хорошо, у нас же наука, не то, что у вас, искусство… Выступающие без тебя зазря приедут… Профессора, искусствоведы… Десять персон… А ты пьесы сыграешь и человеческие, и какие машина написала… Для сравнения… Тебе же самому интересно сыграть будет… Опусы-то написаны специально для альта…

– Для альта? – удивился Данилов.

– Для альта! – почуяв, что клюет, воодушевился Мелехин. – Машина для альта писала, ты представь себе! Десять персон профессоров явятся из-за одного альта. А не будет музыканта, выйдет скандал, меня выгонят! И будешь ты жить с мыслью, что из-за тебя человеку судьбу порушили! А каково это тебе, с твоей-то совестливостью? Выручай, милый, а деньги я тебе прямо в белом конверте вручу…

– Я подумаю… – сказал Данилов неуверенно.

– Что думать-то! Ровно в семь будь у меня, ноты посмотришь, сыграешь и успеешь к своим людям.

– Ну ладно…

– Вот и хорошо! Ты меня спас! А то уж я хотел было голову на трамвайные рельсы класть. Этот негодяй, кстати твой знакомый, Мишка Коренев неделю обещал, а в последнюю минуту, мерзавец, отказался… В семь жду!

Мелехин энергично положил трубку, не дав Данилову ни опомниться, ни засомневаться в чем-либо. А Данилов стоял у телефона и думал: «При чем тут Миша-то Коренев? Миша и альта-то в руки не берет, Миша Коренев – скрипач из эстрадного оркестра…» Однако соображения эти были уже лишние.

В семь Данилов, кляня свою слабохарактерность, подъехал к стеклянному с алюминиевой плиссировкой под козырьком крыши клубу НИИ. Народ уже гудел в зале и фойе, в конце устного журнала обещали показать «Серенаду солнечной долины», взятую

в фильмофонде. В комнатах за сценой дымили участники журнала, люди все солидные и уверенные в своих мыслях. Один из них был в черной маске, чуть-чуть дрожал, все оглядывался. Среди прочих Данилов увидел и Кудасова. Кудасов наседал на Мелехина, говорил, что опаздывает, и требовал начинать. Однако заметил Данилова и чуть ли не застыл Лотовой женой. Придя в себя, подплыл к Данилову, сказал:

– И вы тут? А у Муравлевых еда стынет! Ну и чудесно, поедем вместе. – И он втянул в ноздри воздух, приманивая запахи далекой волнующей душу кухни.

Мелехин взглянул на Данилова косо, будто не он тремя часами раньше стоял на коленях возле телефона, а Данилов напросился к нему в устный журнал. Мелехин подошел к Данилову, взял его под руку, отвел в пустую комнату, вручил ноты и сказал, глядя сквозь стену куда-то в служебные хлопоты:

– У тебя, Володя, есть часок, тут всего-то шестнадцать пьес, восемь от людей-композиторов, восемь от машины, можешь их посмотреть, а можешь и вздремнуть, ты у нас и Стравинского играешь с листа… А Мишка-то Коренев какой стервец!

Тут дверь в комнату открылась, вошли две барышни. И сейчас же хрустальная стрела судьбы тихо и сладостно вонзилась Данилову под левую лопатку.

– Вот, Володя, знакомься! – обрадованно сказал Мелехин. – Знакомься, Екатерина Ивановна Ковалевская, активистка нашего журнала, а я побегу…

Екатерину Ивановну Данилов знал хорошо, она была приятельницей Муравлевых и к тому же, сама того не ведая, огненным столбом ворвалась в жизнь домового Ивана Афанасьевича. Екатерина Ивановна обрадовалась Данилову, но в глазах ее Данилов уловил непривычную для Екатерины Ивановны печаль.

– А это, Володя, моя подруга по работе, – сказала Екатерина Ивановна, – Наташей ее зовут.

– Володя, – протянул Данилов руку, и прикосновение Наташиной руки обожгло его, будто восьмиклассника, явившегося на первое свидание под часы.

Глаза у Наташи были серые и глубокие, а смотрела она на Данилова удивленно, с трепетом, как Садко на рыбу Золотое перо. Данилов хотел было сказать легкие, лукавые слова, какие он обычно говорил женщинам, но он произнес смущенно и даже резко:

– Вы извините меня, я ноты вижу в первый раз, и надо бы их прочитать…

– Хорошо, хорошо, – сказала Екатерина Ивановна, – мы не

будем тебе мешать.

А Наташа ничего не сказала, а только поглядела на Данилова, и у Данилова вновь забилось ретивое.

«Что это со мной? – думал Данилов. – Отчего я так смущен и взволнован? Неужели явилась эта тонкая женщина с прекрасными серыми глазами – и все в моей жизни изменилось?.. Ведь выпадают же иным людям чудные мгновенья, отчего же и мне чудное мгновение не испытать… Она и не сказала ни слова, и я ничего не знаю о ней, а вот вошла она – и стало и легко, и торжественно, и грустно, будто я уже где-то высоко-о-о… Нет, нет, хватит, и нечего думать о ней…» Данилов запретил себе думать о Наташе, однако все вспоминал ее глаза и то, как она смотрела на него, вспоминал и еще нечто неуловленное им сразу в ее облике… Однако ноты не ждали. Данилов с усилием воли развернул поданные Мелехиным бумаги и обомлел. Схватил инструмент и выбежал в большую артистическую. Мелехин был тут и исчезнуть не имел возможности.

– Сергей Михайлович, что это? – воскликнул Данилов.

– Что? Где? – искренне удивился Мелехин.

– Вот это! Ноты!

– Это ноты, Володенька!

– Я и сам вижу, что ноты! – вскричал Данилов. – Но написаны-то эти пьесы не для альта, а для скрипки! Что же вы меня дурачили-то!

– Тише, тише, Володенька, – взмолился шепотом Мелехин. – Ну виноват. А еще больше виноват стервец Мишка Коренев. Неделю обещал, а сегодня утром прислал какое-то нервное письмо: мол, не может и еще черт знает что!..

– Ну и я не могу, – сказал Данилов, – у меня альт, а не скрипка.

– Сможешь, Володенька, ты все сможешь, ты же у меня единственный знакомый музыкант высокого класса, я тебе двадцать рублей лишних дам, ты возьми квинтой выше, а тем-то, которые в зале сидят, им-то ведь все равно, на чем ты станешь играть, на альте, на скрипке или на пожарном брандспойте…

– Все это мне, как музыканту, – сказал Данилов, – слушать оскорбительно и противно. Я ухожу сейчас же.

– Нет, нет, я, может, не так что сказал, я – открытая душа, прости, но ты не уйдешь, неужели тебе, альтисту, слабо сыграть то, что написано для какой-то скрипки!

И тут Данилов опять увидел Наташу. Наташа вместе с Екатериной Ивановной заглянула в артистическую, наткнулась взглядом на Данилова, смутилась и улыбнулась ему. И Данилов понял, что он выскочил во гневе с альтом в руках не только для

того, чтобы разнести в пух и прах Мелехина, да и во всем клубе произвести шум, но и для того, чтобы еще раз увидеть Наташу или хотя бы почувствовать, что она рядом. И еще он понял, что сейчас сыграет на своем альте любую музыку, написанную хоть бы и для скрипки, хоть бы и для тромбона или даже для ударных.

– Ну хорошо, – сказал Данилов. – Но я в последний раз терплю ваши обманы.

– Ты же интеллигентный человек, Володенька! – умилился Сергей Михайлович.

Данилов вернулся в комнату, ему отведенную, развернул ноты и подумал: «А что, неужели мне действительно слабо сыграть за скрипку?» Тут же он упрекнул себя в малодушии, нечего и вообще было подымать шум – и инструмент его хорош, да и собственные его мечты о музыке возносили альт на такую высоту, на какую и скрипка, пусть даже из Страдивариевых рук, взлететь не могла. Что же теперь робеть! Да и созорничать никогда не лишне! Словом, через сорок минут Данилов вышел из комнатки веселый и даже в некоем азарте. Устный журнал уже начинали.

Важные персоны из ученых и говорунов заняли места за столом на сцене, а Данилов уселся за кулисами на стульчике и стал ждать своей минуты. Рядом тихонько играли в подкидного шестеро электрических гитаристов, блестели перстнями, сметали с клубного реквизита пыль кружевными манжетами. Громкие парни эти поначалу дерзили Данилову, а может, и жалели его, как жалеют водители лимузинов мокрого кучера на облучке посудной телеги. Но потом разглядели инструмент в кашмирском платке, притихли и заскучали.

Первым выступал Кудасов. Стоял он таким образом, чтобы видеть зал и видеть Данилова и в случае нужды не позволить Данилову одному утечь на ужин.

Потом вышли замоскворецкие шоколадницы и со сцены показывали зрителям новые конфеты «Волки и овцы», посвященные юбилею Островского. Конфеты эти были розданы на пробу участникам журнала, сидевшим за столом. При полной тишине зала, лишь в сопровождении барабанной дроби, как в цирке при роковом номере, участники прожевали конфеты, оживились, стали хвалить шоколадниц, а серые с красным обертки конфет пустили в публику для ознакомления. Дожевывая конфету, поднялся из-за стола и подошел к краю сцены с винтовкой в руке мастер спорта международного класса по стендовой стрельбе Борис Чащарин, только что вернувшийся из Уругвая. Он сказал, что говорить ему трудно, что его дело не говорить, а стрелять. Все же он попытался сострить, пожалев, что

напрасно зрители не пришли в клуб со своей посудой. А то пришли бы, стали б теперь подкидывать тарелки, и он показал бы класс. И тут над публикой возникла прекрасная фарфоровая тарелка из мейсенского сервиза, покрутилась над первыми рядами, подлетела к сцене и метрах в десяти над Чащариным прямо и застыла. Чащарин ошалело уставился на тарелку, вскинул ружье, выстрелил. Дробь ударила в тарелку, однако тарелка не разлетелась, лишь покачалась в воздухе, будто танцуя менуэт. Опустилась еще метров на пять. Чащарин выстрелил снова, и опять дробь вызвала лишь кружение взблескивающей в беспечных огнях тарелки.

«Ну нет! Хватит! – отругал себя Данилов. – Экое мальчишество!» Он сейчас же, раскрутив тарелку, отправил ее обратно в комиссионный магазин на Старый Арбат и сдвинул на браслете пластинку с буквой «З». Минутой раньше он забылся, перевел себя в демоническое состояние и устроил развлечение с тарелкой. «Шутник какой нашелся! – никак не мог успокоиться Данилов. – Будто юнец безрассудный!.. А ведь это я из-за Наташи! – пришло вдруг Данилову в голову. – Оттого я юнец, что Наташа здесь!..»

Сконфуженный стрелок Чащарин сказал, что в Уругвае климат не такой, как в Москве, и что он с дороги еще не привык к московскому атмосферному давлению, оттого и нет у него в руках прежней силы. Он сел, а встал худой подвижный человек в сатиновых нарукавниках, по виду бухгалтер, но на самом же деле конструктор машины, писавшей музыку, Лещов. Он сказал, что сейчас его машина, создавая вариации той или иной музыкальной темы или же оркеструя их принятыми композиторами способами, уже готова писать сложные сочинения на десять – пятнадцать минут звучания, не говоря уже о лирических и гражданских песнях. Когда же мы научимся искуснее делать полупроводники, машина сможет писать балеты, симфонии, а при наличии текста и оперы. Скажем, если возникнет нужда, можно будет пустить в машину учебник по алгебре для шестого класса и получить школьную оперу со сверхзадачей.

– А теперь мы попросим, – сказал конструктор Лещов, – солиста театра товарища Данилова Владимира Алексеевича сыграть нам на скрипке шестнадцать пьес, восемь из них написала машина, восемь люди с консерваторским образованием. А потом пусть уважаемая публика и ученые умы определят, что писала машина, а что люди. И давайте подумаем, как нам быть с музыкой дальше…

Данилов вышел на сцену с намерением сразу же поправить конструктора: не был он солистом, а был артистом оркестра и

вовсе не скрипку нес в руке. Однако что-то удержало его от первого признания, он лишь, поклонившись публике, учтиво сказал:

– Извините, но это не скрипка. Это – альт.

– Альт? – удивился Лещов. – Так если бы мы знали, что альт, мы бы планировали другой источник звука…

– Ничего, – успокоил его Данилов.

Когда он усаживался на высокий стул, обитый рыжей клеенкой, когда раскладывал ноты на пюпитре, он все думал: а вдруг Наташа ушла из зала и он ее никогда больше не увидит? Но нет, он чувствовал, что она здесь, что она откуда-то из черноты зала смотрит сейчас на него, и смотрит не из пустого любопытства, а ожидая от него музыки и волнуясь за него. И Данилов поднял смычок. Теперь он уже ни о чем ином не мог думать, кроме как о том, что сыграть все следует верно, нигде не сфальшивить и не ошибиться. Он был внимателен и точен, недавние его мысли о том, что сыграть эти пьесы удастся легко, без душевных затрат, казались ему самонадеянностью и бахвальством; в третьей пьесе он ошибся, сразу же опустил смычок и, извинившись перед публикой, стал играть снова. Вдруг у него, верно, все пошло легко, родилась музыка, и дальнейшая жизнь этой музыки зависела вовсе не от разлинованных бумаг, что лежали на пюпитре, а от инструмента Данилова и его рук, от того, что было в душе Данилова, от пронзительного и высокого чувства, возникшего в нем сейчас. «Бог ты мой, – думал Данилов, – как хорошо-то! Так бы всегда было!»

И когда умер звук, Данилов, словно бы не желая расставаться с ним, долго еще держал смычок у струн, но все же опустил и смычок и альт. Аплодисменты, какие можно было услышать после Китриных прыжков Плисецкой, нарушили его чудесное состояние. Растерянно Данилов смотрел в зал, готов был и молить: «Зачем вы? Не надо! Не надо… Посидите тихо… Не распугивайте мои звуки, они еще где-то здесь, они еще не отлетели…» Данилов обернулся и увидел, что и за столом люди в усердии хлопают ему, а гитаристы, высыпавшие из-за кулис, показывают большие пальцы. Мелехин, тотчас же оказавшийся рядом с Даниловым, зашептал ему страстно:

– Ты гений! Ты спас меня! Я и не думал, что ты сыграешь, после третьей пьесы я хотел сбежать… Мишку Коренева клял, негодяя и предателя. Но тут ты начал! Как ты играл! Ты всю душу мне вывернул! А ведь в нотах-то дрянь была, мура собачья!..

– Мура, – кивнул Данилов, – мура…

– Вот, держи, – сунул Мелехин Данилову конверт, – увидишь, мы не скупые…

– Что это?

– Деньги!

– Какие деньги? – не понял Данилов. – При чем тут деньги…

– Ну бери, бери, – сказал Мелехин, – не валяй дурака!

Тем временем конструктор Лещов выспрашивал у публики, какие, по ее мнению, восемь пьес написала машина. Люди посмелее выкрикивали с места, что первые три, а больше машина ничего и не писала. Встал юный лаборант и сказал, что, напротив, все сочинила машина, и она же все сыграла, а солист из театра водил смычком для видимости под фонограмму, как это делается на телевидении. Лаборанта стали срамить, обозвали дураком, технократом, козлом нечесаным, хотели запретить ему смотреть «Серенаду солнечной долины». Ученые умы, сидевшие за столом, тоже склонялись к тому, что машина сочинила первые опусы. Спросили Данилова, что он думает. Он сказал, что он ничего не думает. Тогда Лещов с торжеством, с каким принцесса Турандот объявляла ответы на загадки, гибельные для ее женихов, сказал, что машина написала пьесы вторую, четвертую, пятую, восьмую и с десятой по тринадцатую. Зал затих пристыженный. Но началась дискуссия.

Ринулся выступать Кудасов, хоть и был приглашен по другому поводу. С дрожью в голосе говорил человек в черной маске, скорей всего проницательный профессор Деревенькин, судили о музыке и другие умы. А Данилов их не слушал. Какие-то обрывки мыслей и фраз до него доносились, но его не задевали. Он сидел усталый, опустошенный… Сила, тонкая и серебряная, из него изошла. Данилов сейчас выпил бы кофе с коньяком или хотя бы две кружки пива. Во рту и горле у него было сухо, будто и не в инструменте десятью минутами раньше, а в самом Данилове, в его гортани и его легких рождался звук. «Как играл-то я хорошо! – опять удивился Данилов. – Отчего это?..» И тут он испугался, подумал, что, может быть, нечаянно сдвинул пластинку браслета и перешел в демоническое состояние.

Но нет, пластинки были на месте, пьесы Данилов исполнял, оставаясь человеком. «Нет, молодец! – сказал он себе. – Скотина ты, Данилов! Можешь ведь! Раз этакую дрянь сыграл, да еще написанную для скрипки, стало быть, умеешь! Только ведь тут одного умения мало и таланта мало, тут ведь и еще нужно нечто… Вдохновение, что ли, нынче снизошло?» Наверное, согласился Данилов сам с собою, снизошло. Отчего же ему и не снизойти… «А ведь я для Наташи играл», – подумал Данилов.

– Попросим теперь солиста театра, – услышал он голос конструктора Лещова, – поделиться мыслями о музыке, написанной машиной…

«Да при чем тут машина! – хотел было сказать Данилов. – Дура ваша машина. В душе моей музыка была!» Однако вымолвил неуверенно:

– Что же… Ну в общем… Спасибо ей, машине…

– Ну вот! – обрадовался Лещов. – Вот и музыканты начинают здраво судить о будущем, не первый уже…

«Кончили бы они эту болтовню! – взмолился Данилов. – А я бы нашел Наташу…»

Тотчас же, уловив его намерение, к нему подсел Кудасов и шепнул:

– Ну что? Едем сейчас к Муравлевым? А? А то ведь стынет там…

– Они вас пригласили? – спросил Данилов строго.

– Ну… – замялся Кудасов и поглядел на Данилова укоризненно, словно тот нарушил правила приличия.

– Вот и поезжайте, – сказал Данилов. – И передайте им мои извинения. А я не могу… Я давно не видел «Серенаду солнечной долины»… Это ведь музыкальный фильм.

– Ну да. Поезжайте… – засопел с тоской Кудасов. – Без вас они выставят на стол всякую дрянь…

Обиженный, он отсел от Данилова, двигался неуклюже, карманы его пиджака распирали образцы шоколадных конфет «Волки и овцы».

Потихоньку, не дожидаясь конца дискуссии, явно ведшей к посрамлению человеческой музыки, Данилов со стулом отъехал к кулисам и был таков. В пустынном (если не считать очереди у буфета) фойе он уложил укутанный платком инструмент в футляр, обернулся и увидел Наташу.

– Это вы… – растерялся Данилов. – А где же Екатерина Ивановна?

– Она в зале, – сказала Наташа. – А мне показалось, что вы сейчас уйдете и я вас больше никогда не увижу. Я и вышла. Спасибо вам за музыку!..

– Вам понравилось?

– Очень! Я давно так не чувствовала музыку…

– Вы знаете, – застенчиво улыбнулся Данилов, – отчего-то у меня сегодня получилось…

– А мы вам с Катей место держим… Вдруг вы решите остаться на «Серенаду».

Помолчав. Наташа вдруг спросила:

– А Миша Коренев? Отчего он не пришел? Ведь он должен был играть эти пьесы, я слышала…

– Вы знаете Мишу Коренева? – удивился Данилов.

Но тут в зале кончили петь электрические гитаристы,

растрогавшие публику словами о желтой любви, двери в фойе распахнулись, и Наташа увлекла Данилова в зал, кино, по ее словам, должно было тут же начаться. Свет погас, Данилов сидел уже между Екатериной Ивановной и Наташей, милый сердцу инструмент держал на коленях, словно уснувшего младенца. Фильм был хороший, как любое доброе воспоминание детства. Однако на экран Данилов смотрел чуть ли не рассеянно, и даже громкие, счастливые мелодии Глена Миллера, словно и не подозревавшие о неминуемой и скорой гибели маэстро в военном небе, не заставили забыть Данилова, что он сидит рядом с Наташей и это главное. «Что происходит-то со мной? – думал Данилов. – Разве прежде так складывались мои отношения с женщинами? Они были легки. Беспечны и азартны, как игры. Если ж и случалось мне робеть, так это – в первые мгновенья. А сейчас все во мне трепещет – эвон! – уже целый вечер! И не видно этому трепетанию конца… И хорошо, что не видно! Неужели это – наваждение? А вдруг интрига какая?» Но нет, эту гадкую мысль Данилов тут же отбросил.

Данилов уже не был уставшим и опустошенным, как на сцене, после музыки. Наоборот, он чувствовал теперь, что в него возвращается тонкая серебряная сила, и возвращается именно с левой сердечной стороны, то есть с той самой стороны, где сейчас находилась на земле Наташа.

Кончился фильм, Екатерина Ивановна попрощалась и пошла к трамваю, выглянул из-за угла последней надежды Кудасов и, все поняв, скрылся в досаде, а Данилов остался в тишине черно-белой улицы с Наташей.

– Я живу у Покровки, – сказала Наташа, – в Хохловском переулке.

– Это же мои любимые московские места, – честно обрадовался Данилов. – Переулки в Старых Садах. А уж ночью взглянуть на них – одна радость.

– Вы проводите меня? – подняла голову Наташа.

– За честь сочту, если разрешите.

Шли они берегом Яузы, а потом пересекли бульвар и голым, асфальтовым полем Хитрова рынка добрели до Подкопаевского переулка и у Николы в Подкопае свернули к Хохлам. Справа от них тихо темнели палаты Шуйских и выше – длинный, голубой днем, штаб эсеров, разгромленный в августе восемнадцатого и ставший нынче детским садом, а в кривом колене Хохловского переулка их встретила ночным гудом нотопечатня Юргенсона, ныне музыкальная типография, каждый раз обжигавшая Данилова памятью о Петре Ильиче, приносившем сюда свои теплые еще листы. Наташа молчала, Данилов ничего не говорил ей о своих

любимых местах, о путанице горбатых переулков, он отчего-то был уверен, что Наташа чувствует сейчас все, что чувствует и он. У Троицы в Хохлах, блестевшей и в ночи кружевным золоченым цветком свежего креста, они остановились. Налево убегала знакомая Данилову проходная тропинка в Колпачный переулок, к палатам гетмана Мазепы.

– В том большом доме я и живу, – сказала Наташа.

– Вот ведь судьба! – сказал Данилов. – А я часто тут бываю. Брожу по холмам, когда устану.

– А вы не знаете, – спросила вдруг Наташа, – отчего Миша Коренев отказался играть?

– Я не знаю. Вы из-за него пришли?

– Нет. Я и так бы пришла. Но он мне какое-то странное письмо прислал сегодня. Что-то о Паганини и еще…

– Вы с ним дружите? – спросил Данилов, он уже испытывал ревнивое чувство к Кореневу.

– Да… мы… дружили… – замялась Наташа. – Я его давно знаю. Мы с ним были в Перми… Я тогда сбежала из дома, из Москвы, с любимым в ту пору человеком, в театр, девчонкой была, мечтала стать актрисой…

– Теперь вы актриса?

– Нет. Я – лаборантка. Мы с Катей – в одном НИИ. Как это давно было и как грустно кончилось!..

Она повернулась резко и пошла к своему тяжелому сумрачному дому. Данилов спешил за ней, думал: «Что же нравится-то мне в ней? Да все! И волосы, и глаза, и руки, и плечи, и колени, и голос… Я и не знаю ее совсем, я не знаю, глупа она или умна, совестлива или бесчестна, добрая душой или мелочна… Я не знаю… Да и все мне равно… Разве могу я теперь исследовать свое чувство… Тогда и чувство-то исчезнет… Нет, я знаю уже: она хороший и добрый человек… Она по мне человек… А впрочем, какое это имеет сейчас значение…»

– Вот все, мой подъезд.

– Я теперь буду искать встречи с вами, – выдохнул Данилов.

– И я, – серьезно сказала Наташа.

Данилов правой рукой (левой он удерживал инструмент) коснулся Наташиных рук. Он почувствовал их доброту и, робея, но и решительно, привлек к себе Наташу, поцеловал ее. Она ответила ему, и не было холода в ее ответе.

Потом они стояли на лестнице у Наташиной квартиры и долго не могли отпустить друг друга. Время стекало в глиняный кувшин и застывало в нем гречишным медом. Наконец Наташа отстранилась от Данилова, взглянула на него серыми прекрасными своими глазами пристально и серьезно,

выскользнула из его рук, легким английским ключом отворила дверь и тут же ее за собой захлопнула.

«Эдак и голову потерять можно!» – подумал в волнении Данилов. Он опустился на ступеньку столетней лестницы и тут понял, что инструмента при нем нет.

Он бросился по лестнице вниз, оглядывая тщательным образом, будто собака Карацупы, все марши и площадки. Нигде инструмента не было.

Он выскочил на улицу. Осматривал, чуть ли руками не ощупывал все места, где они шли и стояли с Наташей и где, как он помнил, инструмент еще был с ним, однако поиски его были тщетными.

Инструмент исчез.

6

Утром Данилову позвонил флейтист Бочаров из эстрадного оркестра и сказал, что вчера днем покончил жизнь самоубийством их приятель по консерватории Миша Коренев, панихида завтра в двенадцать на улице Качалова, а похороны в Бабушкине, в два.

– То есть как? – прошептал в трубку Данилов.

Флейтист Бочаров сказал, что он сам толком ничего не знает, его дело обзвонить теперь знакомых, известно ему лишь только то, что Миша Коренев выбросился из окна своей квартиры, а она на пятом этаже кооперативного дома возле метро «Щербаковская». Оставил он записку «Прошу никого не винить…» на обрывке газеты. Смычок его валялся на полу, скрипка лежала на столе, на пюпитре же были ноты Двадцать первого каприса Паганини. У тех, кто вошел в квартиру первыми, создалось впечатление, что Миша играл, а потом отшвырнул скрипку и бросился прямо к окну.

– Он вроде женат был? – спросил Данилов.

– Да, – сказал Бочаров. – У него жена и две девочки. Если сможешь, завтра приходи.

– Хорошо, – сказал Данилов. – Я отпрошусь.

Долго он не мог подняться. Потом вздохнул и встал, рубашку надел. Ему надо было идти теперь в милицию, а затем в страховое учреждение.

«Он и Наташе написал что-то о Паганини! – вспомнил Данилов. Но тут же подумал: – А была ли Наташа-то?» Он и раньше хотел было позвонить Екатерине Ивановне и справиться о Наташе, но что-то удержало его. Да ведь и Екатерина Ивановна могла появиться вчера поддельная.

В милиции он подал заявление о пропаже альта, попросил инструмент отыскать. И страховое учреждение он поставил в известность о своей беде. Был он в бюро находок, осматривал и вещи, найденные в метрополитене, но инструмента нигде не обнаружилось.

В театре Данилова сразу же вызвали к телефону, и он услышал голос Муравлева.

– Вова, – сказал Муравлев, – мы снесли шубу в комиссионный. Так что в ближайшее время сможешь получить рублей пятьсот, отдать их Добкиным за свой альт.

– Спасибо, Витя! И Томе передай, пожалуйста, мою благодарность, – растроганно сказал Данилов. – Вы уж извините, что я вчера вас так подвел.

– Да ладно, – сказал Муравлев великодушно.

В оркестровой яме явление Данилова с дешевым, разжалованным было альтом вызвало удивление. В яме Данилова любили и муки его при осаде вдовы альтиста Гансовского принимали близко к сердцу. В звуках настраиваемых теперь инструментов внимательное ухо могло заметить некую нервозность и лишь иногда легкую высокую дрожь иронии.

Данилову было скверно, ему хотелось рассказать коллегам об исчезновении Альбани, но он смолчал, боясь назвать правду и ею спугнуть надежду на то, что инструмент вот-вот вернется к нему. Надежда эта и так уж трепетала последним осиновым листом. В милицию Данилов подал заявление на всякий случай, для душевного успокоения. Да и страховые люди послали бы его подальше, кабы он им сказал, что в милицию не ходил. Иногда ему все же казалось, что какие-то тени мелькали в тот вечер в Хохловском переулке и будто кто-то следил за ним и Наташей из-за угла. В одно мгновение Данилов подумал: а вдруг это электрические гитаристы, разглядев его альт, потеряли голову? Но нет, Данилов отогнал это подозрение как нелепое и мелкое: ведь и парни с кружевными манжетами были музыканты. «Эх, если бы действительно какой жулик украл мой альт!» – мечтал Данилов. Уж тут-то бы альт сыскался – в милицию Данилов верил. Однако мечта о жулике была хоть сладостной, но ложной, и Данилов это понимал. Он почти наверняка знал, что если и случился тут жулик, то уж жулик особенный. Не честолюбивому ли шахматисту Валентину Сергеевичу, неделю назад вручившему ему, Данилову, лаковую повестку с багровыми знаками, опять выпало деликатное поручение?

Если снова его дразнили или испытывали в приближении времени «Ч», то Данилову следовало проявить теперь выдержку и терпение. В этом Данилов убедил себя с большим трудом. Что-что, а уж терпение всегда было для него делом мучительным. Конечно, окунись сейчас Данилов в демоническое состояние, он бы сумел, используя свои связи и способности, отыскать следы инструмента. Но Валентину-то Сергеевичу, а главное, тем, кто за ним и над ним стоял, это только и надо было. Уж они-то теперь, наверное, и к служебным занятиям своим относились рассеянно и все ждали, когда Данилов отчается и проявит свою нервозность.

Не хотел Данилов теперь переводить себя в демоническое состояние еще и потому, что он постановил быть в музыке на Земле только человеком. А то ведь мало ли какие чудеса он мог явить миру. Явить-то он бы явил, но оказался бы с людьми не на равных, а таких условий игры, хотя бы и на альте, Данилов принять не желал. Ни в одной мелочи не был он намерен

отступать от своего решения.

«А может, оно и к лучшему, – подумал вдруг Данилов, – что Альбани мой исчез? На Альбани-то и дурак сыграет хорошо, а уж если я теперь отважился стать большим музыкантом, то мне и на простом инструменте надо будет зазвучать как на великом». Он даже несколько успокоился, уверив себя в том, что непременно и скоро сыграет замечательно и на своем альте за триста рублей.

«А ведь мелким делом занялись они, – подумал Данилов. – Хотя если Наташа была вчера не сотканная из флюидов, то и дело тут не мелкое…»

Сыграли «Дон Карлоса», расходились усталые. Запасной альт дурных слов от хозяина не услышал, прозвучал он нынче сносно, да и в чем он был виноват?

«А Миша Коренев, – думал Данилов, – премудрые загадки Паганини пытался одолеть без помощи Страдивари. Не было у него Страдивари, а была простая фабричная скрипка… Ему-то теперь – все равно… А для нас – все его муки остались…»

В оркестре сегодня тоже говорили о самоубийстве Коренева, и тут сыскались люди, как и Данилов, знавшие Мишу. Да и всех взволновала гибель музыканта. Что с Кореневым стряслось – об этом только гадали. В консерватории Данилов с Кореневым особо не дружил, в последние годы виделся с ним раза три, однажды – в концерте, а как-то – в Марьинских банях, сначала в парной, потом – в очереди за пивом. Был между ними разговор, удививший Данилова, но тут же им и забытый. Теперь открылось, что Коренев дружил с Наташей, при условии, что Наташа существовала.

Назавтра на панихиду он не поехал, а идти ли на кладбище – колебался. Он не любил похорон. Однако пошел. Мишину могилу он отыскал не сразу, увидел наконец скопление людей в холодной березовой роще, свернул туда и не ошибся. Народу было много, все больше молодые. Миша лежал спокойный, не искаженный ни мукой, ни болью, будто умер в полете к земле, а жестоких камней тротуара не коснулся. Худой остроносый человек читал над Мишей чьи-то стихи. У гроба стояла женщина лет тридцати в черном и две испуганные девочки. Вокруг было много знакомых музыкантов, кто-то из них молча кивнул Данилову, а кто-то просто скользнул по нему взглядом. Данилова сразу же что-то заставило оглянуться, и он за собой, в отдалении, у зеленой скамейки, увидел заплаканную Наташу. Данилов растерялся. Подойти к Наташе теперь он посчитал неприличным, так и стоял к ней спиной. Видение, думал, она или – земная? Сейчас он был почти уверен, что – земная.

Остроносый человек кончил читать стихи. Стало тихо. Только

перекликались зимние птицы. «Они вот поют, – думал Данилов, – и им все равно, есть ли у них талант, гений, зря ли они живут птицами или не зря. Они поют, и все. Тут всем все равно. И место-то какое ровное под тополями и березами. Всюду равенство…» Прежде, вчера и сегодня утром, Данилов ощущал смерть Миши Коренева скорее умозрительно, и Данилова волновало даже не то, что Миша ушел из жизни, а то, как он ушел из жизни. Теперь Данилов смотрел в успокоенное лицо Коренева, видно решившего в последние мгновения все, что он не мог решить за тридцать шесть лет, и для Данилова смерть из вчерашней холодной отдаленности подступала злой обжигающей реальностью. Слезы были на глазах Данилова. Он жалел Мишу, жалел его жену и двух испуганных девочек, жалел Наташу, жалел жизнь. Жалел себя. Он думал о том, что и ему самому очень скоро может наступить конец. Прежде он обманывал себя или размывал трезвые мысли о будущем сладкой беспечностью надежд. Теперь, над гробом Миши Коренева, обманы рассеивались.

Тем временем пятеро молодых людей со скрипками подошли к Кореневу и вскинули смычки. Возникла музыка, печальная, всех желающая примирить, трое могильщиков застыли, облокотившись на заступы, смотрели на музыкантов с интересом и без иронии. Чья это музыка, Данилов отгадать не смог, слышал он ее впервые, кто-то сказал рядом: «Это Мишина композиция». То, что Коренев писал музыку, было для Данилова новостью, и сейчас он, помимо своей воли, стал прислушиваться к ней так, будто сидел в концертном зале и хотел определить, хорошая эта музыка или плохая. И он понял, что в концертном зале он посчитал бы эту музыку посредственной, теперь же и здесь она была сильной. Рыдания стали сопровождать ее.

Но только лишь стихла музыка, стихло и все. И прощались с Кореневым тихо, могильщики и те молчали. А когда гроб стали заколачивать, вдова Коренева вдруг вскричала, обращаясь куда-то ввысь: «Будь проклята ты, музыка!» Ее принялись успокаивать, одна из девочек прижалась к матери со словами: «Не надо, не надо, мама!», но вдова все кричала: «Будь проклята ты, музыка!» Данилову стало жутко. И тут вдова ослабела, опустилась на табурет и застыла.

Бросив ком мерзлой глины на крышку гроба, Данилов подумал, что все они тут как язычники, насыпающие курган. А вокруг уже возникла житейская суета, стучали лопаты о ледяную землю, люди хлопотали с венками и портретом, разговаривали громко, опоздавшие выспрашивали, что и как было. Данилов решился подойти к Наташе, но тут он заметил, что металлическая ограда соседней могилы, видимо, недавно окрашена ядовито-

зеленой масляной краской, и люди, проходя в суете мимо нее, то и дело пачкают пальто, брюки, платья. Данилов встал возле ограды, говорил всем проходившим:

– Будьте осторожнее, прошу вас, свежая краска!

– Ах! – махали руками иные. – До этого ли теперь! Тут – вечное, а это – сиюминутное!

Однако и философы старались не запачкаться.

Данилов стоял на посту у ограды со всей серьезностью, но успевал смотреть и в Наташину сторону. Наташа с места не двигалась и никаких намерений не проявляла подойти ни к Данилову, ни к могиле. Держала в руках красные и белые розы.

Данилов стоял и слышал:

– Венки-то, венки влево заносите…

– …не знаю, по три рубля, что ли…

– Ни дирижер не пришел, ни первая скрипка, ни Тормосян. Даже и на панихиде не были…

– Кабы естественным образом ушел, тогда бы пришли… А так еще неизвестно, что он имел в виду, выбросившись из окна…

– Вот там под липой на могиле руль от грузовика вместо памятника. Неужели и Мише скрипку положат?

– Вряд ли. Он ведь от нее бежал-то, от скрипки. Испугался, что ли, ее…

– Не болел он разумом?

– Да нет, тих был в последнее время, в себе что-то таил, но ничего этакого не было. Только выпивши иногда говорил: «Посредственности все мы, посредственности, так и умрем посредственностями. Неужели Паганини был такой же человек, как я, как ты? Или он и вправду душу дьяволу заложил?»

– Миша ведь и позавчера хотел одолеть Двадцать первый каприс Паганини.

– Накануне он мне что-то твердил про машину. Мол, скоро машина будет писать музыку и исполнять ее не хуже любого гения. Я смеялся над ним…

– На поминки пойдешь?

– Нет, я вечером где-нибудь напьюсь… В ресторане или дома… Сейчас мне на запись, в Останкино…

– Пойдем… Вон автобусы у входа…

Подняли и вдову, повели с кладбища.

Тут Наташа подошла к могиле, положила на холмик, чуть присыпанный снегом, розы. Вдова уловила ее движение, остановилась было и даже будто бы хотела пойти назад, но опять утихла, подруги повели ее к воротам.

Данилов подождал Наташу.

– Вы со мной сегодня не говорите ни о чем, – сказала

Наташа. – И не провожайте меня. Но если завтра захотите позвонить мне, вот мой телефон.

И, протянув Данилову клочок бумаги, она повернулась быстро и пошла мимо оград и крестов тропинкой влево, видно, не желая быть замеченной вдовой Коренева.

У ворот кладбища Данилов решился подойти к вдове и, извинившись, протянул ей белый конверт, полученный позавчера от Мелехина.

– Что это? – растерянно спросила вдова, не здесь она была и неизвестно, что видела перед собой теперь.

– Это, знаете ли… – смутился Данилов. – Ваш муж выступал в нашем НИИ, и это деньги, какие мы ему остались должны…

– Кто вы? – спросила вдова.

– Я Мишин знакомый, – сказал Данилов. – Я работаю в НИИ… в клубе…

– Спасибо, – сказала вдова. – Вы садитесь с нами в автобус, у нас дома мы помянем Мишу…

Делать Данилову было нечего, он поднялся в автобус. Но хотя там уже и сидело много знакомых, желания ехать на поминки не было. «Лишний я там буду», – думал Данилов. Но он был рад, что вдова приняла деньги и что дело, необходимость исполнения которого мучила его весь день, вышло просто и без неловкостей. Автобус свернул с проспекта Мира, не доезжая до станции «Щербаковской», остановился возле известного Данилову белого дома с лоджиями, и тут Данилов незаметно от знакомых ускользнул.

«Пойду-ка я сейчас в Марьинские бани, – решил Данилов, – благо они напротив, выпью пива, если повезет…» Именно в Марьинских банях он и разговаривал в последний раз с Мишей Кореневым.

Пиво в банях было.

В темном буфете с мочалками, мылом на прилавке и пивным краном, над всем царившим, народу набилось множество, как, впрочем, и всегда в будние дни. Стояли строители в мазаных робах, продавцы из «Бытовой химии», тогда еще не сгоревшей, мастера с «Калибра» – кого тут только не было! Морщинистая, седая продавщица, известная как баба Зина, отстоя пены не ждала, усмиряла инвалидов, лезших без очереди, то и дело выкрикивала: «Кружки! Кружки! Мальчики, не держите кружки! Кто с бидонами, тем буду наливать!»…

Данилов пробился в угол буфета, не расплескав пива на спины любителей, две кружки поставил на доску-стойку, обегавшую помещение, сдвинув газетную бумагу с огрызками колбасы и сыра, а одну кружку выпил сразу же и порожнюю

пустил обратно к бабе Зине.

– Парень, аршин есть? – толкнули Данилова в бок.

– Что? – растерялся Данилов.

– Ну аршин, я спрашиваю, есть?

– Нет, стакан я с собою не ношу, – сказал Данилов сердито и отвернулся к стене.

«Вот так же мы и стояли здесь с Мишей год назад, – подумал Данилов, – и стакан у нас спрашивали, может, тот же самый человек и спрашивал… А Миша ему тогда сказал: „Заведи складной!“»

Миша в тот день был грустен, пиво пил кружку за кружкой, но как-то без аппетита и словно бы не понимая, что пьет. А Данилов воблой его угощал. И вобла-то была с икрой. Но Миша то и дело застывал взором и усы, роскошные, д’артаньяновские, щипал, да так яростно, будто и в самом деле желал вырвать из усов клок. Разговор поначалу шел тихий и вечный, какие случаются между московскими знакомыми, долго не видевшими друг друга: как живешь, где и кем работаешь, сколько получаешь, есть ли дети (о женах вопросов не возникает, да и к чему они?), какая квартира, как с машиной. Миша спрашивал и сам отвечал, а Данилов тянул свое пиво и узнавал, что дела у Миши крепкие, денег он добывает вдоволь, несколько лет подряд ездил на гастроли на Восток и на Север с ансамблями и певицей, играл и пел сам в биг-битовой манере, в иные месяцы имел за это и по две тысячи. Стало быть, есть и «Жигули», и квартира, и две девочки с женой одеты. И вдруг Мишу прорвало. Кружку он от себя отодвинул резко, пиво расплескал, заговорил жадно, зло, неважно было ему, Данилов перед ним стоял или какой иной посетитель буфета Марьинских бань. «Хватит, хватит, хватит! – говорил Миша. – Хватит мне всего! И денег, и женщин, и развлечений, и комфорта! Это все шелуха, целлофан. Это все средства существования! А само-то существование – где? Где оно? Рано или поздно, но все мы оказываемся наедине с жизненной сутью – и что мы тогда? Ничто! Жизнь проиграна, Данилов! Что есть жизнь? Жизнь есть страсть. Жизнь есть жажда. Страсть и жажда к тому, что ты принял за свою земную суть. Ты-то, Данилов, знаешь, в чем моя земная суть… А я трусил, трусил, боялся рисковать, боялся нести ношу не по плечу, боялся, что от этой ноши мне не станет лучше, боялся жертвовать собой и потому предавал… Все… Я не верующий человек, но слова Иоанна Богослова меня поразили: „Любовь изгоняет страх… Боящийся не совершен в любви…“ Ты понял? А я боялся, легко оправдывая свою боязнь, и жил легко, я боялся и был не совершен в любви – и к музыке, и к женщине, и к самой жизни. И теперь я не то что не

люблю, я просто ненавижу себя, жизнь, музыку! Хотя нет, музыку я еще совсем не разлюбил… Тут у меня остался единственный шанс… Я еще смогу… Ты помнишь, что говорил о моих способностях профессор Владимирский?» Данилов не помнил, но кивнул на всякий случай. А Мише и кивка не надо было. Он сразу же стал говорить о том, что ходит теперь к тренеру-культуристу. Тот задает ему особые упражнения для мышц и сухожилий плеча, предплечий, кистей рук и пальцев, и он, Миша, в последние месяцы почти добился того, что задумал. «Вот смотри! – сказал Миша. – У Паганини руки и пальцы были длиннее, но я теперь компенсирую это тем, что у меня…» Однако Миша не докончил, а взглянул на Данилова с подозрением, как на лазутчика, в глазах его появилось трезвое выражение испуга, будто он выдавал теперь государственную тайну. «Ну ладно, – сказал Миша, – мне надо идти», и он быстро, с неким жужжанием, словно изображая полет шмеля, покинул пивной буфет Марьинских бань. Лишь с последней ступеньки крутого порога, как с пьедестала или кафедры, бросил Данилову, минуя звуком кружки и запретные стаканы: «Помни! Боящийся не совершен в любви!» И исчез.

Нервные Мишины излияния тогда расстроили Данилова, но, если разобраться по совести, он остался к ним глух. Данилов знал уже свою дорогу в музыке, Мише он мог только сочувствовать, но что тому – его сочувствие. А через полчаса заботы дня заставили Данилова забыть о Мишиных волнениях. Заботы те были из долгов, из общественных поручений, из бездарного проигрыша «Динамо» на последних минутах «Спартаку». Теперь Данилов вспомнил слова Коренева, и они озарились для него иным светом.

– Скрипка никому не нужна?

Немытый опухший инвалид в мятом кителе железнодорожного проводника расталкивал занятых пивом людей и раздражал их ущербным предложением. Небритый волос его был бел и мягок, лежал на щеках пивной пеной. Инвалида гнали тычками, оберегая свои драгоценные кружки, без всякого к нему сочувствия, как и полчаса назад, когда он, крича, что в его вагоне Геринга везли на процесс, лез без очереди к пивному крану.

– Скрипка никому не нужна? А? За бутылек отдам!

– Какая еще скрипка?

– А я почем знаю, какая. Скрипка, и все. Со струнами. В футляре. Большая скрипка. Футляр – дрянь, а скрипка вся лаком покрытая. Четыре рубля, и больше не надо.

– А на кой, дед, мне скрипка-то? Или вот ему?

– Сыну купи, о детях-то думай, не все пей! Бантик ему на шею надень и пусти в школу. Или можешь этой скрипкой гвозди в стену вколачивать, она крепкая. А то можешь на струнах сушить

платки или кальсоны.

– Дед, сознайся, спер ты скрипку-то!

– Упаси бог! Я Геринга на процесс в вагоне возил. Никогда не ворую. В своем дворе нашел, на Цандера, на угольной куче. Так и лежала. Я во дворе обошел всех музыкантов. Кто на баяне играет, кто на губной гармонии, кто на электричестве, а скрипка никому не нужна. Я ведь недорого прошу. Поллитру, и все. Но уж не уступлю ни рюмки. Лучше разобью дрыну-то эту с футляром.

– Иди-ка, дед, отсюда, здесь не подают.

– Простите, – сказал Данилов, – а где, собственно, ваша скрипка?

Инвалид осмотрел Данилова, оценил, видимо, его тихую, интеллигентную натуру и сказал:

– А за дверью. Здесь с ней не протолкаешься.

Только что Данилов был в воспоминаниях о Кореневе и разговоры инвалида воспринимал рассеянно, краем уха. Теперь он шел за ним в волнении, почти наверняка знал, что ему покажет инвалид. На воздухе инвалид поманил Данилова за угол бани, тут на мерзлой земле, дурно к тому же пахнущей, Данилов увидел свой альт.

То есть сначала он увидел старый потертый футляр, но инвалид неловко открыл футляр, альт и обнаружился.

– А платок где? – заикаясь, спросил Данилов.

– Какой платок? Какой еще платок? – удивился инвалид, но отвел глаза.

– Там платок был, – сказал Данилов, стараясь говорить спокойнее.

– Никакого платка! Никакого платка! – сердито забормотал инвалид. – Не хочешь скрипку брать – не бери!

Было ясно, что инвалид завладел платком, но теперь он, ворча, стал закрывать футляр, да и о платке ли стоило беспокоиться Данилову! А он не знал, что ему делать. Заявить инвалиду, что это его, Данилова, инструмент и, выхватив альт из рук отставного проводника, уйти с ним или убежать? Инвалид сейчас бы поднял крик, и публика из пивного буфета, не разобравшись, в чем дело, бросилась бы с удовольствием за Даниловым и его самого, несомненно, помяла бы, и альт, уж точно, искалечила бы до потери звука. Вести же инвалида в милицию, в пятьдесят восьмое отделение, что возле магазина «Диета», тоже было предприятием неверным – инвалид с альтом мог утечь по дороге. Оставалось – альт выкупать.

– Сколько вы за него просите? – сказал Данилов.

– За кого – за него?

– Ну, за нее…

– Сколько, сколько! Сколько стоит. Поллитру.

– Ладно, – сказал Данилов.

Он стал рыться в карманах и нашел рубль с мелочью. «У меня же были деньги, – растерянно думал Данилов. – Я же с деньгами вышел…» И тут он вспомнил: да, деньги у него были, но он их отдал вдове Миши Коренева.

– Вы знаете, – в волнении сказал Данилов, – четыре рубля у меня не набираются…

– Ну хорошо, – сжалился инвалид. – Гони три шестьдесят две, и ни копейки меньше. И так без закуси остаюсь.

– У меня всего рубль с мелочью…

– Ну нет! – возмутился инвалид, поднял инструмент и держал его теперь под мышкой. – За такую-то большую скрипку! Это на самый дерьмовый портвейн! Сам и пей!

Данилов взял инвалида под руку, заговорил ласково:

– Знаете что, поедемте ко мне домой. Тут всего-то дороги на полчаса. Я вам на десять поллитр дам…

Подозрения, возникшие, видно, в инвалиде, теперь укрепились и разрослись, он отодвинулся от Данилова подальше в уверенности, что этот хитрый бородач заманивает его в гибельную ловушку.

– Другого дурачь! – зло сказал инвалид. – Нету четырех рублей – ну и иди гуляй.

– Я вам через сорок минут привезу! – взмолился Данилов. – Вы только подождите.

– Если я через десять минут стакан не приму, меня врачи не поправят. Организм ослаблен после вчерашнего. Я эту скрипку через десять минут крушить стану.

И инвалид, повернувшись, пошел с инструментом к двери в пивной буфет.

– Постойте! – вскричал ему вослед Данилов.

Но инвалид был непреклонен.

«Что же делать? Что же делать?» – судорожно думал Данилов. Не хотел он, ох как не хотел нарушать свой принцип и демоническим образом возвращать альт, знал, что потом долго будет корить себя за слабость, и теперь чуть ли не кричал на себя, малодушного, чуть ли не топал на себя ногами, но услужливое соображение: «на мелочь нарушишь, только на четыре рубля и нарушишь-то!» – все же осилило. Данилов, закрыв глаза, перевел на браслете пластинку со знаком «Н» вперед, поймал в воздухе две мятые бумажки. Кинулся вдогонку за инвалидом, нашел его в буфете, инвалид пил пиво.

– Вот! Держите! – вскричал Данилов.

– А уж я загнал! – рассмеялся инвалид, разжал левый кулак, и

на его ладони Данилов увидел трешку и рубль.

– Кому? – ужаснулся Данилов.

– А леший его знает! Маленький такой в кроликовой шапке. Он мне сразу четыре рубля отвалил. И на кружку дал. А ты жмотничал, деньги прятал…

– Куда он пошел?

– Куда пошел, туда и пошел. Мне-то что! Хоть бы и в Африку. Я вот в магазин!

Кинулся Данилов на улицу, в одну сторону пробежал, в другую – нигде не было человека в кроличьей шапке и с инструментом. Да ведь и в ста направлениях можно было уйти от Марьинских бань! Тот уж человек с покупкой сел, наверное, в троллейбус или трамвай. Данилов остановился в отчаянии. Одно лишь было у него приобретение – на некий туманный след он мог указать уголовному розыску. И тут из-за кирпичного угла Марьинских бань высунулась радостная и мерзкая рожа честолюбивого шахматиста Валентина Сергеевича, вручившего Данилову в собрании домовых лаковую повестку с багровыми знаками, высунулась, показала Данилову красный язык и исчезла.

«Вот оно что! – понял Данилов. – Дразнят меня! И дразнят-то глупо, а вот провели как ребенка! Им только и надо, чтоб я ответил. Терпи, Данилов, терпи. Как друга прошу, терпи. И так уже вляпался, хоть и на мелочь, хоть и на четыре рубля, а все втравился в их развлечение. И не то плохо, что они получили удовольствие – пусть их тешатся, а то плохо, что я в нетерпении изменил принципу. Нет, все. Альт для меня должен перестать существовать. Нет Альбани – и все. И не было. И не будет…»

Однако Данилов посчитал, что все же не лишним будет зайти к следователю в милицию и рассказать ему про инвалида и про покупателя в кроличьей шапке. А вдруг останкинская милиция окажется сильнее и расторопнее порученца Валентина Сергеевича?

Вечером играли «Лебединое». Данилов думал о Наташе. Были мгновения, когда душа его так сливалась с музыкой Петра Ильича, что Данилов чувствовал себя принцем Зигфридом, а Наташа виделась ему бедной заколдованной лебедью, и Данилову хотелось пойти и разрушить в прибрежных камышах злые чары. Когда партия альта в партитуре по желанию Петра Ильича отсутствовала, Данилов доставал из кармана клочок с телефоном Наташи и рассматривал его. Но вот злой гений был сломлен, утих перьями на подметенном в антракте полу, музыка воссияла финалом. Зажглись и электрические огни. Чуткий на ухо дирижер за сценой подошел к Данилову, сказал ему: «Спасибо!» Данилов удивился, он был смущен, он чувствовал, что играл хорошо, но от

дирижера одобрения не ожидал. «Ваш инструмент сегодня украшал наш оркестр», – добавил дирижер, поклонился и пошел по коридору. «Он-то, наверное, думает, что при мне Альбани…» – пришло в голову Данилову. Отрадно было то, что слов дирижера никто не слышал…

Банное явление альта все вернуло на свои места. Что Данилову было дорого – по тому и били. Пока были довольны альтом, а узнали бы про близкого человека – и человека этого тут же бы смяли ради своих холодных забав. Даже если сейчас Наташе плохо, даже если он ей нужен, все равно оттого, что он окажется рядом с ней, ей же в конце концов станет хуже. Он, Данилов, человек, но он еще и демон на договоре. И рисковать будущим Наташи, а то и жизнью ее, он не имеет права. Ему уже сообщено о времени «Ч», оно ему еще не названо, но где-то определено с точностью до микросекунд и может быть объявлено ему в любое мгновение. Судьба его взвешена и просеяна в ситах, что же ему теперь-то морочить Наташе голову и ранить душу, коли завтра он станет вдруг никем, утеряет свою сущность и даже не перейдет ни в какое вещество! Но это ладно, это его жизнь. А как бы не пострадала Наташа оттого, что он, Данилов, был теперь влюблен в нее, как бы не сгубила ее его земная любовь.

Данилов в троллейбусе разорвал клочок с телефоном Наташи и сунул бумажки в ящик для использованных билетов. Однако облегчения не испытал – номер телефона он помнил.

Обычно после «Лебединого» Данилов, успокоенный, просветленный, засыпал быстро. А теперь все ворочался. Как будто бы и не Наташа его беспокоила, с Наташей дело было решено. Данилов выпил барбамил, но барбамил не помог. Стараниям барбамила явно препятствовало нечто постороннее. И тут пластинка с буквой «Н» на его браслете сама собой сдвинулась вперед, подтолкнув Данилова в демоническое состояние. «Вот оно! Вызывают! Сейчас и назначат уточненное время „Ч“!» – подумал Данилов, хотя и знал, что время «Ч» объявляется иным способом. «Примите депешу!» – ощутил Данилов деликатный сигнал. Депеша была короткой, Данилов расшифровал ее сразу же и уяснил, что на Землю по премиальной путевке Канцелярии от Наслаждений на две недели каникул направляется однокашник Данилова по лицею Кармадон.

Данилов понял из депеши, что Кармадон в последние годы провел блестящие операции в созвездии Волопас, теперь премирован отдыхом на Землю, и Данилов обязан взять на себя хлопоты об его ночлеге и развлечениях. «Что же, они не знают, что ли, что мне назначено время „Ч“? – подумал Данилов. – Если не знают, то и пусть!»

Данилов перевел себя в человеческое состояние и скоро заснул. Засыпая, опять вспомнил слова Миши Коренева: «Помни, Данилов, боящийся не совершен в любви!»

7

Утром в половине шестого Данилова разбудил телефон. «Неужто Наташа?!» – вскочил с постели Данилов. Звонила его бывшая жена, Клавдия Петровна.

– Слушай, Данилов, – сказала она. – Я собираюсь выйти замуж за профессора Войнова…

– Я слышал, – сказал Данилов, задерживая зевок. – Это который по экономике Турции… Я рад за тебя…

– У меня сегодня очень важный день: при профессоре начинается мой испытательный срок, ты должен освободить меня от всех забот, я прошу тебя как друга, – решительно сказала Клавдия.

– То есть каких забот? – взволновался Данилов.

– Ты должен выполнить уйму моих дел, и домашних, и служебных. Мне надо развязать руки, ты сам понимаешь, как трудно и рискованно будет мне поначалу при таком серьезном человеке, как Войнов.

– Но я-то тут при чем! – тенором взвился Данилов. – Я же тебе давно не муж. Мы разведены судом!

– Ну, Данилов, милый, ах какой ты несносный, ты же обещал быть мне другом… Ну смилуйся, государыня рыбка! Ну-у… А, Данилов?.. И потом, наконец, прости, что я тебе об этом напоминаю, но ты ведь мог быть отцом моего ребенка… Даже отцом многих моих детей… – Последние слова Клавдия произнесла с прежней лаской, но и с угрозой, давая Данилову понять, что имеет все права на исполнительный лист и из-за несговорчивости Данилова своими правами вынуждена будет воспользоваться, хотя это – крайний случай и дурной тон.

– Помилуй… – начал было Данилов, но Клавдия тотчас же сказала голосом, каким могла заговорить умирающая лебедь Сен-Санса – Плисецкой, уже затрепетавшая ослабшим крылом:

– Если ты мне не поможешь, я повешусь, ты меня знаешь…

– Ну ладно, – вздохнул Данилов. – Но я могу только по утрам…

– Вот и прекрасно! – воскликнула Клавдия. – На неделю!

Сразу же она продиктовала Данилову список своих забот. Было в нем шестнадцать пунктов. Данилов записывал заботы и думал о том, что и сегодня, верно, он снова не получит из химчистки синие брюки.

Он все ждал каких-нибудь особенных толчков внешних сил, независимого от него движения демонической пластинки браслета или уж, на крайний случай, совершенно

необыкновенного, скандального знака, объявившего бы о прибытии Кармадона. Но нет, Кармадон не являлся. «А жаль», – думал Данилов. Теперь он полагал, что Кармадон наверняка освободил бы его от забот Клавдии Петровны. Может быть, он даже испепелил бы ее в сердцах. Но, видно, отпускные задержали Кармадону, а то и премиальные.

Хотя у Данилова не было никакого желания вступать в переговоры с внеземными силами, то есть помимо всего прочего напоминать о себе, однако он вступил.

В связи с прибытием Кармадона он потребовал у Канцелярии от Наслаждений индикатор, на манер счетчика Гейгера, который бы тут же фиксировал наличие вблизи Данилова демонических сил. «Для удобства сопровождения Кармадона в пространстве, – объяснил Данилов. – Ща-а-а как мне да-а-адут!» – думал он, зажмурившись. Однако индикатор ему тут же прислали. «Что же, они и в самом деле, что ли, не знают о времени „Ч“?» – удивился Данилов. Индикатор походил на шариковую ручку системы «Рейнольдс», на самом верху его при наличии вблизи демонических сил должна была высветляться изнутри голая рубенсовская женщина в красных сапогах. Данилов сказал мысленно: «Ну, Валентин Сергеевич, держитесь!» Настроение у него улучшилось, был он самонадеян, смел, полагал, что Валентин Сергеевич теперь где-то далеко и внизу.

Утром по списку забот Клавдии Петровны Данилову следовало отправиться в Настасьинский переулок, в дом номер восемь. На листочке, пахнувшем перламутром для ногтей, изящно и лениво было написано: «Зайти и отметиться в очереди. Хлопобуды. Будохлопы». Дом, крепкий, когда-то доходный, Данилов отыскал легко. Перескакивая через ступеньки, Данилов все же не сразу оказался на втором этаже, он отвык от старых лестниц, в своем кооперативном строении он был бы уже, наверное, под крышей. Согласно бумаге Данилов позвонил в квартиру номер три. На двери была медная табличка, на ней изображение куриного яйца с пасхальным рисунком и курчавые слова: «Юрий Ростовцев, окончил два института», а ниже, в скобках, меленько: «из них один университет». Дверь приоткрылась, и высокий мужчина, в очках, лет тридцати пяти, с лицом веселого и кормленого ребенка, выглянул на волю. Смотрел он на Данилова с любопытством, но и с сомнением, словно бы чего-то ждал. Или слов каких или пароля. «Хлопобуды», – сказал на всякий случай Данилов. «Будохлопы», – кивнул Ростовцев (а это был он), то ли поправляя Данилова, то ли отвечая на пароль. Но дверь тут же распахнул и Данилову улыбнулся. Каким Данилов ни был в то мгновение деловым, а все

же отметил удивительное обаяние румяного хозяина квартиры. «С этаким не пропадешь, – подумал Данилов, – с этаким любая авантюра не страшна, и в очереди за пивом морду не побьют, и если в ресторане чистую скатерть попросит, официантка в такого салатницу не швырнет…» Впрочем, у самого Данилова обаяния было не меньше. Но всегда ли был уверен в себе Данилов? Увы, не всегда…

– Мне отметиться в очереди, – сказал Данилов.

– Сюда проходите, пожалуйста, – поманил его Ростовцев, закрыл дверь, а сам исчез в боковой комнатушке. В руке его Данилов успел увидеть вересковую трубку несомненно федоровской работы.

Прихожая в квартире была огромная, в доме Данилова в ней обязательно бы устроили площадку для игры в городки, а то и просто, на всякий случай, забили бы ее со всех сторон досками и фанерой. Теперь в прихожей или в коридоре, где виднелись между прочим детская коляска, вешалки, велосипеды и оцинкованное корыто, повешенное на крепкий гвоздь, теснились десятки людей. Свет горел, и Данилов мог заметить, что публика собралась в прихожей отменная. Все люди были исключительно приличные, прекрасно одетые, не курили, не толкались, чего следовало бы ожидать в очереди, и говорили вполголоса. Почти совсем не имелось в прихожей юношей, в особенности длинноволосых, а те, которые были, жались как-то, на себя не походили, не хамили, видно было, что они кого-то заменяют. Большинство же ожидавших относились к среднему поколению, самому деятельному и динамичному теперь. Здесь стояли сорока– и тридцатилетние люди, в самом соку, а им и еще соки предстояло добирать. Хозяин квартиры Юрий Ростовцев, окончивший два института, был, пожалуй, из них самый бедный и несолидный, пусть и имел федоровскую трубку. Дамы присутствовали пышные, цветущие, в дорогих нарядах, и Данилов представил, что и его бывшая жена Клавдия Петровна выглядела здесь бы неплохо. Данилов вспомнил, что на подходе к дому – в переулке и на улице Чехова – он видел много личных машин, все больше «Волг», а то и каких-нибудь там изумительных «опелей» и «пежо» с московскими номерами. Не иначе как на тех машинах прикатили сюда люди из очереди.

– Данилов, и вы тут?

Данилов обернулся. Кудасов стоял перед ним.

– Я не за себя, – сказал Данилов.

– Номер-то у вас какой? – спросил Кудасов.

– У меня никакого…

– Ну а у того-то, вместо кого вы? Если не секрет…

– Сейчас посмотрю, – сказал Данилов, – у меня где-то есть бумажка… Двести семнадцатый, что ли…

– Я чуть впереди, – сказал Кудасов. – Это вы за Клавдию Петровну, наверное?..

– Да…

– Вы номер-то на ладони чернилами напишите.

– Зачем на ладони?

– Ну как же… Для верности… Здесь все так делают… Вот мою ручку возьмите… Чернила хорошие.

Данилов поневоле вывел на ладони «217», ручку вернул с благодарностью, сказал:

– Давно я не писал номеров на ладони.

– А то как же… Здесь ведь такая публика – палец в рот не клади! Я вот на двух написал, на одной – арабскими, на другой – римскими, да и покрупней, чем вы.

Было душно, и Данилов распахнул пальто.

– Ба, да у вас у самого ручка-то есть! – сказал тут же Кудасов, углядев известный нам индикатор.

– Она не пишет, – поспешно сказал Данилов.

– Шведская?

– Шведская, – согласился Данилов.

– Кабы заглянуть…

– Да пожалуйста… – жалобно сказал Данилов.

Он протянул Кудасову ручку, опасаясь при этом, как бы не засветилась грешным делом голая рубенсовская женщина в красных сапогах. Женщина не засветилась, ничего демонического в квартире Ростовцева не было.

– Умеют же, – сказал Кудасов, возвращая индикатор.

– Умеют, – вздохнул Данилов.

– Но, видно, дешевая она…

– Недорогая…

– А вот умеют…

Зная Кудасова, Данилов чувствовал, что очень скоро Кудасов поставит его, Данилова, в такое положение, в каком ему ничего не останется делать, как подарить Кудасову шведскую недорогую ручку, а Кудасов еще и ломаться станет… «Но нет уж, шиш!» – подумал Данилов.

Но тут индикатору во спасение дверь одной из комнат открылась, и в прихожую стремительно вышли люди, явно те, которых ждали. Были они чрезвычайно озабоченные и значительные, ни на кого не глядели, ни с кем не здоровались, спешили куда-то, в другую комнату, словно в преддверии великих событий, с очередного заседания на внеочередное. Все задвигались, с готовностью стали уступать дорогу, сжимаясь и

делаясь плоскими, а тоже были, видно, люди не простые. Дамы вставали на цыпочки, желая углядеть, кто ж там идет-то. Впереди шествия Данилов заметил маленького человека с черной бородкой, верткого, легкого и решительного, он и придавал движению ритм и важность, то был известный социолог Облаков, доктор наук, Данилова в какой-то компании знакомили с ним, у Добкиных, что ли. К удивлению своему, Данилов увидел среди прошедших и известного ему директора магазина Галкина. Дама в зимнем парике обернулась к Кудасову и Данилову, вся возбужденная и пылкая:

– А вот тот-то, тот – кто, в сером костюме?

– Комментатор-международник, по телевизору выступает, – обиженно сказал Кудасов. – И сюда просочился!

– Да нет! Не тот в сером костюме, а который в сером костюме сзади шел!

– Врач.

– Косметолог?

– Диетолог.

– А гинеколог где же?

– А я почем знаю! – сердитый Кудасов отвернулся от дамы, прохождение комментатора-международника в числе распорядителей, видно, поубавило в Кудасове куртуазности.

Важные люди прошли, закрыли за собой дверь. В прихожей сразу стало шумно, в очереди вот-вот должно было возникнуть движение. То, из-за чего не выспались и не курили в коридоре, начиналось.

– А вы что же, не сумели сюда пробиться? – сказал Кудасов. – Или проспали?

– Да как-то недосуг было…

– Вот и зря… А впрочем, я вас знаю… – покачал головой Кудасов. – Вы человек беспечный – живете только нынешним днем. Думать о будущем вам и в голову не приходит… И детей у вас нет…

– Да уж куда тут… – вздохнул Данилов.

– Номер первый! – деловито прозвучало в прихожей.

И стали номера по очереди проходить в комнату с комиссией, или как там ее называть, а оттуда возвращались вскоре и теперь уже, довольные, шли к выходу. Очередь двигалась потихоньку, Данилов расстегнул все пуговицы пальто, а лохматую нутриевую шапку, чудом купленную ему Муравлевым в пригородном меховом ателье за двадцать рублей, повесил на криво загнутый угол оцинкованного корыта. Он прикинул в уме скорость движения очереди и понял, что проведет здесь полтора часа. «Ну, Клавдия!» – пригрозил он подруге профессора Войнова. Впрочем,

и сам он был хорош!

Но вот отметился Кудасов, улыбаясь и засовывая бумажник в потаенный карман пиджака, прошел мимо Данилова. А через четверть часа вызвали и номер двести семнадцатый. Данилов двинулся было на вызов, но вдруг ему стало жалко нутриевую шапку, висевшую теперь от него далеко, не хотелось бы ее терять, а тут еще прихожую пересек со сковородкой в руке, направляясь, видно, на кухню, румяный тридцатилетний отрок Ростовцев, и Данилов отметил, что обаятельный-то он обаятельный, но в сущности пират и, наверное, где-то прячет клад.

– Номер двести семнадцатый, – сказали опять.

«Ну ладно, – подумал Данилов. – Шапка не инструмент, да и демонических сил здесь нет…» И он пошел в большую комнату, видно, столовую.

– Номер двести семнадцатый?

– Да, – улыбнулся Данилов, – двести семнадцатый…

И он предъявил ладонь с чернильными цифрами.

Спрашивал не Облаков, социолог и доктор наук, хотя Данилов сразу понял, что он тут главный, а крупный пегий человек в пушистых баках и усах, сидевший на три стула левее Облакова. Он держал ручку и имел перед собой зеленую тетрадь, то ли ведомость, то ли вахтенный журнал.

Вообще же люди, сидевшие за пустым обеденным столом, накрытым индийской клеенкой в шашлычных сюжетах, а их было девять человек, походили и на приемную комиссию, хотя Данилову и трудно было представить заседание приемной комиссии в комнате с телевизором, старенькими тумбочками в балясинах, ореховым трюмо, мраморным рукомойником и немецкими ковриками на стенах – гуси на них паслись и прыгали кролики возле склонившейся к ручью Гретхен, видимо, дочери мельника. При этом люди за столом опять показались Данилову такими значительными и большими, что Данилов сразу же почувствовал расстояние между ними и собой, он даже заробел на мгновение, будто он стоял теперь у подножья пирамиды Хеопса (по новой науке – Хуфу), а эти люди глядели на него с последних великаньих камней пирамиды.

– Ваша фамилия? – спросил пегий человек.

– Данилов, – ответил Данилов.

– У нас таких нет, – сказал пегий человек.

– Я за Соболеву Клавдию Петровну, – сказал Данилов.

– Отчего она доверила вам?

– Я ее бывший муж… – сказал Данилов.

Пегий человек с сомнением поглядел на Облакова, тот наклонил голову и сказал быстро:

– Бывшим мужьям доверять можно.

– Все же покажите какой-нибудь документ, – сказал пегий человек.

Он изучил театральное удостоверение Данилова и его паспорт, а данные паспорта – серию, номер, каким отделением милиции выдан и когда – записал в зеленую тетрадь.

– Хорошо. Мы отмечаем Соболеву.

– Я могу идти? – спросил Данилов.

– А взнос?

– Какой взнос?

– Пятнадцать рублей.

– Она мне ничего не говорила, – сказал Данилов. – При мне нет пятнадцати рублей… Она попросила отметиться – и все… Придет в следующий раз и заплатит…

– Она прекрасно помнила об этих пятнадцати рублях, – мрачно заявил человек в красивых очках, именно его Кудасов назвал международником, Данилов ему явно не нравился.

– Вы займите пятнадцать рублей, – доброжелательно сказал Облаков. – Наверное, в очереди у вас есть знакомые.

При этих словах директор магазина Галкин принялся рассматривать кроликов милой Гретхен.

– У меня здесь нет знакомых, – сказал Данилов, он был рад тому, что Галкин отвернулся.

– Ну… – развел руками Облаков.

– Придется Соболеву Клавдию Петровну, – строго сказал пегий человек, – перенести в конец очереди. Новый номер ей будет назван при уплате взноса.

– Как же так… – растерялся Данилов. – Она забежит сегодня и уплатит…

– Правила очереди серьезные и незыблемые, мы исключений не делали и делать не намерены.

– И вообще, – сказал международник в красивых очках, на Данилова не глядя, – я полагаю, у нас нет никакой необходимости вступать в дискуссии со случайным посетителем.

В тишине Данилов с некоей надеждой посмотрел на Облакова, но и тот был незыблем.

– Спасибо, – сказал Данилов. – До свидания.

Ему даже не ответили.

«Серьезные люди», – подумал Данилов.

Нутриевая шапка благополучно висела на неровно загнутом углу оцинкованного корыта, и Данилов ее тотчас же снял. «Цела шапка-то, – подумал он растроганно. – И верно, серьезные люди. С такими можно иметь дело».

И опять в прихожей появился румяный Ростовцев,

окончивший два института, махорочный дымок исходил из его федоровской трубки, а на плече у Ростовцева сидел зеленый попугай. «Нет, точно злодей», – рассудил Данилов.

На воздухе Данилов подумал: «Ну вот будет Клавдии наука за ее скупердяйство!» Однако тут он нашел, что чувствует себя обиженным или раздосадованным, будто это его, а не Клавдию, упрекнули в забывчивости и легкомыслии и перенесли в конец очереди. Он видел теперь в истории с лишением номера – попрание справедливости. «Какое они имеют право! – возмутился Данилов. – Нет, это дело так оставить нельзя… Да я их разнесу! Тоже мне бюрократы!»

Он позвонил из автомата Клавдии.

– Данилов, слушай! – горным ручьем зазвенела в трубке Клавдия. – Я тебе звоню, звоню, а ты вот где! Я тебе сейчас все расскажу, как у нас идут дела с Войновым, ты порадуешься за меня. А сейчас скажи, ты отметился?

– Я-то отметился… – сказал Данилов.

– И прекрасно! Я всегда знала, что ты чудесный, милый человек. Слушай, вчера я вязала Войнову шерстяные носки, ты знаешь, чего мне это стоит, но я связала пятку! И при этом поддерживала с ним светский разговор… А утром, представь, он любит морковное желе и бульон с фрикадельками, я все приготовила, да еще как!..

«Мне хоть бы раз связала носки», – подумал Данилов и сказал сурово:

– Уволь меня. Меня не интересуют ни пятки, ни фрикадельки, ни профессор Войнов, ни твоя у него стажировка!

– Ну, Данилов…

– Я-то отметился, но тебя не отметили, а перевели в конец очереди.

– Я так и знала! Так и знала. Ты пожадничал?

– Не надо было ставить меня в глупое положение, могла бы предупредить о взносе и передать мне деньги.

– Ах, наказание какое! Ты просто бессердечный человек! Ну свои бы дал или занял у кого!

– Спасибо за совет.

– Что же делать-то теперь?

– Не знаю… И кто эти будохлопы? Хлопобуды эти?

– Тише, тише… это тайна…

– Вот и хорошо. И все твои заботы будут для меня теперь тайной. Список я тебе перешлю по почте…

– Погоди… Это не для телефона. Ты где?

– На Горького. Сейчас зайду в кулинарию.

– Хорошо, через двадцать минут я буду там!

«Нужна ты мне!» – думал Данилов, стоя в кофейне бывшего магазина «Украина» и пережевывая бутерброд с жирной, словно на ней полагалось жарить, любительской колбасой. Как все было нелепо! Сам он, Данилов, стоял на краю жизни, вихри внутренней музыки и предчувствия того, что он в музыке должен сделать, мучили его. Наташа, несмотря на все отчаянные усилия воли Данилова, никак не выходила из его сердца и его души, альт, может быть, исчез навсегда, и каково от сознания этого было Данилову, а он занимался какой-то чепухой, будто бы опять был связан с совершенно чужой, неприятной ему женщиной, пустой и взбалмошной бабой! И ведь она ему совсем не была нужна, да и он ей годился лишь как вспомогательное средство, как багор матросу или банка для червей невскому рыболову!

«Нет! Я сейчас же встану и уйду!» – сказал себе Данилов.

Но сейчас же возникла красивая, бисквитная с шоколадом и цукатами, Клавдия. Была она в лисьей шубе и лисьей же рыжей шапке.

– Ну вот, – сказала Клавдия Петровна, – насчет Войнова ты успокойся. Там у меня все идет хорошо, тьфу, тьфу, постучи по деревяшке…

– Я успокоился…

– Теперь про очередь… Как же это ты?.. Неужели у тебя не было пятнадцати рублей?

– Действительно, – сказал Данилов. – Экая вдруг со мной оплошность произошла…

– Ну хорошо, – сдалась Клавдия. – Я виновата. Но ты сам понимаешь, – про очередь никому ни слова. Это эксперимент… И его можно сглазить, понимаешь?

– Нет, – признался Данилов.

– Ну какой ты… Помнишь, как «Современник» получился? Бедные, голодные, никому не известные актеры после работы по ночам, по утрам, за чашкой кофе что-то там репетировали, кричали, ругались, во что-то верили и вдруг – бац! – «Вечно живые»! «Современник»! Билеты с рук! Собственный буфет! А теперь их еще и лоно МХАТа приняло в свои объятья! Вот и наши. В неурочные часы, на общественных началах…

– Прости, но пятнадцать рублей? Это уж иные начала…

– А-а! – махнула рукой Клавдия. – Но зато они у нас и не бедные, и не неизвестные. А наоборот! И все с будущим – а стало быть, с гарантией для нас…

– Кто они? Кто эти будохлопы-то?

– Хлопобуды, – поправила Клавдия. – Научно-инициативная группа хлопот о будущем. «Хлопобуды» – это Ростовцев придумал.

Тут она оглянулась и заговорила страшным шепотом. То есть

не то чтобы страшным, а скорее зловещим. Опять я не прав. Клавдия Петровна вообще не умела говорить страшно и зловеще. Она заговорила шелестящим таинственным шепотом. Медные застежки лисьей шубы Клавдия Петровна расстегнула, и на ласковой шее ее странным светом взбрызнули японские инкубаторские жемчуга. В инициативную группу хлопот о будущем, понял Данилов, сошлись замечательные умы. Люди ключевых, на сегодняшний день, профессий. Те же кибернетики, имеющие дело с ЭВМ, из института Лужкова, понадобились им лишь на подсобные работы, связанные с расчетами, просчетами и прочей математикой. Высшей и низшей. А так ядро группы составили социологи во главе со знаменитым Облаковым, футурологи, юристы, психологи, философы, два частных фрейдиста, специалисты по экономическим и международным вопросам и бог весть еще кто, даже один писатель: ну этот для того, чтобы править протоколы и ведомости и – если возникнет нужда – простыми словами описывать удачные дела хлопобудов. А на вторых ролях – для консультаций и практических действий – группа предполагала использовать – и использовала уже! – людей любых профессий: и начальников ЖЭКов, и агитаторов, и вагоновожатых, и врачей, и охотников, и собаководов, и парикмахеров, и мозолистов, и мастеров наземной часофикации, и реставраторов лица, и преподавателей вузов, и модельеров от Зайцева, и детективов, и дизайнеров, и аквариумистов, и председателей месткомов – да кого хочешь, лишь бы все эти лица были деловые и значительные, не больные и не старые, лучше до сорока, и могли протянуть на своем посту еще, по крайней мере, два десятка лет.

– Ну хорошо, – сказал Данилов, – а ты чего ждешь от хлопобудов?

Нежными, чуть полными пальцами в двух изумительных перстнях – с сердоликом и бриллиантом – Клавдия Петровна донесла сигарету «Уинстон» к чистой тарелке и легким движением стряхнула пепел на фаянс.

– Это сложный вопрос, – сказала она. – Это и философский вопрос. Тут все словами не назовешь, тут надо страждать. Да, страждать… И особая интуиция тут нужна. Ты можешь не понять… Или понять не так.

– И все же? – сказал Данилов. – Вдруг и пойму.

– Каждый порядочный человек, уважающий себя, – сказала Клавдия Петровна, – желает жить хорошо и даже лучше, чем хорошо. И желает занять положение, какое ему по душе. Перейти из последних в первые. Ну не в первые, а в восьмые. Какая разница!

– Ты со мной, что ли, была в последних?

– Не в самых последних, – мило улыбнулась Клавдия Петровна. – Но, Володенька, увы, близко к ним… Не обессудь. И хватит об этом. Нынешним своим положением я довольна. Вот ежели все выйдет у меня с Войновым, я и совсем на время успокоюсь… Но на время… Ведь жить-то надо страстями!

– Страстями? – спросил Данилов.

– Да, – сказала Клавдия Петровна, – страстями. Ты живешь чувствами, а мне нужно – страстями. Это не я придумала, это нынче стиль такой.

– Я знаю, что это не ты придумала…

– А теперь у меня все есть или с Войновым будет. Я женщина заурядная, но своего стою. Я в соку. Я красивая. Я красивая, а, Данилов?

– Красивая, – согласился Данилов.

– Что нужно женщине? Слава? Удачи в общественной деятельности? Я проживу без них, я и так эмансипированная. Славы деловой мне и задаром не надо, она не по мне, я смотрю на работу как на свободу от домашних дел, унизительных для женщины, отупляющих ее, – вон взгляни на свою знакомую Муравлеву, она вся погрязла в бездуховности! Одна коса оттуда торчит. И то – натуральная… И перегрузки мне не нужны. Они вообще – для любителей. Славы иной, увы, я уже не получу, мне не стать ни Софи Лорен, ни Надеждой Павловой…

– А если бы ты вовремя постаралась, – спросил Данилов, – ты что же, стала бы ими?

– Ах, отстань! Слушай серьезно. Итак, отбросим славу и подвиги. Остается любовь. Остается вечная и главная мелодия женщины. И здесь для меня первое правило – не быть в любви несчастной. Но и не делать несчастным мужчину. Или мужчин.

– Естественно, не таких мужчин, как я, – сказал Данилов.

– Сам посуди, Володенька, ты человек неустойчивый и легкий, ты можешь увлечь неопытную доверчивую девушку с пылким воображением и без приличного туалета, но составить счастье женщины с богатой и требовательной натурой ты не способен… Ты вот даже пятнадцать рублей… Хотя я не жалею о прошлом и за квартиру я тебе благодарна… Но профессор Войнов сильная и деловая натура. Ты, Данилов, оркестрант. Войнов даст мне все… То есть я и сама бы этого всего достигла, но уж когда Войнов возьмет меня под руку, я словно бы иной персоной стану… На другие места мы станем садиться… И уж с этих мест на худшие меня не пересадят. Я и салон заведу.

– Прости, но, скажем, Волконская Зинаида была интересна гостям, умела и музыку писать, и стихи, и играла неплохо…

– Какой ты, Данилов, бестактный! Твоя Волконская была бездельница, а я работаю для народа… Сорок часов в неделю… Но это одно про Войнова… А другое… У меня теперь будет машина, и не «Жигули», а «Волга» дача, не садово-огородный сарай, а приличная профессорская дача в Загорянке… Квартиры будет две…

– Две? – встрепенулся Данилов.

– Что? – взглянула на него Клавдия Петровна и, сообразив, что разговор может принять неловкий для нее оборот, заторопилась: – И надо будет обязательно выехать за границу. Войнов уже согласился вывезти меня хотя бы года на три… И ему нужно для работы… Но, конечно, не в Турцию… Что там в Турции!.. Они, турки эти, в гаремах с утра до вечера пьют кофе и душат свободы!.. Есть же и другие страны – Италия, Франция, Англия, наконец, и оттуда Войнов сможет взглянуть на турецкие проблемы.

– Сможет, – кивнул Данилов.

– Но я увлеклась. Я же про другое тебе хочу сказать. Про хлопобудов. Сейчас я всем довольна. А через десять лет? Или через двадцать? Или тридцать? Что мне будет нужно тогда? Теперь ты понимаешь, почему я записалась в очередь? И даже не в одну, а в три?

– Хлопобуды завтрашним днем, что ли, торгуют?

– Да не торгуют! Как они могут торговать! Странный ты человек, Данилов! Они его и не предсказывают. Просто они все делают по науке. Ведь могут демографы сейчас точно сказать, сколько детей надо рожать женщине в восьмидесятом, девяностом, двухтысячном году, чтобы человечество сохранило в нормах воспроизводство своего, прости, поголовья. Или вот лесники. Они тебе назовут, сколько деревьев надо будет посадить через пять, десять, двадцать лет, чтобы, как верно поет Золотухин, который был хромой, а теперь Бумбараш, и на тот век лесу было «да ой-ей-ей!»… А уж футурологи, те вообще все наперед знают – у них движение каждой пылинки в истории определено – и так и в процентах – и травки каждой прозябанье…

– Неужто и гад морских подводный ход? – спросил Данилов.

– Насчет морских не знаю… Но у нас там есть человек из фирмы «Океан»… Он разберется с морской рыбой, если надо… Я тебе азы объясняю… Ты понял?

– Угу, – кивнул Данилов.

– А наши-то умы, из хлопобудов, тоже не последние. Главные в группе – системные аналитики. Их бог – Облаков. Они такие движения души ловят, на каких любая машина споткнется. Подойдет моя очередь, они меня всю разумом и чувствами

просветят, ну и медицинской аппаратурой просветят, представят меня в восьмидесятом, девяностом и двухтысячном году и скажут, что мне будет нужно и что – теперь и тогда – мне следует предпринять.

– При условии, что ты будешь жить страстями?

– Возможно… Хотя не исключено, что страсти возьмут и выйдут из моды. Аналитики все должны определить с точностью до сезона и учесть. Но и мы должны умно, по-научному сформулировать нынешние свои запросы. Чтобы не сбить аналитиков с толку.

– И часто они берут по пятнадцати рублей?

– Не редко… По графику… Чтобы мы сознавали свою ответственность… Да и что теперь жалеть мелочь? Ведь потом-то как бы не пришлось переплачивать.

– За что?

– Ну как за что… – удивилась Клавдия Петровна.

– Хорошо, – сказал Данилов. – Ладно. Получишь, положим, ты справку. На три десятилетия. Но ты измучаешь себя откровением хлопобудов.

– Себя – нет! Других – да!

– К счастью, – сказал Данилов, – я в твоих дальних хлопотах полезным быть не смогу…

– Кто знает…

– Нет, нет, ни в коем случае, – испугался Данилов, – эту неделю отдежурю, как обещал, и все…

– Подумаешь, пятнадцать рублей! – сказала Клавдия Петровна. – Многие в очереди даже и не ради себя стоят. А ради детей. Хотя и не все рожали. Что же экономить на детях! Потом репетиторам втрое дороже заплатишь!

– И о высшем образовании детишкам хлопочут?

– Кто о высшем. Кто о среднем, обязательном. Скажем, как частный вопрос, выясняют, и правильно делают, в школы с каким языком надо будет устраивать ребенка через десять лет. Может, тогда самым стоящим станет исландский язык. Или там ямайский диалект.

– Слушай, а вдруг через десять лет модно будет иметь по трое детей, – подумал Данилов. – Ты что же, родишь?

– Рожу, – сказала Клавдия Петровна.

– А пока будешь терпеть?

– Я и терплю, ты сам знаешь…

– Впрочем, это все частности…

– Частности, – согласилась Клавдия Петровна. – Для меня частности. Я буду знать главное, а частности сами откроются. Но многие-то именно из-за частностей в очереди и стоят. Дуры есть

замечательные. Ну и дураки тем более. Уж раз по пятнадцать рублей платишь, то и… А они… Некоторые думают, что через очередь пошьют шубы и пыжиковые шапки по себестоимости… Ждут и туфли на воздушной платформе… Одного типа, видишь ли, манит магический кристалл.

– А Кудасов, он-то что ходит?

– Не знаю. Наверное, и ему нужны какие-нибудь прогнозы. Я для Войнова тоже кое-что узнаю… Если мне его припрогнозируют…

– Или прифутуруют…

– Или прифутуруют… А может, Кудасов печется о службе… Тут многие со служебными болями…

– Ну вот, получишь ты прогноз. И что дальше?

– Дальше! В группе кроме системных аналитиков есть конструктивисты. Вон известный тебе Галкин, директор магазина. Скажем, узнаю я в частности, что в восемьдесят шестом году мне понадобится пальто из моржовой кожи, и сейчас же запишусь к нему в очередь…

– И десять лет будешь отмечаться?

– И буду! Зато вовремя, даже чуть раньше получу вещь. Конструктивисты они у нас оттого конструктивисты, что все наши проблемы, осознанные аналитиками, будут конструктивно решать… Кому какие конструктивисты окажутся нужны, тот к тому в очередь и встанет… Кто к косметологу, кто к начальнику ЖЭКа… Но все это частности…

– Что же главное?

– Это тайна. Но я… – тут улыбка слетела на перламутровые губы Клавдии. – А я уже знаю кое-что. У меня есть уже сведения… Я не все знаю, но я догадываюсь… Я не скажу, как я узнала и через кого… Но поверь мне… У меня есть одна сумасшедшая идея…

– Достаточно сумасшедшая?

– Конечно, достаточно. Достаточно безумная идея.

– Стало быть, и тебе нужны три карты?

– Ах, Данилов! – нежной ладонью Клавдия прикоснулась к его щеке, прошлое растеплив. – Если бы ты был Сен-Жермен… Нет, я уж сама все устрою!

– Но я зачем-то тебе понадобился, раз ты мне все это рассказываешь?

– Я и сама не знаю зачем… Может быть, зачем-то… Ну хотя бы ты поможешь восстановить потерянный номер… Скажешь им, что это ты был виноват с пятнадцатью рублями… Мои деньги хотел себе присвоить… Мы вместе пойдем, и ты им что-нибудь скажешь…

– А к чему тебе номер, если ты и так все узнаешь?

– Нет. Я обязательно должна получить официальную справку. И потом, в очереди интересно… Разговоры… Люди… Знакомства очень полезные… Через три дня мы с тобой пойдем и восстановим номер…

– Но…

– Нет! Раз уж ты виноват… Раз уж пожадничал… И потом вдруг я тебя в свою безумную идею посвящу, а?

Тут послышался страшный разбойничий свист. Машины на улице Горького вздрогнули и остановились. Бутерброды и венгерские слоеные пирожки, подпрыгнув с буфетной стойки, посыпались Данилову с Клавдией на столик. «Кармадон, что ли?» – подумал Данилов. Но вот машины поехали, колбасу уборщицы подняли с пола и положили обратно на хлеб, пирожки и бутерброды были возвращены в буфет, а Клавдия все стояла и жадно глядела на улицу, открыв перламутровый рот.

Глаза Данилова двинулись по следу ее, и Данилов увидел, как мимо кулинарного магазина не спеша прошел румяный Ростовцев с федоровской трубкой во рту.

Клавдия решительно запахнула шубу, направилась к двери, сказала Данилову: «Я тебе позвоню… Действуй по списку… Извини…» И была такова.

8

Данилов вернулся домой за инструментом, чтобы ехать с ним в театр, и лифтерша-привратница, а их товарищество тратилось на привратницу, сказала Данилову, что его дожидается какой-то молодой человек, но она его наверх не пускает, ни лифтом, ни ногами, он подозрительный и несамостоятельно одетый.

Подозрительный человек тем временем встал с третьей ступеньки лестницы и сделал шаг в сторону Данилова. Шаг робкий, неловкий, при этом человек пошатнулся. Был он лет двадцати семи, худ и высок, хорошо выбрит, серую кепку держал в руке, а пальтишко имел действительно незавидное, осеннее.

Якобы по причине теплого воздуха возле лифта Данилов распахнул пальто и взглянул на индикатор. Нет, и теперь голая рубенсовская женщина в красных сапогах не осветилась внутренним светом. А озорник Кармадон, однокашник Данилова, мог ведь именно с серой кепкой возникнуть из эфира и в непохожем на себя виде. Хотя бы и погорельцем с ребенком в руке.

– Владимир Алексеевич, – сказал молодой человек, – я отниму у вас минуту, не больше. Фамилия моя Переслегин, но это не имеет никакого значения. Я пишу музыку. То есть я неизвестно что пишу, но я хотел бы писать музыку… То есть это я все зря… Вы меня поймите… Вы меня не знаете… Я кончил консерваторию лет через десять после вас… У меня есть одна мысль, то есть не мысль, а надежда, одно предложение к вам… Один разговор… Я был на вашем концерте в НИИ, я оказался там случайно… Я две ночи потом не спал… Но я не решусь на разговор с вами, пока вы не посмотрите это…

Переслегин выдернул из-под мышки папку, на которую Данилов вначале не обратил внимания, папку конторскую с коричневыми тесемками, тесемки разошлись сами собой, и Переслегин протянул Данилову стопку нотных листков.

– Хорошо, – сказал Данилов растерянно, – я посмотрю.

– Сделайте одолжение, – сказал Переслегин. – Если найдете эти бумаги хоть в чем-то интересными вам, если посчитаете, что я могу быть вам полезен, вызовите меня открыткой, я вложил ее, она с адресом, а телефона у меня нет. Если же, прочитав ноты, вы разведете руками, разорвите их и киньте в мусоропровод…

Переслегин, воротник подняв, двинулся к двери, привратница Полина Терентьевна, движением души удлинив шею, глядела ему вслед, Данилов чуть было не пустился за Переслегиным вдогонку.

– Постойте, куда вы, если у вас есть ко мне разговор, так

зачем предварительные условия?..

– Нет, нет… Вы сначала посмотрите!

И дверь за Переслегиным закрылась.

– Этот не подозрительный, – сказала Полина Терентьевна. – Этот хуже…

– Вы так думаете? – спросил Данилов.

– Я не думаю, я вижу, – сказала Полина Терентьевна.

В лифте Данилов посмотрел, что это за листки. На титульном было написано: Переслегин. Симфония номер один. «Э, нет, – подумал Данилов, – что же я так, на ходу, потом будет время, потом и посмотрю». Его обрадовала мысль о том, что вот хоть один музыкант, а посчитал его игру на устном журнале в НИИ хорошей. Хорошей? Наверное. Если бы посчитал дрянной, подумал Данилов, то разве стал бы он узнавать его адрес, да и рисковать достоинством или еще чем, догадываясь о Полине Терентьевне. Не мог же он не догадываться о Полине Терентьевне! А вот пришел.

Данилов даже решил, что несколько дней он вообще не будет смотреть ноты – вдруг музыка Переслегина окажется бездарной! Сразу же и его радость развеется. Вот, значит, кому нравится его игра!

Чернила Кудасова были хорошие. Данилов долго оттирал номер «217», применял пемзу и наждачную бумагу. Данилов был домашний умелец, не раз открывал двери соседям, когда у тех ломались ключи или в замках, естественно – английских, коварно заскакивали собачки, и в хозяйстве своем имел много полезных вещей. «Эко я вляпался с Клавдией! – думал Данилов. – До душевных откровений дело дошло… Наверняка она в связи со своей достаточно сумасшедшей идеей имеет виды и на меня… На двадцатую роль – посыльным быть или подставным лицом или на шухере стоять – но имеет… Нет, следует решительно послать эту даму подальше!»

И все же Данилов думал с любопытством: «Что же это за идея такая замечательная?» Клавдия ведь прямо вся дрожала, когда говорила о ней. Теперь она небоскребы будет сдвигать на Новом Арбате, коли они ей помешают, а идее даст ход. Дама неугомонная!

С запасным альтом в руке Данилов направился было к двери, но тут зазвонил телефон. Данилов поднял трубку и услышал Екатерину Ивановну.

– Володя, вы, наверное, меня не узнали? – спросила Екатерина Ивановна.

– Ну как же, Катенька, – обрадовался Данилов, – неужели я могу вас не узнать!

Хотя он уже опаздывал и понимал, что ему придется теперь ловить такси, он действительно обрадовался звонку Екатерины Ивановны. Данилов сразу почувствовал, отчего она ему позвонила. Сначала поговорили о том о сем, о Муравлевых, о сыне Екатерины Ивановны Саше, страдальце художественной школы, слившем вчера в туалет с досады на тяжелые уроки весь имевшийся в доме шампунь, а заодно и дезодорант, о том, что муж Екатерины Ивановны, также приятный Данилову Михаил Анатольевич, опять находился в отъезде, посетовали на недостаток времени – закрылась выставка коллекции Зильберштейна, а они на ней не были. И тут Екатерина Ивановна сказала все еще шутливым тоном:

– А вы, Володенька, хороши были в нашем НИИ, хороши… И играли замечательно… И вообще… Меня потом все расспрашивали, откуда я вас знаю…

– Нет, серьезно? – смутился Данилов.

– А одна моя знакомая, та и вовсе… Вы на нее произвели большое впечатление.

– Катя, я понимаю, о ком вы говорите… И Наташа произвела на меня большое впечатление…

Теперь Данилов уже не знал, как ему продолжать разговор – прежними ли легкими словами или же словами серьезными. На всякий случай он поднес к трубке индикатор, сейчас, в беседе с Екатериной Ивановной, это движение показалось ему неприятным, чуть ли не подлым, но рисковать Наташиной судьбой он не имел права – мало ли на какие шутки были способны порученец Валентин Сергеевич и его наставники! Индикатор и по звуку мог учуять демонические усилия. Однако рубенсовская женщина и теперь не ожила.

– Вы знаете, Володя, – сказала Екатерина Ивановна, и Данилов почувствовал, что сейчас она говорит серьезно, – может быть, я все это зря, и, может быть, вы посчитаете меня дурным человеком, но я решилась вам позвонить и сказать, что Наташе теперь плохо.

Екатерина Ивановна замолчала, но и Данилов молчал.

– Нет, она не больна, – опять отважилась Екатерина Ивановна. – Но я чувствую, что ей очень плохо. И я не знаю, чем ей помочь. Володя, я понимаю, что мой звонок глупый. Наверное, бестактный. Я не вправе вмешиваться во что-либо подобное… И вас, Володя, к чему-то будто бы обязывать… Но вот я не удержалась и позвонила…

– Я вас понимаю, Катя… – сказал Данилов. И тут же спросил: – А что же с Наташей?

– Просто плохо ей, – сказала Екатерина Ивановна. – Я и сама

не знаю отчего… Она гордая. Она ничего не скажет ни мне, ни вам. И как будто бы она боится чего-то, словно бы ей что-то угрожает…

– Вся-то моя беда, Катя, состоит в том, – сказал Данилов, – что свободен я бываю либо рано утром, либо ночью.

Не успела Екатерина Ивановна ему ответить, а Данилов уже ругал себя в отчаянии: ему бы сейчас же, забыв обо всем на свете, о театре, об альте, о музыке, о тихой необходимости сидения в оркестровой яме, забыв о собственной жизни и собственной погибели, забыв, забыв, забыв, нестись к Наташе и быть возле нее, а он мямлил в трубку жалкие слова. «Экий подлец!» – говорил себе Данилов. Но, с другой стороны, что он мог сказать теперь Екатерине Ивановне? Плохо ли, мерзко ли было сегодня Наташе, а уж он-то, Данилов, завтра принес бы ей беду куда большую. Так что же было ему делать сейчас? Отречься от Наташи, раз и навсегда закончить их отношения, заявив Екатерине Ивановне решительно, что он тут ни при чем, мало ли у него подобных знакомых? Так, что ли? Он и себя старался уверить впопыхах, что его чувство к Наташе – блажь, возникло под влиянием минуты и, наверное, уже улетучилось, оставив в душе его некую тень или пусть даже боль. На все эти мысли ушли мгновения, Екатерина Ивановна ждала от него слов, и Данилов вместо решительной фразы, сам себя упрекая в безволии, произнес:

– Ладно, Катя, я что-нибудь придумаю…

А что же он мог придумать? Повесив трубку, одетый, в шапке и пальто, сидел он у телефонного столика. Бороду теребил. Нет, думал Данилов, обманываю я себя. Не улетучилось чувство, быльем не поросло. Наоборот, стало оно очевидней. Вся его натура рвалась к Наташе. Свои-то мысли и желания он мог смирить, да и должен был смирить их, но вот и впрямь, может быть, сейчас же следовало отвести от Наташи печали и напасти? Вдруг в сие же мгновение требовалась Наташе помощь, а потом было бы поздно! Может, теперь, как к альту несколько дней назад, и к Наташе подбирался бочком, бочком и на цыпочках пронырливый порученец Валентин Сергеевич, а за ним и незримые его хозяева?

Данилов вскочил, нервно стал ходить по комнате.

Теперь он уже знал, что нарушит правило договора, хоть это и будет мгновенно учтено. «А-а! Пусть! – махнул рукой Данилов. – Была не была!» Иных возможностей он не имел. Он перевел себя в демоническое состояние, настроился на Наташину душевную волну. Перенестись в Наташину жизнь невидимым существом или хотя бы заметной глазу пылинкой он не захотел. То есть такое ему и в голову не пришло, иначе случилась бы

гадость, словно бы он тайно стал подглядывать за Наташей. Он жаждал ее видеть. Но не мог. Он остался дома у телефонного столика и возбудил аппарат познанья. Он мог теперь увидеть всю Наташину жизнь насквозь, вглубь и ввысь, но и это было бы дурно, он не имел никакого права знать Наташино сокровенное без ее нужды. А уж открывать для себя ее будущее он и вовсе боялся. Оттого Данилов в аппарате познанья взвинтил лишь систему избирательных точек, надеясь получить верные сведения только о том, что касалось его нынешней заботы. И он получил их, но не тотчас же, как полагалось бы, а минуты через две. Данилов был нетерпелив, рассчитывал почти всегда на себя, аппаратом познанья пользовался редко, и он в Данилове не то чтобы заржавел, но, наверное, был плохо смазан, чуть поскрипывал. А Данилов и забыл, каким маслом смазывать его в условиях Земли – касторовым или репейным.

Добытые Даниловым сведения несколько его успокоили. Пока Валентин Сергеевич и его командиры Наташу не осадили: то ли пожалели, то ли оставили ее про запас. Причины сегодняшнего состояния Наташи были внутренние, человеческие, а потому Данилов и не стал в них вникать.

Теперь, зная главное, Данилов задним числом даже отругал себя: разве можно было ему в ожидании времени «Ч» нарушать правила договора! Впрочем, он часто ругал себя задним числом… Данилов вздохнул: что теперь жалеть-то! Он уверил себя в том, что пока опасность со стороны Валентина Сергеевича Наташе не грозит. Они, враги его, видно, не слишком верят в серьезность его чувств к Наташе (не то что к альту), держа его за ветреника, а если и верят, то ждут, чтобы он вовсе увяз в этих чувствах и себе на горе наделал дел. Значит, время у них с Наташей пока было – и следовало им воспользоваться. А там будь что будет, решил Данилов, а там что-нибудь придумаю, как-нибудь выкручусь и уж не поставлю Наташу под удар! После депеши о Кармадоне Данилов опять стал беспечным и гулял, как с воздушными шарами в майский день, с надеждами на то, что его дружба с Кармадоном и вовсе отменит время «Ч». Да и без Кармадона, полагал Данилов, он сам обязательно придумает выход из гибельного тупика, сядет как-нибудь и придумает.

Однако время шло, и он обязательно опоздал бы в театр, если бы попытался остановить такси человеческим способом. «А! Нарушать так нарушать!» – лихо сказал Данилов, нисколько не жалея забубенную головушку, будто в порыве удали. Тотчас же в дверь ему позвонил таксист и спросил, не он ли, Данилов, заказывал машину из третьего парка. «Да, я», – сухо ответил Данилов.

Вернувшись домой, Данилов настроен был, несмотря на позднее время, звонить Наташе. «Пошли бы заботы Клавдии подальше!» – опять сказал себе Данилов. Но, подсев к телефону, он разволновался и никак не мог взять трубку. Раздался стук. Били в дверь металлическим телом. Данилов приоткрыл дверь, не освобождая цепочки, и увидел парня в мазаном ватнике с чемоданчиком в правой руке и с гаечным ключом в левой.

– Вам кого? – спросил Данилов.

– Мосгаз, – простуженно сказал парень.

9

Утром Данилов все же позвонил Наташе. Извинился, что не сделал этого раньше, бранил себя, спрашивал, захочет ли теперь Наташа видеть его. Наташа была спокойна, звонок словно бы и не тронул ее, сейчас она уже спешила на работу, а вечер у нее был свободен.

– Вот и хорошо! – обрадовался Данилов. – Сегодня у нас «Кармен» с Погосян! Я вам, Наташа, оставлю билет в кассе администратора и найду вас в антракте! Если вы, конечно, захотите прийти…

«Кармен» Наташу манила…

Данилов был доволен. В певучем настроении он достал список забот Клавдии Петровны и решил уделить им, раз уж обещал, часа полтора. А пока он прибрался в квартире, полил цветы и стер синей суконной тряпкой пыль с мебели. В прихожей, у вешалки, стоял чемоданчик вчерашнего газовщика, рядом на полу покоился гаечный ключ. «В кладовку, что ли, их пока сунуть? – подумал Данилов. – Или вовсе выкинуть? Они уж теперь ему и не нужны…»

…Ночной газовщик играл вчера гаечным ключом у Данилова перед физиономией и ждал, когда Данилов откроет ему дверь.

– А что так поздно? – спросил Данилов. – И именно ко мне?

– Мы всех обходим, – сказал парень из Мосгаза. – Есть необходимость предотвратить аварию.

Данилов снял цепочку и открыл дверь. Данилову было любопытно, как поведет себя парень. К тому же он и вправду мог прийти из Мосгаза. Утром вышел по поводу аварии и теперь вот идет. В коммунальных делах Данилов был жизнью ученный, а потому и приветливый.

– Сюда, сюда, – сказал Данилов, подталкивая газового человека на кухню. – Я уж давно хотел вас вызвать. У меня две ручки туго поворачиваются и газ еле идет.

Попав на кухню, газовщик к плите не пошел, а устало опустился на югославскую табуретку и зевнул.

– Вот поглядите, – Данилов стал крутить ручки кранов, – с какой натугой идут. И еще – не могли бы вы этот оранжевый кран духовки заменить на обычный, белый, а то некрасиво… Я заплачу…

– Гаечным ключом, что ли, я заменю?

– У вас, наверное, в чемоданчике техника есть?

– И пошутить нельзя! – сказал газовщик теперь уже не простуженным голосом. – Ты и своих не узнаешь!

Тут Данилов поглядел на парня внимательнее.

– Кармадон!

Данилов бросился к Кармадону, они обнялись. В лицейской юности Данилов с Кармадоном особыми друзьями не были, Данилов имел посредственное происхождение, а Кармадон с братом – напротив, прекрасное, однако Данилов среди золотой демонической молодежи считался шалопаем куда более удачливым и замечательным, и Кармадон с братом, Новым Маргаритом, глядели на него как кольцо Сатурна на сам Сатурн. И уж каждый раз на контрольных в лицее с молящими глазами списывали у него гороскопы. Другой бы на месте Данилова держал Кармадона у себя в свите на побегушках, но Данилов гусарить гусарил, однако ко всем в отношениях был ровен и великодушен. Теперь Данилов искренне обрадовался лицейскому приятелю, хотя и жил последние двадцать лет без всякой нужды в Кармадоне.

Кармадон снял грязную шапку и мазаный ватник, выпрямился, как бы подрос, изменился в лице, стал походить на самого себя. Данилов разглядел его и, как ни старался, улыбки сдержать не смог.

– Ты что? – спросил Кармадон. – Одет, что ли, я не так?

– На улице ты, пожалуй, выделялся бы… – сказал Данилов.

– Это мне ни к чему, – сказал Кармадон.

Последний раз Кармадон был на Земле и в Москве в пятьдесят четвертом году и теперь напомнил Данилову посетителей блаженной памяти коктейль-холла на улице Горького, давно уж превращенного в мороженный дворец. Имел Кармадон витой кок, набриолиненный и напудренный, крапчатый пиджак с ватными плечами, галстук с розовой, порочной обезьяной, брюки в обтяжку и туфли на отчаянной самодельной подошве, оранжевой, с рубцами. Лицо вот только у Кармадона было уже не юное.

– Нынче по-иному одеваются, – пояснил Данилов. – Я не образец, но ты можешь воспользоваться моим платьем.

– Спасибо, – сказал Кармадон. – Зачем мне разорять тебя. Ты мне покажи, что носят, я преобразуюсь.

Данилов пошел в комнату, стал искать журналы, потом заглянул в бар, коньяка в бутылке было на донышке. Он расстроился, но тут же вспомнил, что имеет право перейти в демоническое состояние и воспользоваться средствами на представительство! Данилов в демоны и перешел. Кармадон без особой энергии пролистал журналы и тотчас же оказался в усах и густых кудрях до плеч, приобрел он также замшевую куртку и вельветовые штаны с замечательным ремнем. Однако казалось,

что он не рад свежему наряду. Он опять зевнул.

– Да что мы тут на кухне! – воскликнул Данилов. – Пойдем в комнату. Или куда хочешь. Лучший стол накроют! Ты голоден с дороги! Пожелай все, что есть и чего нет, я тебе тут же любой напиток, любой продукт сыщу! Демоническое тебе, небось, надоело. Нашу экзотику, небось, подать?

– Мне много не надо, – сказал Кармадон. – И никуда не пойдем. Здесь и посидим.

Мысленный заказ Кармадона Данилова удивил и опечалил. Данилов сам не прочь был сейчас поесть вкусно, выпить армянского, однако он гостю ничего не сказал, а на кухонном столике возникла бутылка ликера «Северное сияние» – по мнению Данилова, подкрашенного глицерина с сахаром, давно уж засохшая и в черных критических точках корейка из железнодорожного буфета и из того же, видно, буфета две порции шпрот на блюдечках с локомотивами. Единственно, что Данилова обрадовало, – это бутылки минеральной воды «Кармадон». Отца нынешнего гостя не раз умиляли воспоминания о климатическом и лечебном курорте Кармадон, что в Осетии, в горах, вблизи Казбека: то ли папаша пролетел там и, веки разлепив, любовался кавказскими видами, то ли купался он в теплых источниках с игривыми пузырьками, то ли смывал в них земные болезни, то ли, напротив, имел на фоне вершин приключение с красавицей горянкой – одним словом, в память о снегах и минеральных водах Осетии он и назвал младенца Кармадоном.

Откупоривая «Северное сияние», Данилов взглянул на столик и улыбнулся:

– Может, и теперь ты боишься меня разорить?

– Нет, – сказал Кармадон, – у меня ни аппетита, ни жажды с дороги. Я и плохо запомнил ваши деликатесы. В последние годы я ел и пил все молибденовое. А ты что хочешь, то и бери. Меня не стесняйся…

Данилов ощутил в руке бокал коньяка, и рядом обозначился цыпленок табака из «Арагви».

– Не желаешь для начала? – спросил Данилов.

Кармадон даже поморщился, взглянув на приобретения.

– Нет, я серьезно… Ты меня извини, я устал. Меня и на разговор с тобой теперь не хватит. Сидел в канцеляриях, писал отчеты о трудах, потом ждал каникулярных бумаг, зубами скрипел – ты знаешь наших крючкотворов.

– Ты ванну с дороги прими, – сказал Данилов.

– Пожалуй, и приму, – кивнул Кармадон, выглотал «Северное сияние» из горлышка и шпроту, рыбку дохлую, давно уж бестелесную, приложил к губам.

Вода шумела в ванной, а Данилов на кухне, разделавшись с цыпленком табака, покусился на седло барашка, вызванное его волей из Софии. Из самой Софии, а не с площади Маяковского, где даже и воля Данилова не могла бы помешать седлу барашка возникнуть из вареной говядины, а то и из пришкольного кролика. Всю неделю Данилов держался на пирожках и бутербродах, теперь в охотку тратил представительские средства.

В ванной все стихло. Данилов забеспокоился, как бы Кармадон, грешным делом, не затопил нижние квартиры. Он ведь мог углубить ванну километра на два, а то и на сколько захотел бы, и резвиться в ее подводных просторах, а жильцы бегали бы теперь с тряпками и ведрами.

– Кармадон! – крикнул Данилов.

Кармадон не отозвался.

«Уж не утоп ли он?» – испугался Данилов.

– Кармадон!

– Что… – услышал Данилов. – А-а-а… Прости… Я задремал… Ты что?

– Да я… – смутился Данилов. – Спину тебе потереть?

– Ну потри… – вяло ответил Кармадон.

«Странный он какой-то, – подумал Данилов, – вечно был живой, беспечный, просто попрыгун, а тут… Стало быть, и на бессмертных действуют годы!»

Из воды виднелась лишь голова Кармадона, и Данилов, намылив жесткую мочалку, попросил Кармадона подняться. Кармадон с трудом встал, тело его Данилова озадачило. Кармадон, как и любой иной демон, был, по школьным понятиям Данилова, лишь определенным духовным выражением материи и мог принять любую форму, какая бы соответствовала его желаниям и обстоятельствам. То есть выглядеть хотя бы и птичьим пометом, и пуговицей от штанов, и бурундуком, или даже точкой, или траекторией, или никак не выглядеть. По давней моде или в результате поисков оптимального варианта, а может, и по договоренности, чтобы легче было общаться, демоны в своем кругу предпочитали заключать себя в человечьи тела. А на Земле-то уж Кармадон и подавно должен был бы смотреться человеком. Он и имел теперь в основном человеческое тело, на правом плече даже с татуировкой-девизом: «Ничто не слишком», но сквозь тело это там и тут, в самых неожиданных местах, проступало нечто металлическое, а может, и не металлическое. На теле Кармадона Данилов видел предметы или органы, некоторые из них были неподвижны и как бы с наростом мха, другие же, с щупальцами и присосками, двигались, дергались, синели и словно бы задыхались. Из ребра Кармадона торчал

странный прут, словно обломок шпаги, он качался, издавая тонкий, ухающий звук. Данилов спросил:

– Что с тобой? Я не потревожу это губкой?

– Что? – сказал Кармадон и оглядел себя. Некая досада отразилась на его лице, он покачал головой. – Ах, опять это… Никак не могу отделаться от всего волопасного… Задремал – и опять оно возникло во мне!

Он проглотил что-то белое, задрожал, поморщился и стал вполне человеком. При этом вода в ванне поднялась столбами, а когда опала, была уже синей.

Данилов от души натер Кармадону спину, усердствовал губкой возле лопаток и вдоль позвоночника, обещал отвести в ближайшие дни Кармадона в хорошую парную с пивом в шайках, и Кармадон, казалось, был доволен.

Когда Кармадон, красный и тихий, в банном халате сидел опять на кухне и пил минеральную воду, столь любезную его отцу, Данилов грыз миндальные орехи, посыпанные солью, и ни о чем Кармадона не спрашивал. Кармадон больше молчал, но иногда и говорил. И все об условиях своих трудов в созвездии Волопаса.

Данилов, как известно, к сложностям технических знаний не стремился, а Кармадон, в лицейскую пору, и тем более. И теперь, понял Данилов, в экспедиции Кармадона не было особых научных целей. В созвездии Волопаса Кармадона послали на планету Бета Мол, или, как ее называли на жаргоне служебных отчетов, – «Сонную Моль». Планета, размером побольше Земли, собственным населением именовавшаяся Глирой, была исключительно молибденовая. И духовные ценности имелись на ней молибденовые, а уж материальные – тем более. Кармадон не мог объяснить Данилову почему, а Данилов все равно не стал бы ломать себе голову, но и всякие там газообразные, текучие, плакучие, висящие, тающие и танцующие вещества – все они на Глире были производными из молибдена. Живых существ, братьев землян по разуму, узнал Данилов, имеется там видимо-невидимо, но все они существуют, передвигаются, трудятся, плодятся, размножаются не на какой-либо покатой тверди, а внутри тягучего мира, и пути их неисповедимы. Землянину его братья во вселенной – волопасы (сами себя они называют глирами) – показались бы похожими на металлические болванки (а они-то, глиры, при виде его и вовсе бы сплюнули), рельсы не рельсы, но вроде рельс, только пошире и попросторнее. Однако и на болванках этих есть удобные места для всяких необходимых органов и приспособлений. Шарообразное тягучее состояние планеты имеет и общий разум, или общий дух, и этот разум-дух в

отчетах Кармадона назывался не иначе как – Сон. Да, болванки-волопасы движутся, питаются, о чем-то думают, на что-то намекают, что-то изобретают, устраивают цивилизацию, против кого-то интригуют, но все это происходит с ними в беспробудном молибденовом сне. Болванки имеют возможность сплетаться одна с другой, вплывать одна в другую, протекать сквозь целые группы себе подобных, и тогда сплетаются их сновидения, а в сновидениях возникают новые сюжеты и катаклизмы, так их цивилизация дальше и идет. Кармадон получил особое задание («Нравственного порядка», – только и сообщил он Данилову), и каково было ему внедриться в сновидения волопасов! Сам-то он спать не имел права! Долго мучился Кармадон, а все никак не мог войти хоть в какое-нибудь молибденовое разумное существо. Потом придумал: намазал себя мылом («Я аристократ, ты же знаешь, а тут эти вонючие снабдители из экономии прислали мне дегтярное!»), намазал и кое-как втиснулся в сновидения одного наивного волопаса-глира. А потом пошло! Потом Кармадон даже имел и любовные приключения, и депутатом его сделали, и хотели назначить пенсию, и вручили молибденовый кристалл первой степени. Но ведь все эти годы он не спал! Просматривал сновидения и путал их, а сам не спал! А днями назад, уже дома, сидел в своей Канцелярии от Нравственных Переустройств и писал отчеты о проделанной работе – и тут не мог позволить себе зевнуть хоть бы разок. Не желал искажать репутацию аса со спецзаданием. Да и себе хотел доказать, что он способен и на большее.

Тут Данилов не удержался и задал вопрос, какой непременно задал бы Миша Муравлев (и мой сын тоже):

– А они, эти волопасы, эти глиры, с Землей-то контакт не хотят установить?

– Они-то, может, и хотели бы, да у них ничего не выйдет, – сказал Кармадон. – Да и на кой вам контакт-то с ними, с беспробудными! А им с вами! Я им теперь таких сновидений насочинил…

И Кармадон опять зевнул. А левый глаз его стал туманиться. «Нет, он здорово изменился, – подумал Данилов, – постарел или действительно смертельно устал. Осунулся. Серьезный, даже удрученный какой-то, а тоже был шалопай».

– Я тебе сейчас постелю, – сказал Данилов, – ты у нас и отоспишься. Хоть обе недели спи.

– Нет, Данилов, – Кармадон встал. – Я не могу расслабиться… Я уж и так… Иначе я… Какой же я иначе ас? Ты прости, но я сейчас тебя покину… Мне нужно побыть синим быком.

– Тебе со мной скучно… Или я…

– Ты не обижайся и не предполагай плохого… Просто последние годы на этой Сонной Моли я только и думал: вот выпрошу премиальную прогулку на Землю и побуду там синим быком… Хоть неделю… А потом я вернусь…

– Где же ты собираешься им побыть?

– Где-нибудь… Где тепло…

– Но я отвечаю за твою безопасность.

– Данилов, – Кармадон улыбнулся, даже несколько по отношению к Данилову снисходительно, – я теперь стал сильный и жестокий.

– Я не собираюсь опекать тебя. Но я хорошо знаю Землю и мог бы хоть советом уберечь тебя от неловких ситуаций… Тепло сейчас в Африке. Но там тебя попробуют заставить пахать землю, а гуляющий свободно – ты будешь странен. Быков любят в Испании и в Южной Америке, но любят их любовью особенной, и вдруг эта любовь на корриде тебе не понравится?

– Разве все это важно?

– Ну смотри…

– Давай выпьем на посошок! И я пойду.

Опять в руке Кармадона появилась бутылка глицеринового ликера «Северное сияние», и раскрошенная шпрота стала плавать в воздухе возле его рта. Данилов поднял бокал с коньяком. Выпили. Закусили. Кармадон как был в банном халате и тапочках на босу ногу, так и пошел к двери. Верен он был старой наивной привычке дедов исчезать через те же отверстия, в какие и появился.

– Ну будь здоров, Кармадоша, – сказал Данилов растроганно. – Ни пуха тебе, ни пера!

– К черту! – сказал Кармадон, вышел на лестничную площадку и рассыпался в воздухе.

10

Данилов вернулся тогда на кухню и в задумчивости отпил глоток коньяка. «Что же я его Кармадошей-то назвал! – расстроился Данилов. – Нехорошо вышло. Разве он мне теперь Кармадоша!..» Данилову стало стыдно. Слабость свою в момент расставания он склонен был приписать действию на голодный желудок алкоголя, а потом и софийского седла барашка, от которого Данилова чуть ли не разморило.

Но все равно чувство стыда и неловкости не прошло. Бедным, жалким провинциалом, пустившим слезу умиления перед влиятельным гостем, ощущал себя Данилов, хотя слезу и не пускал. Не раз подмывало Данилова сказать Кармадону о времени «Ч», попросить совета, а то и поддержки, но неприлично было бы сразу же заводить с гостем разговор о делах. А вдруг Кармадон знал о времени «Ч»? Данилов вспомнил все его слова и посчитал, что вряд ли. Да и стал бы тогда Кармадон шутить с Мосгазом! А впрочем, кто знает… Но как изменился Кармадон! Остепенился, осунулся от серьезного отношения к жизни, даже вышел в асы со спецзаданием! Но ведь и сам Данилов изменился, в иную, правда, сторону. Ни советчиком, ни приятелем не мог теперь Кармадон прийтись Данилову, в крайнем случае – знатным покровителем. Но Данилову ли просить о подачках!

Но как быть дальше? Нынешний Кармадон мог и на каникулах наделать на Земле дел, к этому все шло. Прежде Данилов полагал, что сумеет – хитростью или особыми развлечениями – направить энергию Кармадона в мирное русло. Как бы теперь не вышло кровопролитий и массовых драм. «Хоть бы я его на хунту какую натравил!» – сокрушался Данилов. Желание Кармадона побыть синим быком не показалось ему странным. Сам он однажды, находясь на летних офицерских сборах, возымел пустое, на первый взгляд, мечтание. Во второй месяц службы только и думал: «Вот вернусь и сразу же съем десять порций чебуреков!» И что ему дались эти чебуреки, не очень раньше страдал он по ним. А еще раньше, после первого курса консерватории, в романтическом порыве он ушел с геологами коллектором в якутские тундры. И там пристало к нему неистребимое: «Увижу по возвращении первый рояль – сразу же сыграю на нем хоть и собачий вальс». И сыграл. Вот и Кармадон сочинял волопасам или глирам сновидения, а сам рвался в синие быки.

«Эх, как бы нам теперь кровопролитиев избежать!» – вздохнул Данилов.

Наутро он и позвонил Наташе, с волнением услышал ее милый голос и пригласил Наташу на «Кармен» с Погосян.

Собравшись в путь по заботам Клавдии, Данилов чемоданчик Кармадона, ватник, шапку и гаечный ключ все же решил сунуть в кладовку, вещи были не его, и не он им годился в судьи. Имелось у Данилова минут десять. Данилов японским транзистором нащупал «Маяк» и не без трепета взял папку с нотами композитора Переслегина. Однако занимательная информация, звучавшая по «Маяку», не позволила Данилову настроиться на серьезное чтение нот. «Ладно, ночью посмотрю», – решил Данилов. Сначала передали новости о шахматах, потом о фигурном катании. И тут диктор сообщил, что в трехстах километрах от побережья Центральной Африки на острове Принсипи, входящем во владение Португалии[1] – Сан-Томе и Принсипи, в рощах хинного дерева обнаружен и пойман синий бык необыкновенных размеров. Профессор из Оксфорда Чиверс, немедленно вылетевший на Принсипи, назвал поимку быка принсипскими крестьянами подвигом для науки и заявил, что мифические, но возможные снежный человек и чудовище из озера Лох-Несс – существа менее сенсационные, нежели исполинский бык. По сообщениям западных агентств, продолжил диктор, синий бык сегодня утром самолетом прибыл в Мадрид.

Данилов так и похолодел.

А тем временем слово для комментария было предоставлено обозревателю по внешнеполитическим вопросам Юрию Странникову. Тот рассказал об условиях труда принсипских крестьян в уходах за хинным деревом и выразил восхищение мужеством и талантом тех же простых крестьян, поймавших исполинского синего быка. И это в то время, отметил Странников, когда знаменитые экспедиции, снаряженные на доллары и фунты, экипированные новейшей техникой и пищевыми тюбиками, сплошь и рядом не могут отловить ни снежного человека, ни плавающего дракона Несен, ни хоть кого-нибудь другого. И тут же перешел к испанскому миллионеру Бурнабито. Этот владелец фабрик подтяжек считается еще и спортивным меценатом, на его деньги содержатся футбольные клубы, на его деньги, естественно, не без выгоды для Бурнабито, скупаются лучшие профессиональные футболисты Европы и Южной Америки. Но организованная Бурнабито утечка ног в последние годы оборачивается топтанием продажного спорта на месте – «Реал» опять выбит из европейского кубка. И вот ненасытный Бурнабито решился еще на одну авантюру. За три миллиона долларов он приобрел исполинского синего быка. Бык, который, кстати сказать, ведет себя мирно и доверчиво по отношению к простым

людям, представляет колоссальный интерес для науки. Но бессовестные рыцари наживы не считаются ни с наукой, ни с протестами общественных сил. В Мадриде[2] объявлено, что сегодня вечером состоится грандиозная коррида с участием принсипского быка, коррида ловко разрекламирована, билеты стоят в десять раз дороже обычного…

«Так-так-так! – подумал Данилов. – Стало быть, Кармадон объявился». По расчетам Данилова выходило, что объявился он и стал предметом внимания принсипских крестьян и профессора Чиверса не иначе как два дня назад. Хотя и прибыл на Землю нынче ночью. Значит, Кармадон, как, впрочем, и сам Данилов, вполне овладел профессиональным искусством, без усилий заскочил за условную черту времени, тем самым продлив себе земной отдых. Данилов был уверен, что потом Кармадон попросит его в каникулярном листке отметить время прибытия на Землю именно первым часом нынешней ночи. «Ну и пусть себе, – решил Данилов. – Отмечу. И печать поставлю. Только что же он не предупредил меня ни о чем. Это даже неприятно…»

Однако амбиция амбицией, а людей Данилову стало жалко. За Кармадонову безопасность он теперь не беспокоился – тот был уже не мальчик. Но одно дело забитые принсипские крестьяне и тихий, к тому же, наверное, и рассеянный профессор из Оксфорда, другое дело – ребята на корриде. Как бы они своим специфическим отношением к быкам не лишили Кармадона мирных и доверчивых настроений. А может, у Кармадона был свой расчет, с ним он и вышел на ненасытного Бурнабито?

Так или иначе, но Данилов решил все узнать и перевел себя в демоническое состояние. Да с него бы иначе потом спросили – куда он глядел. В то несуществующее для людей мгновение, когда чувства Данилова переносились на Пиренейский полуостров, Данилов слышал множество радиосообщений о Кармадоне. Но Данилову информация из вторых рук была не нужна. Не выходя из своего дома в Останкине, он уже грелся в Мадриде на площади Пуэрта дель Соль. Тот, ихний, город недавно проснулся, но был взбудоражен. Синий бык уже звал на вечернюю корриду с кровавых афиш. Морда его была зловеща, вся в пене, а рога пугали публику как обструганные колы в эпоху романтизма турецких пленников. По улицам ходили толпы с лозунгами и просто так.

На полдороге к Арене у фонтана Кибелы Данилов увидел цыганок, под кастаньеты приятелей плясавших гитану в честь принсипского быка. Данилов засмотрелся на них и чуть было не забыл о Кармадоне. Но тут по направлению к Арене прошли дорогие американские старухи с сувенирными рогами на париках.

Возле Арены жуть что творилось! Билеты продали вчера, до корриды было еще полдня, а публика тут так и кипела. Ветер от Гвадаррамы трепал гигантское полотнище с заключением мадридских ученых светил. Заключение утверждало, что бык не поддельный, а истинный принсипский, шкура и мех его действительно синие от природы, никаких искусственных красителей экспертиза не обнаружила, с гормонами и гипофизом у быка все в порядке. Стало быть, он не продукт всеобщей акселерации и не ошибка принсипской фауны, а такой родился. Объявлялись размеры и вес быка, несколько Данилова разочаровавшие. Зато Данилова обрадовали предположения ученых светил о производительных возможностях принсипского быка. «Это не бык, – подумал Данилов с уважением, – а зверь!»

На самой арене было пусто, несколько служителей мели метлами, суетилась администрация, но герои – тореадоры, матадоры, пикадоры и прочие эскамильо – пока где-то гуляли. Данилов пошарил взглядом в комнатах для отдыха животных и в отдельной зале на сенной подстилке обнаружил принсипского быка. Залу, или вольер, или стойло, держали под наблюдением солдаты со станковыми пулеметами и ружьями «базука». Имелись и цирковые укротители с пожарными трубами. На решетке возле принсипского быка была укреплена позолоченная табличка: «Д-р Бурнабито. Бык Мигуэль».

Данилов ожидал почуять возле быка Мигуэля запахи потной скотины, но нет, пахло лишь железнодорожным буфетом станции Моршанск-2. Но самым неожиданным для Данилова было то, что бык Мигуэль спал. И спящий он был хорош, гладок, силен, размером куда больше бизона или там зубра. Но до слона бык Мигуэль не дорос. Стало быть, присутствовало в Кармадоне чувство меры и объективности.

«Спит или притворяется?» – засомневался Данилов. Из подстилки выскочила соломинка и стала щекотать быку Мигуэлю ноздрю. Ноздрей бык Мигуэль не повел. Данилов пригнал с африканских просторов овода, но и овод, хоть и хищный, не растревожил быка. На складе Арены Данилов отыскал бандерилью, испытал быка бандерильей. Бык только губами пошевелил.

«Ну и ну! – удивился Данилов. – Ведь и вправду спит. Вот тебе и попробовал Кармадон закалить волю! Вот тебе и ас! Крепился, крепился, а, видно, чуть расслабился, его и сморило. Да и как же иначе-то, после стольких лет бессонных сновидений!»

Данилову стало жалко Кармадона. Он сыскал на складе Арены хорошую попону и быка Мигуэля ею старательно прикрыл.

Но теперь Данилов успокоился, Кармадон проснуться сразу

явно не мог, пусть отсыпается, значит, и бед от него пока никаких не будет. «А вечером посмотрим», – решил Данилов и перевел себя в человеческое состояние.

11

Времени в Москве не прошло и секунды, Данилова ждали заботы Клавдии. Но что Данилову были ее заботы, когда, вернувшись из Мадрида, он вспомнил о Наташе и об их свидании нынче вечером! Да и возле быка Мигуэля, казалось теперь Данилову, он скучал о Наташе.

Клавдия Петровна просила Данилова съездить сегодня к ней на службу и посмотреть австралийский пеньюар. Учреждение Клавдии Петровны было строгих правил, блюло дисциплину. Сама Клавдия иногда платила Василию Федоровичу, суровому бойцу в гимнастерке, хранителю табельных мгновений, по рублю за день, он отмечал ее присутствие, она же работала «на дому».

Впрочем, каждый день сидеть дома было скучно. Однако сегодня, как, впрочем, и вчера, Войнов требовал испытательных хлопот.

Пропуск Данилову заказали сослуживцы Клавдии Петровны, Данилов с уважением предъявил его вахтеру и поднялся на четвертый этаж учреждения. Дверь в комнату Клавдии была заперта, на ней висела бумажка со словами: «Тише! Идет совещание!» Данилов постоял, постоял и все же решился постучать в дверь. Выглянувшая в коридор строгая дама сразу спросила: «Вы от Клавы?» – и впустила Данилова в комнату. Совещались по поводу пеньюара и еще каких-то вещей, близких к телу. Привезла их одна знакомая, прожившая три года в Австралии, в Москве они показались ей лишними. Среди совещавшихся было и двое мужчин, видно что хозяйственных. Данилову как свежему человеку обрадовались. Кто-то сразу сказал: «Как хорошо, что вы пришли! Клава хвалила ваш художественный вкус. Вы взгляните и оцените!» Данилову показали австралийские вещи. Вещи были впрямь хороши, но Данилов выразил сомнение – а вдруг пеньюар не подойдет Клавдии по размеру. «А вы поглядите на мне, – сказала старший экономист Теребенева, – мы ведь с Клавой одинаковые». Вначале переодевание Теребеневой Данилова смутило, однако Данилов понял, что здесь нет мужчин и женщин, а есть сослуживцы и сослуживицы и для них особенности пола не имеют значения. Стало быть, и его, Данилова, признали за своего. Пеньюар на Теребеневой сидел прекрасно, Данилов согласился, что и на Клавдии он будет хорош. Принял Данилов участие в обсуждении и примерке и других вещей. Ему было жалко Клавдию – она теряла такой рабочий день.

Из автомата он ей сказал об этом. Сообщил также, что

пеньюар оставлен ей, и цена его шестьдесят рублей.

– А париков там не было? – спросила Клавдия Петровна. – Значит, до тебя расторговали. Стоит не явиться на день – и ты уже в ущербе! Такие у нас нравы… Ну ладно! Я рада за тебя, хоть пеньюар тебе понравился. Спасибо. Я спешу. Варю для Войнова флотский борщ. Ты не забыл, завтра нам идти к хлопобудам восстанавливать номер?

– Не забыл, – вздохнул Данилов.

– Ну до завтра!

«А до Наташи еще восемь часов…» – подумал Данилов, то ли радуясь, то ли печалясь.

В перерыве дневной репетиции Данилов взял посмотреть газеты и в одной увидел маленькое сообщение о поимке синего быка. «Как он там, – забеспокоился Данилов, – спит или проснулся?» Он тихонько передвинул пластинку на браслете и опять чувствами попал в Мадрид. Бык Мигуэль спал, укрытый попоной, а вокруг Арены продолжалось столпотворение. Подтягивались и армейские части. Среди новостей была такая. Час назад самолетом прибыл в Мадрид известный боксер Фил Килиус. Этот Фил прямо в аэропорту заявил, что убьет при публике синего принсипского быка одним ударом кулака. О своих финансовых претензиях он говорить пока отказался. Профсоюз тореадоров выступил с протестом по поводу прилета и заявления Фила Килиуса. Профсоюз осудил попытку Фила вмешаться не в свое дело и потребовал не допустить варварских действий Фила Килиуса по отношению к животным, а именно к принсипскому быку Мигуэлю. Вокруг Арены ходили разговоры, будто сейчас Фил Килиус и Бурнабито ведут тайные беседы о возможностях выхода Фила к быку. Назывались суммы в долларах и песетах, какие мог потянуть кулак смельчака. Бурнабито никаких официальных заявлений не делал.

Данилов поправил попону на быке Мигуэле, решил, что вечером он еще заглянет в Мадрид. Сдвинул пластинку на браслете. Пошел в буфет, взял бутылку воды «Байкал» и бутерброд с жесткой колбасой.

Тут же его шумно поприветствовал осветитель Никулин. Данилов узнал, что он дирижером от репетиции освобожден. Данилов вместе с Никулиным и другими членами редколлегии должен был быстро и теперь же клеить стенгазету. Плакатным пером Данилов вывел заголовки, приклеил заметки, отпечатанные на машинке из литературной части, в том числе и две свои, про балерин. В оценках их искусства Данилов был справедлив и тонок, не одна звезда кланялась ему теперь в оркестровую яму. Героиню сегодняшней заметки «Впервые в

„Сильфиде“» звали Наталья Алексеевна, Данилов взял и вывел с удовольствием новый заголовок – „Наташа“. Без двадцати семь Данилов бросился к парадному подъезду. Билеты Наташе были оставлены на правую сторону, Данилов у правых билетерш и хотел ждать. Но Наташа с программкой в руке уже поднималась на бельэтаж.

– Наташенька! Здравствуйте! – воскликнул Данилов.

– Здравствуйте, Володя, – улыбнулась Наташа.

– Вы уж не обессудьте, что я вам достал в бельэтаж, главное, что ложа ваша ближе к середине…

Как уж он играл, Данилов не помнил, но, наверное, хорошо играл, только в музыке его не было ни Хозе, ни Кармен, ни работниц севильской табачной фабрики, ни мальчишек с ружьями, а была Наташа и был он. И альт его, получалось, будто бы обладал той же красотой звука, какая была у Альбани, или это Данилов чувствовал, что музыка его так же красива, как и с Альбани. В антрактах Данилов спешил наверх, по левой лестнице, туда, где возле стеклянного футляра с знаменем «Победителю соревнования» его ждала Наташа, зимняя, тонкая, в коричневом брючном костюме, и они впадали в хоровод главного фойе или шли к пирожным в буфет, а то в музейном зале двигались возле фотографий. Потом Данилов опять из ямы, из альтовой группы, взмывал звуком в сладкое поднебесье музыки, к хрустальному саду большой люстры и даже выше его, и только возникавшая в опере время от времени тема тореадора тревожила Данилова. Тогда он думал о Кармадоне и о своем намерении не допустить на корриде бед. Однако он считал, что не может теперь при Наташе хоть и на мгновение выйти из человеческого состояния. Да и не только теперь, но и никогда. Он уверил себя в том, что Кармадон нынче не проснется и бед не будет. Тем более что прилетел Фил Килиус. А потом Данилов забыл о Кармадоне.

После спектакля дирижер опять похвалил Данилова.

Он даже сказал: «Вы обязательно поедете на гастроли в Италию…» А ведь прежде эта поездка была для Данилова под сомнением. «Подождите, – думал Данилов, – я еще не так сыграю…»

Он забыл не только о Кармадоне, но и о времени «Ч».

Пустынными переулками шли они с Наташей к Хохлам. Сначала Китай-городом, потом Солянкой, а там Большим Ивановским свернули в Колпачный, к палатам гетмана Мазепы. Холодный воздух Данилова несколько отрезвил, и Данилов тихонько сунул индикатор в карман пальто. Прошлый поход был слишком памятен Данилову. За инструмент он теперь не боялся, а боялся за Наташу и намерен был честолюбивого шахматиста

Валентина Сергеевича в усердиях упредить. Но соображение о Валентине Сергеевиче было коротким и как бы нейтральным («чтобы за нами никто не подглядывал…»), даже и в мыслях сейчас, рядом с Наташей, Данилов не хотел напоминать себе, что он не во всем человек…

– Тут, по Колпачному, – сказал Данилов, – когда-то с холма бежал ручей Рачка, а вокруг сады были Василия Третьего. Оттого палаты гетмана к Колпачному стоят торцовой стеной, и, видите, наличники тут скромные, а вся красота во дворе…

Палаты гетмана были в лесах, реставраторы с левого бока вели уступчатый карниз большемерным кирпичом, а на первом этаже, справа, большемером же обозначили два давно уж сбитых наличника палаткой. Наташа непременно захотела увидеть здание со двора, они и прошли с Даниловым под арку. Луна и фонари от студии «Диафильм», а прежде польского костела, высветляли двор, однако Наташа споткнулась о брусы тесаного белого камня, и Данилов поспешно подхватил ее за руку. От прикосновения к Наташиной руке он разволновался, как отрок. И во дворе палаты были в лесах. В полумраке и между досками Данилов все же показал Наташе первые полуколонки, недавно выведенные реставраторами, и роскошные, с разорванными фронтонами, наличники верхних окон. На временной двери, обитой войлоком, виднелась табличка: «Посторонним вход запрещен. Строительные работы». Наташа дернула дверь, она открылась.

– Сейчас я спички достану, – сказал Данилов.

Он зажег газету и осветил подвал. Стены его были из белого камня. Наташа решительно сошла вниз по дощатым мосткам и там, где быть полу, возле носилок с застывшим раствором, остановилась.

– Чудо-то какое! – сказала Наташа. – Вот и Мазепа спускался сюда со свечой в руке, тут было где прятать тайные мысли или вызывать их. Или смотреть добро в ларцах. Гетман! Мазепа! Где ты! – крикнула на всякий случай Наташа.

Данилов осторожно ступал по мосткам, хотел сказать Наташе, что Мазепа, может, и никогда не жил в этих палатах, вопрос тут спорный, и еще хотел похвалить Петра Ильича за ариозо Мазепы из второго акта «О, Мария…». Однако сейчас же отругал себя: «Ну и зануда я сегодня!» Газета догорала, тесаные белые камни стен теряли очертания, покачивались, кривились.

– Вон, вон, Мазепа спускается, словно сейчас нам скажет! Как Кочубею! – воскликнула Наташа.

– Где?

– Уже исчез, – рассмеялась Наташа. – Истек позором в

Полтаву…

Данилов отбросил истлевающий остаток газеты, в черноте обнял Наташу, и опять, как неделю назад, губы ее были добрыми и не отошли в сторону.

– Ничего не говорите, Володя, теперь, – прошептала Наташа, – ничего…

От палат к Наташиному дому дворовой тропинкой идти было минуты две. А они еще час, может быть, и два пробродили переулками у Покровки.

– Наташа, – сказал Данилов, – вы, наверное, обиделись, что я не позвонил вам после похорон Коренева…

– Я не обиделась, – сказала Наташа. – Просто мне было скверно… И хотелось на кого-то опереться… По слабости, наверное, и от дурных чувств… Это я вам не в упрек… Вы же ни о чем не знали…

– Должен был бы знать, – сказал Данилов. – И я обещал позвонить вам. Нет у меня никаких оправданий. Одна суета…

– Вот вы, Володя, не знали, а Мишу Коренева я любила, восемь лет назад это было, а любила… Я вам тогда сказала, что я из дому убежала в Пермь с любимым человеком и там познакомилась с Мишей. Это неправда. Я убежала с Мишей. Он и был любимым человеком…

– Вы все же на устный журнал, – сказал Данилов осторожно, – пришли из-за Миши?

– Нет, Володя. То все прошло. И с болью прошло… А Мишу мне было жалко. Не думала, что он сможет убить себя. Для этого ведь сила нужна, а у него силы не было… Я закурю, Володя?

Инструмент положив на тротуар, Данилов ладонями задержал ветер у Наташиных щек.

– Он тогда из дома ушел, из оркестра, все хотел бросить и все начать сначала. Уехал в Пермь. Стал работать в театре, в музыкальной части, комнату снимал на Мотовилихе в деревянном доме, я у него и жила. Но он не из-за театра уехал. Была возможность создать молодежный ансамбль старинной музыки, струнные, деревянные духовые и клавесин, хотели они играть музыку барокко, и даже Монтеверди, наших забытых композиторов. Мишу прочили в руководители. А мне было семнадцать, я, дуреха, мечтала о театре, провалилась в Щепкинское, Миша сказал, что там он устроит меня в театр, а дальше пойдет… Он устроил, да не пошло… А ансамбль у них получался, но много было мытарств, хождений по инстанциям, недоумений, к чему бы тут барокко и Монтеверди. И прочего, сами можете представить. Миша маялся, страдал, полтора года жил надеждой, а он ведь горячий, нетерпеливый, и вот после

одного разговора в отделе культуры или еще где-то он все ходил, ходил по комнате и повторял: «Тупик! Тупик! Ужас! Провинция!» И уехал ночным в Москву. А я не поехала. Я уж чувствовала, что я ему в тягость, хоть он и не разлюбил… Хозяйка смотрела на меня, как на брошенную содержанку… У меня ребенок должен был бы быть, но вот нет его… На сцене я уж не играла, актриса из меня плохая, но за театр я держалась, или он держал меня, работала в костюмерном и хорошо шила, с удовольствием… А потом, когда Миша уехал, как-то все стало мне безразлично, опустила я руки… И надолго… Если не навсегда…

Наташа замолчала. Старосадский переулок сворачивал вниз, а там за углом и налево опять был Колпачный.

– Миша мне однажды сказал, – заговорил Данилов, – «Помни, боящийся не совершен в любви».

– Он и мне написал это. И еще написал что-то странное… Я только догадываюсь, что он имел в виду… Что-то мучило его в последнее время, какая-то тайна…

Данилов и не сомневался, что в Мишиной истории было нечто странное и тайное. В последние дни Коренев не раз приходил ему на ум, и Данилов хоть и впустую, но силился отгадать причину Мишиного порыва. Да где уж было ему! Теперь он подумал, что потом, когда-нибудь, непременно расспросит Наташу о последнем письме Коренева.

– Вот как все вышло, – сказала Наташа. – Это ведь я тогда была готова броситься в Каму. Я и могла… Он в Москве часто слал мне письма, уверял, что любит… Но во мне все прошло… А ансамбль тот получился хороший, его даже посылали за границу… Но получился без Миши.

– Я слышал, – кивнул Данилов.

– Потом я вернулась в Москву, – сказала Наташа. – Со стариками у меня вышло нехорошо… Вроде бы и не говорили они ничего, а вот молчком осуждали… В НИИ устроили лаборанткой, чтобы хоть при деле была… Чужая я им стала, непонятная… Я уж в НИИ комнату получила в коммунальной квартире, одна и живу… А Мишу мне жалко… И нехорошо на душе… Будто еще должно случиться что-то дурное…

Данилов ничего не сказал, хотя в ином случае он бы нашел какие-нибудь невесомые успокоительные слова, от которых и Наташе и ему стало бы легче. Он просто молча шел с Наташей. Теперь они направлялись к ее дому. После Наташиных слов отчуждение возникло между нею и Даниловым, они даже шли сейчас на расстоянии друг от друга, и в тихой пустоте отчуждения был вовсе не Миша Коренев, нет, нечто иное разделило их, на мгновение или навсегда. У каждого из них была

своя судьба и своя жизнь, эти жизни находились сейчас так же далеко одна от другой, как месяц назад, когда Данилов не подозревал о Наташином существовании. «Да что это я иду-то с ней? Зачем? Сейчас провожу ее до подъезда, – думал Данилов, – и домой, на такси, может, высплюсь…»

Однако уже возле дома Наташа предложила Данилову зайти к ней, и Данилов, хотя из вежливости и упомянул про поздний час, приглашение Наташи принял, до того просто и с полным к нему доверием она позвала.

Дом спал, спали Наташины соседи; раздевшись, Данилов в прихожей возле вешалки оставил альт. В Наташиной комнате было тепло и чисто. По привычке, как всегда в чужих домах, Данилов первым делом подошел к книжным полкам. Книг Наташа имела немного, но все они были Данилову знакомые и приятные, а двум – «Сомову» и «Грюневальду» – Данилов позавидовал, он их ловил уже год. На столе стояла швейная машинка.

– Я много шью, – сказала Наташа. – Есть хорошие модельерши, даже художницы из Домов моделей, с именами, им ведь тоже нужен приработок, они своим заказчицам сочиняют платья или костюмы и кроят. Им нужна швея, чтобы сшить вещь, вот я и шью с удовольствием, у меня выходит… Смешно – называют мастером… Я сейчас чай поставлю… А может, кофе?

– Пожалуй, лучше чай, – сказал Данилов.

Отчуждение, черной пустотой разделившее их в Старосадском переулке, теперь исчезло, Данилов не мог и представить себе, что Наташа когда-то жила далеким, посторонним для него человеком, прошлого не было, не было Коренева, ничего не было в судьбе Данилова, а была Наташа и была всегда. Он смотрел сейчас на нее, на легкие движения ее тонкого музыкального тела, каждое это движение волновало Данилова. А потом, когда Наташа принесла с кухни чай, Данилов взял ее руки в свои и не выпустил их более.

12

Утром Данилов с ужасом вспомнил о Клавдии и хлопобудах. Телефон в Наташиной квартире стоял в коридоре, звонить оттуда Клавдии Данилов постеснялся. Про Клавдию Наташе он все же сказал. Тут же он поспешно и как бы себе в оправдание произнес слова о том, что, видно, в детдомовском и интернатском детстве он до того истосковался по простой домашней жизни с родственниками и близкими, что сразу же, глаза закрыв, кинулся в Клавдиев уют. Данилову стало стыдно. «Нет, я ни о чем не жалею, – быстро добавил он, – Клавдию ни в чем не виню, мы с ней до сих пор находимся в приятельских отношениях…» Помимо всего прочего, Наташа могла подумать, что он дает ей понять, что и теперь его тоска по семейной жизни не прошла. Как все дурно получилось! Но Наташа будто и не услышала его слов, и Данилов был ей за это благодарен. Он ей за все был теперь благодарен. За счастье нынешнее и за спокойствие – в особенности! И за музыку, какая звучала в нем сейчас!

Как трудно было Данилову на Покровском бульваре выйти из своего счастливого состояния и войти в телефонную будку. Вместо Клавдии ему ответил профессор Войнов.

– Клавдию Петровну, – заикнулся Данилов.

– Сейчас, сейчас! Клава-а-а! Тебя…

– Данилов, это ты? У меня нет времени! – энергично сказала Клавдия, но и как бы снисходя к просьбе Данилова: – Через час на квартире Ростовцева. И прошу тебя, прими жалкий вид. Или зловещий. Вроде ты проходимец…

«Фу-ты, – с досадой подумал Данилов, – скоро, что ли, я развяжусь со всей этой хлопобудией!» И тут он вспомнил о Кармадоне.

Вот уже часов четырнадцать он не имел Кармадона в виду!

Данилов прошел в сквер и сел на холодную лавочку, альт положил рядом. На той же лавочке двое пенсионеров играли в шахматы. Было еще темно, лишь фонари светили, а в партии уже стоял полдневный час. «Притрусили сюда спозаранку, – подумал Данилов, – или сидят со вчерашнего?» Индикатором он проверил пенсионеров на демонизм, старики оказались непорочные. Дальний от Данилова игрок двинул ладью вперед, принося ее в жертву. Ближний старик ойкнул, ладони потер, но при этом поглядел на Данилова. Ища поддержки или подсказки. Он подмигнул Данилову: мол, нас с тобой не проведешь, а потом протянул руку к наиболее хищной своей пешке. В это мгновение Данилов сдвинул пластинку браслета и увидел Мадрид. Синего

быка Мигуэля в городе не было.

Были в Мадриде волнения, но уже без быка. Бурнабито Данилов отыскал голым в загородной вилле на берегу Мансанареса. Бурнабито сидел в мраморном бассейне, бил кулаками по воде. То и дело к краю бассейна подходил секретарь и деликатно напоминал Бурнабито о течении времени и о необходимости платить выкуп.

Усилием воли Данилов спустился во вчерашний день.

Увидел Арену и публику на ней. На площади армейские части еще сдерживали натиск жаждущих зрелища знатоков, увы, безбилетных. А на Арене шумел народ. И тут быка Мигуэля вывезли из туннеля на орудийном лафете.

Корридам был не сезон. Но мало того, что нынешняя коррида проводилась в зимнюю пору, Бурнабито еще отважился распорядиться и о неких новшествах. Вот и вывезли Мигуэля в нарушение вечных правил. Быка предъявили народу и как бы предоставили ему круг почета. Разнаряженные эскамильо, знаменитые и герои, уже красиво стояли на поле. Туда же для полного эффекта были выведены и все боевые быки. Матадоры – среди них и красавица Ангелита, уравнявшая женщину-тореро в правах, – при виде быка Мигуэля как стояли, так и остались стоять, словно давая понять, что видели они этого быка в гробу. Зато выведенные на парад боевые животные разнервничались, чуть ли не рассвирепели.

Что касается быка Мигуэля, то он, проезжая на лафете, даже не привстал, публике не поклонился, чем вызвал ее особое уважение.

Мигуэля увезли, и началась коррида. Сперва вытолкали быков послабее и подешевле, а заслуженных, и уж конечно Мигуэля, оставили напоследок. Что тут было! Танцы плащей и мулет, мельканье рогов, пыль из-под копыт, одно слово – тавромахия! Данилов не мог смотреть без боли на жестокую потеху толпы, на страдания невинных животных. Однако при этом он был увлечен красотой костюмов и необыкновенной пластикой варварского представления. Словом, многих быков загубили, пока добрались до Мигуэля. Им бы, быкам-то, объединиться да принсипского брата позвать на помощь, может, тогда у них что-то и вышло б! Публика все ревела, все рвала дымовые шашки, а уж, казалось, должна была бы устать от чувств. «Мигуэля! – требовали дамы, в том числе и американские старухи. – Мигуэля!» Все понимали, что настало время Мигуэля. Знаменитые матадоры Гонзалес, Родригес и Резниковьес в проходе уже явили публике свои стройные ноги и расшитые плечи. Но тут вышла заминка. Ритм праздника, очарование

которого вечно, явно нарушился. Было очевидно, что под трибунами скандалили. С трибун раздался свист. И тут – в нарушение всех правил и приличий – бык Мигуэль вышел не сам, а опять был вывезен на орудийном лафете. Служители, тоже празднично одетые, с лафета пытались Мигуэля согнать, но вышло так, что они его сгрузили. Никто не заметил момента, когда бык Мигуэль стоял на ногах, однако все его увидели лежащим на земле.

Пикадоры в ярости двинулись на быка Мигуэля, и праздник продолжился.

Данилов, хотя и не мог уже ни во что вмешаться, был теперь в азарте. «Ну сейчас вам Кармадон покажет, – думал Данилов, – заступится за бедных животных». Однако атака мастеров корриды не произвела на Мигуэля никакого впечатления. Уж они и пиками его кололи, и плясали перед ним, и дразнили его, и ногами пинали, и взывали к его мужскому достоинству, между прочим, и к совести, и показывали на публику: она-то, мол, в чем виноватая, цветы швыряла и транзисторы, деньги платила – задаром, что ли! – и манили его куда-то, а он все не поднимался. Мастера менялись – и ничего! В рядах заманивавших и стращавших возникла растерянность. Тут, как из засады, дождавшись своей минуты, вышли на дело великие Гонзалес, Родригес и Резниковьес. Впервые вышли вместе! А за ними и красавица Ангелита! Однако и великих ждал конфуз. И к движениям их душ бык Мигуэль остался глух. Часа полтора маялись короли Арены со своей ратью, все без толку. На трибунах брали под сомнение и быка. «Да он не настоящий, что ли! – кричали. – Эй ты, бык! – кричали. – Не крути динаму!» Естественно, по-ихнему, по-испански. И тут, поддавшись секундному и южному настроению, вся толпа корридных бойцов в неистовстве с холодным оружием бросилась на принсипского быка Мигуэля.

Публика вскочила в восторге. Наконец-то до Мигуэля что-то дошло, он то ли зевнул, то ли чихнул, то ли именно повел ноздрей, и все мастера, какие были на нем и возле него – среди прочих Гонзалес, Родригес, красавица Ангелита и Резниковьес, все они отлетели от быка далеко, некоторые попали в публику. Бык Мигуэль поднялся, публика так и ахнула, все увидели, какой он красавец, атлет и бык. Мигуэль лениво, но и с достоинством, повернулся задом к наиболее дорогой трибуне и опять лег. При этом подложил передние ноги под голову неловко, словно был не семилетний бугай, а теленок.

Тут и объявился отчаянный смельчак Фил Килиус. Все думали, что он уехал в Америку. А он не уехал. Он возник у самого барьера, расталкивал полицейских и размахивал

кулаками. Ясно было, что он рвется к быку. Публика о быке забыла. Она глядела лишь на Фила Килиуса. Она верила в него как в спасителя ее собственной чести. Однако взволнованный Бурнабито бросился со своих почетных мест вниз с криком: «Задержите его! Не пускайте!» Сразу многие подумали, что Бурнабито беспокоит теперь не здоровье и счастье быка Мигуэля, а, видимо, неулаженный с Филом финансовый вопрос. Вдруг Филу будет удача, он и разорит несчастного Бурнабито. Полицейские и еще какие-то молодцы схватили Фила Килиуса.

Полицейские и молодцы были крепки, но и Фил, выходило, что не слаб. Он то и дело вырывался, кричал странные слова, грозил, что жуть что сейчас сделает с принсипским быком. Он требовал, чтобы жюри теперь же присудило ему от быка ухо, копыто и хвост. Вырываться-то он вырывался, но, вырвавшись, никуда не бежал, а как бы застывал и давал полицейским себя схватить. Схваченный же, он опять начинал вырываться и страшно быку угрожать. «Пустите!» – кричал Фил Килиус. «Не пускайте!» – кричал Бурнабито. «Пустите!» – «Не пускайте!» – «Пустите!» – «Не пускайте!» – «Пустите! – взревел Фил. – Я его бесплатно!» Взревел так, то ли раскалившись жаждой победы, то ли по молодости лет. Полицейские поглядели на Бурнабито, тот не сразу нашелся, но все же, обессиленный, дал полицейским знак – добровольца пропустить. Освобожденный Фил тут же затих, то ли удивился, то ли потерял интерес к быку. Однако назад ему путей не было. Публика неистовствовала, требовала обещанного удара кулака. Фил запрыгал перед полицейскими, надеясь, что те опять схватят его, а к быку не пустят. Но они не схватили. Бедовый Фил закинул в отчаянии голову, но потом собрался, принял правостороннюю стойку и танцующей своей походкой двинулся к жертве. Стало тихо. Попрыгав возле быка Мигуэля, Фил подскочил к нему вплотную и как дал кулаком быку в морду промеж рогов! Мигуэлю бы копытами вверх, а он и не шелохнулся. И было видно, что не помер. Бока его по-прежнему ходили. Обиженный Фил ударил еще, еще – бык ему навстречу не шел. Тогда Фил отбежал метров на тридцать и, словно пробивая пенальти, с разгону бросился на Мигуэля. Но и разгон не помог. А уж Фил вошел в раж и стал бить быка, как грушу. Состоялось мгновение, когда бык Мигуэль поднял голову, взглянул на Фила удивленно и, словно бы сплюнув, голову опять опустил. Фил кинулся вновь врукопашную, но вскоре руки его повисли, как плети, видимо, он их отбил. Тут Фил покачнулся и рухнул вблизи быка. Служители еле подняли его, увели к трибунам.

Арена ревела в исступлении. Наверное, никаких распоряжений и не прозвучало, а само собой, словно из чрева

Арены, выражением ее яростного чувства, выкатился на поле, сверкая блеском стали, тяжелый танк с зенитным пулеметом и двинулся на быка Мигуэля. Данилов задержал дыхание. Гусеницы танка, энергично надвинувшись, вызвали в принсипском быке свежие ощущения, бык вскочил. Ошарашенно он глядел секунды две на танк, потом крутанул хвостом, прижал подбородок к груди, подцепил рогами танк, перевернул его и покатил машину, словно степное растение. Зенитный пулемет отлетел тут же, скорострельная пушка погнулась, а что ощущал теперь экипаж, никто не знал. Никто и не думал об экипаже, все были в панике, вскочили с мест, бежали к выходам, пропуская вперед женщин и детей. Однако у самого барьера бык Мигуэль успокоился, оставил танк, потянулся и тихо пошел в туннель. Данилов понял, что и сейчас он не проснулся, а движется в полной дреме, ноги его несут туда, где ему было хорошо. Бык Мигуэль вернулся к своей подстилке, улегся, прикрыл себя попоной, раздобытой Даниловым, и опять затих.

Зато город был по-прежнему взбудоражен. Но Данилов, оценив ущерб, нанесенный принсипским быком, несколько успокоился. Ущерб был скорее моральный. Многие приобрели теперь печальный комплекс принсипского быка. Не исключалось, что сегодняшний позор мог вызвать появление странствующих рыцарей. Что касается ущерба материального, то он был привычным – разбитые стекла, опрокинутые автомобили, разоренные гнезда любви. Были ушибы, переломы, инфаркты, но они случились бы и без быка. Был покалечен экипаж танка, но кто просил этих неуравновешенных смельчаков идти в наступление! В общем, если бы Данилов вчера во время куплетов тореадора и перешел в демоническое состояние, особых усилий для охраны населения Мадрида от него не потребовалось бы. Ну и ладно.

Однако после корриды события двинулись дальше. В половине двенадцатого ночи принсипский бык Мигуэль был похищен пятью террористами, среди них одним японцем или филиппинцем, посажен в украденный ими большой самолет и увезен в неизвестном направлении. Через полтора часа Бурнабито получил телеграмму из Нуакшота, что в Мавритании, террористы, или кто там они, делились с Бурнабито ультиматумом: или в одиннадцать дня Бурнабито кладет пять миллионов на бочку и возвращает семье левого крайнего Чумпинаса, купленного им в Санта-Фе, или в пять минут двенадцатого принсипский бык Мигуэль отбывает в воздух вместе с обломками самолета. При этом похитители поздравляли доктора Бурнабито со вчерашними десятью миллионами долларов, полученными им за корриду и за продажу телевидению права на показ быка. Власти Нуакшота

заявили, что они не имеют никакого отношения к террористам, просили Бурнабито пожалеть быка, просили пожалеть и Нуакшот, у террористов лазерные пистолеты, они ими всех пугают.

В Нуакшот Данилов даже и не стал заглядывать. Там вблизи была Сахара, пыль и жара, а бык Мигуэль все равно, небось, спал. Переносить самолет с Мигуэлем обратно в Мадрид Данилов не захотел. И Бурнабито был ему не симпатичен, да и мало ли какие намерения имел Кармадон! Данилову стало жалко террористов. В это мгновение на глазах Данилова секретарь принес доктору Бурнабито новую телеграмму. Похитители в связи с упрямым молчанием Бурнабито сокращали условия действия ультиматума. Ежели через час, заявляли они, Бурнабито им не ответит, к принсипскому быку немедленно будут применены необходимые меры. Жить он, возможно, и останется, но вряд ли от него появятся телята. Бурнабито чуть ли не всю воду выплеснул из бассейна. А Данилов усмехнулся. Однако и призадумался. А что, если Кармадон так разнежился, что все защитные системы в нем погасли? Мало ли какие неприятности могли тогда причинить ему лазерные пистолеты. Вдруг попортят шкуру или еще что! Дело было не таким уж и спокойным. «Через час я туда загляну, – решил Данилов. – А за час вряд ли что они ему сделают…»

Он сдвинул пластинку браслета и вернулся к людям.

Ближний пенсионер еще не дотянул руку с пешкой до жертвенной ладьи. Что-то будто кольнуло его, и он обернулся в сторону Данилова. Он все ждал, подмигнет ему Данилов или нет, и, видно, ему показалось, что подмигнул. Игрок обрадовался, вернул пешку на место со словами: «Э, нет, ты меня не одурачишь!» Противник его надулся и заявил: «Дотронулся до фигуры – ходи!» Они заспорили, Данилова пытались вовлечь в спор, причем ближний игрок смотрел на него как на друга, а дальний – как на врага. Данилов смутился, сказал, что шахматы видит в первый раз, и бульваром пошел к стоянке маршрутного такси.

13

Клавдия Петровна караулила Данилова на углу Чехова и Настасьинского, была недовольна тем, что Данилов явился позже нее.

– Пошли, – сказала она энергично. – Прошу тебя, прими виноватый вид. И глупый. Мне во всем поддакивай… Экий ты сегодня! Даю голову на отсечение, но дома ты не ночевал. А? Я ж вижу! Другая женщина на моем месте тебе знаешь что бы сделала!.. Хорошо, я молчу… Ты читал сегодня про синего быка?

– Чего? – удивился Данилов.

– Я говорю, ты про синего быка сегодня в «Труде» читал? Хорошо, я тебе потом расскажу…

Все обошлось быстро и без волнений. Правда, дверь опять открыл обаятельный пират Ростовцев, окончивший два института, ручку Клавдии поцеловал, убрав на мгновенье изо рта федоровскую трубку с махорочным табаком. Попугай на его плече сидел нынче не зеленый, а синий, клювом был крючковатее и злее прежнего, да и сам Ростовцев, казалось, осунулся в ночных злодейских делах. Народу в прихожей стояло мало, день сегодня был назначен не регистрационный, а конфликтный. На этот раз нутриевую шапку Данилов к корыту не пристроил, а с ней в руках подошел к столу хлопобудов. У передвижников вроде бы все просители имели шапки в руках. Тут Данилов увидел, что хлопобуды – и Облаков в их числе – Клавдию Петровну не то чтобы боятся, но уважают. И было заметно, что она для них человек свой. Ей тут же бы восстановили очередь, но надо было соблюсти формальности. Клавдия Петровна, показав на Данилова, заявила, что он человек рассеянный, корыстный, своего рода артист, хотя и глубоко порядочный. Он-то и прикарманил ее пятнадцать рублей, произведя затор в очереди. Данилов написал заявление, в нем слова Клавдии подтвердил. На Данилова сразу стали смотреть с сочувствием, и даже международник в красивых очках, уж на что был суров к оскалам и гримасам, а и тот, казалось, потеплел. Тут Клавдия Петровна, уловив в хлопобудах слабинку, деликатно спросила, в нарушение правил очереди, долго ли ей ждать своих прогнозов. Облаков взволновался, маленький, быстрый, корсиканец в Фонтенбло, прошелся вдоль стола, сказал, что этого он пока сообщить не может. «Я понимаю, понимаю», – смиренно кивнула Клавдия Петровна, а в глазах ее Данилов прочел: «Болтайте, болтайте, я-то уж свой прогноз знаю!» Тут бы и уйти, но пегий человек с вахтенным журналом обратился к Данилову с просьбой дать инициативной группе

подписку о неразглашении.

– А зачем? – удивился Данилов.

– А затем, чтобы были соблюдены все условия чистоты проводимого опыта…

– Ну, пожалуйста, – сказал Данилов.

Когда он опустил ручку, все притихли, и у Данилова возникло ощущение, будто отныне он будет связан с хлопобудами чем-то важным. Пусть не кровью, но и не чернилами.

Расстались хлопобуды с Даниловым хорошо. У Ростовцева, вблизи дверей, на плече сидел вместе с попугаем теперь еще и хомяк. Данилов хотел пройти от Ростовцева подальше, а Клавдию к румяному пирату так и потянуло. Данилов чувствовал что он Клавдии мешает, но куда ж ему было деваться?

– Все, – сказал он на улице, – я с ними закончил.

– Ну нет, – возразила Клавдия. – Не думаю. Они к тебе хорошо отнеслись.

– А если б плохо отнеслись, мне-то что?

– Не храбрись! Они люди серьезные, без эмоций, а на одной науке… Если что не по ним, они тебя в порошок.

– Ты меня напугала. Я и вовсе буду от них подальше…

– Нет, Данилов, – сказала Клавдия, – ты будешь пристегнут к моей сумасшедшей идее…

Данилов хотел было возразить Клавдии, но подумал, что лучше саботировать идею молча.

– Когда же ты мне идею-то откроешь? – спросил он.

– Тише! Молчи! В ближайшие дни и открою!

Тут Клавдия Петровна вспомнила:

– Слушай, ты не знаешь, кто такие голографы?

– Что-то читал, но не помню. Зачем они тебе?

– Видишь ли, – сказала Клавдия Петровна печально, – по побочным прогнозам выходит, что через десять лет мне не так Войнов будет нужен, как голограф…

– Какой голограф?

– Какой-нибудь… Стоящий… С умом… И мужчина.

– Да брось ты! Тебе-то – и какие-то голографы!

– Это они теперь голографы, – возразила Клавдия Петровна, – а через десять лет, говорят, они будут более других одетые.

– Ну смотри… А что же, Войнов побоку?

– Нет, отчего же, – в голосе Клавдии вместе с печалью возникла и нежность, явно вызванная мыслью о Войнове. – У нас с Войновым еще есть время… Но, конечно, мне и сейчас надо почитать что-нибудь про голографию, чтобы знать, как себя вести. А впрочем, это частности!

– Частности, – кивнул Данилов. – Ты взяла пеньюар?

Он теперь испытывал к австралийскому пеньюару чуть ли не симпатию, и судьба его Данилова беспокоила.

– Ну, конечно, спасибо тебе! Я передала твои рекомендации Войнову, он тут же велел брать! А с париками они нас с тобой обвели вокруг пальца!

Наконец, возле «России» они попрощались с Клавдией, однако Данилов крикнул ей вдогонку:

– Слушай, а что ты говорила насчет быка?

– Ты прочти! – обернулась Клавдия. – Это очень интересно. Я бы много отдала, чтобы побыть с ним рядом… Я потом расскажу…

«Ну все! – подумал Данилов. – Еще два дня – и все! Конец Клавдии и ее хлопобудам!»

Однако в Москве прошел час. В Мадриде, стало быть, тоже.

Данилов приблизился к Пушкину, сел под ним на лавочку, но уже без шахмат, а с романтически настроенными людьми, чающими движения часов. Пластинка браслета сместилась, Мадрид предстал перед Даниловым во всей своей утренней красе. В провинцию, в народ уже двигались на лошадях Пржевальского, взятых из частных заповедников, первые странствующие рыцари, пораженные комплексом принсипского быка. Правда, без оруженосцев. Один лишь бывший Резниковьес ехал при официанте. Как Данилов и ожидал, Бурнабито сдался. Пять миллионов было положено на бочку, а левый крайний Чумпинас освобожден от условий контракта и мог вернуться к семье, в Санта-Фе. Журналистов Бурнабито принял у себя на вилле, пребывая в полотняных плавках в проточной морской воде. Он выглядел утомленным, но и довольным. Свое решение он объяснил гуманными упованиями. Ему было жалко быка Мигуэля, жалко авиакомпанию, жалко служителей аэропорта Нуакшота, жалко семью этой левой крайней скотины Чумпинаса. Город ночью не спал и чего-то ждал. Решение Бурнабито не то чтобы всех расстроило, а как-то опечалило. В том исходе было благоразумие, но не было страстей, и теперь все, даже и тихие люди, жалели, что ничего не взорвалось и не лопнуло.

Это разочарование душ обернулось шумным протестом против уступки негодяям террористам и сантафевской негодяйке жене левого крайнего Чумпинаса. Назревал скандал. Бурнабито, улыбнувшись, заявил, что Чумпинаса заменит куда более яркая звезда, он, Бурнабито, не пожалеет денег. Может быть, Мюллер. Может быть, Ривеллино. А может быть, – тут доктор Бурнабито сделал театральную паузу, – а может быть, и сам Виктор Папаев из московского «Спартака». Папаеву уже сделано предложение. Имя Панаева произвело фурор. Журналисты остолбенели. «Как!

Сам Папаев! Не может быть! Экстра-экстра-экстракласс! Грандиозно! Три корнера – пенальти!» Стало ясно, что проныр лукавый Бурнабито и на этот раз себя не укусит за локоть.

Тем временем принсипский бык Мигуэль самолетом прибыл в Мадрид. Уж на что он вчера стал неприятен местным жителям, а теперь, после ночных переплетов и нуакшотского сидения, его встречали как родного. С гитарами, с кастаньетами. Бык опять лежал, лишь иногда поднимал голову и смотрел на публику мутным глазом. Однако теперь в его позе и взгляде виделось нечто царственное. Вынесли его из самолета на специальных носилках человек двадцать – все атлеты. Данилов при этом опять пожалел бедняг террористов, в особенности японца или филиппинца. Тут же бык Мигуэль был снова водружен на орудийный лафет и в сопровождении мотоциклистов мадридскими пласами и авенидами благополучно отправлен в предназначенную ему резиденцию.

Прямо в аэропорту доктор Бурнабито устроил пресс-конференцию. Во вчерашней корриде не было у него с быком ни сговора, ни какого-либо тайного соглашения. Только бессовестные люди могут теперь требовать деньги назад. Медицинские светила признали сегодня, что бык Мигуэль находится в заторможенном, если не сказать сонном, состоянии. Видно, он утомился в хинной роще, или недоспал, или укушен принсипской мухой цеце, или еще не прошел акклиматизацию. Но уже в ближайшие часы, заверил Бурнабито, бык Мигуэль будет бодрым и беспечным. И сделает это любовь. Лучшие особи женского пола типа коровы, томные, страстные, собраны сейчас в ожидании Мигуэля. Кого он выберет – дело его. Найдутся и другие трогательные натуры. Кстати, заметил Бурнабито и улыбнулся с некиим большим смыслом, получена телеграмма от суперзвезды Синтии Кьюкомб. Синтия летит в Мадрид, она готова отдать сто тысяч долларов только за то, чтобы провести час в компании с принсипским быком. Ну что же, Бурнабито и ученые консультанты обсудят просьбу Синтии, главное, чтобы в итоге всех мер, закончил Бурнабито, сделать добродетель ощутительною.

Еще и Синтия Кьюкомб! Синтия давно уж заткнула за пояс и Мерилин, и Брижжит, и Элизабет. Одни камни в оправах, какие на ней иногда висели, стоили далеко не один миллион долларов. Синтия на экране умела быть не только секс-бомбой, но и секс-облаком. Подкупало и то, что Синтия в наиболее лирических сценах перед кинокамерой не играла, а жила. Фильмы ее, в числе их «Сентиментальное танго», даже и в скандинавских странах шли из-под полы, да и то порезанные ханжеской скандинавской

цензурой. И вот Синтия Кьюкомб летит к принсипскому быку. Тут не один Мадрид, тут и Данилов взволновался!

Он взглянул на Мигуэля. Бык спал в отведенной ему резиденции на львиной шкуре. Данилов зевнул.

Зевнул он в Мадриде, а губы свел возле Пушкина, вернувшись в человеческое состояние. «Кабы и мне поспать сейчас!» – возмечтал Данилов.

Но где уж было ему поспать!

14

Он хотел уверить себя в том, что Кармадон заразил его зевотой, но это было бы ложью. Данилов и сам недосыпал.

Сегодня ладно, сегодня он не выспался известно почему, сегодня была радость. А недосыпал он изо дня в день, и все из-за суеты, из-за долгов, из-за того, что для себя мог заниматься музыкой чаще всего ночью. По ночам он играл, но вполголоса, щадя людей, не то что сосед Клементьев, деревянный духовик из детской оперы, для души поместивший прямо у Данилова за стеной электроорган. Как слабосильный школьник, Данилов ждал выходных дней, чтобы отоспаться.

«Как бы в яме сегодня не заснуть!» – обеспокоился Данилов. Однажды он заснул, был случай, пульт свалил, однако смычок его и тогда не отпустил струн. Теперь Данилов усердно пил кофе в буфете и возбуждал себя хоккейными разговорами. В один из перерывов он позвонил Наташе просто так, чтобы услышать ее голос, но Данилову сказали, что Наташа ушла на склад, за химической посудой.

Вечером играли «Настасью Филипповну». «Настасья» кончилась в десятом часу, а «Спящая» с ее пятью актами – в одиннадцать. После «Спящей» Данилов мог поднимать гири, а после «Настасьи» лишь опускал голову под струю холодной воды. И «Настасью»-то он любил! Это была прекрасная музыка, сочиненная мастером, нервная, высокая, как диалог Достоевского, с пронзительным смешением голосов, с точными, по звуку и мелодии, ответами на движения душ, страдающих на сцене, или и не ответами, а наоборот – предвосхищениями этих движений душ. Музыка «Настасьи» была сродни Данилову, он знал, что и его дорога музыканта рядом или хотя бы ведет в ту же сторону, но здесь, в яме, он был не творец, а исполнитель, работник, и помимо всего прочего должен был хорошо считать. Данилов считать в музыке любил и умел, но в «Настасье» именно из-за мгновенного отражения музыкой мятущихся и быстрых чувств счет был сложный, как ни в какой другой вещи, только «Весна священная» «Настасье» не уступала. Счет не давал Данилову в «Настасье» передышек, вот и вставал Данилов в десятом часу с места измочаленный. Нынче и кофе не помогал, глаза у Данилова слипались, были эпизоды, когда он играл в полудремотном состоянии, вздрагивал, будто очнувшись, а счет в нем словно вело некое устройство, не умевшее ошибаться. «Дотянуть бы до конца – да и на морозец!» – мечтал Данилов.

Рядом с ним сидел усатый Чесноков, молодой альтист,

введенный в «Настасью» после пяти репетиций. Чесноков все делал как надо, и перелистывал ноты, и уж, конечно, производил смычком точно такие же движения, как и Данилов, однако звука его инструмента Данилов не слышал. Видно, Чесноков робел, сбивался со счета и боялся, как бы ошибкой не вызвать гневных или язвительных слов дирижера. Оттого его смычок и летал, не достигая струн. Чесноков понимал, что Данилов не мог не заметить его хитростей, смущался, отводил глаза. Данилов уловил мгновение и – естественно, не прерывая в уме счета – шепнул ему: «Не расстраивайтесь. Это действительно сложная вещь. Привыкнете к ней – и у вас пойдет… Поверьте мне…»

В антракте Данилов поспешил в буфет в надежде, что тонизирующий напиток «Байкал» одолеет его зевоту. За столик к Данилову присели флейтист Садовников и скрипач Николай Борисович Земский. Взяли пиво.

– Красивая девушка была с вами вчера, Володя, – сказал Садовников.

– Красивая, – согласился Данилов.

– Данилов, а ведь ты демон! – гулко рассмеялся скрипач Земский.

– Я вас не понял, Николай Борисович, – сказал Данилов.

– Да я насчет баб! – Земский при этом наклонился к уху Данилова, сам же загоготал на весь буфет, а в буфете были иностранцы и школьницы. – Ты ведь с бабами-то демон!

Николай Борисович Земский был обилен телом, басом в Максима Дормидонтовича Михайлова, стаканы, уже пустые, на спор раскалывал звуком, лыс, зато с кустистыми бровями, имел прозвища Людоед и Карабас, в коллективе слыл как охальник и бузотер. И дирижеры боялись его озорства. Николаю бы Борисовичу с его комплекцией, раздетому, выступать в цирке вместо Новака, а уж в оркестре дышать могучей грудью хотя бы в гигантскую медную трубу, делать «фуф-пуф» в страшных местах, а он был скрипач, причем искусный, нежнейший. Правда, последние полгода он не играл. То есть он играл, но как сегодняшний сосед Данилова Чесноков, лишь изображая движения смычка. Делал он это куда более артистично, нежели Чесноков. И струн он не касался не из боязни совершить ошибку, а из творческого принципа. Если бы его попросили для проверки сыграть любую партию, он бы ее сыграл не хуже первой скрипки. Но с такой просьбой к нему никто не обращался, при наличии тридцати шести скрипок молчание одной из них в оркестре, пусть и нежнейшей, можно было не заметить. Ближайшие же к Земскому скрипачи сидели робкие, знавшие, что он потом их все равно перекричит. Впрочем, может быть, они уважали его

принципы, а принципы эти не позволяли Земскому создавать звук. Он принял в творчестве новую веру, по ней сочиненные им звуки должны были возникать лишь внутри предполагаемых слушателей. Он бы и вовсе бросил старую музыку, однако ему оставалось два года до пенсии, а пенсию Николай Борисович получать намеревался. В быту он был бесцеремонен, что, видно, объяснялось незащищенностью его натуры, но к Данилову относился уважительно. Во-первых, потому, что видел в нем музыканта, пусть и старой школы. А во-вторых, он был членом кооператива, в котором Данилов входил в правление. У Данилова Николай Борисович и узнавал всякие домовые новости. Обижался он на Данилова, лишь когда тот, забывшись, называл его Земским. «Я не Земский. Земские были соборы и врачи, – ворчал он. – Я – Земской!»

– Мишу-то Коренева хоронил? – спросил Земский.

– Хоронил, – кивнул Данилов.

– Я вот не смог пойти… Да… А он ведь мои мысли о музыке почти принял, – сказал Земский. – Да испугался их в суете-то!

– Какие ж у вас такие мысли, Николай Борисович? – спросил флейтист Садовников.

– Это не за пивом, – сказал Земский. – У нас с ним, с Мишей-то, были долгие беседы. Но робость его взяла. Не из-за нее ли он и прыгнул в окно?

– Думаю, что не из-за нее, – сказал Данилов.

– Кто знает… Я тебе, Володя, как-нибудь расскажу о наших разговорах… Это, брат… Да-а-а…

Тут прозвенел первый звонок.

«Настасью» Данилов доиграл, веки его так и не слиплись, однако он очень устал от спектакля. «Стало быть, Миша Коренев, – думал Данилов, – ходил к Земскому… Надо будет обязательно расспросить Земского… Теории его ладно, хотя и они любопытны… Главное – выяснить про Мишу…»

Дома Данилов, не раздеваясь, рухнул на диван. Однако нашел в себе силы подняться и сварить кофе. Подошел к телефону, постоял возле него в раздумье, отошел. Утром они с Наташей расстались, не сказав ни слова о будущих своих отношениях, никак не назвав то, что с ними произошло или происходило. И потому, что любое слово было бы здесь неточным, а может, и ложным, и потому, что вовсе не хотели навязывать себя друг другу, обручами условных понятий укреплять то, чего, возможно, еще и не было. Она даже не сказала: «Я тебе позвоню. Или ты мне позвони», она просто закрыла дверь, и все. Данилов был за это благодарен Наташе, и, как бы его теперь ни подмывало желание позвонить ей, он не поднял трубку. Не надо было

торопить жизнь, а следовало ей самой доверить и свои чувства и свою свободу. Однако Данилов, сам-то не позвонив, опечалился оттого, что не позвонила Наташа.

«А как там Кармадон?» – вспомнил он.

Он перевел себя в демоническое состояние, но не сразу окунулся в мадридскую жизнь. На излете своих земных мыслей он вспомнил, что так и не посмотрел ноты композитора Переслегина. «Экая я безответственная скотина!» – отругал себя Данилов. Но сдвигать пластинку браслета обратно и хвататься за ноты Переслегина было бы теперь неприлично.

Данилов сам себя изъял из людского времени. Если бы Кармадон отдыхал теперь в Москве и веселился бы с Даниловым на глазах у всех, скажем, в буфете Дома композиторов, то Данилов, даже и переходя в демоны, оставался бы в людском времени. Но Кармадон был теперь в отъезде. Данилов же ни на секунду не мог исчезнуть из Москвы, вот в наблюдениях за Кармадоном он и вынужден был втискиваться в демоническое время. Данилов как бы в электричке, на ходу, разжимал закрытые двери и оказывался между ними, то есть на самом деле он разжимал людское время, был вне его, но и двигался вместе с ним, а потом отпускал двери времени, они сжимались опять, и Данилов возвращался в то самое мгновение, из которого по необходимости вышел.

Но теперь, пока Данилов еще не очутился чувствами в Мадриде, в его кооперативной обители могли появиться известные Данилову личности. В обычные мгновения по условиям договора путь сюда им был заказан. Данилов уже слышал за стеной некое шуршание и мурлыкание, то, наверное, пробирался к Данилову на беседу египетский кот Бастер, бывший покровитель музыки и танцев, полуслепой добряк, и на заслуженном отдыхе не потерявший интерес к событиям культурной жизни. Но сейчас же в квартире Данилова произошло знакомое ему сотрясение воздуха, предвещавшее обычно сладкие мгновения удовольствий. Все завертелось, запрыгало, кота Бастера воздушной волной отнесло обратно в египетские земли, мебель, посуда, книги, в их числе и философские, документы Данилова, страховые листки, связанные с альтом Альбани, – все было вовлечено в сумасшедшее вращение с нарастающим свистящим звуком и оранжевым свечением. Тут что-то грохнуло, зазвенело, все вернулось на свои места, и на письменном столе Данилова возникла демоническая женщина Анастасия, смоленских кровей, кавалерист-девица, жаркая, ликующая, готовая утолить любую жажду, поправшая теперь конспекты занятий вечерней сети прекрасными босыми ногами.

– Здравствуй, Данилов! – сказала Анастасия и спрыгнула на пол. – Ах ты, миленок мой, Данилов, что же ты прячешься-то от меня? Аль другую полюбил? – Она смеялась, но в оранжевых глазах ее Данилов уловил и укоризну.

– Да все дела, – пробормотал Данилов. – Вот теперь с Кармадоном…

– Ах, брось, Данилов! Какие дела! – махнула рукой Анастасия и сверкающими камнями, видно инопланетными, устроила в воздухе секундный фейерверк. – Что это орет-то у тебя? – спросила Анастасия.

– Что? А-а-а, это сосед…

За стеной деревянный духовик Клементьев из детской оперы, как и всегда в последние три года, разучивал на электрооргане песню «Ромашки спрятались, опали лютики…». Данилов до того привык к его ночной учебе, что и перестал слышать ее.

– Этак голову проломит! – возмутилась Анастасия, и за стеной в электрооргане что-то взорвалось.

Ну вот, расстроился Данилов. На ремонт ему ведь тратиться…

– Не будет ночью играть, – сказала Анастасия. – Есть же постановление… Ну иди ко мне, Данилов. Ведь я так редко вижу тебя, иди скорей…

Однако она сама двинулась к Данилову, не дожидаясь его порыва, обняла его, влекущие, оранжевые глаза ее были рядом. Данилов ощущал ее упоительное тело, понимал, что сейчас все опять может пойти прахом, но прахом ничто не пошло.

– То есть как? – отстранилась от него Анастасия. – Ты не рад мне? В тебе и желания ко мне никакого нет! Стало быть, и вправду у тебя другая! Мне гадали, да я не верила… – Она замолчала, видно ожидая от Данилова каких-то слов, но не дождалась. – Прощай, Данилов! – сказала Анастасия в гневе. – Прощай, ненаглядный! Ужо я тебе припомню измену. Ты еще пожалеешь!

Она ногой топнула, прекрасная, буйная, хорошо, что пол не проломила, и тут же исчезла в гордыне, воздух сотряся и как бы дверью хлопнув, отчего электроорган Клементьева снова заиграл за стеной.

Данилову стало жалко Анастасию. Впрочем, он знал, что Анастасия унывать и страдать долго не будет, да и вряд ли он один у нее ненаглядный. «Но отчего я был холоден с ней? – думал Данилов. – Из-за Кармадона… У меня дела с Кармадоном, и я не имел права… – объяснил он себе, но тут же посчитал это объяснение наивным и фальшивым. – Нет, вот почему…» Прежние его жаркие свидания с Анастасией на Земле

происходили в местах отдаленных, безлюдных, оттого-то стихийные явления, бывшие следствием их любви, приносили жителям не столь уж много бед и неожиданностей. Здесь же была область столичная, густонаселенная, к тому же и обильная памятниками архитектуры, Данилову милыми. Вот он и забоялся… Но и это объяснение его не устроило. Соблюдая меры предосторожности, можно было и памятники не разрушить… «Нет, все из-за Наташи», – понял Данилов.

Это было странно. Прежде Данилову земные женщины вовсе не служили препятствием в демонических отношениях. Явились сейчас же Данилову мысли о том, что с ним случилось. Однако он их отогнал, решив, что раздумья следует отложить до лучших времен. Но что же это за лучшие времена! Откуда они? Их у него или вообще не будет, посчитал Данилов, или они наступили уже теперь. Может, и время «Ч» отменено. А что, подумал Данилов, вот ведь и Кармадона к нему прислали на отдых, и Валентин Сергеевич исчез. Может, и вправду произошло нечто? Скажем, подействовала искупительная жертва Химеко?

Данилов взбодрился. Он уже верил в Химеко и в облегчение своей судьбы. Ему показалось даже, что в комнате его запахло цветами анемонами из нежных рук Химеко. «Может, и насчет альта ей намекнуть?» – подумал Данилов. Но тут же он вспомнил, что его инструмент, его музыка к демоническим силам не могут иметь никакого отношения. «Вот вернется Кармадон, я с ним поговорю при случае насчет времени „Ч“ и Валентина Сергеевича, – в благодушии рассуждал Данилов, – вдруг альт и объявится… сам собой… А что Анастасия грозила – так это она в сердцах…»

15

«Батюшки! – спохватился Данилов. – Я забыл про Кармадона!»

И он отлетел в Мадрид.

Данилов сразу же узнал, что Бурнабито взял у Синтии Кьюкомб сто тысяч долларов.

При этом он, Бурнабито, заявил, что свидание с Синтией вряд ли будет полезно быку Мигуэлю, однако отказать прелестной даме он не может. «Ну и наглец!» – возмутился Данилов.

Бурнабито улыбался, а внутренне был растерян. Ничто не пробуждало в Мигуэле корридного бойца! Десятки отборных коров, кровь с молоком, пылких и отзывчивых, пытались увлечь принсипского быка, но ни одна из них не смогла стать его подругой. В гневе жестокий Бурнабито пустил этих ни в чем не повинных существ на мясной фарш для консервов «Завтрак странствующего рыцаря». Кормили быка лекарствами, показывали ему редкие фильмы, от каких и слепой бы почувствовал муки любви, ничто не помогало. Дышал принсипский бык ровно, а сенажную массу, пахнувшую росой, жевал машинально. «Фу-ты! Лучше бы тебя взорвали в Нуакшоте!» – свирепел Бурнабито. Впрочем, он полюбил быка Мигуэля.

В Синтии Бурнабито видел теперь чуть ли не последнюю надежду. Да и Мадрид верил в Синтию. Десятки тысяч взволнованных людей пришли к особняку быка Мигуэля.

Люди облепили ограду в чугунных узорах, повисли на створках ворот, со съестными припасами в руках заняли плоские крыши соседних домов, уплатив хозяевам умеренную мзду. «Ну как, как? Вошла она к нему?» – спрашивали опоздавшие. «Вошла, вошла…» – отвечали им с тихой радостью. Возле ворот было установлено электрическое табло фирмы «Роллекс», отмечавшее доли секунды. Бурнабито как бы держал собравшихся в напряжении и призвал их во свидетели – если она, Синтия, продлит свои удовольствия хоть на мгновение, пусть, если честная, выкладывает еще сто тысяч.

Среди публики присутствовал и переживал на лошади Пржевальского странствующий рыцарь Алонсо Виталио Резниковьес, вернувшийся из провинции, со странствующим же официантом. К копью недавнего тореро была привязана проволокой металлическая тарелка с портретом Синтии Кьюкомб и словами «Синтия, и более никакая!». Было известно, что рыцарь объявил Синтию дамой своего сердца и пообещал проткнуть

копьем с электронаконечником каждого, кто усомнится в Синтииных совершенствах. Пришли к особняку и любители шахмат, привыкшие узнавать о ходе партий в фойе и на улицах. Чем ближе было к контрольному времени, тем тише становилось на площади.

Когда на табло «Роллекс» вспыхнули нули, дверь особняка распахнулась, и роскошная Синтия, не подарив Бурнабито ни мгновения, вышла на воздух. Она сердито обвела взглядом безмолвную толпу и сказала устало, но зло:

– Бык – импотент!

Толпа так и ахнула!

– Отмщенье, синьоры, отмщенье! – вскричал странствующий рыцарь Резниковьес и потряс копьем с тарелкой.

Все поняли, что оскорбитель Синтии погибнет. Скорее всего – сегодня же.

Официант протянул рыцарю печеное яблоко в слоеном тесте, присыпанное сахарной пудрой. Рыцарь яблоко проглотил, обдав пудрой соседних дам, но не успокоился.

«Такой наделает дел! – опечалился Данилов. – Изверг, по роже видно, хоть и рыцарь. Да и Синтия, бедолага, наверное, в обиде… И что они привязались к Мигуэлю! Не дают животному поспать…» Данилов понял – за Мадридом нужен глаз да глаз. Принсипский бык Мигуэль никому не был теперь безразличен, следовало ждать событий, а каких – неизвестно. «Будем глядеть…» – вздохнул Данилов.

Вернувшись в люди, Данилов стал стелить постель и тут остро захотел сыграть одну из «Песен для сумасшедшего короля» Майкла Дениса, шестую. Сыграл. Один раз. И еще. «Кабы на Альбани…» – подумал Данилов. Но и без Альбани вышло хорошо. «Кабы Наташа тут сидела и слушала…» Но и для самого себя сыграть было приятно. Данилов потянулся, представил Наташу спящей, нежность возникла в нем. Однако он тут же вспомнил Анастасию, снова пожалел ее. «А ведь она грозила… Как бы Наташе не сделала худого… Нет, Анастасия не сделает… Она земную женщину в расчет не возьмет… А вот мне что-нибудь да устроит!..»

Данилов взял ноты Переслегина, думая пробежать их хоть наискосок. Одолел первый лист и впился в бумагу глазами. Скоро он понял, что перед ним музыка. В симфонии было семь частей, альт вел сольную партию, но не так, как у Берлиоза в «Гарольде», а находясь почти всегда в состоянии любви, ненависти или усталого безразличия к кларнету и валторне, причем валторна показалась Данилову выражением прошлого альта, или, может быть, даже и не пережитого альтом, а только пригрезившегося

ему. В семи частях симфонии Данилов не увидел претензии автора, он посчитал, что семь частей тут необходимы, хотя и не понял пока, в чем эта необходимость. Он вообще не стал теперь вникать в замысел Переслегина и во все случаи его партитуры, отложив это на свежую голову. Он просто понял, что перед ним вещь. Он захотел сыграть одну тему из третьей части. Но не смог, а тут, у стола, и заснул.

16

Утром опять был звонок. Опять – ожидание услышать голос Наташи. И опять в трубке – напор неугомонной Клавдии. Клавдия в канун окончания хлопот Данилова по ее списку желала напомнить о временной своей власти.

– Помню, помню… – с досадой пробормотал Данилов и, снятый Клавдией с постели раньше звуков будильника, не смог отказать себе в мелкой мести: – Ну как, достала книги по голографии?

– Пока мне хватит Войнова, – сказала Клавдия. – Он уже мой. Взят.

– Сегодня салют?

– Сегодня и ежедневно. С голографией успеется. А то еще к сроку все позабуду, если сейчас прочту… Да, помнишь, я говорила тебе насчет синего быка?

– Ну?

– Что ну! Тот был в Мадриде. А теперь у нас свой объявился в костромских землях, в Панкратьевском районе.

– Кто объявился?

– Бык.

– Какой бык?

– Такой же, как у них. То есть, конечно, выделка у них, наверное, лучше и рога небось не те. Но такой же, гигантский и синий, как у них. Только у них был принсипский, а у нас панкратьевский!

– Какой панкратьевский?

– Данилов, с тобой говорить… У меня маска на лице питательная из томатов – и та стечет. Ты ведь газет не читаешь? Я этого принсипского быка две ночи во сне видела, а сегодня – нате вам! – у нас нашли…

Данилов быстро закончил разговор, натянул джинсы, накинул на голое тело пальто и в шлепанцах бросился на первый этаж. Вынул газеты и в лифте прочел: «Интересная находка. На скотном дворе артели „Прогресс“ Панкратьевского района найден удивительный бык. Он весь синий, а ростом выше членов артели и выше несгораемого шкафа, установленного в конторе. Это сильное и неприхотливое животное, представителей его породы еще не было на наших скотных дворах. Необыкновенный бык – смирный и откликается на поэтическое имя Васька. На взгляд зоотехника В.Широкова, он ни в чем не уступает знаменитому принсипскому быку Мигуэлю, виденному Широковым в телепрограмме „Время“». „Наверное, не уступает“, – вздохнул

Данилов.

Дома он перечитал заметку, помещенную под рубрикой «Удивительное – рядом», будто в ней могли объявиться новые слова. «Так… Значит, еще и панкратьевский… Что же я тут сижу-то, – спохватился вдруг Данилов, – когда мне надо в Мадрид! Вдруг этот панкратьевский-то – самозванец!» А очень могло быть, что и самозванец.

Тотчас же Данилов ткнулся носом в изумительные ворота стиля чурригереско, в иные дни он непременно бы исследовал их линии, теперь же он прошел сквозь них и обнаружил, что быка Мигуэля в особняке нет. И в Мадриде быка не было. Минут двадцать назад люди Бурнабито имели его в виду, сейчас же из виду его потеряли. Переполох еще не начался, в Мадриде было тихо. Странствующий рыцарь Резниковьес, сломавший вчера копье при попытке вытащить кость хека из зубов, спал на сырой брусчатке возле ворот особняка, а верная его кобыла Пржевальского, по кличке Конкордия, стояла привязанная к столбу.

Данилов перенесся в северные земли. Артель «Прогресс» была уже на ногах. Данилов оглядел шкаф, установленный в конторе, учуял некое волнение в кабинете председателя. Причиной волнения была высоких свойств бумага, прибывшая вертолетом. Бумага указывала: «Немедленно в сопровождении представителей отправить в Москву на Выставку достижений выведенного в колхозе (это подчеркивалось) племенного быка Василия. Для показа гостям столицы и обмена опытом». Правлению было жалко не быка, а представителей. То, что бык у них не жилец, понимали все. Большому кораблю – большое плавание. Данилов заглянул на скотный двор. Бык, интересовавший его, спал. Здесь было прохладнее, нежели в особняке Мигуэля, дыхание панкратьевского быка отлетало паром. Но он спал. Это Данилова успокоило.

История панкратьевской находки, выяснил Данилов, была простая. Три дня назад в утренних сумерках животноводы колхоза Кукушкин А.А. и Кулешов А.В. возле скотного двора наткнулись на незнакомый предмет. Когда они встали и осветили предмет фонарями с жужжанием, то увидели, что перед ними на снегу лежит то ли бык, то ли корова, то ли зверь. «Экая глупая скотина!» – сказал Кукушкин, но другими словами. Стоял мороз, мужики, хоть и были в досаде, все же пожалели животное и, растолкав его подшитыми валенками, повели в помещение. Там, при электрическом свете, животноводы поняли, что вчера у этой стервы Любки приняли лишнего, да и самогон ее, видно, был дурной. Первым их движением было – сейчас же бежать

опохмелиться, но ноги не понесли. Тем временем бык – а животноводы уже поняли, что это не корова, – тихо прошел к свободному стойлу и устроился там на соломе. «А это ведь не наш», – сказал Кукушкин. «Не наш», – согласился Кулешов. «А чей же?» Кулешов объяснил, кто знает чей. «Может, из „Луча“ прибрел? – предположил Кукушкин. – У них в „Луче“ жизнь, сам знаешь, не то что быки, телевизоры и те не принимают». «Да откуда же он в „Луче“ вырос бы такой! – сказал Кулешов. – Этот не от людей, этот из лесу…» Кукушкин усомнился, но Кулешов стоял на своем. Было известно, что где-то рядом бродит медведь-шатун, видно, этот медведь и выгнал быка из леса. Странно, но и завфермой, а потом и другие удивленные колхозники тоже склонились к тому, что бык вышел из лесу. Быком любовались, жалели его, окликали: «Васька», и ухо у быка дергалось, будто он все понимал. Тогда и решили принять животное на артельный баланс. Случившийся в деревне командировочный человек решение похвалил, он даже сказал: «Это будет бык-рекордист!»

Однако теперь быка вызывали в Москву.

«Ну и нечего мне в Панкратьевском районе делать, – решил Данилов. – Выставка от моего дома – в двух шагах… Значит, Кармадон еще три дня выгадал… Ловок приятель!» Но вовсе не исключалось, что это и не Кармадон. Может, Кармадона растревожили, и он затеял там нечто новое, с исчезновениями, сюрпризами и бенгальскими огнями, а здесь, в Панкратьеве, проклюнулись Данилова недруги? Накинули на плечи шкуру принсипского быка – и тут как тут! На всякий случай Данилов опять поискал следы Кармадона в Испании. Но ничего не нашел.

«Ладно, – сказал себе Данилов. – Поживем – увидим. Сегодня же небось быка в Москву и привезут».

Однако ни сегодня, ни завтра, ни на третий день быка в Москву не привезли.

Данилов в списке забот Клавдии Петровны поставил последнюю галочку, счастливо вздохнул. «Свобода!» – вскричал он и сыграл на альте «Оду к радости».

Галочка, ликующая, от ликования подпрыгнувшая, возникла возле пункта – «купить моющиеся обои под парчу, под сатин, под вельвет, под кирпич, под дворянское гнездо. Или на Колхозной, или у спекулянтов. Где хочешь!»

Вежливо Данилов дал понять Клавдии, что подобные предприятия имели место последний раз. Хотел было и вовсе перейти на заочные с ней отношения, однако душевные слова Клавдии опять смягчили Данилова. Он понял, что ему еще придется встретиться с хлопобудами. А может, и с Ростовцевым.

«И все же свобода! – подумал Данилов. – Теперь я хоть брюки

возьму из химчистки!»

– Ну, а с быком-то твоим, Васькой, что же? – спросил Данилов у Клавдии на прощанье. – Где он?

– Он еще два дня назад должен был прибыть на Выставку! Я туда звонила. Говорят, все в порядке, корм выделен, но быка нет. Ты же знаешь наши скорости!

– А зачем тебе бык-то?

– Как зачем? – удивилась Клавдия Петровна. – Такой бык-то?

Композитору Переслегину Данилов отправил открытку, хотел было сам сгоряча съездить к нему, но понял, что не хватит времени. Да и надо было почитать ноты внимательнее. Открытка вышла сухим предложением позвонить в указанное время.

Но и бык, и Клавдия, и хлопобуды, и альт Альбани, и композитор Переслегин, и собственные старания в музыке были теперь Данилову словно бы и не важны. А лаковая бумажка с багровыми знаками времени «Ч» казалась и вовсе привидевшейся.

Да и что они!

Данилов при людях в троллейбусе на обледеневшем стекле монеткой выводил – «Наташа».

Наташа была всюду и всегда – и в нотах, и в полетах дирижерской палочки, и на сцене, не только в движениях Жизели или трепетной Одетты, но и в шуршании занавеса, в звуках падающих цветов, пусть даже брошенных «сырами» артиста Володина, и дома – в мечтаниях Данилова при жареве яичницы, и на улицах – в торопливой, схваченной морозом толпе. Данилов всюду, даже в оркестровой яме, то и дело оборачивался – не появилась ли Наташа? Однако она не появлялась. И не звонила.

И он ей не звонил.

Теперь ему казалось, что он напрасно в последний раз не сказал Наташе, что любит ее. Он как бы забыл, что тогда эти слова сами ему не явились. Это сейчас, по прошествии трех дней, они в нем созрели. «Да что я!.. Вот как она… Может, я и вовсе ей не нужен…» Однажды он все-таки позвонил ей на работу, ему отчего-то казалось, что с работы Наташе будет легче говорить с ним. Если он для нее чужой, то служебный телефон сделает естественной сухость ее ответов. Но, как и днями раньше, Наташа была в походе за химической посудой. «Оно и к лучшему, – решил Данилов. – Хоть на неделю надо успокоиться, а там, может, все пройдет, и само собой…» Неделю, чуть больше, оставалось еще гулять на каникулах Кармадону, и Данилов полагал, что лучше держать Наташу подальше от отпускника.

Последние дни Данилов много играл. И в театре, и в чужих оркестрах, куда приглашали. Много играл и дома. Он уставал и, как ни звали его Муравлевы, не мог выбраться даже к ним. Лишь

однажды встретился с Муравлевым на Страстном бульваре, принял от него в долг пятьсот рублей, вырученные от продажи колонковой шубы. Деньги эти Данилов тут же отнес Добкиным, он у них брал на Альбани. В собрание домовых на Аргуновскую Данилов последние недели не заглядывал, далеки ему стали его прежние приятели…

17

Наташа Данилову не звонила. А вот Клавдия по утрам звонила. Об услугах она его не просила, что само по себе Данилова пугало, а говорила о всякой чепухе, будто с министерской приятельницей, у какой купила пеньюар. Данилов понимал, что эти звонки неспроста, а имеют непременную дальнюю цель. Придет день, Клавдия свое решение ему и объявит. А теперь она как бы приучает его к своей ежедневной дружбе, чтобы потом его, забывшего об осторожности, размягченного, застигнуть врасплох и проглотить. «Нет уж, дудки!» – опять храбрился Данилов.

Между прочим, Клавдия говорила о синем быке. Она побывала на Выставке и даже, справа от фонтана «Каменный цветок», видела помещение для панкратьевского быка. А бык все не ехал. Клавдия ворчала, говорила: «Может, они его уморили?»

Данилов однажды чуть было не успокоил ее насчет быка. Сам не понял, как удержался. Он-то кое-что знал про панкратьевского быка Ваську. Москва метала громы и молнии, а бык никак не мог расстаться с заснеженными просторами Галичской возвышенности. Но и в провинции жизнь его текла интересно. В первый день после вызова быка в столицу в артели никак не могли решить, кого посылать представителями и в каком виде. Надо сказать, охотников быть при Ваське, хоть и в Москве, находилось мало. Наконец, к ночи, определили в поездку для обмена опытом животноводов Кукушкина А.А. и Кулешова А.В. В сопроводительной было сказано, что они племенного быка Ваську воспитывали с грудных мгновений. При Кукушкино и Кулешове послали непьющего агронома Василькову. На тракторных санях бык Васька доставлен был к станции железной дороги. И здесь народ, стекшийся к саням, уж на что приученный ко всяким чудесам, удивлялся быку. Василькова отчего-то краснела. Кукушкин молчал задумчиво, говорил лишь Кулешов, поскольку был кучерявый, но и то одни и те же слова: «Да, кабыздох будь здоров вымахал!» На станции долго думали, в какой вагон быка сажать – не в товарном же ехать быку на Выставку по приглашению. Потом решили: Москва Москвой, а у них и своих дел много.

В Испании Данилов так и не смог обнаружить ни быка Мигуэля, ни иных следов Кармадона. Не один Данилов искал там теперь принсипского быка. Бурнабито клокотал, вначале он предъявил иск ни в чем не повинной девице Синтии Кьюкомб, будто она очаровала Мигуэля и уговорила его скрыться, – при

этом Синтия никак не опровергла его слов. Адвокаты Бурнабито послали бумаги в Международный суд. Бурнабито пригрозил многим странам – если их правительства не помогут ему вызволить быка, он устроит глубокий подтяжечный кризис.

Панкратьевский бык Васька тем временем сидел на станции. То агроном Василькова ушла в магазин за чулками, и архангельский поезд проехал дальше. То животноводы Кукушкин и Кулешов зачитались газет и забыли о представительстве. Начальник станции Курнев мучился, мучился с ними, наконец пошел домой, к семье, поручив отправку гостей столицы диспетчеру Соломатину. «Ты этого быка-то, – сказал он напоследок, – грузи в багажный вагон…» С северной стороны прибыл скорый. Диспетчер Соломатин подсадил животноводов и агрономшу в купейный вагон, руки им пожал на прощанье, а когда скорый ушел, он увидел, что бык Васька как лежал на тракторных санях, так и теперь лежит.

«Что же это ты? – сказал Соломатин бригадиру Первушину с укоризной. – Он же остался!» «Ну остался», – согласился Первушин.

«Как же это ты, Николай Иванович!» «А ты его попробуй подыми!» – сказал Первушин. «Да вон ведь вас целая бригада!» «Бригада! – хмыкнул Первушин и сплюнул. – Ну бригада… А может, он буйный, бык-то, леший его разберет…» «Как же быть-то теперь? – покачал головой Соломатин. – Ведь его Москва ждет…» «Экое дело – Москва! – сказал Первушин. – Что они там, без быка подохнут, что ли?» «Ты это прекрати! – вскричал Соломатин. – Ты эти глупости из головы выкинь…» Закурили. Помолчали минут пять. «Я ведь что… – сказал Первушин, – я ведь не против… Ну поднимем мы этого быка, не беспокойся, экая важность – бык! Да сколько мы таких быков!.. Но я ведь что думаю… Тут ведь другой вопрос… Если взглянуть по-хозяйски… Взять бы сейчас какой-нибудь кран, как в порту, с цеплялкой, и этого быка легонько так по воздуху и перенести… Или я вот что думаю – сетку такую большую сделать, как сумку, с мотором и пропеллером, и чтобы она сама этого быка прихватила и доставила… Или вот тележку на воздушной подушке у нас пустить… А потом и на всех станциях…» «Да где ж я тебе такую сетку-то возьму! – расстроился Соломатин. – И подушки…» «А-а-а! – раздумчиво протянул Первушин. Потом сказал великодушно: – Ну ладно. Можно взять транспортер из пакгауза и на ленте быка прямо в багажный вагон и пустить». «Ну и возьми транспортер!» – обрадовался Соломатин. «Возьми! – Первушин шапку сдвинул на затылок. – Легко сказать возьми! Он же сломанный!» Соломатин был тихий человек, а тут опять вскричал: «Так что же ты мне

голову морочишь! Все, хватит! Чтоб на красноярском он у меня был в багаже!» «Ну ладно, на красноярском, – согласился Первушин, – а то ведь он тут на морозе кашлять начнет». Первушину и бригаде стало жалко животное, мерзло оно ни за что, и когда через час показался поезд, пусть и не красноярский, бригада с помощниками из пассажиров, как могла, сдала быка в багаж. Уплывали, уменьшаясь, последние огни поезда, взмокший Первушин глядел им вслед довольный. Вышел Соломатин, спросил: «Готова бригада-то?» «Да мы его уже посадили!» – счастливо улыбнулся Первушин. «Куда?» «Да вон на тот поезд!» «Он же в Хабаровск!» – охнул Соломатин. «Ну в Хабаровск… – сказал Первушин. – А то он тут замерз бы! Да и не все ли ему равно – что Москва, что Хабаровск! Везде свои люди. Если надо, так они его и обратно отправят… А то окоченел бы…» «Дубина ты еловая…» – только и сказал Соломатин, прежде чем осесть на шпалы.

Лишь на четвертый день бык прибыл в Москву.

В первый день быка смотрели эксперты и только руками разводили. На утро был назначен закрытый просмотр быка для специалистов и передовиков. И лишь на третий день было обещано вывести быка на большой круг выставочного ипподрома, чтобы и широкая публика могла на него взглянуть. Было известно, что в Москву уже прилетел профессор из Оксфорда Чиверс и один из адвокатов ненасытного Бурнабито.

Профессор Чиверс получил возможность обследовать животное вместе с московскими экспертами. Поздним вечером он сообщил, что панкратьевский бык похож на принсипского, однако он выше его на семь сантиметров, опасней рогами, желудок имеет, напротив, объемом меньше, а шерсть у него куда более густая и длинная, что вызвано суровым климатом Севера. Объяснить одновременное появление гигантских быков в дальних точках земли профессор был не в силах, он сказал, что перед нами одна из загадок века.

Адвокат Бурнабито к быку не был допущен. Ему лишь вручили справку, где удостоверялось, что бык Василий имелся в колхозе пять дней назад. То есть еще до встречи быка Мигуэля с Синтией.

Клавдия Петровна, естественно, достала приглашение и попала на закрытый просмотр быка. Взволнованная Клавдия сообщила Данилову, что взглянуть на быка явился самый свет. Клавдия перечислила, кто явился и что на ком было.

– И как только эта стерва Драницына достала приглашение!.. Она куда хочешь пролезет… И вся в бриллиантах…

– Ну а бык-то что? – спросил Данилов.

– Ну! Бык-то! Это потрясающе! Это бык!

– Там хоть давали что-нибудь задаром-то?

– Нет. И бутербродов не было. Да и пахло там, я тебе скажу… Но зато бык! Как он стоял!

– Стоял? – удивился Данилов.

На закрытый просмотр Данилов не стал проникать из принципа. А вот на выставочный ипподром он пошел с большим удовольствием. Его звали днем сыграть в оркестре Козодоева, он отказался. Мороз был крепок, сияло солнце. Данилов легким, но праздным шагом двинулся на Выставку. Идти-то ему было пятнадцать минут. Уже у касс он увидел очереди. Данилов посчитал, что в этих очередях можно замерзнуть, он решительно прошел к служебному входу, вынул удостоверение театра, взмахнул им и прошел.

Возле ипподрома он увидел живопись масляными красками по жести. Выставочный анималист изобразил панкратьевского быка. Цифрами были помечены все стати быка – и холка, и подгузок, и бедра, и бабки, и седалищные бугры, и маклок, и скакательный сустав, и это самое, и все, все, а ниже шли данные в сантиметрах и килограммах. По всем статьям выходило, что принсипскому быку куда до нашего панкратьевского. Однако время шло, первый сеанс прогулки быка по большому кругу давно уж должен был бы окончиться, публика волновалась, а быка все не было.

Данилова толкали, лица вокруг из любопытствующих становились нервными и обиженными. Многие сокрушались, что шашлыки возле фонтана кончились, а вот теперь еще задерживают и быка. Все громче слышалось бурление людей за оградой и конницей. «И чего всех этот бык взволновал? – удивлялся Данилов. – Ну пришло бы сюда человек десять любителей – и ладно… А тут Ходынка!» Неспокойно стало у Данилова на душе. Вдруг крики утихли, все принялись шептать: «Вон он! Вон он! Ведут!» Данилов вытянул шею, увидел – вели Василия. Публика замерла. Бык был гигант и красавец. Девочка садовских лет вскрикнула в восторге: «Мамонт! Мамонт! Саблезубый!» Но тут бык остановился, лег на снег и, как понял Данилов, забылся в сне. Публика, восхищенная им, стала подзадоривать быка, требовать от него обещанной прогулки по большому кругу. Потом публике стало жалко быка – каково ему на снегу-то! Потом прошла и жалость. Ропот возник в толпе. Животноводы принялись толкать быка, но не растолкали. Усилия администрации к успеху не привели. Публика стала стучать обувью по мерзлой земле. Недоеденные продукты полетели в животное. Публика ревела: «Давайте прогулку! За что платили!

Халтура!»

Данилов почувствовал: если сейчас бык не встанет, будет смертоубийство. Начнется здесь, а потом прорвется народ из-за ограды, смяв конницу. Взволнованный Данилов стал пробираться к выходу на ипподромное поле. Пуговицы отлетели от его пальто, шарф чуть не остался на одном из зрителей, и все же Данилов вышел на быка. Тут его попридержали милиционеры.

Данилов, расстроенный, отошел в сторонку, народ ревел, недалеко от себя в толпе Данилов увидел неистовую Клавдию. «Да что же это я! Забылся, что ли? – подумал Данилов. – Что же я действую таким дурацким способом!»

Он проник в помещение, где держали выставочную скотину, и там, за углом, сдвинул пластинку браслета. Через секунду он был уже быком, ростом даже и поболее быка Василия, но другой масти – шерсть его вышла зеленая с белыми полосками, отчасти напоминавшая о тельняшке. Данилов четырьмя ногами пошел прямо на лейтенанта, тот поглядел на него с уважением и пропустил на поле.

Публика опять притихла, а животноводы Кукушкин и Кулешов на всякий случай отошли от воспитанного ими быка. Данилов приблизился к быку Василию и рогом ткнул его в бок.

– Кармадон, это ты, что ли?

– Ну… – не сразу прохрипел бык Василий.

– Это я, Данилов. Вставай!

– Не хочу… – буркнул Кармадон. – Отстань…

– А я тебе говорю – вставай!

Данилов знал теперь точно, что это не самозванец. Он еще раз, уже сильнее, ткнул Кармадона рогом.

– Отстань…

– Я говорю – вставай!

Бык Василий встал.

– Теперь иди за мной, – приказал Данилов. – И не зевай! Иди, иди, я тебе говорю.

Сначала Данилов подталкивал Кармадона, потом тот пошел сам, и хорошо пошел. Они с Даниловым сделали большой круг, вызвав аплодисменты. Данилов искренне жалел, что принял такой гигантский вид с дурацкой шкурой, как бы теперь и к нему не проявили интерес эксперты. В помещении он шепнул Кармадону:

– У меня больше нет времени. Мне – в театр. Увидимся завтра. Ты должен еще три раза пройтись по кругу. Еще три сеанса. Иначе с тебя публика снимет шкуру… Понял?..

Бык Василий кивнул. Но и зевнул при этом. Данилов на всякий случай сам запрограммировал ему еще три большие

прогулки. Тут же он вышел в пустынный коридор, превратился сам в себя и покинул Выставку достижений.

«А сон его уже не такой глубокий, – отметил Данилов. – Впрочем, мне-то что? Бык этот мне порядком надоел».

Тем не менее ему и днем и вечером пришлось слушать про быка. И чем дальше он находился от Выставки достижений, тем интереснее были новости. Говорили, что уже сейчас на Выставку везут еще и мамонта, или саблезубого тигра, или снежного человека, и их взяли. В троллейбусе дамы на инвалидных местах были уверены, что синий бык явился не к добру. «Вот увидите, – сокрушалась одна из дам, – сильное наводнение случится в Африке… Или у нас творог подорожает…» И дама эта в троллейбусе раздражала Данилова, и Кармадон – вот уж устроил цирк! Все это брожение вокруг быка было Данилову противно. «Ну ладно там, в Испании, а у нас-то что голову терять из-за быка, пусть и особенного!» – думал он как патриот.

В час ночи его разбудил звонок. «Наташа!» – опять подскочил Данилов. Он обрадовался, но тут же и испугался. Кармадон был в Москве, в любое мгновение мог явиться к Данилову на постой, Наташа не должна была знать о нем, а он – о ней. Но звонила опять Клавдия.

– Данилов, – сказала она, – ты ведь небось не спишь. А я тебя видела. Возле быка. А о чем это ты милиционера просил?

– Я искал туалет, – хмуро сказал Данилов.

– Это на тебя похоже… Ты хоть видел, как бык-то прошел?

– Нет! – Данилов готов был трубкой ударить по аппарату. – Я был в туалете.

– Значит, ты главного не видел! Как наши подпустили к Василию грамотного бычка, нарочно выкрашенного в зеленый цвет с белыми полосками, чтобы Василий принял его за своего и послушался. И этот переодетый бычок, жалкий довольно, взял и…

– Хватит. Прощай. У меня зуб болит! – резко сказал Данилов и повесил трубку.

Зуб у него не болел, но от Клавдии мог заболеть.

«Действительно, зачем я выбрал какую-то идиотскую шкуру! – отругал себя Данилов. – Но отчего же – бычок! Да еще жалкий…» Засыпая, он вспомнил, что пройтись быком по заснеженному ипподрому ему было приятно…

18

Утром он пошел на Ярославский рынок за овощами и у ворот рынка увидел бойкую торговлю леденцами на палочке. Данилов и сам с детства любил прозрачные, тающие во рту петушки и слоники, но сейчас очередь была уж больно длинная.

– Синий бык на палочке! Синий бык на палочке! – по привычке повторял мужик с мешком, хотя зазывать кого-либо и не было нужды. – Синий бык кончился! – услышал Данилов. – Остались петушки и пришельцы в скафандрах!

«Мистика какая-то!» – подумал Данилов.

Днем, чуть где рядом возникали разговоры о быке, Данилов отходил подальше. Флейтист Садовников признался, что был вчера на Выставке и теперь чувствует себя одураченным. «Подумаешь, показали какого-то… А я-то ждал!» Скрипач Земский заметил, что следовало на ипподроме просто выставить слова: «Прогулка гигантского синего быка». В мозгу каждого из зрителей возник бы бык и его прогулка, и это было бы настоящее искусство, а не шарлатанство, как теперь. Многие сходились на том, что сейчас в Москве, – видимо, в связи с синим быком – ощущается явный подъем мужской силы. В антракте «Спящей» Данилов попал к телевизору на программу «Время» и после показа семян, готовых к весне, увидел на экране известного комментатора Евгения Синицына. Он сказал, что наш панкратьевский бык вызвал интерес и за рубежом, сегодня не один автобус привозил к его вольеру туристов. Прибыл в Москву взглянуть на быка и популярный странствующий рыцарь Резниковьес на кобыле Конкордии и с официантом. («Пусть взглянет», – подумал Данилов.) И это не удивительно, отметил Синицын, дружба сближает континенты, и вот сегодня ночью наш бык Василий посланцем сотрудничества улетит в Канаду. Данилов вперед подался. «Да, – сказал Синицын, – сегодня бык Василий подарен известному представителю деловых кругов Канады Андре Ришару».

О канадском миллионере Ришаре из Принс-Руперта Данилов слышал. Ришар не раз прилетал в Москву. Он был знаменит и как собиратель, имел прославленные коллекции животных, фарфора и мебели шестнадцатого века. В честь сделки он подарил Торговой палате маньеристское кресло работы ломбардских мастеров с часами над спинкой. Теперь в ответ ему преподнесли Василия. «И правильно сделали!» – сказал Данилов и пошел доигрывать «Спящую».

Он знал, что Ришар человек деловой, поэтому завтра к утру

бык Василий будет в Канаде. А там пусть спит себе до конца каникул. И все же вечером Данилов Наташе звонить не стал. Мало ли что.

Он опять взял ноты Переслегина. Переслегин мог уже и получить его открытку, однако пока не откликнулся. И опять симфония Данилову понравилась. Теперь она ему не только понравилась, но и взволновала его. Ему показалось, что жизнь альта в этой симфонии – отражение его, Данилова, жизни. И изгибы чувств альта – это изгибы его чувств. Будто себя он ощутил в нервном движении альта по страницам партитуры, свои мучения и свои надежды, свою любовь и свои долги. В четвертой части он обнаружил даже летучее место, где альт, или он, Данилов, останавливается возле химчистки с намерением получить брюки, но сейчас же набежавшая волна жизни подхватывает его и несет дальше, оставив брюки висеть. Лишь изредка альту, как и ему, Данилову, выпадали мгновения для раздумий или просто для тихих чувств, но мгновения эти были недолгие, они тут же срывались в бурю или в суету. Впрочем, все это были мысли литературные. Подобного рода мысли возникали у Данилова обычно лишь при чтении нот. Когда же он играл или слушал чужое исполнение, ему было уже не до видений и слов, тут жила музыка, она значила для Данилова больше, нежели видения, слова, а порой – и сама жизнь. «Нет, это можно сыграть! – воодушевлялся Данилов. – Я сыграю это!» Однако тут же он обдавал себя холодной водой – где он сыграет? С кем? «Неважно, где, с кем, а симфонию я приготовлю», – решил Данилов. При этом альт в его душе уже вел тему из пятой части партитуры Переслегина.

Хотя Данилов и положил себе о Кармадоне не думать, он думал о нем. И по привычке, и просто из беспокойства. И еще – он все же рассчитывал на один серьезный разговор с Кармадоном. Надо было рассказать ему о времени «Ч» и посоветоваться. А может, кое о чем и попросить… О Кармадоне он узнал вот что.

Деловой человек Ришар обещал пополнить быком Василием свою галерею редких животных. Однако сразу же по прибытии Василия в Принс-Руперт, как Данилов и предполагал, зоологи Ришара взяли быка в оборот. Опять быка хотели усовестить и заставить его обзавестись потомством. И наверное, Ришару еще в самолете виделись тучные стада синей масти в долине Фрейзера. Бык отогнал настойчивых зоологов Ришара движением ног и покинул галерею редких животных. Как понял Данилов, навсегда.

Сутки Данилов провел в тревоге, все сигналы и шумы принимал в напряжении чувств, в одиннадцать вечера услышал новость: на севере Канады на берегу Гудзонова залива охотником

Кеннаном замечено странное явление. Изо льда на тонком стебле торчал невиданный цветок, светившийся в полярной ночи. Кеннан цветок сорвал, а корней не обнаружил. Позже лабораторным путем в диковинном растении было установлено большое содержание молибдена.

«Ну все», – вздохнул Данилов.

Без промедления маршрутом Чкалова Данилов вылетел в Канаду, имея при себе лом и шанцевый инструмент. На месте цветения он понял, что ломом ему не обойтись. Лом заменил отбойным молотком. Подо льдом земля была схвачена вечной мерзлотой, раз на Кармадоне появились волопасные растения, значит, Кармадон отключился, себе не хозяин – и как бы он не замерз на вечные времена. Долго Данилов бился с канадской мерзлотой, пот с лица стирал, наконец откопал Кармадона. Кармадон пребывал чуть ли не в состоянии замороженного, и был он уже не бык, а то странное существо, с присосками, проволоками и неизвестно с чем, какое плавало у Данилова в ванне. Данилов пытался разбудить Кармадона, но где уж тут! Данилов выругался, поволок Кармадона в Останкино, к себе на квартиру. Там он сунул Кармадона в ванну и пустил горячую воду.

– Где я? – поднял веки Кармадон.

– У меня, – жестко сказал Данилов. – Каникул тебе осталось пять дней. Считай, что быком ты побыл.

– Опять я оброс волопасным… – увидел Кармадон.

Он выпил свои пилюли, скривился, окрасил воду в синий цвет и вернул себе человечье тело.

– Так и не выспался? – спросил Данилов.

– А я спал? – Кармадон ошалело уставился на Данилова.

– Нет, ты разгуливал с гитарой по Испаниям, – сказал Данилов. – Ты ведь ас!

«Это я зря, – подумал Данилов. – Да и чего я злюсь на него! Ну возился я с ним, но я и должен был с ним возиться. Спал он, и хорошо, что спал. По крайней мере, ничего дурного не учинил. Ведь действительно устал он у волопасов, что же ему не отсыпаться!»

– Я спал! – в отчаянии ударил рукой по воде Кармадон. – Я раскис!

– Не расстраивайся, – сказал Данилов уже с некоей жалостью к Кармадону. – Ну подумаешь, спал…

– Нет, позор! Стыд-то какой! Разве я ас! Я слаб!

Кармадон чуть ли не стонал, так был расстроен.

– Что было, то было. Но я не думаю, что теперь, – заметил Данилов, – ты проявляешь сильные стороны своей натуры.

– Ты прав, – утихнув, сказал Кармадон. – Теперь я и вовсе нюни распустил.

– Вот полотенце, вот пижама… Неужели ты ничего не чувствовал и ничего не помнишь?..

– Смутно припоминаю что-то… Точно грезы… Водили меня куда-то… Что-то заставляли делать… А я от них шарахался… в разные углы Земли…

– Я тебе потом дам газеты. Из них ты узнаешь о некоторых своих приключениях.

– Какой позор!

Утром ему пришлось будить Кармадона. Тот хоть накануне и отказывался прилечь и просил Данилова пожалеть чистое белье, сейчас тихо спал на диване. Разбуженный, он смутился, опять корил себя, спрашивал Данилова, не знает ли тот средств, чтобы вовсе истребить в организме сон. Данилов средств не знал. Зазвонил телефон. Данилов услышал Наташу.

Экая была досада! Хоть бы Кармадон вышел куда на секунду, за сигаретами, что ли, или за почтой, так нет, вялый и сонный, он сидел в кресле. Данилов слушал милый Наташин голос, а сам боялся назвать Наташу по имени, говорил невнятно и коротко, будто хотел отделаться от Наташи.

– Что с тобой, Володя? – спросила Наташа. – Тебе неприятен мой звонок?

– Нет, я так ждал его, – сказал Данилов, но тут же оглянулся на Кармадона. – Видишь ли, я очень спешу…

– Ну, извини, – сказала Наташа и положила трубку.

– Подожди!.. – чуть ли не вскричал Данилов.

– Кто это? – спросил Кармадон.

– А-а-а! – хмуро махнул рукой Данилов. – Так…

«А впрочем, может быть, оно и к лучшему, что Наташа теперь позвонила, – подумал Данилов, – через пять дней я ее найду и извинюсь…»

– Кофе готов, – сказал Данилов. – Вот бутерброды с сыром. Что ты намерен делать нынче?

– Не знаю, – протянул Кармадон.

– Ну смотри, – сказал Данилов. – Посиди дома. Включи телевизор. Почитай газеты со статьями о тебе…

– Что ж, давай, – поморщился Кармадон.

Данилов, как всегда поутру, гладил электрическим утюгом черную бабочку для ямы. Из кухни он услышал громкие стенания Кармадона над ежедневными газетами. Данилов зашел в комнату.

– Мало того, что я спал, – поднял голову Кармадон и сказал печально, – но мне еще и спать не давали. Покой нам только снится…

– Это кто тебе сказал?

– Сам понял…

– Знаешь что, – предложил Данилов, – если ты более не намерен… отдыхать, может быть, ты сходишь в парную? В Сандуны или в Марьинские бани. Сам я сегодня не могу, но я тебе адрес дам…

– В какую уж тут парную, – вздохнул Кармадон.

Он чуть ли не плакал. Такой ли он прибыл на Землю из своей волопасной далекой и бурной жизни! Тогда он был устал, но могуч, тогда он верил в себя и верил в свои грядущие подвиги, рискованные, но уж и со страстями, тогда он был вулкан, а теперь он – пластмассовая пепельница с угасшими окурками, тогда он имел своим девизом слова: «Ничто не слишком», а теперь ему, наверное, было бы стыдно вспомнить о них, тогда он был бас, а теперь он тенор, лирический и тихий, способный спеть лишь Трике, да и то в народной опере мукомолов. Укатали Кармадона волопасные бдения, видно, и асом со спецзаданием он уже не мог себя ощутить. Восемь дней назад, при явлении Кармадона, вышло само собой, что Данилов почувствовал себя станционным смотрителем, принявшим влиятельного камергера, когда-то однокашника. То есть так низко Данилов себя не ставил, но что-то подобное ощутил. Пусть и минутное, но ощутил. Теперь же Данилов готов был стать чуть ли не опекуном Кармадону, так все в госте изменилось за неделю. Данилов погладил брюки, тут он услышал возглас Кармадона:

– Ну это уж слишком! «Синий бык – имп..!» Данилов, разве такое могло быть?! Даже и во сне?

– Как тебе сказать… – осторожно начал Данилов.

Кармадон швырнул на пол газету с заметкой о странном поведении принсипского синего быка, так швыряют рецензии, отметил Данилов, разобрав только, что рецензия ругательная, и не желая вдаваться в подробности. Из чувства протеста и самосохранения. Кармадон смотрел теперь на Данилова, и Данилов знал: Кармадон надеется, что он, Данилов, сейчас назовет газету бессовестной.

– Значит, было что-то… – сказал Данилов.

– Они врут! – возмутился Кармадон и взглядом превратил газету в туалетную бумагу. – Что же, и эта Синтия входила ко мне? И заявила, что бык – импотент? Да как она посмела! Да я разыщу ее теперь!..

– Она входила. И так сказала. И была возмущена быком Мигуэлем не меньше, чем ты теперь ею…

– О ужас! Ужас! – Кармадон закрыл глаза и откинул голову. – Я так мечтал побыть синим быком! И я ведь был синий бык!

– Да, ты был бык, – согласился Данилов.

– Нет, после такого позора мне надо проситься куда-нибудь на последнее дело! Пыль какую-нибудь пересыпать в канавах на Сатурне, чтобы дурачить звездочетов!

И Кармадон затих.

– Оставь эти мрачные мысли, – сказал Данилов. – У тебя еще все впереди. Успокойся.

– Нет, после этой газеты я не успокоюсь! Иначе мне хоть и не возвращаться с каникул… У тебя есть гантели?

– Есть, – сказал Данилов, – пятикилограммовые.

– Хорошо. Я начну с зарядки.

– Начни… Потом сходи в парную.

– И схожу. Я себя пересилю.

«А что, – подумал Данилов, – и пересилит…»

– Тоже мне Синтия! – покачал головой Кармадон. – И коровы этого Бурнабито! Небось какие-нибудь дохлые и забитые…

Однако вечером, вернувшись с исполнения «Барабанщицы», Данилов опять увидел Кармадона унылым. На кухонном столике он обнаружил чужую газету, грязную, мятую, и на ней – следы закуски. И запахи на кухне стояли чужие.

– Пил с кем-нибудь? – спросил Данилов.

– Да. В бане познакомился с двумя.

– Кто такие?

– Из вашего дома. Один водопроводчик. Коля. Другой из твоего театра. Скрипач. Земский. Николай Борисович.

– Да, – кивнул Данилов. – Земский у нас сегодня на больничном. Люмбаго. Зад, что ли, он в бане-то грел?

– Нет, выше.

– И кем же ты им назвался?

– Твой детский друг. Содержались вместе в детском доме. Теперь живу в Сибири. Специалист по молибдену.

– Сибирь большая.

– Мне старуха, которая у вас внизу сидит, то же самое сказала. На твоем месте я давно бы эту старуху превратил в растение. Я ей объяснил, что я из Иркутска.

– Что же, Иркутск – хороший город, – сказал Данилов. – Но ты опять не в духе?

– А-а-а! – махнул рукой Кармадон. – А может, это все от познанья?

– Что от познанья?

– Ну… – смущенно сказал Кармадон, – странный случай с Синтией и… другие странные случаи…

– Не понял.

– Может быть, бессилие мое от излишнего познанья?

В глазах Кармадона была печаль, будто он открыл в себе болезнь, от какой его дальнейшая жизнь могла выйти лишь сплошным страданием. «А ведь он кроткий сегодня, – подумал Данилов. – Прежде он непременно бы привратницу Полину Терентьевну произвел в кактус или в авоську с большими дырами, а нынче был деликатным и с ней, и с Земским, и с водопроводчиком Колей…» Тихая жалость к Кармадону опять возникла в Данилове. Он простил Кармадону повешенную Наташей трубку.

– Почему же именно от познанья? – спросил Данилов, спросил не для себя, а как бы давая Кармадону возможность усомниться в истории собственной болезни.

– Данилов, ты наблюдал наших знатоков и теоретиков? Они лысы, беззубы и бессильны от познания!

– Зубы-то тут при чем? – искренне удивился Данилов. – Потом ты… то есть такие, как мы с тобой, и не слишком удручали себя познанием. Да нам и не надо. Мы практики, у нас дела, катаклизмы, чувства, нам в этой суете некогда… Теоретики, мыслители, знатоки – они оттого и теоретики, что они изначально бессильны. Или успели обессилеть, вот и пошли в мыслители… Об облысении я не говорю. Это другой вопрос… Наконец, мыслителям и знатокам нужно познавать и мыслить и по долгу службы. Им отведено время и пространство, все мгновения для них остановлены, а тут… – Данилов чуть было не добавил, что эти теоретики-мыслители, наверное, и обедать с горячими блюдами успевают каждый день, но удержался.

– Ты не прав, – сказал Кармадон, и опять с печалью. – Это в нас уже не истребить. Это в нас – профессиональное, демоническое. Мы ведь, к несчастью, духи познанья. Ты что, забыл? Да, я практик, демон действия, я реалист и презираю мыслителей и знатоков, но я жаден. До всего жаден. И, сам того не желая, впитываю в себя чувственные и деловые познания! А они, может, меня и погубят! Может быть, они для меня окажутся больнее откровений аналитических натур! Ты прав, те и начинали с того, что были бессильны. А если обессилею я! Если я иссякну!

– Просто ты не спал у волопасов. Вот и вся причина.

– Нет, Данилов, это от познанья. От познанья!

Данилов понял, что Кармадона не сдвинешь. Данилов был спорщик, порой и отчаянный, спорить мог о всяких предметах, в том числе и ему незнакомых, в особенности с Муравлевым и духовиками из оркестра. Но сейчас он не хотел спорить. То ли устал на «Барабанщице», то ли еще отчего. Он догадывался отчего. Много в его жизни скопилось больного, важного, такого, что Данилов обещал себе обдумать или решить. Однако в

житейской суете он то и дело откладывал обдумывания и решения до лучших времен, посчитав, что уж пусть пока все идет как идет. И сегодня Данилов не желал раздувать спор, какой мог привести неизвестно к чему. И было еще одно обстоятельство. Данилову вдруг показалось, что он холоден к волнениям Кармадона, что эти демонические сомнения его, Данилова, как будто бы и не касаются, словно сетования москвичей на толкотню в троллейбусах погонщика оленей.

Данилов принес коньяк и ликер «Северное сияние», купленный им в бенефисный день синего быка на мадридской корриде. На всякий случай предложил Кармадону коньяк, но вкус у того не изменился.

– Да, Данилов, – сказал Кармадон, – мы с тобой жили чувствами! Мы не из тех, кто обожает точные науки и умствования сухих голов, любомудров, кто готов с лупой обползывать взглядом все закоулки изловленных душ! Ты знаешь, я люблю вихри, наваждения, спирали того, что люди называют злом, напасти, буйное лихо, тут – моя стихия, тут я – деятель, решительный и рискованный. Тут я жаден, оттого и взял девизом – ничто не слишком.

Данилов чуть было не признался, что у него свои взгляды на зло, наваждения, лихо, но промолчал.

– Но действовать, – сказал Кармадон, – это ведь не стекла бить, не кровь высасывать на манер вурдалака, не править бал! Да и стал бы я уважать себя, если бы к волопасам меня послали пробки выкручивать в подворотнях! Там нет пробок и нет подворотен, это я так, для земной ясности. Нет, мне поручили всю цивилизацию. Я должен был смутить цивилизацию, и я ее смутил. Я повернул ее ход и сам не понял еще куда. Повернул мягко и даже изящно, ничто не скрипнуло и не сломалось! Как мастер я был доволен. Но чего мне это стоило!

Тут Данилов чуть было не дал Кармадону понять, что он забылся и говорит о вещах, которые ему следовало бы держать за зубами. В дружеской беседе тем более.

– Я вынужден был изучить всю их цивилизацию, насквозь, понять ее, а у них ведь и философии есть, да объемистее и рискованней земных, и привычки покрепче философий! Я путал их сновидения, но не с наскока и не подпуская соблазнов – они от них устали! Нет, я должен был как бы создать свежую философию, оснастив ее новейшими данными точных наук, чтобы глиры ей поверили. И этой философией пропитать их сны! Каково! Но ведь я и сам отравлялся знанием. Я от него уставал и мучился. От него, а не от бессонницы! А что дальше? Ведь эдак такое узнаешь, что не только обессилеешь навсегда и обретешь

равнодушие. Но и спросишь: а зачем? Зачем я путал волопасам сны? Зачем мы? Зачем я? Зачем мне бессмертие?

Кармадон замолчал. Данилов тут же хотел опять сказать Кармадону, что усталость пройдет, что кому-кому, а именно им с Кармадоном беды от познанья не грозят. Какие уж, мол, у них такие познанья! Но смолчал, понял, что слукавит. Да, излишних знаний сам он, Данилов, избегал. Но каких? Тех, что могли бы войти в него, словно программа с перфокарты в математическую машину, сами собой и без его, Данилова, усилий и мучений. Кому что! Данилов говорил себе, что если он будет знать все вширь и вглубь до бесконечности, жить ему станет скучно. Все о прошлом знать он, пожалуй, был согласен, однако тут не все архивы были ему доступны… Ну, ладно… Иному человеку, прилежному подписчику журнала «Здоровье», доставляет удовольствие ежесекундно чувствовать, в какой из его кишок и в каком виде находится сейчас пища и какая из костей его скелета куда движется. Данилову однажды любопытно было изучить, что у человека внутри, но помнить всегда о своих капиллярах, брыжейке, артериях, венах, седалищном нерве ему было бы противно. Тогда он был бы не Данилов, а мешок с кровеносными сосудами и костями. Он знал, что музыка любит счет. Он жил этим. Он брал ноты и в каждой вещи первым делом видел свою арматуру, свои опорные балки, свои перекрытия и ложные своды. Но это его профессиональное знание тут же уходило куда-то далеко-далеко, было таким же естественным, как и умение пальцев Данилова иметь дело со смычком и струнами. Если бы вся математика была для него главным в музыке, Данилов давно бы разбил инструмент, не Альбани, конечно. Музыка была его любовь. Любовь он мог принять только по вдохновению, а не по расчету. И жизнь его была – любовь. Любовь же требует тайн, преувеличений, фантазий, удивления, считал Данилов, на кой ему нужна любовь холодного ума! Холодный ум чаще всего и обманывается. И уж, как правило, своего не получает. Что-то получает, но не свое.

Как известно, Данилов еще в лицейские годы имел возможность все знать, все чувствовать, все видеть. Возможностью этой он пренебрег, от скуки демонических откровений его стали мучить мигрени и колики в желудке. Он прикинулся легкомысленным простаком с малым числом чувствительных линий. Медицинская комиссия Данилова не раскусила, и он был освобожден от Большого Откровения. Освобожден без томительных волокит: в ту пору вышел циркуляр, не писанный, но разъясненный, – не всех лицеистов одаривать Откровением, дабы не принести вреда ни им, ни делу. Данилов, если б захотел,

мог тайно, в единое мгновение все знать, все чувствовать, все видеть, он сохранил в себе это умение, но он и специальным-то аппаратом познания средних возможностей (ПСВ-20), врученным ему с лицейским дипломом, пользовался редко. И то в служебных целях. А не для себя. Для себя он все открывал сам, будто человек. Но уж зато какую радость доставляли ему эти открытия! Сейчас он вдруг подумал, что Кармадон, наверное, прав, ведь и в самом деле разумом и чувствами и он, Данилов, впитал в себя столько знания, что и представить трудно! И чужие открытия вошли в него – мелодией, словом, линией, цветом, знаком препинания. Но вошли в него не сами собой, а словно бы притянутые его натурой! И пока они нисколько не пугали его. Напротив, они входили в его радости, в его страдания, в его любовь и его музыку! Они делали их звучнее и ярче. Однако теперь слова Кармадона расстроили Данилова: а вдруг печали Кармадона имеют основания? И наступит время, когда он, Данилов, устанет от жизни и музыки, как скрипач Земский? Вдруг в познании – погибель?

– Новый Маргарит, – сказал Кармадон, – пошел в мыслители, и ты бы видел, на кого он стал похож!

Кармадон поморщился. Новый Маргарит, брат Кармадона, прежде выглядел вполне спортсменом.

– Он мне жалок. А Новый Маргарит говорит, что ему сладко ощущение вечности. Что, по-твоему, – вечность?

– Ну… – задумался Данилов. – Ощущение вечности… наверное, это когда для тебя свершившееся не исчезает, а будущее уже свершилось…

– Ну хотя бы! Сладко ли тебе было бы это ощущение?

– Свершившееся-то пусть не исчезает, – сказал Данилов. – А в том, чтобы будущее уже свершилось, для меня никакой нужды нет.

– Так на кой нам с тобой ощущение вечности!

– Что зарекаться заранее? – сказал Данилов. – А вдруг когда-нибудь захочется ощутить вечность?

– Ну и ощущай! – обиделся Кармадон.

«О чем это я! – подумал Данилов. – Захочется вечность ощутить! В последние мгновения перед временем „Ч“!» Данилову стало ясно, что, если направление разговора не изменится, толку будет мало. Кармадон думает сейчас о своем, он – о своем. «Пусть он выговорится, – решил Данилов, – душу отведет, я уж потом как-нибудь вставлю словечко о времени „Ч“. И нечего мне пока разводить турусы на колесах…» Тотчас же Данилову на ум пришла мысль, что он подумал безграмотно, турусы на колесах – это древние осадные башни на колесах, и как их можно

разводить! При этом Данилов не мог не отметить, что в его натуре, на самом деле, осело много мелкого знания, вроде как об этих турусах. А зачем оно ему – неизвестно. Если только помогать Муравлеву решать кроссворды. Но Муравлев подписан на энциклопедию с укороченным текстом, уже выкупил четырнадцать томов.

– Эх, Данилов, – сказал Кармадон. – Что же мне теперь – и девиз менять? Ничто не слишком! Кабы так! Вот тебе и ничто не слишком! А ведь я был спокоен в уверенности, что эти слова – мои… Неужели я стану мелким? А может, крамола заведется у меня в голове? Ужас-то какой!

– Пройдет все! – махнул рукой Данилов.

– А эта… Синтия, – спросил Кармадон. – Она хоть интересная женщина?

– Она не в моем вкусе. Но многим нравится.

Кармадон опустил голову, притянул к себе бутылку «Северного сияния», опять выпил из горла весь напиток. Жидкость в бутылке тут же восстановилась.

Данилов, понимая, что улавливает мгновение не бескорыстно, все же поддался слабости и спеша, но и смущаясь, рассказал Кармадону о лаковой бумажке со временем «Ч» и ловком порученце Валентине Сергеевиче. Инструмент работы Альбани в рассказ не вошел. При этом Данилов отдавал себе отчет в том, что, если бы Кармадон сидел сейчас перед ним спелым асом со спецзаданием, каким явился в первый день каникул, он, Данилов, ни единого слова о времени «Ч» произнести бы не смог.

– Что, что? – переспросил Кармадон, подняв голову.

Данилов повторил.

– Эко тебя… – выговорил Кармадон. – Кто же этот Валентин Сергеевич? Вошь, наверное, какая-нибудь… – Удивленный новостью, он, естественно, думал прежде о мелочах, отставив суть дела пока в сторону.

– Ты в ведомстве Канцелярии от Того Света? – спросил Кармадон.

– Да, – кивнул Данилов.

– В Канцелярии от Того Света, так… – думал вслух Кармадон, – там у меня… – Он бровь сдвинул, обозначив напряжение мысли. Спросил: – А ты, часом, ничего не натворил?

– Да нет, – пожал плечами Данилов, – ничего эдакого… Если только мелочи какие…

– Честно? – строго спросил Кармадон.

– Честно, – кивнул Данилов, но не слишком решительно.

– Ладно, – кивнул Кармадон. – Не отчаивайся… Ведь ты же

способный демон! Я-то тебя знаю… Мы разберемся… И я… И Новый Маргарит… Он теперь на вершине…

Кармадон опять откушал «Северного сияния». Он был сейчас добр к Данилову, он жалел его, как жалел себя, приняв Данилова за жертву познанья.

– Выручим! – ребром ладони Кармадон ударил по столу.

19

Проснувшись, Данилов обнаружил Кармадона в занятиях с гантелями. Кармадон был гол до пояса.

В шесть вечера, когда Данилов вернулся из театра, он и вовсе не узнал Кармадона. Данилов почувствовал, что Кармадон уже нуждается в присмотре. Вечернего спектакля у Данилова не было, завтра он имел выходной. Это было кстати.

Завтра каникулам Кармадона наступал конец. Данилов снова мог жить сам по себе. Естественно, при условии, что усердиями Кармадона время «Ч» ему, Данилову, будет отменено. Или отложено на долгие годы. Данилов верил в благополучный исход нынешней затеи. Хотел верить и верил.

Кармадон, выяснилось, для бодрости духа утром не только упражнялся с гантелями, но и бегал трусцой в направлении дворца Шереметевых, ныне Музея творчества крепостных. Был он и в банях, уже не Марьинских, а Селезневских, опять со скрипачом Земским и водопроводчиком Колей, к которым привык. В бане не зяб и не зевал, парился от души и из шайки швырял на раскаленные камни исключительно пиво. И Земский, и водопроводчик Коля, будучи в голом виде, очень хвалили Кармадону фильм «Семнадцать мгновений весны». Кармадон, выйдя в предбанник подышать тихим воздухом и накрывшись простыней, взятой у пространщика, тут же устроил себе просмотр всех двенадцати серий. Просмотр прошел сносно, лишь соседи в мокрых простынях, спорившие о стерляди, помешали Кармадону внимательно выслушать музыку композитора Таривердиева. Впрочем, Земский музыку бранил. А слова песен Коля Кармадону напел в парной. Потом Кармадон вместе с Колей и Земским еще гуляли, имели и приключения, правда мелкие. Теперь же Коля и Земский сидели дома у Данилова и пили, разложив жареную рыбу хек на нотных листах. Данилов отправился прямо на кухню с намерением подать закуску на тарелках. Однако остановился, охваченный колебаниями. В холодильнике он имел лишь банку скумбрии курильской в собственном соку. Он хотел было угостить Кармадона в последние дни каникул, как следовало бы московскому хлебосолу, но вряд ли имел право тратить представительские средства на скрипача Земского и в особенности на водопроводчика Колю. Тут Кармадон явился на кухню, рассеял сомнения Данилова, сказав:

– Что ты тут крутишься с тарелками! Сегодня угощаю я!

– У нас так не делается… – начал было Данилов.

– И молчи! – заявил Кармадон.

– Ну смотри…

– Я ведь теперь знаю, кто ты! – сказал Кармадон и пальцем ткнул Данилова в бок. – Я в театр к тебе заглянул, в яме твоей посидел за барабанами и тарелками, еще кое-чем интересовался… Я справки запросил о тебе в канцеляриях… И получил их… Вот и знаю, кто ты…

Кармадон улыбался чуть ли не благодушно, но в благодушии его Данилов уловил и нечто металлическое, возможно молибденовое. «Стало быть, все проверил…»

– Ну и кто же я? – спросил Данилов. И он решил окрасить разговор улыбкой.

– Как тебе сказать… Ты вроде этого… Штирлица… Ты тут свой… Туземец… Ты и думаешь по-здешнему… И пиликаешь по-ихнему… Ты здешний, ты земной…

Тут Кармадон остановился, как бы желая подержать Данилова в напряжении и уж потом либо одобрить его, либо разоблачить. Одобрил, похлопал Данилова по плечу:

– Так и надо!

Кармадон включил на всякий случай все три программы приемника «Аврора», стоявшего на кухне, разом, пустил воду в мойке на полный звук. Он пододвинулся к Данилову и зашептал ему на ухо:

– Нам такие нужны! Я устрою тебе перевод в нашу Канцелярию от Нравственных Переустройств. Наша-то канцелярия примет тебя и отцепит от твоей, теперешней… И уж они тебя шиш достанут со временем «Ч»… Только тебе придется подписать наши условия… Согласишься ли ты?

«А вдруг приемник и вода в мойке не помешают услышать Кармадона? – подумал Данилов. – Надо было еще в туалете воду спустить!»

– Завтра, – шепнул Данилов. – Завтра все и решим.

– Ладно, – кивнул Кармадон.

– Андрей Иванович, где вы? – крикнули из комнаты.

– Пошли к ним, – сказал Кармадон. – Тебе нужно будет еще подписать все мои каникулярные документы. И уж помоги мне приобрести сувениры.

– Как же мы с тобой раньше о сувенирах не вспомнили! – всполошился Данилов. – Завтра все магазины будут закрыты!

«Голова моя садовая! – сразу же подумал он. – Я впрямь соображаю лишь по-здешнему! При чем тут магазины!» Но Кармадон, казалось, не заметил его оплошных слов.

– Впрочем, в магазинах одна дрянь, – сказал Данилов. – Придумаем что-нибудь…

Он готов был сейчас угодить Кармадону. И из-за стечения

обстоятельств. И просто так, от души. Знал он, и какие сувениры будут иметь успех в каждом из Девяти Слоев.

– Андрей Иванович! – пробасил из комнаты Земский.

– Андрей Иванович – это я, – объяснил Кармадон. – Андрей Иванович Сомов. Из Иркутска. Твой гость. Пошли.

– Здорово, Данилов! – обрадовался хозяину Земский, но тут же отчего-то и смутился.

– Здравствуй, Володя! – сказал водопроводчик Коля, он был одних с Даниловым лет, поэтому и называл его Володей. При встречах, даже и в трезвом виде, всегда улыбался Данилову, уважая его: Данилов ни разу не засорял туалета и сам спускал черный воздух из батарей, когда давали горячую воду.

– Николай Борисович, – обратился Данилов к Земскому, все еще пребывавшему на больничном листе, – как вы чувствуете себя?

– Спасибо, ничего.

– У вас люмбаго?

– Люмбаго! – хохотнул Земский. – Вот сегодня хворые места веничком прорабатывал в бане! Но и музыку не забыл. Недавно твоему иркутскому приятелю Андрею Ивановичу исполнил свои новые сочинения…

– Ну и как, Андрей Иванович?

– Забавно, – сказал Кармадон, – забавно. Как это ваше направление в искусстве называется?

– Тишизм, – сказал Земский. – Тишизм.

– Чтой-то краны течь хотят! – вставил водопроводчик Коля.

– Действительно! – хохотнул Земский.

– Сейчас, – сказал Кармадон.

Он сходил на кухню и принес три запотевшие бутылки водки и две «Северного сияния». К кускам жареной рыбы хек добавились шпроты на черном хлебе, банка килек и, Данилов обратил на это особое внимание, банка скумбрии курильской в собственном соку из его холодильника. «Что это он? – удивился Данилов. – Или все истратил вчистую?» Данилов захотел улучшить стол, в воображении его тотчас возникли цыплята табака и седла барашка, однако Данилов подумал, что своими угощениями он будет неделикатен по отношению к Кармадону. И он вернул горячие блюда в рестораны, местные и балканские, лишь некий аромат жареной баранины остался над рыбным столом. Земский учуял его и насторожился. Но Коля уже разлил.

И понеслось. И покатилось.

Данилов пить не хотел. Однако пришлось.

Улучив мгновение в бестолковой, шумной беседе, Кармадон отозвал Данилова в прихожую, открыл встроенный шкаф, достал

меховые ушанки и поинтересовался, сгодятся ли они в сувениры?

– Где ты их достал? – спросил Данилов.

Оказывается, белым днем, когда Кармадон с Земским и водопроводчиком Колей шли из бани подземным переходом и беседовали, дурной подросток снял на ходу с Кармадона теплую шапку и побежал. Кармадон хотел было догнать подростка, но Земский с Колей сказали, что этого делать не надо, а надо идти в милицию. Кармадон и пошел, а Земский с Колей возле отделения сразу же вспомнили, что их дома ждут дела. Колю – затопленная Герасимовыми квартира Головановых. Земского – птица Феникс, о которой он собирался сочинять ораторию. Кармадон в милиции рассказал про шапку, предъявил иркутские документы, написал заявление и стал ждать. Ему удивились, спросили: «Чего вы сидите тут, гражданин?» Кармадон объяснил, что он ждет шапку, не резон ему с голой головой идти на мороз. Все сотрудники сошлись поглядеть на Кармадона, кто-то сказал, что он, верно, пьяный и сам небось шапку потерял или подарил, другой, более вежливый, посоветовал Кармадону идти домой. «Не пойду», – сказал Кармадон. Куда ж он мог идти! По возвращении с каникул ему бы пришлось отчитываться в хозяйственной части за шапку, она ведь возникла на нем не из ничего, а из казенных флюидов. Кармадон рассердился, и через пять минут в отделении все задвигалось и напряглось. Просили Кармадона дать словесный портрет головного убора. Мех Кармадон назвать не смог, сказав лишь, что лохматый. Не помнил он и своего размера. Сержантовым ремнем Кармадону обмерили голову. Через сорок минут Кармадону предъявили одиннадцать его шапок. Среди них, как увидел Данилов, были две пыжиковые, одна из ондатры, олимпийского фасона, четыре кроличьих, свежих, одна лисья, одна из меха секача, одна каракулевая, одна из верблюжьей шерсти. Кармадон сказал, что он не может точно определить, какая шапка его, а какая – нет. Тогда ему предложили отвезти домой все шапки на опознание жене или знакомым, а после, когда предоставится случай, ложные шапки вернуть. Вот Кармадон, поколебавшись, забрал их и теперь думает, не сгодятся ли они в сувениры.

– Сувениры это прекрасные! – сказал Данилов. – Но ты же обещал вернуть десять шапок…

– У меня нет времени, – сказал Кармадон.

– Значит, кто-то будет ходить без шапок. Или родственники твоих спасителей. Или еще кто…

– Ну и что! С меня-то вон сняли шапку! – тут Кармадон взглянул на Данилова холодно. – И потом, ты говоришь странные вещи… Ты что, Данилов?

«Действительно, – подумал Данилов, – что это я…»

– У меня своя роль, – со значением сказал Данилов.

– Ах, ну да… – спохватился Кармадон. – Но ты не беспокойся, следов я не оставил. Они не знают, где я гощу и к кому увез шапки на опознание…

– Вот и хорошо, – сказал Данилов. – А завтра мы присмотрим другие сувениры.

В дверь позвонили.

Гостем явился Кудасов. Данилов Кудасова впустил, однако был удивлен его прибытием. Кудасов и сам чувствовал себя неловко, бормотал, что вот, мол, Данилов не раз приглашал его в гости, он все не мог, а тут шел мимо и подумал: «Дай загляну…»

– И прекрасно сделали! – сказал Данилов. Хотя и готов был погнать этого Кудасова в шею.

«Однако что это Кудасов-то прибрел?..» И тут Данилов понял. Кудасову ехать из дома к Данилову было минут сорок. Сорок минут назад в воображении Данилова возникли цыплята табака и седла барашка с Балканского полуострова, ароматом наполнив его холостяцкое жилье, вот Кудасов и уловил то сладостное мгновение. Его можно было понять: Данилов не обедал у Муравлевых, и Кудасов три недели напрасно шевелил усами, ловившими запахи муравлевской кухни.

Данилов и сам был не прочь поесть нынче сытно. Он шепнул Кармадону:

– У меня есть на представительство… Все равно бухгалтерия их потом спишет…

– Ну, валяй, – сказал Кармадон.

Данилов ввел Кудасова в комнату, представил его гостям-ветеранам.

– Кудасов, Валерий Степанович, лектор по существенным вопросам.

Земский отчего-то хохотнул, а водопроводчик Коля Кудасову очень обрадовался.

Данилов, наблюдавший за ноздрями и усами Кудасова, сострадал гостю. Кудасов учуял аромат жаренной на углях баранины, а предположить мог одно: она уже съедена, он опоздал. Данилов пошел на кухню, получил заказ из двенадцати предметов, выписал – по слабости и легкомыслию – еще и ресторанный столик на колесиках, на этом столике привез закуски, напитки, горячие блюда в комнату.

– Андрей Иванович угощает, – сказал Данилов.

Кудасов оборвал умные слова. Усы его приняли стойку.

Потом по кудасовским усам текло. Но и в рот попадало.

– А вот, Валерий Степанович, – сказал водопроводчик Коля,

закусывая жареным хеком, – насчет синего быка что вы объясните?

– Насчет синего быка, – кивнул Кудасов и подцепил вилкой новый кусок баранины.

– Да, насчет синего быка, – поддержал Колю Данилов.

– Ну что же, – сказал Кудасов, – сейчас ясно одно. Родиной исполинского быка являются скорее костромские леса, нежели принсипские хинные рощи.

– Да куда им, хинным рощам-то! – сказал Земский.

– А он не от пришельцев? – в упор спросил Коля.

– Каких еще пришельцев? – снисходительно поглядел на Колю Кудасов.

– Все говорят, – сказал Коля. – Это пришельцы их сюда завезли. Три тысячи лет назад. А когда уехали, законсервировали их до поры до времени в спячке. А эти две штуки из спячки вышли.

– Консервируют быков, – засмеялся Земский, – на мясокомбинатах!

Андрею Ивановичу из Иркутска слушать про быков такие слова было неприятно, он поморщился и сказал:

– Да что вы все про быков и про быков! Про этого синего в Москве стали забывать, а вы вспомнили! Теперь в Москву стоматологи приехали, про них говорят.

Андрей Иванович был прав. Два дня как отбыл бык Василий в Канаду, а казалось, что прошла вечность. Панкратьевские страсти и разговоры словно забылись. А о том быке в белую полоску в Москве совсем не помнили. О быстротечность московской жизни! Будто и нет в тебе неводов!.. Собрался в Москве конгресс стоматологов, вот о нем теперь и рядили. Клавдия Петровна уже отсидела на открытии конгресса с гостевым билетом, теперь желала попасть на пленарное заседание. В публике шли слухи, что в последний день работы конгресс специальным решением запретит бормашины. Отныне зубы станут лечить без всякой боли технической водой и сжатым воздухом. Множество чудесных событий летело своей чередой, где уж тут было удержаться в центре внимания синему быку!

– А этот, ихний Бурнабито, – опять вступил Коля, – я в транзисторе слышал, решил возле дома на лужайке своему быку поставить памятник, из одной бронзы. Стоит, значит, бык и ногу переднюю держит на упавшем женском теле, на Синтии этой, вроде он ее победил…

– Ну вот видите, – сказал Кудасов, – при чем же здесь пришельцы!

– Точно? – спросил Андрей Иванович. – Такой памятник

будет?

– Передавали так, – сказал Коля. – Или вот анекдот я про синего быка слышал…

Анекдот был неприличный, для быка обидный, и Данилов, чтобы оберечь от него ранимую натуру Кармадона, прервал анекдот тостом, посвященным съезду стоматологов. Дальше пили и закусывали, Данилов дважды прикатывал из кухни на столике сменные блюда с напитками, не раз компания впадала в хоровое пение. Еще в бане водопроводчик Коля напомнил Андрею Ивановичу песню «Ромашки спрятались, увяли лютики…», и теперь Андрей Иванович ее с удовольствием пел. Их с Колей поддерживал пока еще не уставший от угощений Кудасов и, что удивительно, тишист Земский. И Данилов запел ради компании. Песня их была услышана находившимся за стеной духовиком из детской оперы Клементьевым. Тот сейчас же – и зычно – заиграл про лютики на электрооргане. «Да что он шумит-то! Этак рыбу в реке глушить можно! – рассердился Кармадон. – Он и ночью гремел!» И опять в электрооргане за стеной что-то взорвалось.

В разгар застолья позвонила Клавдия.

– Данилов, ты мне нужен, – сказала она. – Сейчас я за тобой заеду.

– Извини, – сказал Данилов. – У меня гости…

– Бабы или мужики?

– Мужчины, – сказал Данилов.

– Сколько вас?

– Пятеро…

– Вот и хорошо, – сказала Клавдия. – Один лишний. А четверых я заберу…

– Куда заберешь?

– Тяжести таскать! Надеюсь, настоящие мужчины не откажут даме в помощи…

– При тебе есть Войнов…

– Войнов! Войнов создан для науки. Турки у него… Ладно. Жди меня, – сказала Клавдия Петровна и повесила трубку.

Через полчаса Клавдия прибыла. Вид имела спортивный, будто собралась на лыжную прогулку. Она оглядела гостей Данилова, осталась ими довольна, присела на минуту, давая мужчинам время на сборы.

– Я вас моментально привезу обратно, – сказала Клавдия. – Там дел всего минут на пятнадцать… Я бы и одна, но камни тяжелые…

Николай Борисович Земский сейчас же сослался на больничный лист и люмбаго, вызвался сторожить квартиру Данилова.

– А вам и все равно не осталось бы места в машине, – сказала Клавдия. – И потом, такие огромные мужчины, как вы, они ведь самые бесполезные.

Земский кивнул, согласившись.

Клавдия спешила, коридором и на улице, к машине, шагала быстро, не оглядываясь, уверенная в своих помощниках, а те старались от нее не отставать. Данилов-то – по привычке, водопроводчику Коле было все равно, где теперь исполнять песню «Прошу меня не узнавать, когда во сне я к вам приду», но спешили, втянутые в движение Клавдиевой энергией, и Кудасов, кому подобное движение прежде было бы чуждо, и Кармадон, вот что примечательно. И потом ехали в войновской «Волге» в некоем напряжении, куда – неизвестно. Но все – в готовности сейчас же исполнить просьбы Клавдии. Или требования. Она сидела за рулем решительная, зловещая, как царица Тамара в холодном ущелье Дарьяла. Было темно, и Данилов не понял, куда их завезли. Выскочили из машины возле забора товарного двора какого-то вокзала, скорее всего Ярославского, Клавдия раздвинула коричневые доски забора, пропихнула в щель водопроводчика Колю, Кармадона, Данилова – сама пролезла на товарный двор, а Кудасова оставила возле щели в дозоре. То сугробами, то по шпалам, то под товарными вагонами Клавдия долго вела помощников, будто группу диверсантов, и наконец вывела к кирпичной стене. Возле стены стояли сбитые из досок ящики, присыпанные снегом.

– Два берем! – сказала Клавдия. – Ты, Данилов, с этим! А я – с этим!

У Данилова «этим» был водопроводчик Коля, у Клавдии – Кармадон. Ящики оказались тяжелыми, килограммов по семьдесят, лишь добросовестные старания Клавдии вызвали в Данилове прилив сил, кое-как дотащил он с Колей ящик к охраняемой Кудасовым щели. А Клавдия с Кармадоном опередили их метров на десять. Пыхтя, нервничая, пропихнули ящики в щель, оторвали еще доску. Возле машины при свете фонарей Данилов разобрал на ящиках надписи: «Камчатская экспедиция. Вулкан Шивелуч». За вагонами в тревоге, но и с удалью засвистел сторож. Один из ящиков сунули в багажник, другой – на заднее сиденье, сами вмялись в машину и, словно бы чувствуя погоню, помчались в автомобиле улицами с редкими фонарями. Коле опять стало тепло в машине, и он запел, хоть и был придавленный Кудасовым: «Шапки прочь! В лесу поют дрозды-ы-ы-ы! Певчие избранники России…»

Подъехали не к войновскому дому, а к дому Клавдии, когда-то и даниловскому, кооперативному. Клавдию с ящиками пустили

лифтом, сами поднялись пешком. Кудасов дрожал, усы его дергались, но Клавдия успокоила лектора, сказав, что за эти ящики судить его никто не будет, они забытые и, видно, никому не нужные. Но, впрочем, нынешней поездкой она попросила не хвастаться.

Как и было обещано, Клавдия отвезла мужчин к Данилову. И сама посидела с ними полчаса. Квартиру Данилова она, возможно, и украсила, но отчего-то прежней душевности в компании не возникло. Кудасов, обозрев пустые уже тарелки, нашел, что ему следует вернуться к конспектам. Было видно, что и при горячих вторых блюдах он бы теперь откланялся. Душа его была в смятении. Земский вблизи Клавдии затих, хотя и считался бузотером и охальником. Водопроводчик Коля был весь в песнях. Один Кармадон, неожиданно для Данилова, проявил интерес к даме. Нечто давнее, знакомое Данилову, зажглось в его глазах. Часом раньше при явлении Клавдии Данилов обеспокоился. Он знал, что Кармадону женский пол после случаев с Синтией и коровами Бурнабито был ненавистен и мерзок. Он ждал от Кармадона поступка мстительного или грубого. Но Кармадон и в машину за Клавдией спустился, и под вагоны нырял, и ящик тащил! Теперь он смотрел на Клавдию мечтательным взором, поигрывал брелоком с костяной обезьяной! Эко все повернулось! «Да ведь я и сам, как последний болван, – подумал Данилов, – кинулся за Клавдией, волочил дурацкий ящик от вулкана Шивелуч… Наваждение какое-то! Вот ведь неистовая баба! И неумная к тому же! И как это Войнов, автор книг о Турции, на ней женился, не пойму!» Впрочем, он тут же вспомнил, что и сам был женат на Клавдии.

Клавдия выпила кофе, поблагодарила Данилова за помощь и гостеприимство. Данилов хотел было ее из вежливости удержать, но не удержал. Галантный Кармадон вызвался проводить Клавдию. Та кавалером была довольна, на шутки Кармадона отвечала искренним, громким смехом. В дверях Кармадон подмигнул Данилову со значением. «Ну, проводи, проводи…» – подумал Данилов.

20

К любезностям Клавдии с Кармадоном Данилов решил не проявлять интереса. Их дело! Чего от Кармадона он не ожидал, так это подмигивания в дверях. Кармадон был из рода с традициями, имел приличные манеры, а тут – какое-то балаганное подмигивание! И явная нагловатость во взгляде, будто Кармадон – соблазнитель из Мытищ. Данилов подумал, что Кармадон, видно, нервничает, во что бы то ни стало желает истребить в себе Синтиин комплекс, возродить веру в свои мужские свойства, да вот боится худшего. Что же у него выйдет с Клавдией-то при робости?

Водопроводчик Коля все еще пел, заняв диван, и требовал, чтобы Данилов подыгрывал ему на скрипке. Николай Борисович Земский поднялся, кряхтя и лелея люмбаго, потянул Колю на выход – а ведь еще и не вся жидкость изошла из сосудов. И Земский был в смущении. На прощанье он сказал, что Данилов – шалун, не прошло и нескольких дней, а при нем – новая красивая женщина. «Неужели красивая?» – спросил Данилов. «Очень, очень эффектная дама!» – покачал головой Земский.

Данилов вспомнил, что все его гости глядели на Клавдию ласково, с неким обожанием. «Неужто она производит впечатление?» – удивился Данилов. Сам он давно уже перестал замечать в Клавдии женщину. Теперь образ сегодняшней Клавдии возник в его голове, и он, оглядев Клавдию как бы со стороны, подумал, что она и впрямь недурна и лицом и телом и что Кармадона можно понять…

Не причинит ли отпускник ущерб Клавдии Петровне, беспокоиться Данилов не стал. Еще неизвестно, о ком следовало беспокоиться…

Путешествие на товарный двор не выходило из головы Данилова. Он гадал – совершили они уголовное деяние или же нет? Или же проучили Камчатскую экспедицию, беззаботно оставившую мерзнуть у стены ящики от вулкана Шивелуч? Гадал Данилов, гадал, потом вздохнул, и на глазах сторожа, бдевшего в тулупе и со свистком во рту, возле кирпичной стены возникли исчезнувшие было ящики с присыпавшим их снежком. Сторож тут же кивнул и задремал, пустив слюну в свисток. В стараниях ради науки Данилов поспешил и в спешке забыл, какие ящики с содержимым – подлинные, а какие – дубликаты. То ли наука получила на товарном дворе свою собственность, то ли Клавдия осталась при истинных научных ценностях. «А-а! Ладно! Потом разберемся!» – махнул рукой Данилов.

Кармадон вернулся в полночь.

Был он мрачен, не имел аппетита.

Молча разделся, лег на диван лицом к стене, притих.

Упрямец Клементьев, починив к ночи электроорган, заиграл за стеной как бы с целым оркестром: «Зачем вы, девушки, красивых любите…» Кармадон проскрипел зубами, и инструмент Клементьева, похоже, рассыпался.

«День завтра будет не из легких», – подумал Данилов.

Встал Кармадон с утренними сигналами радио, сорок минут трудился с гантелями. Данилов нежиться себе не дал, а хотел бы понежиться. Только он вышел из ванной, как Кармадон предложил Данилову оформить его каникулярные бумаги, отпускное удостоверение и прогонные грамоты.

– Теперь же мы составим и список сувениров, – сказал Кармадон, – чтобы потом не забыть…

– Во сколько ты отбываешь?

– В двадцать четыре ноль-ноль…

– Под петухов? – уточнил Данилов.

– Да, – кивнул Кармадон. – Под петухов.

Говорил Кармадон деловито и как пан – писарю, а глаза у него стали холодные и, уж точно, металлические. На замшевой куртке Кармадона появился круглый, с шоколадную медаль, значок – синий бык на черном фоне и слова «Ничто не слишком!». Значок этот Кармадон, видимо, намеревался увезти с собой. За чашкой кофе Данилов, еще не привыкший к сегодняшнему Кармадону, спросил, не излечился ли Кармадон от ран, нанесенных ему познаньем? Кармадон жестко сказал, что этот разговор следует оставить. И вообще он попросил Данилова о событиях последних двух недель забыть. И забыть о его, Кармадона, разговорах, вызванных минутной слабостью. «Хорошо», – сказал Данилов, стал серьезным. Тут Кармадон добавил, видно, для того чтобы развеять все сомнения Данилова: каникулы для него, Кармадона, не прошли даром, он стал сильнее, переступил в себе через нечто важное и созрел для дел более значительных, нежели забавы с цивилизацией волопасов.

– Да, я чувствую в себе явный прилив сил, – сказал Кармадон.

Было похоже, что на этом его откровения Данилову закончились. Данилов опять ощутил себя чуть ли не станционным смотрителем, какому шубу следовало накидывать на плечи заезжего сановника. Он теперь и не знал, был у них с Кармадоном разговор о времени «Ч» или не был.

Данилов вдруг подумал, что Кармадон, возможно, приезжал и ни на какие не каникулы, а инспектором по его, Данилова, делу. От этой мысли он поначалу затрепетал, но тут же стал

воинственным.

Данилов сел за письменный стол, принялся оформлять каникулярные бумаги Кармадона. Тут гость опять стал простым и, даже несколько заискивая перед Даниловым, попросил его все отметить как надо. А в кратком донесении о каникулах быть справедливым.

– Хорошо, – сухо сказал Данилов.

Кармадон – сначала на островах Сан-Томе и Принсипи, а затем в Панкратьевском районе – прихватил пять лишних земных суток, теперь из документов со словами «убыл», «прибыл» они исчезли. Синий бык вышел в донесении Данилова если не геройским, то во всяком случае достойным репутации Кармадона животным. Расписался Данилов на бумагах школьной ручкой сороковых годов, деревянной, тонкой, с пером рондо, бухгалтерия пасту и синие чернила не признавала. К местам для печати Данилов приложился разогретой над газовой плитой пластинкой браслета с буквой «Н». В прогонных грамотах Данилов подчеркнул вид топлива и систему ускорения. Теперь бумаги Кармадона были в порядке. Кармадон завернул их в несгораемый платок и прикрепил к штанам английской булавкой – плохо выправленные или потерянные отчетные документы не одному из знакомых Данилова и Кармадона стоили карьеры.

– А если ты решил перейти к нам, – сказал Кармадон, – то расписываться тебе придется не чернилами…

– Я знаю… – Данилов быстро взглянул на Кармадона.

– Ты сегодня обещал объявить решение… Наш разговор остается в силе…

– Хорошо, – сказал Данилов, – но давай сначала закончим с твоими делами, а уж потом займемся моими…

«Значит, о моем деле он не забыл, – подумал Данилов. – Значит, и не инспектор он, а и вправду был на каникулах…» На душе у Данилова стало спокойнее. И чувства его к Кармадону потеплели. «Он – ничего, – решил Данилов, – а мрачный и важный – это потому что с женщинами ему не везет». Данилов чувствовал, что желает оттянуть решение своего дела хоть и до вечера, мало ли какие условия будут ему предложены, что огорчаться заранее?

– Теперь сувениры, – сказал Данилов.

– Да, сувениры…

С сувенирами положили так. Много времени на выбор подарков не тратить, а сейчас же составить их список. Потом отобранные вещи и явления Данилов в упакованном виде брался отправить Кармадону вдогонку. Или же параллельным с Кармадоном курсом. Список открыли девять меховых шапок и

одна из верблюжьей шерсти. Попросил гость восемь ящиков с бутылками минеральной воды осетинского курорта Кармадон – для стариков. Затем в список внесли тепловоз Людиновского завода, Данилов хотел было выяснить, зачем он Кармадону, но тот замялся и покраснел. «Ладно», – сказал Данилов. Дальше пошли кинофильмы, в том числе с участием Синтии Кьюкомб. Захотелось Кармадону увезти на память копье странствующего рыцаря Резниковьеса, уже починенное. Внесли в список пять тонн жевательной резинки, Данилов прикинул, в каких странах брать ему резинку, подумал, что несколько пачек он непременно прикарманит и угостит Мишу Муравлева и еще кого-нибудь из детей. Кармадон настаивал на том, чтобы сувениром был отправлен полюбившийся ему комментатор фигурного катания, однако Данилов предположил, что тот уцепится за микрофон и никуда не улетит. Кармадон расстроился, но тут Данилов уговорил его заменить комментатора пространщиком из Марьинских бань дядей Нариком, подававшим Кармадону простыню, однако вспомнил, что дядя Нарик – мусульманин, а они с Кармадоном – вовсе не джинны. В конце концов комментатор был компенсирован кометой Когоутека и леденцами на палочке «Синий бык». Кармадон попросил записать что-нибудь для демонических дам, и тут уж Данилов расстарался! Секциям, любезным женскому глазу, в парижских магазинах «Самаритен», «Монопри», «Призюник» предстояло оскудеть! И сгореть! «Надо бы и мне, – подумал Данилов, – при случае послать кое-что и кое-кому… Химеко и Анастасии – непременно! Хотя Анастасия от меня теперь ничего и не примет…» Данилов вздохнул. Еще в список вошли марки с олимпийским гашением, извержение вулкана Тятя, лекция Кудасова, распространенная в сети, и с ответами на записки, ломбардское кресло делового человека Ришара, вызвавшее отъезд быка Василия, веселый памятник Гоголю с бульвара, морская капуста в банках, четыре электрооргана, очередь за коврами у Москворецкого универмага, ростокинский акведук. Список протянулся еще на пятнадцать пунктов.

– Пока хватит, – сказал Данилов, – а к вечеру что-нибудь вспомним…

– Наверное, хватит.

Тут Данилов подумал, что ростокинским акведуком он распорядился напрасно. Его следует оставить на месте. И вид он имеет красивый. И заслуги перед городом. Как-никак стоит двести лет. Захотел он заменить акведук открытым бассейном «Москва», от коего мокнут и тухнут картины с книгами, но и бассейн ему стало жалко.

Сувенирами Кармадон, казалось, был доволен, Данилова это порадовало. Однако опять Данилов уловил в себе желание угодить Кармадону, отчасти не бескорыстное. «А-а, ладно… – подумал Данилов, – последний день, а там опять стану сам собой…» Тут он сообразил, что не мешало бы в список сувениров вставить альт Альбани, вставить и забыть его отправить вместе с Кармадоном… «Нет, никогда, – сейчас же остановил себя Данилов. – Ишь хитрец какой!» – пригрозил он себе пальцем.

А Кармадон опять стал серьезным и надменным. Как и полагалось демону седьмой статьи. Видно, высокие мысли посетили его.

– У нас день впереди, – сказал Данилов. – Как ты предполагаешь провести его?

– В разгуле, – сказал Кармадон.

Но без предвкушения удовольствий сказал, а холодно, твердо, будто под разгулом понимал не персидские пляски и не битье зеркал, а прием снадобий и чтение источников. Или желал показать, что он сам нынче себе хозяин и обойдется без провожатых и сотрапезников. Данилов опять почувствовал расстояние между ним и Кармадоном, пожалел о своей душевной простоте. «Ну и пусть гуляет, – подумал он, – хоть один, хоть с кем… Хоть с Клавдией!» У самого Данилова не было желания пускаться в разгул, а присутствовать при разгуле других, чтобы потом разводить гуляк на квартиры, – тем более! Но что он мог поделать?

– Сейчас придут Земский и водопроводчик, – сказал Кармадон, – и мы двинемся…

– Куда это? – спросил Данилов.

– В Павелецкий вокзал.

Однако первым пришел не Земский и не Коля, а Кудасов. Данилов полагал, что после вчерашнего происшествия Кудасов отсиживается где-нибудь в укрытии и уж его дом намерен обходить за пять верст. Усы Кудасова шевелились. Было видно, что Кудасов притянут на квартиру Данилова большими, хоть и смутными надеждами, вызванными сегодняшними затеями Кармадона. «Как он их почувствовал?» – удивился Данилов. Робок был Кудасов, нервен, что-то настораживало его и пугало, а вот словно какая страсть помимо воли Кудасова подхватила его и принесла сюда. «Может, Кармадон нарочно завлек Кудасова, – подумал с опаской Данилов, – чтоб взять над ним и покуражиться?»

Уж больно пронзительные были глаза у Кармадона.

К двенадцати явились Земский и водопроводчик Коля. Оказалось, что они и договорились вчера о двенадцати часах.

Правда, Коля все забыл. Но Земский помнил.

В ресторане Павелецкого вокзала взяли столик с шестью стульями. Распоряжался Кармадон. Его как бы провожали, пили за Иркутск и сибирские просторы. Хотя на этом вокзале пить полагалось бы за Тамбов и Саратов. После первых рюмок приблудные друзья Кармадона захмелели быстрее, чем следовало бы, то ли от вчерашнего основания, то ли от воздуха Павелецкого вокзала. Данилов и вообще пить не желал, а тут, наблюдая некий неприятный холод в глазах Кармадона, намерен был держать себя в руках. Кармадон шепнул на ухо, властно шепнул:

– Данилов, не передергивай карты! Не старайся быть постнее других… Или я посчитаю, что ты мне не доверяешь, и обижусь!

Данилов сейчас и вправду не доверял Кармадону. Однако и не хотел, чтобы Кармадон был им недоволен. Наоборот, хотел, чтобы тот очень им был доволен. «Ну и ладно! – думал Данилов. – Ну, в его последний нонешний денечек, желания его исполню, и ладно… И условия их приму… Что мне эта канцелярия, что та!» Данилов давно считал: следует всегда оставаться самим собой в главном, а в мелочах – уступать, мелочей много, они на виду, оттого-то и кажутся существенным, главное же – одно и в глубине, уступки в мелочах и создают видимость подчинения и прилежности. Пусть считают, что он послушный. Но он-то как был Данилов, так и будет им.

Потом сидели в ресторане Рижского вокзала, потом Курского. Когда и как увлекся Кармадон железнодорожной кухней, Данилов не знал, спросить же теперь об этом Кармадона было неудобно. Рижский ресторан оказался ничего. Курский же компанию возмутил – только что скатерти в нем были чистые. Дальше отчего-то кушали стоя в желтом буфете при станции Бутово. Кушали много с каких-то сверкающих легких тарелочек из фольги, все больше – варенные вкрутую яйца и селедку на черном хлебе. Запивали «Северным сиянием» и три шестьдесят двумя. Бутылки Кармадон брал с пола и будто бы из-под штанин. Бутовские любители интересовались, откуда водка в воскресный день, Данилов объяснял, что с платформы Катуар Савеловской дороги, там нынче торгуют. Любители тотчас бежали к электричкам, имея в виду платформу Катуар. И тут Данилов понял, что они впятером жуют шпроты уже не в Бутове, а в буфете станции Львовская. «Эдак мы скоро в Туле пряниками станем угощаться!» Потом были и пряники.

В глазах Кармадона и в его губах, когда он задумывался и не жевал, было что-то разбойничье, затаенное, было и высокомерие, и брезгливость была. Данилов понимал – следовало ждать от Кармадона какой-то выходки, уже не ухарской, а расчетливой, и

как бы эта выходка кого не погубила! Однако когда Кармадон кушал железнодорожные угощения, пил «Сияние», он делал это с удовольствием и с таким аппетитом, так вкусно, что Кудасов, уж на что был гурман и привереда, а и тот, увлеченный азартом Андрея Ивановича, одно за другим проглатывал яйца вкрутую.

Пил Данилов поневоле, пил, но все же замечал, какими глазами Кармадон нынче глядел на женщин. Голодные это были глаза, жаждущие. В иные мгновения, особенно когда буфетчица плыла над пивной пеной положительной грудью, глаза Кармадона отражали страсти, волненье в кипучей крови. Многие женщины, попадавшие в поле зрения Кармадона, трогали его, но, пожалуй, буфетчицы и официантки – более всех. Все в натуре Кармадона, видно, так и требовало нынче упоения и реванша. Земский, казалось, был уже не здесь, а неизвестно где, но и то обратил на это внимание.

– Андрей Иванович! – толкнул он в бок Кармадона в буфете платформы Шарапова Охота. – Да вы не теряйтесь! И она на вас глазищи пялит! Вон уже и сыру лишний ломоть вам на блюдце положила… Вы не робейте, а прямо и на штурм!

– Нет, – тихо сказал Кармадон, – она хороша… Но у меня нынче есть дама сердца. Она одна, и более никто… Но это потом, потом!

С той минуты он стал глядеть на женщин скромнее и прохладней. А Данилов почувствовал, что слова Земскому сказаны всерьез. «А впрочем, может, ему и впрямь с буфетчицы начать? Для разгону… – рассудил Данилов. Тут же он взволновался: – Какая же это такая дама сердца? Неужели Клавдия?» Что же, Клавдия умела любить, подумал Данилов с неожиданной нежностью к прежней жене.

Отчего-то Данилову стало тревожно. Но не из-за Клавдии.

Однако тут же в их прогулке началась такая кутерьма, такая полька-кадриль, такая катавасия, что и мыслям о женщинах в голове Данилова места не осталось. Может, именно это и был Кармадонов разгул – опять пили, опять кушали, опять пели и то куда-то ехали, а то стояли на месте. Ехали все больше в вагонах-ресторанах. А стояли опять в станционных буфетах возле пластмассовых столиков или просто у стен. «А что? – решил Данилов. – Давай-ка и напьюсь. Или хотя бы притворюсь пьяным. Если сегодня мне придется принимать условия и ставить подпись, я потом всегда смогу сказать, что был нетрезв. Я и свидетелей приведу!» Земский и водопроводчик Коля были уже в блаженной невесомости, но на ногах держались, производили движения, иногда участвовали и в разговоре и уж, конечно, рты открывали по делу. Кудасов все еще шевелил усами и был, видимо, чем-то

удивлен, неясные думы порой бродили в нем. Думы эти Кудасов гнал, набрасываясь на пищу, возникавшую вблизи него. И пища-то была одна – все те же шпроты на черном хлебе, ломтики селедки при вареных яйцах, корейка в черных и рыжих точках, куски вареной курицы с костями, которые раньше в птице не водились, фигурные пряники «подмосковные» булыжной твердости, сыры, словно бы из сплошной корки, правда, с дырочками, и пирожки с котлетой. В вагонах-ресторанах было приятней – и сидели, и куда-то ехали, то в одну сторону, то в другую, к сырам и сельди имели еще борщ в металлических мисках и рыбу хек с гречкой. А то и зеленый горошек. При этом Андрей Иванович опять так набрасывался на угощения, с такой жадностью уничтожал их, что и все в компании проявляли жадность к железнодорожной еде. Словно выросли в будке путевого обходчика. Шла какая-то сладкая жизнь! Один вагон-ресторан прекратил прием гостей из-за их компании, а продуктов в нем было захвачено до станции «Минеральные Воды». Оказалось, они в экспрессе «Самара», и там ресторан скоро вышел из строя. Закрылись и два Голубых Дуная на Казанской дороге. Данилову было удивительно: «Куда же это в него-то? Да и в нас? Ну ладно, Кармадон пусть… Дорвался заяц до капусты… Ему и надо… А мы-то что?» – Данилов покачал головой, но тут же проглотил вареное яйцо. А Кудасов – два. Мимо их буфета прошел приписанный к Подольскому мясокомбинату состав со свиньями. «Ну, сейчас одного вагона не досчитаются!» – подумал Данилов. Видно, догадка его была справедливой, в буфете тотчас же возникло множество тарелок с корейкой, в черных и рыжих точках, явно от прошедшего состава. «Это Кармадонов разгул? – задумался Данилов. – Или он еще впереди? И когда учудит-то Кармадон что-нибудь?» Данилов был уверен, что Кармадон учудит, но теперь он размышлял об этом без тревоги и дурных предчувствий, а лениво и благодушно, словно прикидывал, когда же наконец Кармадон дернет хлопушку за ниточку.

– Мне бы тут жить! – сказал ему Кармадон.

– Где тут?

– Вот здесь, – сказал Кармадон, обвел взглядом стены буфета, – на Земле. Хоть бы и водопроводчиком Колей…

Коля поблизости тут же встрепенулся и запел: «Березовым соком, березовым соком…»

– То есть как? – удивился Данилов.

– А так, – сказал Кармадон и вздохнул. Был он прост теперь и печален. И печаль-то его совсем иная была, нежели четыре дня назад. Тогда Кармадон страдал от собственной слабости, теперь же он был в силе, а вот чуть ли не плакал.

Данилов глядел на Кармадона растроганно, жалел однокашника. Сказал ему:

– Брось!.. Это из-за Синтии. Или из-за Клавдии… Это пройдет…

Глупость сказал, хотя и не совсем глупость. Но что он мог сказать теперь умного? Пьян был…

Тут Кармадон, видимо, спохватился, и компания в бакинском поезде переехала через Оку. Неожиданно сельдь и яйца сменил тава-кебаб, вызвавший нехорошие слова Кармадона. Данилов выпил что-то под тава-кебаб и совсем загудел. Воздуху ему свежего захотелось. Он вдруг почувствовал себя металлическим кругляком – юбилейным рублем или памятной медалью, – приведенным во вращение на гладкой поверхности стола. Данилова все крутило, крутило, он надеялся, что движение вот-вот прекратится и кругляк затихнет, однако движение не прекращалось. Не в бакинском они уже ехали, а сидели на вокзале станции Моршанск-2. И Моршанск-Второй исчез, утонул в снегах с тамбовскими волками или окороками, что там у них тамбовское, и теперь уже минский поезд пустил в свой уют иркутского жителя Андрея Ивановича и его товарищей. «Зачем мне Минск! – пробормотал Данилов, как бы протестуя. – Нет, сейчас это вращение закончится, закончится!» – думал Данилов.

Кругляк уже бил краями о поверхность стола.

И тут тишина ватой заткнула Данилову уши. Движение прекратилось… Данилов на лыжах стоял в парке или в лесу. Далеко впереди виднелись под деревьями лыжники. Рядом возник Кармадон. И он был на лыжах.

– Все, – сказал Кармадон. – Трапеза окончена. Сыт я. И надолго. Ты-то сыт?

– Сыт… – пробормотал Данилов.

Голова его была тяжелой, однако ноги могли двигать лыжами.

– Теперь пришла пора свидания, – сказал Кармадон. – Здесь мы ее и увидим…

– Я поеду, – сказал Данилов, – я тебе и твоей даме сердца – лишний…

– Подожди, – попросил Кармадон.

«Робеет, что ли, он? – подумал Данилов. – Сыт ведь уже, а все робеет…» Теперь Данилов понял, что они с Кармадоном в Сокольниках. Данилов в эту зиму встал на лыжи впервые, шел по лыжне скверно. Да и лыжня была нехороша, обледенела, ночью снег чуть присыпал ее, но все равно лыжи скользили словно в ледяных желобах.

– Сейчас мы ее увидим… – прошептал Кармадон. Данилов

почувствовал, что Кармадон волнуется. Кармадон поначалу скользил решительно. Но потом взял и свернул влево, пошел по насту и не спеша, явно оттягивая мгновение встречи.

– Ты хоть свидание-то ей назначил? – спросил Данилов.

– Нет, – сказал Кармадон. – Да это и не суть важно… Кстати, она твоя знакомая… Ты на меня не обижайся…

– Что уж тут обижаться-то… – пробормотал Данилов.

– В последние дни я ее вечерами то у театра видел, то у твоего дома. Наверное, она искала встречи с тобой… – сказал Кармадон.

– Что? – поднял голову Данилов. Речь шла не о какой Клавдии.

– А вон и она, – Кармадон ткнул палкой вперед. – На горке…

На горке стояла Наташа.

– Представь меня ей, – сказал Кармадон. Сказал как приказал.

Редко Данилов терялся, а тут растерялся. Сердить Кармадона он никак не хотел. Данилов неловко подъехал к Наташе, стал говорить ей шутливые, глупые слова, и, что удивительно, она ответила на них с улыбкой и беспечно, будто никаких недоразумений между нею и Даниловым не было. Подкатил Андрей Иванович Сомов из Иркутска, был представлен Наташе, и ему Наташа улыбнулась.

Андрей Иванович выразил сомнение, что вряд ли такая очаровательная девушка сумеет съехать с такой опасной горки. И Наташа тут же съехала. Ловко съехала и красиво, позволила себе сделать крутые виражи, будто спускалась на горных лыжах, эластичный костюм сидел на ней хорошо, и было видно, что тело у Наташи не только музыкальное, но спортивное и сильное. «Неужели и вправду, – подумал Данилов, – она искала встречи со мной у театра и в Останкине? Что же я, дурень, ждал-то?»

Однако сегодняшняя Наташа Данилова удивляла. Он привык видеть ее серьезной, порой печальной, теперь же она была веселой, даже озорной. Да Наташа ли это? Как не стыдно было Данилову, он все же скосил глаза на индикатор. Выходило, что Наташа. И будто бы не играла она сейчас, не дразнила его, Данилова, а находилась в состоянии естественном для себя. Неужели явление Кармадона так подействовало на нее? Данилов нахмурился. Поддерживать светский разговор с Наташей и Кармадоном он был не в силах и даже чуть-чуть отстал от них, якобы для того, чтобы поправить крепление. «Она ведь кокетничает с ним, а на меня смотрит как на пустое место! Он мил ей!» – думал Данилов. С возмущением думал и с яростью, будто был мавр, а не останкинский житель.

Тут ему явилась мысль. А пусть Кармадон уходит с Наташей, он же отстанет. Так будет лучше для всех. И для Кармадона. И для него, Данилова. И для Наташи. Давно следовало бы прекратить их с Наташей отношения. Лишь по слабости Данилов дружбу с Наташей оборвать не мог. Теперь был случай… На мгновенье Данилов подумал, что он боится не угодить Кармадону, вот и приняли его мысли этакое направление. Но опять он заглянул на лыжников и опять взъярился: «Нет, она любезничает с ним, до меня ей нет дела! Ну и пусть! Ну и хорошо! Я и отстану… Скажу, что пойду кормить белок, и все…»

– Данилов, – окликнул его Кармадон, – ты все отстаешь!

– Отдача сильная, – сказал Данилов.

– Ты в мазь не попал! – рассмеялся Кармадон, и, как показалось Данилову, со значением.

– Что же вы так, Володя, с мазью-то! – лукаво улыбнулась Наташа. – А говорили, что лыжи любите, что в Сокольники часто ходили. Вот я и решила в Сокольники приехать…

– Это я раньше сюда ходил, когда у меня время было…

«Она уже со мной и на „вы!“» – подумал Данилов. Однако в словах о Сокольниках он уловил некий намек на то, что Наташа, возможно, из-за него нынче здесь.

– Наташа, извините нас, пожалуйста, – сказал Кармадон. – Деловой разговор вам будет не интересен, а я сегодня уезжаю, и мне кое-что нужно обсудить с Володей. Я отведу его на секунду в сторону, вы не обижайтесь…

Отошли.

– Я думаю, – сказал Кармадон, и была в его голосе некая деликатность, – что теперь ты, точно, лишний…

– Нет, – сказал Данилов твердо, – ты ошибаешься.

– Неужели ты решил чинить мне препятствия? – удивился Кармадон. – Ты должен понять, как нужна мне теперь она… Именно она.

– Это исключено, – сказал Данилов.

– Да ты что! Я ведь серьезен сейчас… Я три дня как присмотрел ее. А вышло, будто она мне была нужна давно… Другие женщины мне теперь не нужны… Я уже не слаб, я уверен в себе…

– И я серьезен, – сказал Данилов.

– Что же нам, силой, что ли, придется мериться? – усмехнулся Кармадон.

– Как пожелаешь, – сказал Данилов. – Я не отступлю.

Глаза у Кармадона стали злые и зеленые. Только что он разговаривал с Даниловым как с приятелем, чье упрямство раздражало, но не давало поводов для ссоры. Теперь же Кармадон

был холодным исполином, такому – что чувства в жизни мелких тварей! Все же Кармадон пока не буйствовал, держал себя в руках, а ведь соки в нем бурлили после трапез на вокзалах и в придорожных буфетах.

– Ты что, Данилов, – сказал Кармадон, – забыл, кто ты, кто я, забыл о своих обстоятельствах?

– Я ни о чем не забыл, – угрюмо сказал Данилов.

– Стало быть, ты не думаешь о последствиях.

– Я обо всем помню…

– Ну, смотри…

Данилов мог предположить, что намерения Кармадона относительно Наташи искренни, но он подумал, что помимо всего прочего Кармадону интересно теперь испытать его, Данилова, унизить его и подчинить себе, оттого-то любопытство нет-нет, а возникало в злых Кармадоновых глазах. Это было мерзко. Данилов чуть было не ударил Кармадона. Но пощечина привела бы к поединку.

– Хорошо, – сказал Кармадон. – Объяснение считаю законченным. Ты не отступишь. Но и я ее не уступлю.

– Если так, – тихо сказал Данилов, – то ты… то вы бесчестный соблазнитель. И просто скотина.

Данилов снял с правой руки перчатку, насадил ее на алюминиевое острие лыжной палки и подал перчатку Кармадону. Собственно говоря, это была и не перчатка, а вязаная варежка, но Кармадон, подумав, принял варежку. Он был бледен, Данилов слышал скрежет зубов Кармадона, хотя челюсти его и были сжаты, а в глазах Кармадона то и дело возникало фиолетовое мерцание. Данилов боялся теперь, как бы Кармадон не бросил его перчатку – каково тому было ставить под угрозу не только свое существование, но и свою карьеру! – однако жили все же в Кармадоне понятия о чести, варежку Данилова он положил в карман.

– Завтра утром, – произнес Кармадон и указал вверх: – Там. Условия обговорим с помощью секундантов. Теперь разрешите откланяться и покинуть Землю.

И Данилов поклонился Кармадону.

Наташа спустилась с горки, подъехала к Данилову с Кармадоном и поинтересовалась, не кончили ли они секретничать.

– Кончили, – сказал Кармадон, – и выходит, что мне следует отправляться домой и на вокзал. Иначе опоздаю. Прощайте.

– А я провожу гостя, – сухо сказал Наташе Данилов.

Молча отъехали они от Наташи метров на двести, и тут Андрей Иванович, приезжий из Иркутска, не дождавшись петухов,

рассеялся в воздухе.

Данилов побрел к выходу из парка.

Возле хоккейного дворца в группе пожилых лыжников он увидел честолюбивого порученца Валентина Сергеевича.

Валентин Сергеевич кушал мороженое и хихикал.

21

В четыре часа утра Данилов сел к письменному столу. Он намерен был писать завещание. Однако, оглядев стены и потолок, понял, что завещать, кроме долгов, нечего. Тогда он собрался писать распоряжение. Но «распоряжение» звучало словно бы приказание или требование, а приказывать он никому не мог, да и не собирался.

Ночью, на встрече секундантов, было условлено, что ежели не повезет Данилову и он в ходе поединка потеряет свою сущность, его земное существование закончится как бы в результате несчастного случая. Для людей Данилов то ли попадет под трамвай, то ли большая сосулька свалится на него на проспекте Мира.

Данилову было грустно. Порой, когда он глядел на книги, на папки с нотами, когда он думал о милых его сердцу людях, о музыке, глаза его становились влажными. И Данилов тер переносицу. Однако Данилов помнил, что в поединке он может рассчитывать лишь на собственную волю, а потому элегические состояния, кроме вреда, ничего не принесут. Он еще не остыл, был сердит и воинствен и совсем не желал быть стрелой пронзенным. Но холодным умом он имел в виду и собственную погибель, как одну из реальных возможностей сегодняшнего утра. Он не хотел, чтобы его исчезновение нанесло ущерб кому-либо из людей. Особенно тем, кому он был должен. Вот он и сел писать завещание. Или не завещание, а неизвестно что. Наличных денег у Данилова не было, драгоценностей тоже, не имел он ни машины, ни дачи. Он рассчитывал на совесть страховых учреждений. И Альбани был застрахован, и жизнь Данилова была застрахована. На бумажке Данилов написал теперь, сколько он кому должен и что деньги эти – тут Данилов обращался неизвестно куда – следует из страховых сумм благодетелям возвратить. Здесь же Данилов и расписался самым тщательным образом. Он подумал: а вдруг милиция отыщет альт Альбани? Кому его-то оставить? Если бы Муравлевы играли на альте, он бы им оставил… Из Муравлевых одна надежда была на пятиклассника Мишу, он и осетинский танец симд на носках разучивал вместе с классом и исполнял в школьном хоре песню Пахмутовой «Пейте, дети, молоко, будете здоровы!». Мише Данилов и решил определить инструмент: вдруг подарок проймет мальчика и обратит к музыке! Если бы у самого Данилова был сын… Данилов опять опечалился, но сейчас же, не желая раскисать, изгнал из себя грустные чувства. А они вернулись.

Теперь из-за книг. Данилов распределял, кому отойдут какие книги, книги были редкие, прекрасные книги, Данилову сознание того, что он, может быть, никогда уже не прикоснется к этим книгам, причинило боль. Часть своей страховки Данилов отписал на Клавдию, она привыкла к его взносам за кооперативную квартиру, Данилов не хотел обижать и ее. Клавдия нисколько не была виновата в перемене его судьбы.

На всякий случай Данилов привел в порядок и демонические отчетные документы. Сувениры Кармадону были заказаны, и, если бы Кармадон отказался теперь платить за них или не смог бы сделать это, Данилов готов был принять траты на себя. Вполне возможно, что и вчерашние кутежи могли поставить в вину Данилову. Данилов постарался учесть расходы на них до копейки. Когда учел, удивился. Сколько они съели-то всего! Литры Данилова не изумили, жидкость сейчас здесь – и тут же ее нет, но куда вместились десятки килограммов пищевых продуктов! Да что там десятки килограммов! Центнеры! Тонны!

Тот вагон со свиньями, приписанный к Подольскому мясокомбинату, точно, отошел в пользу компании. Селедки в ломтях было принято Кармадоном и товарищами 746 кг, не считая невесомых хвостов. Яиц, вкрутую и недоваренных, 412 тысяч штук, из них, как выяснил Данилов, 82 тысячи порченых. На шпроты, удовлетворившие компанию, ушел улов двух сейнеров. Да и прочие вчерашние лакомства весили много. Узнал Данилов и о продуктах, о принятии которых он не помнил. В частности, выходило, что Данилов вместе с другими скушал вчера четыре килограмма сушеного мотыля. Да и о двадцати килограммах столового маргарина он думал теперь со свирепым урчанием в желудке. «Эко Кармадон нас увлек!»

Данилов понимал, что Валентин Сергеевич в Сокольниках лишь физиономию показал. Почувствовал, что дело его выгорает, и показал. В дни каникул Кармадона на глаза он старался не попадаться, но никуда не сбег, а был тут как тут. Ждал своей минуты. И дождался. И к Наташе, возможно, Кармадона вывел именно Валентин Сергеевич. Возможно. Ну и что из того! В иной день Данилов непременно доказал бы себе, что он погорячился, что Кармадон не виноват, а Валентин Сергеевич его попутал. И что Наташа любезничала с Кармадоном опять же из-за происков Валентина Сергеевича. Теперь, перед поединком, Данилов отводил всякие оправдания. Валентин Сергеевич, наверное, и думал своим явлением смутить Данилова, вызвать в его душе сто голосов, один виноватей другого, тогда Данилов прибыл бы к месту поединка слабым и безвольным, неуверенным в своей правоте. Мишенью, попросту говоря, прибыл бы. Теперь же он

думал: Валентин Сергеевич ладно. Но ведь Кармадон – не младенец, не отрок, у него своя голова на плечах, что же он дает себя попутать! Да так уж и дает? Он – ас, он – игрок, он мог и сам ради игры, учуяв Наташу, пойти на риск. Он и пошел… А Наташа… Впрочем, о Наташе Данилов запретил себе думать из чувства самосохранения. Он знал одно: не вызови он Кармадона на поединок, случилась бы беда. Даже если Наташе и было приятно пойти с Кармадоном в беседу, кончилось бы все для нее скверно. Как хотел Данилов обойтись без поединка! Однако не обошелся.

Данилов вздохнул и стал писать письма. Двум хорошим композиторам и одному хорошему альтисту. Альтиста он просил познакомиться с симфонией Переслегина и в случае, если она ему понравится, исполнить ее. Композиторам, знавшим Данилова, он рекомендовал Переслегина как человека талантливого, но, видимо, робкого и неудачливого. Он хвалил симфонию и полагал, что доброе отношение таких авторитетов к Переслегину могло бы принести пользу музыке…

Тихо, откуда-то снизу, постучали по системе водяного отопления. Секундант обращал внимание Данилова на то, что до поединка осталось два часа.

Данилов хотел было в записке скрипачу Коле Михайловскому отказаться от поездки в Калугу с молодежным секстетом и тенором Палладиным. Однако посчитал, что если не сможет поехать в Калугу, то Михайловский и без записки узнает об этом.

С секундантом у Данилова были трудности. Откуда брать-то его? А Кармадон желал соблюсти все требования протокола. По правилам своего договора Данилов на Земле ни с кем из демонов знаться не мог. Он был прикреплен к домовым. Ну что ж, домовой так домовой, передал на Землю Кармадон, при этом Данилов ощутил, как Кармадон скривился.

А кого брать из домовых? Годились ли они в секунданты?

«Ба, да у нас в строении тоже есть домовой!» – вспомнил Данилов. Домовой этот, называли его Беком Леоновичем, появлялся в собрании на Аргуновской улице редко, вел себя тихо, не задирался, лампочек не выкручивал. В умных разговорах его занимала судьба Фанских гор. Иногда он играл в шашки по переписке, а все больше молчал. Когда же в окно смотрела полная луна, он вздыхал и говорил: «Луна полная!» Но отчего-то его считали личностью отчаянной. Было известно, что Бек Леонович восточного происхождения. Однако уже давно поменял веру. Прежнее имя свое он не помнил, а теперешнее получил в тридцатых годах. В Останкине, на выставке, среди прочих построили павильон южной республики, белый и голубой,

кружевной, с фонтанами и колоннами. Стоять без домового, естественно, он не мог. Вот и был найден в Коканде, во дворце Худояр-Хана, местный дух, согласившийся перебраться в Москву. Имя ему присудили – Узбек Павильонович. Узбек Павильонович был сознательный доброволец, понимал, куда ехал, однако не смог удержаться и тайно привез с собой восемь жен, или восемь поклонниц, а может просто подруг. Любопытным он объяснял, что они нужны в павильоне для колорита. Никто их не видел, а только все говорили, что они глиняные и из них можно пить чай. Или есть плов. Или еще что-то делать. И что у них странный звук. Как от гуслей, только нездешних. Лет пятнадцать назад павильон перекрасили, посвятили его культуре, и Узбек Павильонович оказался в нем лишним. Его перевели в жилой дом по соседству, в Останкино. Потом – в другой. Потом – в третий. Этим третьим был дом Данилова, кооперативный. Здесь Бек Леонович был незаметен, лишь сильно грустил по женам. Уходя с выставки, из кружевного павильона, забрать с собой он их не смог, а замуровал в колоннах. Данилов знал, что Бек Леонович по ночам бродит возле павильона культуры, гладит колонны, его подруги стонут, зовут его, а Бек Леонович плачет. Чувства Бека Леоновича трогали Данилова, к тому же Бек Леонович был молчальником, вот к нему и обратился Данилов с просьбой послужить секундантом. Бек Леонович заробел, просьбу Данилова расценил чуть ли не как приказание, но сказал: «Сочту за честь». А Данилов ему и на самом деле как бы приказал, чтобы потом Бека Леоновича ни в чем не смогли счесть виновным. Будто его заставили силой. Но при этом Данилов почувствовал, что робеть-то Бек Леонович робеет, однако приключению как будто бы рад, видно, он и вправду был отчаянной личностью.

Секундантом Кармадона стал Синезуд, старый демон, чином мелкий. Но он славился как охотник и летун. Известен был также коллекцией значков разных миров. Часть коллекции, в том числе и значок ворошиловского стрелка, носил на груди. Домовому летать в пространствах не полагалось, да и с непривычки у Бека Леоновича могла закружиться голова, оттого Синезуд и прибыл для переговоров с Беком Леоновичем в Останкинский парк. При этом секунданты имели связь с Даниловым и Кармадоном, и вышло так, что переговоры вели Данилов с Кармадоном, хотя и не сказали друг другу ни слова.

Дольше всего обсуждали вид оружия. Поединок мог быть словесный, на шпагах, на кулаках, на пистолетах, на картах, на карабинах, случались поединки, когда противники швыряли друг в друга камни, овощи. Бились костями вымерших крупных животных, огненными струями. Всего и не припомнишь. Данилов

с Кармадоном уговорились вести поединок из ракетных установок средней мощности с радиусом действия до шестисот километров. Огневые рубежи секунданты обязаны были начертить мелом в пустынном месте, подальше от Земли, куда и метеориты не заглядывали без нужды. Карту звездного неба Бек Леонович взял для практических действий со стола моего сына, тогда еще морочившего головы родителям мечтой об астрономии.

В пять часов, когда Данилов все еще сидел с деловыми посланиями, зазвонил телефон. Данилов оторопел. Неужели Наташа учуяла беду! Хотя какая это для нее беда… Нет, ее звонок был бы теперь лишним. Звонил пайщик с четвертого этажа Подковыров, солист танцевального ансамбля.

– Володя, – сказал Подковыров, – извините меня, но я так и думал, что вы не спите.

– Чем обязан? – спросил Данилов.

– Еще вчера сочинил! – обрадовался Подковыров. – Всю ночь не спал, ждал, кому прочитать!

Подковыров хоть и был солистом, но лелеял в себе литератора. Он сочинял короткие мысли, афоризмы и строки из ненапечатанного. Их печатали.

– Ну читайте, – сказал Данилов.

– Вот. Для «Рогов и копыт». «Объявление. Любителям автографов. В городе Париже в Соборе Инвалидов в двенадцать часов по ночам из гроба встает император». А? Каково! Смешно?

– А что смешного?

– Как же…

– Он ведь и вправду встает.

– Кто?

– Император.

– Когда?

– В двенадцать часов.

– Где?

– В Соборе Инвалидов. Садится на воздушный корабль…

– Вы шутите?

– Нет. Не шучу. Я сам встречал корабль, – сказал Данилов и повесил трубку.

«Были бы у меня иные обстоятельства, – подумал Данилов, – я этому болвану как-нибудь устроил бы встречу с императором. Вставшим из гроба…» Хотя что было на Подковырова злиться? Счастливые часов не наблюдают…

«Так, – сказал себе Данилов, – что нужно – написал. Неужели все дела сделаны?» Он даже испугался. У него была примета. Отправляясь в какое-либо опасное путешествие, он хоть одно, хоть и маленькое дело, но как бы не успевал исполнить. Чтобы

чувствовать себя обязанным вернуться. «Я же брюки из химчистки не взял!» – обрадовался Данилов.

Брюки брюками, однако он так ни разу не сыграл сочинение Переслегина от начала до конца. А ведь хотел. Данилов взял альт. Открыл ноты Переслегина. И минуты через две забыл обо всем. И звучала в нем музыка. И была в ней воля, и была в ней печаль, и солнечные блики разбивались в невиданные цвета на гранях хрусталя, и ветер бил оторванным куском железа по крыше, и кружева вязались на коклюшках, и кашель рвал грудь, и тормоза скрипели, и дождь теплыми каплями скатывался за шиворот, и женское лицо светилось, и была гармония… Сосед Клементьев, духовик из детской оперы, возмущенно забарабанил по стене, разбуженный и злой…

Данилов опустил альт и смычок, притих.

Он устал и был грустен.

Вдруг он вспомнил о времени и понял, что играл сорок минут. Духовику Клементьеву следовало сказать спасибо. Надо было собираться и надо было истребить в себе слабость.

Впрочем, отчего же слабость? Неужто музыка дала ему одну слабость? Нет, посчитал Данилов, она дала ему и силу. Хотя бы потому, что он ощущал теперь необходимость исполнить музыку Переслегина и для себя и для публики. А для этого следовало победить и вернуться. То обстоятельство, что и победив он мог не вернуться, Данилов будто бы не принимал в расчет.

Данилов перевел пластинку на браслете, вызвал домового Бека Леоновича. Бек Леонович явился и был бледен. Из Коканда в Москву когда-то он перебрался поездом, на верблюдах и на ишаках, но теперь-то Данилов, беря грех на себя, вынуждал его лететь жутко куда. Да если бы лететь, подумал Данилов. Если бы сейчас насладиться полетом, как при прогулке в свою пещеру в Андах! Нынче было дело, им предстоял не полет, а перенесение. Зубы у Бека Леоновича стучали.

– Вы глаза закройте, – сказал Данилов, – за мою руку уцепитесь – и мы сейчас же будем там. Если со мной что случится, вас вернет домой мой соперник… Ну все… В путь!

И оказались на месте поединка. «О Земля! О жизнь! О любовь! О музыка! Неужто – все?..» – возникло в Данилове, словно бы он находился еще в дороге. Пальцы Бека Леоновича, вцепившиеся в левую руку Данилова, вернули его к заботам.

– Успокойтесь, Бек Леонович, – сказал Данилов. – Вот мы и здесь. Будьте как на Третьей Ново-Останкинской… Можете ходить, можете парить, можете плавать… Глаза откройте… Вот и все…

Было черно, безвоздушно, холодно, но отчего-то сыро. Бек

Леонович расцепил пальцы, стал ходить, рукой тыкаясь в пространство, как в стену. Потом он открыл глаза.

– Их нет, – сказал.

– Еще пять минут, – успокоил его Данилов. – Карта при вас?

– При мне, – сказал Бек Леонович.

Имелась в виду карта звездного неба, составленная моим сыном, предмет зависти Миши Муравлева. Данилов посмотрел на сплетения желтых, синих и зеленых линий, на кружочки звездных систем, ткнул пальцем:

– Мы вот здесь. – И добавил: – Может быть. И мел захватили? – спросил он Бека Леоновича.

– Захватил… А вот и фонарик…

В шесть Кармадон с секундантом не явился. Что-то было не так. Данилов чувствовал, что Кармадон где-то рядом, но где? «А вдруг он перенесся невидимым?» – подумал Данилов. Поединки вот уж как семьдесят лет были запрещены, дуэлянтов строго наказывали, может быть, Кармадон в целях безопасности и затуманился? Однако в шесть часов он обязан был явиться к барьеру во плоти. Да и место они подыскали отдаленное, на самой окраине бесконечного мира. Данилов приложил ладонь ко лбу, стараясь разглядеть – нет ли где поблизости Кармадона с секундантом. Потом взял телескоп. Никого. Осветил фонариком карту звездного неба. Вон что! Зеленая линия в их секторе, наткнувшись на желтую, пропадала вовсе. «Ох уж эти мне московские троечники! – в сердцах подумал Данилов. – А я-то что же, растрепай, смотрел раньше!» Конечно, и Кармадона с секундантом по этой карте могло занести в желтую точку. А то и в синюю! Наконец Данилов обнаружил телескопом две мрачных фигуры в плащах. Стояли они далеко отсюда!

Данилов с секундантом перенесся к ним. Бек Леонович робко шагнул к секунданту Кармадона с объяснениями, при этом показывал карту. Фонарь был не нужен. На небе тюльпаном висела угасающая звезда, розовый свет ее был томен и зловещ. Извинения Кармадон принял, только нервно махнул рукой: «Быстрее!» Секунданты взялись устраивать барьер. Барьер вышел, какой требовалось, световой и звуковой одновременно, при этом он был обозначен и палашами – на палашах Синезуд укрепил варежки Данилова, связанные ему к прошлой зиме Муравлевой, а между палашами Бек Леонович провел мелом роковую черту. Синезуд был важен, высокомерен, значки разных миров, в том числе и ворошиловского стрелка, вынес на плащ, и теперь они отражали зловещий и томный свет умирающей звезды. Бек Леонович мелом водил старательно и, казалось, забыл, кто он и где. Они с Синезудом двинулись осматривать ракетные

установки, при этом Бек Леонович вел себя достойно, не дрожал и даже заметил огрех в системе наведения установки Кармадона. Затем Синезуд и Бек Леонович проверили укрытие, из которого им предстояло следить за поединком. И тут останкинский житель держался молодцом.

Наконец все было проверено и устроено. Секунданты встали между палашами на меловой черте спинами друг к другу. «Марш!» – скомандовал Синезуд. Тут же он и Бек Леонович сделали каждый по одиннадцати шагов, и в местах, где остановились, воткнули в пространство еще по палашу. При этом Синезуду показалось, что шаги Бека Леоновича были шире его шагов и, стало быть, интересы Кармадона ущемлены. Он сам сделал одиннадцать шагов от черты и до палаша Данилова. Вышло, что пространство отмерено честно.

– Сходитесь! – сурово скомандовал Синезуд.

Данилов и Кармадон – каждый от своего палаша – двинулись друг другу навстречу.

У меловой черты они встали. Барьер отделял их. Данилов и Кармадон стояли молча, взглядом пытаясь испепелить противника. Кармадон был грозен и нетерпелив, ни мира, ни пощады ждать от него не следовало. Данилов и не ждал ни мира, ни пощады. Он чувствовал: все в нем могло сейчас вспыхнуть, как березовая кора под огненным шилом увеличительного стекла, до того свирепым был взгляд Кармадона! Но выдержал Данилов, выдержал, еще и сам чуть было не вызвал свечение голубых углей, однако отчего-то не отдал взгляду последней силы. Будто скучно ему было закончить поединок теперь же. Или самую малость, но пожалел он Кармадона…

– Расходитесь! – услышал Данилов.

Бек Леонович дрожал, на розовой угасающей звезде вспыхнули желтые волдыри – то Кармадон скользнул по звезде взглядом. Горло у Данилова пересохло, в кончиках пальцев кололо, надо было успокоиться и свежим бойцом выйти на огневой рубеж.

Синезуд взмахнул рукой, и они с Беком Леоновичем отправились в укрытие. Данилов и Кармадон прибыли к своим установкам, еще раз оглядели системы и щиты, включили экраны систем слежения и сообщили о готовности.

– Начинайте, пожалуй! – прозвучала из укрытия команда Синезуда.

Первым стрелять должен был Кармадон. Шестьсот километров отделяло его теперь от Данилова. «Будь что будет!» – отчаянно сказал Данилов, кураж напуская на себя. Пальцы его так и вцепились в пластмассовые рукоятки пульта. Ни точки, ни

черточки не возникло на экране. Данилов поднял голову. «Да что же он медлит-то…» И тут Данилов увидел, что прямо перед ним стоит огромный Кармадон. Данилову стало страшно. И зябко. Нет, Кармадон стоял не перед ним, понял Данилов, он был на своем огневом рубеже, но он вырос, он увеличил себя, он стал верст в сто ростом, глаза прикрыл мертвыми веками, холодным великаном готов был раздавить любую мелкую тварь! «Да что он пугает меня! – подумал Данилов. – Что он ужасы-то рисует! Будто я младенец или трус какой…» Данилов возмутился, и чувство возмущения чуть успокоило его, разбудило в нем обиду, а то после напряжений на меловой черте Данилов расслабился и чуть ли не стал благодушным. Белое пятно возникло на экране системы слежения, ракета пошла в сторону Данилова. Данилов быстро выдвинул вперед летучий щит с сетью, челюсти сжал, все теперь зависело от усилий его воли, окажись она слабая, никакой щит не помог бы ему, а разлетелся бы на куски, и в ничто, в пустоту превратилась бы сущность Данилова. Но нет, воля еще была в нем, и не слабей Кармадоновой, она-то и бросила щит навстречу ракете, уперлась на лету в нее или в Кармадонову волю, а потом, когда Кармадон устал и отчаялся, сетью захватила ракету и унесла ее в сторону угасающей звезды. Вдали что-то зашипело, и новый волдырь вздулся на розовом теле звезды.

«Ну и как Кармадон? – подумал Данилов. – Все еще великан или опять сравнялся со мной?» Нет, Кармадон не уменьшился, стоял, голову гордо подняв, глаза открыл и теперь с некоей усмешкой смотрел на Данилова. «Ну-ну! – рассердился Данилов. – Гусарит! Пусть и пеняет на себя!» Однако Данилов чувствовал, что острого желания убивать Кармадона у него нет. Важно было то, что он, Данилов, не спустил Кармадону пошлости, уберег от него Наташу, а вот гибели ему он уже не желал. Он знал, что, если он сейчас промахнется, поединок продолжится, до первой крови, и очень может случиться, что кровь эта будет его кровью. Однако злость теперь словно бы вышла из Данилова.

Данилов уселся на жесткое зеленое сиденье, отвел глаза от Кармадона, включил систему наведения, проверил, не изъят ли из ракеты заряд, и нажал на кнопку. Огненные вихри обдали Данилова. Данилов тут же почувствовал, как трудно лететь ракете, как упирается и упорствует Кармадон, Данилов собственной волей толкал, толкал ракету вперед. Шла ракета трудно, как бур в гранитных породах, и были мгновения, когда ракета застревала в сопротивлении Кармадона. Однако остались в Данилове еще силы, остались в нем еще соки, и он гнал, гнал ракету, толкал, оберегая заряд, и вдруг почувствовал, что Кармадон ослаб, что он, Данилов, победил, одолел Кармадона,

что Кармадон теперь висит над бездной, вцепившись рукой в корень или камень, и пальцы его вот-вот разожмутся. Следовало еще одним напряжением воли вмять, вдавить ракету в сущность Кармадона, кончить все разом. И тут Данилову стало жалко Кармадона, он выпрямился, челюсти разжал и позволил Кармадону дрожащим щитом отвести ракету в сторону.

И опять на розовой звезде вздулся желтый волдырь.

Взмокший, расслабленный, утих Данилов. Дышал тяжело. Чувствовал: Кармадон понял, что он, Данилов, пощадил его. Ему казалось, что теперь поединок мог быть и прекращен. Он свои отношения с Кармадоном выяснил, и довольно. Кармадону же следовало вспомнить о порядочности. Или хотя бы проявить благоразумие. Естественно, ни обнимать Кармадона, ни жать ему руку Данилов не стал бы, но они могли разойтись честно и навсегда.

Зашуршало в аппарате связи с секундантами. И у них в укрытии, видно, возникли мысли о примирении.

Раздался хохот. Страшный хохот, словно орудийный. Была бы розовая звезда планетой и имела бы жизнь, стекла бы сейчас вылетели там из окон, вода бы вскипела в реках и воздушные корабли потеряли бы управление. Данилов увидел: Кармадон вырос еще, вовсе стал гигантом. Волосы его посинели, весь он покрылся оранжевыми пятнами, как струпьями, когти отросли на руках у Кармадона и десятью мечами висели в черно-розовом пространстве, клыки кривые, сверкающие торчали теперь у Кармадона из пасти, и пена падала с них, да и весь Кармадон находился в какой-то зеленоватой сфере из слизи, и в слизи этой копошились, дергались, переплетались, грозили Данилову уродливые щупальца, отростки, серебристые тела, рога, присоски, молибденовые шпаги и антенны, мятые рыльца, рыбы плавали или неизвестно что, они повизгивали, позванивали, взвивались в истерике, поддерживая жуткий хохот Кармадона. Но страшнее всего был теперь взгляд Кармадона. Надменный, огненный, мертвящий. Данилов растерялся. Значит, Кармадон движение его души посчитал слабостью, пощаду воспринял как оскорбление и был уверен, что теперь его снаряд получит убойную силу. «За кого же он меня принимает? – думал Данилов. – Что он вырядился монстром или вурдалаком?» Но Кармадон действовал не так уж и наивно, имел некое представление о земных суеверных и поэтических чувствах, – смотреть на него было теперь Данилову неприятно. Жутко было смотреть. И Кармадон нажал на кнопку пуска.

Еле-еле Данилов отвел от себя ракету Кармадона. Жизнь его на этот раз висела на волоске… Об этом Данилов подумал

мгновениями позже и похолодел.

Данилов расстегнул пуговицу воротника. Хотелось пить… И не было никакого желания продолжать поединок. Но что оставалось? Данилов чувствовал, что и Кармадон сейчас еле дышит, клыки и когти его исчезли, в зеленоватой сфере прекратилось копошение, лишь что-то, остывая, еще дергалось там, скрипело и клацало. А потом Кармадон вдруг стал металлический, строгих линий, будто броневик или робот.

На подготовку к выстрелу Данилов имел десять земных минут. Они истекли. Данилов надавил пальцем на кнопку.

Он думал, что, наверное, не сможет поразить Кармадона и нужно чуть-чуть расслабиться, чтобы, когда придет очередь соперника, уберечься от его ракеты. А потом, может быть, силы и восстановятся… Данилов чуть ли не развалился на зеленом жестком сиденье, ракета его шла тихо, но ровно. И вдруг Данилов скосил глаза на экран системы слежения. Белое пятно дрожало и увеличивалось на нем! Значит, вот как! Прежде чем Данилов нажал на кнопку, Кармадон послал в него ракету, не имея на это права, и ракета его была с куда более страшным зарядом, с куда более совершенной системой ускорения, нежели полагалось по условиям поединка! «Это же подлость!» – в мыслях вскричал Данилов. И опять жутко, победителем захохотал Кармадон. Данилов понял, что сейчас все кончится.

Но и он доведет ракету до цели, не простит подлости, последние усилия воли, последние усилия своей сущности вложит, вместит в движение ракеты и ее удар! И тут что-то оглушило Данилова, стало взрываться в нем, потекли цветные видения, и чьи-то лица были, и женские, сначала будто бы Наташино, а потом – Анастасии, музыка мучила Данилова болью, или это была просто боль, но тут все потеряло цвет и звук и исчезло…

22

– Данилов, извините, пожалуйста, это опять я вам звоню, Подковыров.

– Я слушаю, – вздохнул Данилов.

– А если мы изменим текст?

– Какой текст?

– Насчет императора.

– И что?

– Ну, а если он не в двенадцать будет вставать из гроба, а в час ночи? Так смешнее?

– Смешнее, – сказал Данилов и повесил трубку.

Он тут же ее поднял, чтобы Подковыров не смог пробиться к нему снова.

Данилов чувствовал себя скверно. Еле был жив. Болела голова, ныло тело, пальцы дрожали. И вдобавок ко всему была в Данилове, на правом его плече, черная дыра. Дыра потихоньку уменьшалась, шелковые нитки, оставленные ловкой иглой, стягивали ее. Поначалу черная дыра была размером с будильник, теперь же ее можно было закрыть и двугривенной монетой. Дыра не болела, а только тяготила Данилова. Она была в нем, но и как бы сама по себе. Сверху дыру заклеили прозрачным пластырем. Данилов на кухне, задумав рассмотреть дыру, осторожно оттянул пластырь. Тут все пришло в движение, все потянулось в дыру. Данилов быстро приклеил пластырь, однако одна из кухонных табуреток успела подлететь к его плечу, рассыпалась в воздухе и крошками, со свистом исчезла в черной дыре. Тут же последовали и вилки, не убранные со стола. Прочие вещи удалось сохранить. «Ну ладно, – успокоил себя Данилов, – она сама превратится в точку, а потом и вовсе затянется… Известное дело – гравитационный коллапс…» Все же ему было не по себе оттого, что на его плече начинался тоннель во вселенную, неизвестно какую, на нашу не похожую. Но каков Кармадон, коли так постарался!

Данилову стало известно и то, что исчезли совсем Синезуд и Бек Леонович. Данилов решил, что Кармадон, прежде чем совершить подлость, убрал свидетелей – секундантов. Он был уверен, что и Данилов исчезнет, вот их и убрал. Погиб домовой Бек Леонович, и выходило, что Данилов погубил его. Напрасно станут теперь ждать Бека Леоновича замурованные им жены. И восточных подруг Данилов жалел, но в них ли было дело! Эх, Кармадон, Кармадон!..

Однако как ни слаб был теперь Данилов, что бы ни ожидало

его в ближайшие мгновения, он понимал, что ему следует приниматься за житейские дела. Данилов сдвинул пластинку на браслете, вернул себя в человеческое состояние. Он жив! Случай спас его, случай вернул его в существование, что ж, надо было благодарить случай – или Анастасию – и жить дальше.

Данилов решил пересмотреть бумаги, написанные им утром. Думал порвать их или предать огню, но посчитал: а зачем? Еще пригодятся… Все его распоряжения были уместны, ни от чего он не желал отказываться, даже от отписок в пользу Клавдии. Лишь письма о симфонии Переслегина Данилов положил задержать. Он мог и по телефону позвонить адресатам. Зато самому Переслегину Данилов написал новую открытку и решительно попросил композитора зайти к нему в ближайшее время.

«Ах, как нелепо, как нелепо! Как я виноват!» – вспомнил опять Данилов о невинно погубленном домовом Беке Леоновиче. Он казнил себя за то, что был легкомыслен и не обеспечил безопасность Бека Леоновича. А ведь обещал ему, что все обойдется хорошо, беды не случится. Как ни бранил теперь Данилов Кармадона, он знал, что никогда не простит самому себе гибели Бека Леоновича. Он знал, что и в собрании домовых на Аргуновскую совесть ему теперь не позволит являться. «Лучше бы уж меня, – думал Данилов. – А его бы и пальцем не тронули…» Однако он-то существовал, и черная дыра затягивалась на его плече.

По вечным условиям поединков, нынче пусть и запрещенных, победитель мог не только ранить побежденного, но и совсем погубить его. Бессмертную по положению натуру. Ни болезни, ни стихия, ни люди, ни женщины погубить не могли, а вот именно свои на поединке могли, так уж повелось. И Данилова разрушил предательский снаряд Кармадона, он уж почти забылся и потерял свою сущность. Однако демоническая женщина Анастасия спасла его. Как она проведала о поединке и где притаилась во время стрельбы, Данилов не знал, да и не старался узнать. Узнал он лишь, что с ним произошло в последние мгновения поединка.

Ракета Кармадона совсем уж было разнесла в клочья сущность Данилова и его оболочку, но караулившая поблизости Анастасия бросилась Данилову на помощь, голыми руками, не боясь ожогов, гибельную для Данилова массу вещества сгребла в кучу, остатки ее до микрочастиц выгнала из Данилова, превратила всю эту массу в полную свою противоположность и сделала черной дырой. Вещества было так много, что оно могло бы обернуться и звездой первой величины. Потому черная дыра вышла в Данилове большая. Анастасия сразу же стала стягивать ее края шелковыми нитками, тут Данилов очнулся, и Анастасия

тотчас отлетела. Видно, все еще была сердита на него гордая и прекрасная Анастасия!

Неизвестно, с каким намерением она явилась к месту поединка. Разве теперь это было важно! Не имела она права оказывать помощь Данилову, а Данилов не имел права эту помощь принимать. Однако Кармадон первым нарушил правила чести, и стерпеть его подлость Анастасия не смогла. Отлетая от Данилова, она все же успела заклеить черную дыру прозрачным пластырем, а прежде – смазать ее каким-то темным знахарским снадобьем. Теперь черная дыра уменьшалась быстрее, чем следовало бы, истекала веществом куда-то вдаль, в пустые углы чужой вселенной.

«Раз Анастасия, – подумал Данилов, – сумела пробраться к месту поединка, значит, были у нас и другие зрители…»

Следовало ждать дурных последствий. Ох, как Данилов не хотел вызывать Кармадона на поединок…

Теперь Данилов рассчитывал лишь вот на что. Влиятельным родственникам и друзьям Кармадона дело о поединке выгоднее было замять. Как случай ни крути, а Кармадон и его друзья тоже все равно были при конфузе. Последней своей ракетой Данилов свернул Кармадону челюсть, что-то повредил в шее, пока Кармадону не помогли ни ученые механики, ни лекари, они опасались, как бы он и вовсе не остался скособоченным. Это – ас-то! По всем правилам Кармадон поединок проиграл, и даже тайные разговоры о дуэли могли ему только навредить.

«Ну посмотрим, что-то будет, – подумал Данилов и опять вздохнул: – Ох, Бек Леонович, Бек Леонович…»

Данилов включил утюг и положил на гладильную доску бабочку для вечернего спектакля.

«Что мне с Переслегиным устроить? – думал Данилов. – Как исполнить его симфонию? Где и с кем? Надо сегодня же отыскать Переслегина. К нему, что ли, съездить?»

Левая рука Данилова опять словно нечаянно потянулась к черной дыре. «Брось! – сказал себе Данилов. – Хватит!» Пластырь был крепок.

Позвонила Клавдия Петровна.

– Данилов, ну и как?

– А что? – спросил Данилов.

– Неужели тебе нечего мне сказать?

– А что я должен сказать?

– После того, что произошло?..

– А что произошло?

– Ну хорошо, – сказала Клавдия, помолчав, – а неужели тебе не о чем меня спросить?

– А о чем я должен тебя спросить?

– Ладно, я сейчас приеду к тебе, – и Клавдия повесила трубку.

«Экая баба! – рассердился Данилов. – Даже не поинтересовалась, есть ли у меня время…»

Тут же телефон опять зазвонил. «Сейчас я ей выскажу!» – пообещал Данилов. Однако он услышал голос Наташи.

– Володя, вы извините, – сказала Наташа, – мне показалось, что у вас неприятности, что вчера между вами и вашим гостем что-то произошло… вот я отважилась вам позвонить…

– Это все мелочи, – сказал Данилов мрачно.

Он растерялся, оттого и сказал мрачно.

– Я напрасно вам позвонила?

– Нет, отчего же… – пробормотал Данилов. – Вы где?

– Знаете, Володя, я ведь брожу в вашем районе… С утра взяла и поехала в Останкино…

– А сейчас-то вы где?

Наташа назвала место. Оказалось, это в двух минутах ходьбы от Данилова.

– Я выхожу, – сказал Данилов.

Уже в лифте он вспомнил о Клавдии. «А-а-а, пусть прокатится!» – решил Данилов.

Наташу он нашел на улице Цандера, возле аптеки.

– Здравствуйте, Наташа, – сказал Данилов.

– Здравствуйте, Володя.

– Вас интересует мой приятель? – спросил Данилов.

– Нет, – сказала Наташа. – А что это мы на «вы» перешли? Так надо?

– Нет. Это вышло само собой. Но не я начал…

– А если мне опять начать на «ты»?

– Я согласен.

– А я, Володя, испугалась за тебя… Что-то случилось вчера, да?

– Было… Мелкое недоразумение… Все уж и забыто.

– Ты не обиделся на меня?

– За что?

– Я не знаю… Я просто заснуть не могла, и все… Чего-то боялась… Мне казалось, что я должна от чего-то тебя спасти… Я не знаю… Я даже приехала сюда утром и все ходила возле твоего дома, будто у тебя во мне была нужда… Дурь какая-то! Нервная я, что ли, стала… От такой, наверное, надо держаться подальше…

– Ну что ты! – растроганно сказал Данилов. – Ты не выспалась?

– По мне видно? – расстроилась Наташа. – Я страшная?

– Нет, нет, что ты! – сказал Данилов. – Видно, ночью

давление менялось, вот и не шел к тебе сон.

Наташа как-то странно поглядела на Данилова, будто в словах его было нечто обидное для нее, сказала тихо:

– Нет… Что мне давление…

«Ну да, что ей давление, – подумал Данилов. – Ведь она из-за меня приходила и к театру, и в Сокольники, и к дому моему! А я размышляю о чем-то! Но как быть? Анастасия, Наташа, эта дура Клавдия, все перемешалось, и как тут разобраться? Что – истинное, необходимое, а что – призрак, мираж, суета… То есть разобраться легко… Но что выбрать? Да так, чтобы никому не принести беды… В чем я волен?.. Экая печаль! Час назад все мне было ясно».

– Володя, я люблю тебя, – сказала Наташа.

– И я тебя, Наташа, люблю, – сказал Данилов.

И все. Шли вокруг люди, их было пока мало, но они шли. Что еще надо было сказать? Ничего и не надо…

Остановилась машина возле Данилова с Наташей. Машина Данилову знакомая, приобретенная на средства профессора Войнова. Клавдия Петровна распахнула дверцу.

– Что же, Данилов! – сказала Клавдия с обидой. – Я спешу к тебе домой, а ты гуляешь по улицам!

– Здравствуй, Клавдия, – сказал Данилов.

– Здравствуй, – кивнула Клавдия. – У тебя нет совести, а если бы я ехала не по Цандера?

– Я тебя вовсе и не ждал.

– То есть как?

– А так. Ты не поинтересовалась, есть ли у меня время для встречи с тобой. А у меня времени нет.

– Ты что, Данилов! – удивилась Клавдия. Потом она словно бы заметила Наташу: – А это кто?

– Это – Наташа, – сказал Данилов. – Наташа, а это вот моя бывшая жена, Клавдия Петровна, я тебе о ней рассказывал…

Должна бы Клавдия была понять, что они с Наташей – близкие, брат с сестрой, муж с женой, а она тут чужая…

– И все же, – сказала Клавдия, взглядом пытаясь удалить Наташу из здешних мест, – ты мне нужен.

– Возможно, я тебе и нужен, – сказал Данилов, – но ты мне никак не нужна.

– Данилов, – робко произнесла Клавдия, – ты всегда с уважением относился к женщинам…

Данилов ощутил, что в отношении к нему Клавдии вместе с прежними чувствами превосходства и несомненной власти появилось и нечто новое – тревога какая-то, или догадка безумная, или подозрение, или даже страх… Данилов даже

пожалел Клавдию.

– У меня есть тайна, – тихо сказала Клавдия.

– Хорошо, – кивнул Данилов. – Но в другой раз.

Обида опять придала Клавдии сил.

– Наташа, – спросила Клавдия, – а вы у Данилова – новая симпатия?

Наташа посмотрела на Данилова.

– Наташа – моя вечная симпатия, – серьезно сказал Данилов.

– Вы с ним будьте осмотрительней. Он человек распущенный.

Тут и Данилов не нашел слов.

– А я вас где-то видела. Вы не портниха?

– Я не портниха, – сказала Наташа. – Но я шью.

– А Гавриловой не вы шили по моделям Гагариной?

– Шила.

– Вот у Гавриловой я вас и видела! И шапочки вы шьете?

– И шапочки.

Тут Клавдия Петровна выскочила из машины, захлопнула дверцу, о Данилове она забыла сразу же.

– Мне непременно и быстро надо сшить шапочку из черного бархата, знаете, чалму, чтобы на ней хорошо смотрелись и бриллианты и жемчуга. Мы с мужем, возможно, поедем на три года в Англию. А туда без чалмы лучше и не езди совсем. На прием к королеве можно явиться только в вечернем наряде. Моя приятельница жила в Англии, получила однажды приглашение на прием к королеве, а ее без шапочки не пустили. Теперь она вернулась в Москву, места себе не находит, подругам стыдится показаться, жизнь испорчена, я ее понимаю. А уж если эту дуру к королеве звали, то нас-то с Войновым позовут, и не раз. Вы возьметесь? У меня фасон есть. Я заплачу как следует.

– Сошью, – сказала Наташа, – деньги ваши будут мне сейчас не лишние…

Женщины тут же стали договариваться о времени встречи, записывать адреса и телефоны, а Данилов чуть было не вскипел, до того он был на улице посторонний.

Наташа почувствовала его досаду, обернулась тут же и глазами успокоила Данилова.

– Одно дело сделано, и ладно, – сказала Клавдия, открывая дверцу, – с тебя, Данилов, хоть шерсти клок.

Однако в машину она все еще не садилась, теперь, когда головной убор был обговорен, Клавдия Петровна смотрела на Наташу без приязни и без заискивания, а холодно, даже с презрением, как дама на швею. Что-то и Данилову она, видно, захотела заявить, чтобы показать и швее и самому Данилову, что имеет на него особенные права. Но и робела…

– Ладно, – сказала Клавдия. – Я тебя разыщу.

И укатила.

Во все время суеты с Клавдией Данилов с Наташей вели разговор между собой, в их разговоре не было слов, а было то, что они назвали четверть часа назад. Этот разговор шел как бы поверх разговора с Клавдией, оттого в нем была игра, волновавшая Данилова и Наташу. Что им была теперь Клавдия и ее тайны, что им была улица Цандера с восемьдесят пятым автобусом и аптекой! Однако, когда речь зашла о чалме, Данилову показалось, что их с Наташей разговор прервался и он, Данилов, остался один. «Впрочем, нашел к кому ревновать!» – подумал Данилов. Женщины – они и есть женщины… Он досадовал и на себя. Экие пошлые слова явились ему: «Наташа – моя вечная симпатия…» Но теперь, когда Клавдия уехала, они с Наташей вернулись к своим главным словам, и Данилов почувствовал, что на сегодня их хватит, дальнейшее может только испортить все.

– Мне на работу, – сказала Наташа.

– А мне скоро в театр.

– Данилов, хочешь, я тебе брюки сошью? Вот мерку сниму и сошью. Или джинсовый костюм? Или куртку?

– Ты с Клавдией сразу нашла понимание, – не утерпел Данилов.

– Любопытный фасон, – сказала Наташа. – Мне захотелось сшить эту чалму… Ах, какие брюки я вижу для тебя!

– Разве ты – брючный мастер?

– Я все могу! Я тебя одену…

Тут Наташа отчего-то засмущалась, словно поняла, что обновками своими сделает Данилова чем-то обязанным ей, а ему, мужчине, может, и мысль об этом сейчас неприятна… Подошел автобус.

– Счастливо, Наташа! Я позвоню тебе после спектакля!

– Ты приходи…

23

Дома Данилов расстегнул пуговицы рубашки. Оголил плечо. Черной дыры не было. Данилов отклеил прозрачный пластырь и ножницами потихоньку высвободил шелковые нитки. Кожа стянулась, ничто не напоминало о гравитационном коллапсе. А ведь где-то, подумал Данилов, в соседней вселенной открылась нынче белая дыра. Все вещество, словленное Кармадоном для гибельного снаряда, утекло туда. Да и табуретка Данилова и вилки с кухонного стола явились, видно, в ту вселенную подарком. Данилов вздохнул. Удивительно, что не ушли в черную дыру его кости и внутренности. Слаба, что ль, дыра была или что другое удержало их? Тут Данилов с некоей надеждой подумал, что, может быть, он напрасно грешил на Кармадона, что вдруг и Бек Леонович с Синезудом были затянуты в черную дыру и сейчас пришельцами вынырнули из белой дыры в неизвестной Данилову вселенной? Хорошо бы так, уж потом Данилов нашел бы способ вызволить их и вернуть в отчие места.

Какой способ?! Когда – потом?!

Что он Наташе морочит голову, если сам живет под дамокловым мечом и время его последними крупинками истекает в песочных часах! В особенности теперь, после запретного поединка!

В дверь позвонили. На пороге стоял Переслегин.

– Здравствуйте, – сказал Переслегин. – Извините, что надолго исчез. Был в командировке, в Горьком.

Тут бы им сразу сказать друг другу о главном, а они замолчали. Данилов даже засуетился, будто давая Переслегину понять, что времени у него мало.

– Я к вам не надолго, – сказал Переслегин.

– Да нет, что вы… – смутился Данилов.

– Вы посмотрели? – спросил Переслегин.

– Да, – кивнул Данилов.

– И как?..

– Мне понравилось… Я ведь вам так и написал…

– Да-да, – согласился Переслегин. – Я очень благодарен…

Он замолчал, смотрел на Данилова, ждал, видно, еще каких-то добрых слов о своем сочинении, а у Данилова все ощущения от музыки Переслегина будто пропали.

– Я бы исполнил вашу симфонию, – сказал Данилов.

– Вот и исполните! – обрадовался Переслегин.

– Кто же меня выпустит на сцену? Где? И с каким оркестром?

– Это все можно устроить! – махнул рукой Переслегин. –

Главное, что вам понравилась партитура!

Данилов посмотрел на Переслегина с удивлением. Экий прыткий! Совсем иное мнение он составил о натуре композитора в прошлый раз.

– А отчего вы дали главную партию в симфонии альту?

– Я и сам не знаю отчего, – сказал Переслегин. – Ведь когда начинаешь творить… Простите за пышное слово… Когда начинаешь сочинять музыку, разве делаешь это холодным умом! Уж потом, после, можешь объяснять себе, как возник этот звук, эта мелодия и как эта… Со мной так, с другими, возможно, иначе… Значит, к альту лежала моя душа… В скрипке, уверен, женское начало… Озорная девчонка, печальная женщина, трагическая старуха – это все для меня скрипка… А в альте больше твердости, больше драмы, альт – мужчина… Я не знаю… Я стал писать музыку – и во мне зазвучал альт… Вот и все…

– Но альт-то, согласитесь, нынче не солист, он инструмент вспомогательный, он у скрипки, у голоса человеческого, – в слугах!

– Нет, нет и нет! Инструментов-слуг быть не должно! И не может быть! В музыке все великое и все может прозвучать! Надо только дать звук! Надо уметь найти этот звук! А что до альта, то для него и Берлиоз писал симфонию.

– Берлиоз писал «Гарольда» для альта Паганини! – воскликнул Данилов.

– Ну и что же?

– Как и что же! А теперь-то кто сыграет?

– Вы и сыграете, – сказал Переслегин.

– Я… Но что выйдет? Почему вы пришли ко мне?

– Я слышал, как вы играли в НИИ машинные сочинения. Поэтому я к вам и пришел. Я знаю многих альтистов, а пришел к вам…

«Каким рохлей и несчастным человеком показался он мне в прошлый раз, – подумал Данилов, – а в нем есть сила, он упрямый и знает, чего хочет… А если знает, чего хочет, и тем не менее верит в себя, значит, он и смелый…»

– Вам понравилось, как я играл? – спросил Данилов.

– Да, – сказал Переслегин. – И я счастлив, если вы поняли мою музыку. Я хотел бы показать вам другие свои сочинения… Там вещи для небольших составов… Квартеты, есть секстеты… С темами для импровизаций… Все великие музыканты прошлого были импровизаторами. Ведь так? А нынче выходит, что музыканты могут свободно выражать себя лишь в джазе… Я написал вещи и для вашего альта…

– Моего альта нет, – сказал Данилов.

– То есть как?

– Того альта, что вы слышали в НИИ, нет, его украли.

– Это грустно, – сказал Переслегин, печально взглянул на Данилова, и Данилов ощутил, что Переслегин понимает, какими были его муки. – Это грустно, – повторил Переслегин. – Но это ничего не меняет. Вы музыкант вовсе не потому, что имели Альбани.

Данилову оттого, что он своими словами о пропавшем альте чуть было не разжалобил самого себя, стало неловко, он поднялся и подошел к окну. Переслегин расценил движение Данилова как напоминание о ходе времени. Он тоже встал. А Данилову и вправду следовало отправляться в театр.

– Принесите мне свои новые произведения, – сказал Данилов. – Я пока не столь уверен в себе, чтобы мечтать о сольных выступлениях. И не так молод, чтобы получить их. Но ваши вещи я погляжу с удовольствием.

– Вы говорите, где и с каким оркестром? – сказал Переслегин. – Есть один молодежный оркестр. Есть у меня и один дирижер. Я сведу вас с ним, если вы согласитесь…

Переслегин ушел, а Данилов, проводив его к лифту, почувствовал досаду. Он ждал разговора с Переслегиным, готовился к нему, бог весть что возлагал на этот разговор, а все вышло так, будто они с Переслегиным дело обсудили. Вроде покупки мебели или, на крайний случай, устройства левого концерта на клубных задворках. Он, Данилов, намерен был сказать Переслегину горячие и добрые слова, до того Переслегин их стоил, а сказал дурно и небрежно, будто подобные симфонии ему, Данилову, каждый день приносили с почтой. И его душа жаждала теперь высокой беседы о музыке, не о бойкой, шумной и пустяшной даме, а об истинной музыке, о какой древние говорили, что она – второй разум человеческого естества, что она любовь и наука, познающая согласованность во всем, что она – ненависть ко злу, но ненависть, являющаяся благом для людей. Вот так бы сели они с Переслегиным друг против друга и согласились бы, что в мире все – музыка и гармония или поиски гармонии и что им вдвоем в этих поисках следует быть смелыми, идти, рискуя и без оглядки… Нужен, нужен был такой разговор Данилову, нужно было ощущение поддержки собрата по искусству, умиление тем, что он, Данилов, не один, что его понимают. К малодушным Данилов отнести себя не мог, но не был он уверен в себе, не был, а ждал от себя в музыке многого! Наверное, Переслегин ушел от него расстроенный, не утоливший жажды. Вот всю жизнь так! И не поговоришь как следует с необходимым тебе человеком, не откроешь ему душу, его душу не

обрадуешь, а в суете коснешься лишь случайным словом и унесешься дальше по пустяшным делам!

Все эти мысли посетили Данилова в мгновения, когда он спешно одевался на работу. Они были прерваны приходом водопроводчика Коли. Коля раскланялся в дверях и цепким взглядом, вытянув шею, попытался с порога обнаружить нечто в квартире Данилова.

– Коля, я бегу, – сказал Данилов.

– Случайно, Володя, инструменты мои у тебя не лежат?

– Нет, – сказал Данилов, – вы, Коля, их и не приносили.

– А я был у тебя вчера? – робко спросил Коля.

– Были. Но недолго.

– А где же я еще-то был?

– Не знаю.

– А не на вокзале?

– Да, были с нами и на вокзале. На Павелецком.

– А не на Курском?

– Не помню, – сказал Данилов. – Возможно, что и на Курском. Вы у Земского спросите, вы с ним вместе держались… Но инструменты вы, точно, с собой не носили…

– А я ел чего-нибудь? Отчего у меня дым изо рта идет?

– Табачный?

– Нет, паровозный!

Коля дыхнул, и из его рта действительно повалил тяжелый антрацитовый дым.

– Не знаю, – сказал Данилов. – Теперь и паровозов-то нет… Вы, Коля, бесалол примите, у вас все и пройдет…

– Я уж это принимал, а то бесалол!

Глаза у Коли стали вдруг хитрые.

– Знаешь что, Володя, – сказал Коля, – дай мне два раза по четыре рубля, и я буду молчать.

– Денег, Коля, у меня нет. А о чем молчать-то?

– О приятеле твоем. Андрее Ивановиче из Иркутска.

– Да говори о нем сколько хочешь!

– Ну смотри, – сказал Коля со значением. – А он мне шапку из белок обещал прислать. Он пришлет?

– Раз обещал – жди. А я побегу!

С этими словами Данилов вытолкал Колю в коридор, запер дверь и направился к лифту. Тут Коля закашлялся – и лестничную клетку заволокло дымом.

Проезжая Сретенку в троллейбусе, Данилов заметил, что по тротуару со скоростью машины, но и не спеша, за ним идет румяный Ростовцев. Круглыми глазами из-под очков Ростовцев поглядывал на Данилова, будто исследователь-натуралист. На

голове его был черный котелок, каких уж лет восемьдесят не видели на Сретенке, в руке Ростовцев держал дорогую трость с желтой костяной ручкой, увенчанной фигуркой двугорбого верблюда-бактриана, а на левом боку его, там, где военные люди должны были бы иметь кобуру с пистолетом Макарова, прямо поверх пальто висел на ремне метровый турецкий кальян. Ростовцев шел, шел, а увидев, что Данилов заметил его, приподнял котелок и поклонился Данилову.

Однако выражение лица у него при этом было самое злодейское.

24

Не успел Данилов в театре сдать пальто и шапку на вешалку, как его осторожно взял под руку скрипач Николай Борисович Земский. Данилов все еще думал о Ростовцеве – что он следил за ним? А Земский непривычно для себя тихо поманил Данилова в буфет. Данилов взял бутылку «Байкала», Земский – три жигулевского.

– Ну, как люмбаго, Николай Борисович? – спросил Данилов. – Вижу, выписали вас.

– Люмбаго вчера – как рукой! Видно, после парилки… А вот… Смута какая-то в организме…

– Что так?

– Сам не знаю…

Тут Николай Борисович в некоем беспокойстве посмотрел на Данилова. И надежда была в его взгляде, и была просьба, словно он облегчение душе желал теперь получить у Данилова.

– Я не безобразничал вчера? – сказал Данилов.

– А ничего вчера не случилось?

– Много пили, вот и все…

– А разве не закусывали?

– Закусывали, – сказал Данилов, – но мало.

– Странно все, – покачал головой Земский, – странно… Какие-то сны дурные… Какие-то видения… Словно я был в путешествиях…

Земский замолчал и поглядел на Данилова испуганно.

– И вот квитанция… Штраф… Будто я без билета в Минск ехал…

Данилов развел руками.

– А у тебя ничто не пропало? – спросил вдруг Земский.

– Откуда?

– Из кухни?

– Не обратил внимания…

– Это не твой?

Земский из-под фрака, будто из недр своей басовой груди, извлек длинный предмет, запеленатый в полотенце. Положил предмет на колени, так, чтобы в буфете его никто не видел, и распеленал его. Обнаружился нож, пригодный для разделки окорока. Данилов повертел нож и на деревянной ручке его разглядел маленькие чернильные слова: «Буфет станции Моршанск-2. Тоня Солонцова. Кто сопрет – зарежется!» Данилову стало жалко Земского, он сказал:

– Да, это мой нож. Мне его Муравлев как-то привез.

– Никогда клептоманом не был, – сказал Земский, – а прямо перед пенсией – нате вам!

– Хотите, я подарю вам его? – сказал Данилов.

– Нет, нет, что ты! – со страхом отодвинулся от ножа Земский.

Пиво он допил вяло, был в напряжении, все ждал, как бы Данилов не огорошил его нечаянным воспоминанием. Но и любопытство возникало иногда в его глазах.

– А твой приятель Андрей Иванович, – наконец начал Земский, – он…

Тут же он замолчал, испуганно осмотрел буфет. Никогда не видел Данилов громогласного бузотера Земского таким сконфуженным и неслышным.

– Пора нам с вами в яму идти, – сказал Данилов.

– Ты, Володя, обещал зайти ко мне домой. Сочинения мои послушать. Поговорить о музыке. Ты бы зашел…

– Непременно. Как-нибудь…

– Да что же – как-нибудь! Вот хоть бы и завтра с утра. Я бы и о Мише Кореневе рассказал.

– Я вам позвоню, – сказал Данилов.

«Теперь еще Кудасов явится за объяснениями, – подумал Данилов. – Ну, Кармадон… Хорошо, хоть Кудасова днем в театр без пропуска не пустят. А оперы и балеты он не посещает…» Вовсе ни к чему были Данилову мысли о терзаниях Кудасова, Земского и водопроводчика Коли. Да и какая радость нож этот моршанский в полотенце таскать с собой! Данилову хотелось думать о Наташе и музыке композитора Переслегина. Слова Переслегина об альте казались ему справедливыми, хотя и не во всем, а что касается исполнения его симфонии на публике, то теперь Данилов оробел. Раньше об этом исполнении у Данилова были лишь грезы, и в тех грезах Данилов вел себя решительно, как Суворов в Альпах. Сейчас же открылась реальность с оркестром и дирижером, вот Данилов и заробел. «Да выйдет ли у меня? Да где уж мне…» И чем больше думал он о симфонии, тем крепче и крепче забирали его сомнения. Данилов совсем расстроился. Он боялся, что и сегодня сыграет скверно, – давали «Коппелию», – дирижер почувствует это – и опять поездка в Италию на гастроли окажется для Данилова фантазией. «В Италию! – подумал он. – А доживешь ли ты до Италии?»

Но пришла пора спектакля, и опасения Данилова рассеялись. Играл он хорошо, с жадностью. Да и как не быть жадности после утренних приключений! К тому же и при мыслях, что больше никакого спектакля у него может и не быть! Душевно Данилов играл. Большим артистом сидел он в яме.

Успокоился и застыл над оркестром занавес после первого акта. Данилов вспомнил слова Переслегина об импровизации, и у него были мысли об этом. Но поднял голову и увидел над барьером оркестровой ямы Кудасова. «А пошел бы он подальше! – с досадой подумал Данилов. – Пусть к Земскому пристает за разъяснениями! И ведь на билет потратился. Да и билет-то с рук, наверное, брал…» Данилов отвернулся с надеждой, что сейчас в голове его снова возникнут мысли о музыке. Однако мысли не явились. Видно, Кудасов спугнул их. А часто ли Данилову выпадали минуты именно для мыслей? И во втором и третьем антрактах Кудасов подходил к барьеру, смотрел на Данилова, лишь усы его шевелились в волнении. Однако Данилов был суров.

После спектакля он вышел из театра и возле служебного подъезда наткнулся на Кудасова. Данилов строго взглянул на Кудасова, сказал:

– Ничего не помню, был нетрезв. В доме моем ничто не пропало. Вы не бузили, законов не нарушали. Да, чуть не забыл. Земский просил передать вам нож. Вот он.

Данилов протянул Кудасову нож в полотенце, и Кудасов его без раздумий принял.

– Какой нож? – спросил Кудасов.

– Вот этот. Резать окорок.

– Я вас провожу, – сказал Кудасов.

– Нет, – сказал Данилов, – не вижу нужды. И иду я сейчас в дом, где в холодильнике пусто.

Данилов лукавил, он-то надеялся, что в том доме в холодильнике самая малость чего-нибудь, но имеется. Хоть печеночный паштет в банке, пусть и на дне. Или кусок колбасы. Много вчера ели, но к ночи Данилов опять проголодался. Значит, совсем выздоровел после утреннего взрыва. А может, в черную дыру все же улетели кое-какие калории из его организма. Или вышло так, что к человеческой сущности Данилова взрыв вовсе не имел отношения…

– Владимир Алексеевич, – умоляюще произнес Кудасов.

– Нет, – холодно сказал Данилов. – Все.

И пошел.

Обернулся. Кудасов за ним не последовал. «Неужели я от моршанского ножа отделался?» – не веря в удачу, подумал Данилов. До Покровских ворот он доехал троллейбусом, совсем уж было свернул в Хохловский переулок, но тут почувствовал, что за ним кто-то крадется. «Экий Кудасов гусь!» – опечалился Данилов. Но когда, остановившись, изучил в темноте силуэт преследователя, понял, что это не Кудасов, а кормленый злодей Ростовцев. Данилов достал индикатор, голая рубенсовская

женщина от близости Ростовцева не засветилась, стало быть, это Ростовцев и был, а не переодетый Валентин Сергеевич или какой его агент. «Что ему-то от меня надо? Что он-то за мной ходит?» Данилов захотел подойти тут же к Ростовцеву и прямо его спросить, что он играет в сыщика. Однако время было позднее, а Данилов торопился.

Наташа открыла ему сразу, будто ждала его за дверью.

Потом было время любви и время спокойствия.

Время исчезновения забот…

Много сказали Данилов и Наташа друг другу слов, хотя в словах у них никакой необходимости сегодня не было… Еще ночью Данилов и думать не хотел о Наташе, ссора с Кармадоном, Наташины любезности с Андреем Ивановичем из Иркутска, казалось, отделили его от Наташи, может быть, навсегда. Однако теперь, вернувшись в жизнь, Данилов понял, как он любит Наташу. И как она любит его.

Все, что не касалось сейчас их с Наташей, Данилова не трогало, хотя он и слушал Наташины рассказы и сам говорил что-то. И даже история Миши Коренева, совсем недавно волновавшая Данилова, мучившая его своей тайной, нынче была воспринята им словно бы история литературного персонажа, какой на Земле никогда не существовал. Данилов понимал, что завтра в нем опять возникнет интерес к судьбе погибшего скрипача. Но что теперь ему было до Миши Коренева! Да, Миша в последнем своем послании писал Наташе о прежней своей любви, но ведь Наташа уже не любила его! Не любила! Это и было для Данилова главное.

Впрочем, Данилов попросил у Наташи письмо Миши Коренева для внимательного чтения.

25

Утром, вернувшись в Останкино, Данилов достал из конверта письмо Коренева. Места про чувства к Наташе он не перечитывал, хотя глаза его забегали и в те места. Трижды Миша повторял слова, слышанные от него и Даниловым: «Боящийся не совершен в любви». Данилов со дня смерти Коренева не забывал их ни на мгновение. Слова эти Миша употребил и в строчках, какие теперь Данилову были нужны. Вот что Коренев писал: «Чем погасить мой душевный мятеж? Чем утолить его? Успокоением в славе? Или в любви? Славы не будет. Любить женщину, как она того достойна, я, видно, уже не способен. Боящийся не совершен в любви. Любить жизнь, людей? Но я в ознобе перед натиском мира… Я зябнущий от его жестокого напора… Пожалуй, одна музыка мне и осталась. Но в последние месяцы я и от музыки зябнущий. Это страшно! Неужели прав З (фамилия была написана полностью, но потом зачеркнута) и надо признать, что важнее тишины ничего в жизни нет? Неужели в тишине сладость и утоление всего душевного мятежа? Неужели лишь в тишине гармония? Нет, нет, нет! Я еще не сдался, я еще люблю звук! Я еще попытаюсь одолеть музыку… Но боюсь, что она разорвет, рассечет, растопчет меня… И тогда – тишина. Тишина! Вершина всего. И тогда тайна М.Ф.К.»…

Было восемь часов. Данилов знал, что Земский встает рано, и позвонил ему.

– Здравствуйте, Николай Борисович, – сказал Данилов. – Извините за беспокойство. Вчера вы звали меня…

– Хорошо, Володя, – сказал Земский, – через пятнадцать минут я тебя жду.

Через пятнадцать минут Николай Борисович Земский открыл Данилову дверь и, поклонившись, будто приглашая к менуэту, провел Данилова в большую комнату.

Данилов поглядел на свои джинсы и стертые домашние туфли, смутился. Николай Борисович надел прекрасный концертный фрак, рубашка его и черный бант под кадыком были свежи, праздничны, будто только для сегодняшнего утра их шили и утюжили. Осмотрев комнату, Данилов понял, что Земский не только ждал его посещения, но и с усердием готовился к визиту соседа. Да что соседа! Земский теперь стоял словно на сцене и чувствовал трепетное внимание притихших где-то слушателей.

– Ты, Володя, садись, – загремел Николай Борисович, – вот кресло!

Бас у Земского, как всегда, был богатырский, раскатистый, но

звучал этот бас нынче серьезно, строго, забыв о том, что привык озорничать, охальничать, а в случае нужды и раскалывать тонкие стаканы.

– Коньяк, Володя, будешь? – спросил Земский.

– Нет, что вы! Нам же на работу! Да и желания нет.

– Я коньяк не пью, ты знаешь. Предпочитаю водку. Или… Но нынче… Я ведь так… По рюмке, для утренней бодрости и остроты восприятия.

– Ну если для остроты восприятия, – сказал Данилов и выпил рюмку коньяка.

Сидел он в огромном и мягком кресле, с высокой уютной спинкой, обтянутой черным бархатом. К подлокотникам спинка спускалась овальными боками, похожими на уши слона. Креслу этому Данилов чрезвычайно завидовал, грустил о нем. Вот бы сидеть в этаком кресле, мечтал Данилов, а за окном вьюга, ноги накрыть пледом и сидеть, книгу держать в руках или думать о чем-то… Или ни о чем не думать… Дремать. Славно… Но куда уж эти мечты! Вряд ли бы удалось Данилову дремать или думать в благословенном бархатном покое, да и на поиски кресла в комиссионных магазинах не было у него ни времени, ни денег. Хорошо хоть, сегодня Николай Борисович дозволил ему занять почетное место. Данилов блаженствовал. И понимал: жест Николая Борисовича значит многое.

– Времени у нас с тобой, Володя, действительно мало, – сказал Земский. – Поэтому я сразу исполню свои сочинения. Я пишу и в традиционных формах, тебе привычных, есть у меня и симфонии, и балет, и оратории, есть пьесы инструментальные, не только для скрипки, но и для органа, фортепьяно, флейты-пикколо и прочего… Есть другие вещи… Но поначалу ты можешь их не понять, а то и рассердиться… Я сыграю две простые пьесы для скрипки. И короткие. Одну на две с половиной минуты, другую – на четыре. Кстати, я их играл и твоему приятелю Андрею Ивановичу, вторая вещь понравилась ему больше… Впрочем, какое это имеет для тебя значение…

– Я весь внимание, – сказал Данилов.

Земский, наверное, не расслышал слов гостя, он был уже в своей музыке, она волновала и мучила его, Данилов видел это. Сам же Данилов чувствовал себя неловко, минут через десять ему предстояло говорить Земскому какие-то слова, а вполне возможно, сочинения Земского были скверные. К тому же Данилов пришел к Земскому вовсе не ради его музыки. Но, впрочем, и музыку Земского услышать ему было интересно.

Земский взял скрипку, встал возле пианино (рояли в доме Данилова многим были бы нужны, да как затаскивать их, рояли-

то! И где держать?). Данилов смотрел на Земского снизу вверх, и виделся Земский ему огромным, величественным, но и отчего-то пугал Данилова. Он совсем не походил на обычного Николая Борисовича Земского, бесцеремонного озорника и орателя, имевшего в коллективе прозвище Карабас. Какой уж тут Карабас! Или Громовой. Такого баса наряди Варлаамом, или князем Галицким, или половецким ханом и выпусти его на сцену – публика тут же бы обмерла. Да что Варлаамом, что Галицким! Он мог бы в костюме и гриме явиться теперь и царем Иваном Васильевичем из «Псковитянки»! Было величие в Николае Борисовиче! Да и зачем ему сейчас грим и оперные костюмы, он и в концертном фраке был хорош. Плечи Николай Борисович расправил, грудь его была обширна и могуча – и камский грузовик проехал бы по ней, не оставив следов. Скрипка, казалось, могла захрустеть в руках Земского, однако держал он ее нежно, с отцовской любовью. «Хорош, хорош!» – думал Данилов. Но отчего-то ему было не по себе.

Николай Борисович поднял смычок.

За его спиной Данилов заметил прикрепленную кнопками к стене полоску ватманской бумаги и на ней выведенные плакатным пером слова: «Из наших пяти чувств слух несомненно меньше других облагодетельствован естественными наслаждениями». Рядом висела другая полоска бумаги с мнением художника Александра Иванова о смысле творчества. «Всерьез готовился», – подумал Данилов.

– Первая вещь называется «Прощание с номером гостиницы в Тамбове», – объявил Николай Борисович так, словно имел в виду не только Данилова, но и невидимых слушателей, возможно, притихших где-то рядом. – Вторая – «Утренние страдания в окрестностях Коринфа».

Он стал играть, но никаких звуков Данилов не услышал. Прощание с гостиницей, видно, было элегическое, что-то произошло у Земского в Тамбове, смычок проплывал мимо струн на малом от них расстоянии в задумчивости и грусти. Поначалу Данилов с любопытством следил за смычком, намереваясь, как глухой по движениям губ собеседника – слова, угадать музыку, сочиненную Николаем Борисовичем. Но не угадал. Музыка, верно, была новая и Данилову недоступная. Внимание Данилова рассеялось, он, слушая Николая Борисовича и наблюдая за ним, стал краем глаза оглядывать комнату, но так, чтобы Николай Борисович не заметил его досужего интереса. Впрочем, что мог заметить сейчас Николай Борисович! Он был само вдохновение. Он творил. Он печалился об исходе своей тамбовской жизни… Тут Николай Борисович закончил первую вещь, опустил смычок,

голову склонил на мгновение. Но сразу же будто встрепенулся и вскинул смычок, обратившись мыслями и чувствами к утренним страданиям. Страдания – кому? Может быть, кентавру? – выдались вблизи Коринфа серьезные. Полеты смычка были теперь нервными и стремительными. Данилов любовался артистическими движениями рук и бровей Николая Борисовича.

Земский опустил смычок, замер, отходя от музыки.

Данилов молчал.

Николай Борисович положил скрипку на стол, нервно взглянул на Данилова, налил коньяк, протянул рюмку гостю, быстро выпил свою, сел.

– Как? – спросил Земский.

– Несколько непривычно, – сказал Данилов.

– Я так и думал, – проговорил Земский расстроенно. – Знал, что ты поначалу будешь обескуражен… Хотя и надеялся… Н-да… А вот твой приятель из Иркутска, он сразу многое почувствовал… И Миша Коренев… покойный…

– Николай Борисович, – осторожно спросил Данилов, – как ваше направление в искусстве называется? Тишизм?

– Тишизм, – тяжело кивнул Земский.

– Тишина – лучшее из того, что слышал… От этого вы шли?

– Поэт выразился удачно. Но меня вело иное движение мысли…

Николай Борисович встал. Прошелся по комнате.

– Впрочем, Володя, ничего огорчительного и неожиданного тут нет. Я и думал прежде объяснить суть своего направления. Но взял и ударился в авантюру: а вдруг ты сразу все и почувствуешь…

– Я кое-что почувствовал, – робко сказал Данилов.

– Раз уж явился ты ко мне, – сказал Земский, не обращая внимания на слова Данилова, – придется тебе выслушать лекцию. Надеюсь, что короткую. А потом я исполню еще одно сочинение. Оно сложнее первых двух…

Тут Николай Борисович извинился, предупредив Данилова, что объяснения будет вести житейскими словами. В терминах он не силен, хотя и согласен с необходимостью оснащать любую новую теорию научной терминологией. В письменном трактате о тишизме он и попытался сделать это. Однако не все термины ему нравятся.

Свои объяснения Николай Борисович начал издалека. От самых истоков традиционной музыки. Той самой, какой служит теперь Данилов и какой он, Земский, служил тридцать с лишним лет. Музыка эта возникла скорее всего из-за того, что, как догадались еще древние (тут палец Николая Борисовича указал

на полоску ватманской бумаги с черными словами), слух наш по сравнению с другими чувствами куда меньше облагодетельствован естественными наслаждениями. Глаза видят много безобразного. Но и прекрасного перед ними много. А что, по мнению людей, и ушедших и нынешних, слышат уши? Да одни безобразия, выходит, и слышат! Дурные крики, карканье ворон, визг циркулярной пилы, лязг мечей, шипенье кухонных плит и перебранку их хозяек, скребки бумаги по школьной доске, урчания в желудке, свист летящих бомб, вытье собак, не говоря уже о матерных ругательствах. Шумы и звуки раздражают человека все больше и больше, они вреднее для него, чем загрязнение среды. А как мало приятного слышат люди: пение птиц, шум леса, ласковый плеск воды, смех младенцев. И все, пожалуй. Ну и, естественно, тишина. Однако о ней разговор особый. Вот человек себе в утешение и создал музыку. Расположил звуки с помощью тонов, ладов, ритмов и прочего в приятные ему сочетания и десятки веков старается возместить музыкой скаредность природы. Поначалу уловленные людьми звуки помогали им баюкать детей, вызывали жар в крови, настраивали на битвы и тяжкие работы, в пышных церемониях заставляли падать на колени, верить в силу и сверхъестественное. А потом возник особый мир музыки, мир этот безграничен и всесилен. Впрочем, так думают люди. Но так ли на самом деле? Нет, нет и нет! Музыка, как и любое другое искусство или, скажем, как и любая наука, отражает уровень развития человечества, представления людей о мире и самих себе. Представления эти меняются, но и теперь они наивные и детские. Ничего толком не знают люди ни о себе, ни о мире! Так, для облегчения жизни, оснастили себя некими условностями. И потихоньку одну условность заменяют другой. Каким уж открытием казалась когда-то перспективная живопись, а теперь, если принять во внимание забавы естественных наук, перспективная живопись Леонардо или Рафаэля ничуть не меньшая условность, нежели плоскостность или обратная перспектива иконы. Да что там, куда большая условность! И традиционная музыка, естественно, – условность и частность!

Нет, он, Николай Борисович Земский, вовсе не предлагает уничтожить и забыть традиционную музыку, инструменты изломать, а ноты сжечь. При этом бы и сотни тысяч музыкантов пришлось куда-то девать, а им ведь надо кушать и кормить детей. Бог с ними, пусть себе дуют в трубы и барабанят по клавишам! Хотя они и шарлатаны. Но следует открыть людям глаза на то, что традиционная музыка – явление частное и никак не может претендовать на всеобщность. В этой ее претензии есть и нечто

ущербное. Как в претензии на любовь мужчин семидесятилетней дамы, скукоженной, но все еще в красках и горящих камнях. В особенности теперь, когда так называемые точные науки пригоршнями выбрасывают новые условные знания. Может, в чем-то и верные. Теперь, когда совершенно изменились способы информации и средства общения людей. Да что говорить! Что дальше-то будет! Века человек плелся потихоньку, а теперь побежал, да еще и вприпрыжку. Раньше он жил в замкнутом мире, в своей избе, а теперь выходит во вселенную, и кто знает, с чем он встретится там, какие истины разверзнутся перед ним, от каких бездн он поседеет, к каким чувствам и каким звукам привыкнет, какие инструменты изобретет и полюбит. А вдруг люди и вообще откажутся от всех звуков и шумов, поберегут здоровье. Им надоедят разговоры, а станут они общаться друг с другом, скажем, способом телепатическим. Или каким иным. Да и надо бы! Разве слова способны передать движения мыслей и чувств? Нет. Они – служебные сигналы, они жалки и убоги, как знаки азбуки Морзе. Стало быть, и искусство будет иным.

И еще. Вся старая музыка так или иначе – отражение какой-никакой, а гармонии. Но разве мир – гармония? Разве жизнь – гармония? Ах, Володя, не криви губы. Уволь! Где уж тут гармония. Лев терзает лань, жирные злаки растут на братских могилах, женщина торгует телом, пьяная рука калечит ребенка, альтист Чехонин лижет штиблеты главному дирижеру, чтобы именно он, а не ты, Данилов, поехал на гастроли в Италию! Гармония!

– Но, может быть, Чехонин и поступает так, – сказал Данилов, – в поисках гармонии. Хотя бы для себя.

Земский только рукой махнул.

– Нет, – сказал он, – мир – черт-те что, но только не гармония. Значит, традиционная музыка лжет. Навевает даже и трагическими сочинениями сладостный обман. Для того она и звуки отобрала приятные человеку, сносные, выдрессировала их и строго следит за их порядком. Она ложь и побрякушка. Конечно, и старая музыка заставляет людей страдать, плакать. Но это оттого, что у них есть потребность страдать и плакать, а иной музыки они не знают. Он, Николай Борисович Земский, уважает и творцов прошлого, в иных из них, скажем в Бетховене, видит родственную себе натуру и жалеет их, шедших ложным путем. Да и пусть их сочинения останутся, пусть исполняют их для гурманов в звуковых антикварнях и через двести лет. Это ничего не меняет… Но настоящей-то музыке, чтобы соответствовать миру, следует не извлекать из природы лакомые звуки, а быть честной и всеми звуками, пусть и страшными, пусть и

кощунственными, потчевать людей, терзать их души правдой жизни. Дал ли наш век новую музыку? Нет. Да, она нервнее и злее сочинений прошлого. Но вся она – и с джазовыми открытиями, и с атональным направлением, и с находками поп-артистов, и прочим, и прочим, – вся она та же самая традиционная музыка, только что с заплатами и надставленными рукавами. Вся она – частность и условность!

Тут Николай Борисович остановился и замолчал.

– Стало быть, – сказал Данилов, – ваше направление, тишизм, претендует на некую всеобщность? И вы создали систему всеобщих звуков?

– Ничего я не создавал, – недовольно заявил Земский. – Все необходимые для истинной музыки звуки есть внутри каждого из нас. И они так же богаты и верны по сравнению со звуками внешними, как богаты и верны наши мысли и чувства по сравнению со словами и жестами.

И дальше он объяснил… Итак, пока еще никто не знает, какая музыка людям нужна и какая музыка, в конце концов, возникнет для них. И он, Николай Борисович, точно не знает, хотя о многом догадывается и многое предчувствует. Вот он и открыл, что нужно писать такую музыку, какая будет звучать лишь внутри каждого из слушателей. Эта музыка никогда не устареет и в момент исполнения будет точно соответствовать уровню представлений людей о мире и уровню развития музыки. Естественно, Николай Борисович имеет в виду лишь слушателей, какие способы его сочинения воспринять и воссоздать. Сочинения эти нет надобности записывать нотными знаками. Нотные знаки должны устареть, как устарело крюковое письмо. Никаких знаков и вообще не надо. Сочинениям необходимы лишь точные словесные обозначения. Впрочем, потом и слова будут заменены чем-то более совершенным. Главное – сообщить предполагаемому слушателю идею произведения, а уж он услышит его своим внутренним существом. Какие его натуре в сию минуту нужны голоса, мелодии или диссонансы, такие в нем и зазвучат. Ведь и традиционную музыку каждый человек слышит по-своему. Да и летуча она! Звуки – здесь, и вот уж их нет, зато остались неудовлетворенные желания. А сочинение Земского любитель может проиграть сейчас же снова сам, не пользуясь никаким инструментом. Оттого-то тишизм универсален и всеобщ. С одной стороны, он – тишина, а с другой стороны – самая что ни на есть истинная внутренняя музыка с полной свободой выбора мыслей, звуков, чувств.

Для облегчения подступа к его музыке Николай Борисович написал много вещей в формах музыки традиционной. И

инструменты использовал знакомые людям. Чтобы вызвать у слушателей точные ассоциации, а стало быть, и привычные им голоса. Позже, когда люди освоят музыку Земского, перестанут бранить ее, пугаться ее, они, возможно, поймут и услышат более сложные его сочинения, написанные без всяких уступок старым вкусам, а значит, и в себе откроют нечто высокое, пока неизвестное им.

– Все это надо было объяснить тебе сразу, – сказал Николай Борисович. – Теперь я исполню еще одну вещь. И она для скрипки. То есть тоже уступка… Но что мне делать, если даже ты не почувствовал мою музыку… Эта вещь сложнее. Называется она – «Гололед в апреле на площади Коммуны». В ней три части – «Антициклон», «Лед на асфальте» и «Разбитие стекол троллейбуса».

Земский, видимо, и впрямь не верил в возможность гармонии мироздания, его сочинение опять, судя по нервным движениям смычка, отражало трагические столкновения стихий и судеб. Данилов следил за игрой Земского в напряжении, силился услышать что-то. Ему вдруг стало казаться, что он действительно слышит какую-то музыку или хотя бы ночной вой ветра или шуршанье газетных обрывков, влекомых ветром по замерзшим лужам, а когда Николай Борисович дошел до третьей части, Данилов закрыл глаза и ясно представил себе, как прямо перед входом в парк ЦДСА грузовик с молочной цистерной врезается в бок тринадцатого троллейбуса и стекла бьются.

– Что-то услышал, – сказал Данилов Земскому, убравшему скрипку в футляр. – Нет, точно, что-то во мне прозвучало.

– Не обязательно должно звучать, – сказал Земский. – Должно возникнуть…

– Нет, точно, – как бы уверяя самого себя, сказал Данилов, – было, было что-то!

Ему сейчас уже казалось, что он и впрямь слышал не только вой ветра, шуршание бумаги, звон стекла, скрип тормозов, но и еще что-то особенное, музыкальное, тронувшее его душу. И теперь он явно ощущал сочувствие к водителю разбитого троллейбуса. Но сказать об этом Николаю Борисовичу Данилов не решался, тот, возможно, полагал вызвать своим сочинением совсем иные эффекты.

– Перешагнуть предрассудки доступно немногим, – сказал Николай Борисович. – Но потом люди привыкнут к музыке Земского. Хорошо хоть, ты сразу не ринулся в бой со мной. Это и мне приятно. И тебе делает честь.

– С инструментальной музыкой ладно, – сказал Данилов, – а с балетами как?

– Сам понимаешь, и балет – дань прошлому. А принцип – тот же. Необходимо сообщить зрителям идею. И исполнителям, если в них обнаружится нужда. Для менее способных к творчеству придется разработать и либретто, но короткое, как в программке. Потом, думаю, нужда в исполнителях отпадет. Каждый будет смотреть и слушать балет внутри самого себя. Кто по привычке, собираясь в театрах, кто у себя дома, вот в этаком кресле, закрыв глаза…

– Значит, и Чайковский, – сказал Данилов, – мог сообщить нам идею «Лебединого озера» или «Спящей» и дать возможность для трактовок своих вещей? Трактовок куда более глубоких и личностных, нежели мы имеем теперь.

Николай Борисович то ли иронию расслышал в словах Данилова, то ли противопоставление ему Петра Ильича показалось Земскому намеренным, но только он обиделся.

– А вот не мог Чайковский, не мог! – произнес он с горячностью. Потом утих и добавил вяло, словно потеряв интерес к предмету затеянной им беседы: – Ты, брат Данилов, весь в оковах старой музыки. И разбивать их пока не намерен. Нравятся они тебе. Это печально, но и понятно. Ты молод, стал хорошо играть, стал блестяще порой играть, ждешь от старой музыки многого для себя. И я когда-то был такой, вон там у меня во встроенном шкафу лежат и призы и дипломы. Я далеко мог пойти. Но сомнения стали грызть меня, совершенства я жаждал, совершенства! Однако понял, что совершенства не будет. И тогда мне все стало скучно. Но я не сложил руки. И победил. В тишизме я и как исполнитель, и как творец, и как мыслитель найду совершенство. Или уже нашел… А ты играй, играй, звучи, пока звучишь! Ты пока еще в полете, ты оптимист, ты искатель, и мир для тебя хорош, ты молодой.

– Где уж молодой… – печально сказал Данилов.

– Хотя, конечно… Миша Коренев в твои годы был уже поверженный…

– Миша приходил к вам?

– Да.

– И часто?

– Он стал мне как сын.

Николай Борисович поднялся резко и принялся ходить по комнате. Данилов отругал себя за бестактность, решил молчать. Но любопытен был Данилов…

– Коренев принял тишизм? – спросил он.

– Миша понял меня. Но тишизм его напугал. И сильно. Очень сильно… Однако его последний поступок говорит о том, что он принял тишизм.

– Разве?

– Да, – сказал Земский. – Ты узнал сегодня об азах тишизма, прочел первое слово в букваре, да и то по слогам… А Миша ушел в высшую тишину. Да что ушел! Прыгнул туда… Или вознесся…

– Стало быть, для вас высшая тишина – исчезновение личности, смерть? Так, что ли?

– Нет, – горячо сказал Земский, – для меня – нет! Я – творец. Для меня моя музыка – продолжение жизни. Или ее воплощение. Даже если эта жизнь и состоит из одних скорбей и грехов. А для слабых натур Мишин прыжок в тишину – благость…

– Миша ушел в тишину и унес с собой тайну М.Ф.К…

– М.Ф.К.? – сразу остановился Земский. – Откуда ты о ней знаешь?

– Прочел в одном письме… М.Ф.К. Это его инициалы, видимо… Михаил Федорович Коренев… Так, наверное?

– Он всего стал бояться, – сказал Земский. – Всего. Однако и со всем, что его пугало, был намерен вести бой. И первым делом – с самим собой… А когда узнал от меня, что старая музыка рано или поздно должна исчезнуть или отмереть, он и от этого пришел в ужас, оцепенел, словно на краю пропасти. Но потом решил – доказать и мне и самому себе, что – нет, что старая музыка не ошибка и не частность, а что и она может быть великой. Как и он в ней. А вот не доказал…

– А мог доказать?..

– Не знаю. Он, наверное, и не мог… Он долго жил как придется, был ветрен, но жил весело и сыто. Вдруг остановился и словно прозрел. Спросил себя: «А зачем живу?» Хорошо, что спросил, мне он потому и стал приятен. Но лучше бы не спрашивал… Взглянул на все глазами открытыми и пришел в ужас. И от самого себя, и от мира. Себя собрался изменить рывком, да где уж тут! Решил бунтовать. Этакий мятежник. Чтобы оправдать свое существование, намерен был в музыке, старой, понятно, устроить чуть ли не пожар. Или фейерверк. Но почувствовал, что и сам-то как музыкант за годы веселий потихоньку истлел. Да он и вообще, я тебе скажу, особо одаренным не был…

– Я знаю, – кивнул Данилов.

– Не был, увы, не был… Но то впадал в ярость, думал, что одолеет музыку, а то скисал… Считал, что в мире никому не нужен, что надо бросить поганое дело, что он бездарен, что музыка не для него, а ему стоит сейчас же уйти в шоферы или еще куда. Я смотрел на него и понимал, что уйдет-то он уйдет, но совсем не в шоферы…

– И не пытались его остановить?

– Нет.

– Он же стал вам как сын…

– Каждому свой жребий… Если бы он утих, если б перестал думать о высоком, лучше б было? Нет. Я открывал ему высоты все новые и новые. Я не желал заливать его пламя водой. А он все больше и больше пугался… Узнал, что машина стала писать вещи не хуже композиторов-шарлатанов, и опять – в озноб… Нет, я его не успокаивал, наоборот. И со мной было такое, но я не сдался. Тут или – или. Иного быть не может. Он не выдержал. Да, значит, и не мог выдержать.

– Вы его искушали… И подталкивали к обрыву…

– Если ты считаешь, что к обрыву, пусть будет к обрыву… Можно посчитать, что к окну, и тут нынче не ошибешься… Да, искушал. Да, подталкивал. И не жалею об этом… Но подталкивал я его не к обрыву, а к выбору и решению… Он выбрал тишину… Он ничего иного уже и не мог выбрать…

– Все это жестоко по отношению к нему.

– Пусть жестоко. Но и честно… А по отношению ко мне все это не жестоко? Ты этого не чувствуешь? Ведь я привязался к Мише… Я на похороны не смог пойти… Не было сил…

– Однако вы живы. А он погиб.

– Он ушел в тишину. В высшую тишину. А я страдал… Я знал, что рано или поздно он уйдет в тишину и я буду страдать… Я не останавливал его, я должен был испытать потрясения, чтобы написать лучшую свою вещь… Я написал ее… Памяти утихшего скрипача… Это сочинение еще потрясет людей…

– Выходит, что Мишина гибель – благо для вас, для музыки и для людей?

– Я не говорю, что благо. Необходимость – да. В мире – разлад, и не скрипачу Кореневу суждено было его вынести. Творец же…

– Такой, как вы…

– Такой, как я. Творец же обязан был не холодным умом представить смертельную схватку личности с миром, а отцом увидеть страдания сына и самому отстрадать… Кровью и сединой оплатить за великое сочинение… А я знаю, что сочинил!

Земский стоял над Даниловым исполином. Тот ли Земский еще вчера в смятении чувств шарахался в буфете от моршанского ножа! Нет. Этот был словно пророк, знающий, что его пророчества сбудутся. В глазах Земского горело торжество. Над всем человечеством возвышался сейчас Николай Борисович Земский.

– И все же, Николай Борисович, – строго сказал Данилов, – это жестоко.

– Истинный художник и должен быть жесток! – воскликнул Земский. – Иначе он превратится в скрипача Шитова, раскатывающего колясочки с детьми да жене стирающего белье! А ведь Шитов был талант! Талант! Нынче же он – никто, домашний хозяин. Ремесленник в яме. И все потому, что дрожал о ближних. И дрожит о них. Стал нянькой. Сиделкой. И слугой. Большому художнику все в природе должно быть подсобным материалом, ниткой и иголкой, а женщины – в особенности… Сострадать человечеству мы можем, но уж ни слугой, ни нянькой, ни сиделкой никому – ни отцу, ни матери, ни сыну – становиться не имеем права!

Данилов сидеть под Земским уже не мог, встал. Движение Данилова было резким, как бы протестующим. Николай Борисович заметил это, будто опомнился, заговорил тише:

– Оттого-то истинный художник и бывает одинок. Я – одинок. И ты – одинок.

– Я одинок? – удивился Данилов.

– Ты одинок, – кивнул Земский. – Я тебе скажу: ты можешь стать большим музыкантом. В старом, естественно, понимании. Я слушаю тебя лет семь, а то и больше. Ты играешь все лучше и лучше. Да и одарен ты куда щедрее, чем покойный Коренев. У тебя пропал Альбани, а ты стал играть на простом инструменте еще ярче.

– Откуда вы знаете о пропаже Альбани?

– Я знаю… – сказал Земский. – У тебя есть многое, чтобы стать блестящим артистом. Ты одинок оттого, что не связал себя душевной цепью ни с кем. И ни у кого ты ни в няньках, ни в сиделках. Но пока ты не жесток, а просто легок. Но коли захочешь выйти в большие художники, то станешь и жестоким. И пошагаешь по плечам и спинам… Так и будет. Не напоминай мне слов о гении и злодействе, они красивы, но в них желание неосуществимого, в них – желание мира-гармонии. А его нет. Сколько видели мы гениев-злодеев. Но я тебе пока и не о злодействе говорю, а о жестокости… Житейской жестокости, и ни о какой другой…

– Неужели и вы, Николай Борисович, были злодей? – спросил Данилов.

– Не про это сейчас речь, – засмущался Земский, – мало ли кто кем был… Многие бы не отказались пойти и на злодейство, чтобы стать гением… Или чтобы их посчитали гениями… Другие бы и за малый успех, за крохотную славу не поскупились бы заплатить ой-ей-ей как… А Миша Коренев?.. Он ведь и душу дьяволу готов был заложить в минуты отчаяния… Пробовал играть Паганини, не выходило, он и думал: а вдруг и верно

Паганини заключил сделку с дьяволом…

– Не было этого! – сказал Данилов.

– Отчего же не было?! – воскликнул Николай Борисович тонко и нервно. – У Миши были минуты, когда он очень хотел поверить в возможность этой сделки! Да что Миша! И у меня бывают мгновения…

– Вы это серьезно? – спросил Данилов.

– Уж куда серьезнее! Такая тоска иногда находит, что я, Николай Борисович Земский, на колени готов рухнуть все равно перед кем – сверхъестественным существом или пришельцем из обогнавшей нас цивилизации, уж не знаю перед кем, рухнуть на колени и молить его: сейчас же сделать меня всемогущим, хотя бы в искусстве, и прославленным, а уж плату он волен потребовать с меня любую!

И тут Николай Борисович упал перед Даниловым на колени.

– Я любую расписку дам, самую страшную, кровью так кровью, – сказал Николай Борисович, – душа моя нужна, так возьмите душу, жизнь – так жизнь, муки я должен потом претерпеть или дело какое исполнить, извольте, я согласен! Только утолите мои желания!

– Встаньте, Николай Борисович, что же вы передо мной-то на колени грохнулись!

– А перед кем же еще? – спросил Земский.

– Сейчас же встаньте, Николай Борисович, – сухо сказал Данилов. – Право, это неприятно.

На колени Николай Борисович падал, а вставал с усилием, словно теперь дало о себе знать люмбаго. К креслу он двинулся разбитым стариком, и, когда утвердился в нем, Данилов увидел, что и в глазах Николая Борисовича пламени более нет. И нет надежды.

– Я понимаю, Николай Борисович, – покачал головой Данилов, – вы шутник и артист, но я ведь к вам пришел не ради мистерий пятнадцатого века.

– Ты прав, – сказал Земский.

Он быстро взглянул Данилову в глаза. Но тут же опустил голову. Потом, помолчав, спросил:

– А приятель твой из Иркутска, он что – не появится больше?

– Не знаю, – сказал Данилов, – но думаю, что и перед ним падать на колени было бы неразумно.

– Может быть, – прошептал Земский, – может быть.

– Да и как же вдруг? – спросил Данилов. – Зачем чья-то помощь? Вы что же – не уверены в тишизме?

– Уверен! Уверен! – горячо произнес Николай Борисович. – Но кто бы узнал о Золушке, если бы она туфлю в двенадцать

часов не потеряла!

– То есть?

– Кто поймет теперь мой тишизм? Никто. Кто узнает о моих сочинениях через сто лет? Никто. Я сдохну, и пионеры сейчас же отнесут мои бумаги в макулатуру – кому нужен утиль какого-то Земского! Чтобы к моим мыслям и сочинениям был интерес, чтобы в моих бумагах копались умные люди через сто лет, я теперь, теперь должен стать известным. Пусть и в этой ложной старой музыке. Пусть и со скандалом. Со скандалом-то вернее! Имя мое должно застрять в умах людей! Туфелька Золушки мне нужна. Даже и похожая на рваный сапог. Ради этого я готов поставить подпись где угодно. И кровью!

– Ничем не могу вам помочь, – сказал Данилов.

– Ой ли?

– Николай Борисович, вы смотрите на меня как-то странно. Не думаете ли вы и меня напугать, как напугали Мишу Коренева?

– Тебя не напугаешь, – угрюмо сказал Земский. – Ты сам скоро напугаешься, коли и впрямь ринулся в большие музыканты. Так напугаешься, что однажды подойдешь к окну и подумаешь: «А не прав ли Миша Коренев?..» Если ты, конечно, тот, за кого себя выдаешь…

– Я себя ни за кого не выдаю, – сказал Данилов. – Однако у меня создается впечатление, что вы меня за кого-то принимаете. За кого же?

– Мало ли за кого…

– Вы взрослый человек, – сердито сказал Данилов, – а, видно, уверили себя в каком-то детском вздоре… Это и смешно, и неприятно… Разрешите на этом откланяться.

– Извини, Володя, – быстро заговорил Земский, – это все шутки… Но ведь как шутник, сам знаешь, я не всем нравлюсь… Извини… И забудь о моих словах… Нам и в театр пора. Я тебе сейчас напоследок налью коньяка. Себе же – вина, фирменного.

Николай Борисович наполнил рюмку Данилова, а сам отправился в соседнюю комнату и вернулся с большой чашей, сделанной, как разглядел Данилов, из черепа и опоясанной сверху и снизу полосками серебра. На серебре имелась чеканка. Вино в чаше было вишневого цвета, чуть прозрачное. «Экий печенег!» – подумал Данилов.

– Это все шутки, Володя! Может, и не поверил я ни в какой вздор. Я пока в свою силу верю! Родись я веков на пять раньше, был бы я Васькой Буслаевым и дружины б крушил. Помнишь, что Васька говорил: «Не верю я, Васенька, ни в сон, ни в чох, а верю я в свой червленый вяз!»

Тут Николай Борисович рассмеялся, из перстня, украсившего

средний палец его левой руки, высыпал в чашу красный порошок, отчего вишневая жидкость будто вскипела, забулькала и пошла вверх сизым паром. Чашу Николай Борисович поднял рывком и осушил, как граненый стакан. Данилов коньяк пить не хотел, однако теперь выпил. «Мистика какая-то», – подумал Данилов.

В прихожей Данилов сказал Земскому:

– Червленый вяз пусть при вас остается, вы ему служите, это ваше дело, однако Мише Кореневу жизнь вы укоротили напрасно.

– Может, и укоротил, а может быть, и нет! – рассмеялся Земский.

Был он теперь в кураже, вишневая жидкость из чаши взбодрила его. Словно бы радость распирала Николая Борисовича. В прихожей обширным животом он вдруг придавил Данилова к стене, оглушил его:

– А ты, Данилов, не храбрись! Что ты знаешь? Да ничего! Вот Миша-то унес с собой тайну. Тайну М.Ф.К. Разгадай-ка ее. Слабо будет!

Выходя к лифту, Данилов все же поклонился Земскому, и тот шумно закрыл за ним дверь.

26

«За кого же он принимает меня? – думал Данилов, собираясь на работу. – Если за пришельца или еще за кого, пусть, куда ни шло… А если – за жулика или за какого агента? Еще настрочит бумаги куда следует, людей зряшным делом заставит заняться…» Данилов посчитал, что сейчас же надо истребить из памяти Николая Борисовича Земского даже и мельчайшие впечатления от знакомства с Андреем Ивановичем из Иркутска, их сидений и прогулок. Словно бы и не было ни Андрея Ивановича, ни моршанского ножа. И о его, Данилове, оплошностях во время гуляний с Кармадоном Земский должен был забыть! Николай Борисович в ту же секунду и забыл… В театре был смирный, к Данилову не приставал.

Два дня или три Данилов провел в суете, в беготне из оркестра в оркестр, по ночам готовил дома симфонию Переслегина. С трудом выкраивал время для встреч с Наташей. То и дело – и даже в театр – ему звонила Клавдия, говорила обиженно, просила посетить ее Монплезир. Под Монплезиром она имела в виду квартиру, из какой Данилов ушел и за какую платил. Данилов рассудил, что Клавдия от него все равно не отвяжется, и на четвертый день ее просьб поехал в гости.

Клавдия одета была тщательно, словно бы Данилов стал интересен ей как мужчина. Краску и тушь на веки и на ресницы она наложила под девизом: «А лес стоит загадочный…» И точно, некая загадочность была и в облике хозяйки и в ее словах. Однако Данилов чувствовал, что тайны в Клавдии долго не удержатся. А потому и ни о чем ее не спрашивал.

– Не кажется ли тебе, Данилов, – сказала Клавдия, расставляя на кухонном столе чашки для чая, – что по отношению ко мне ты ведешь себя неблагородно?

– Нет, не кажется, – сказал Данилов.

Клавдия посмотрела на него удивленно.

– Отчего ты так переменился? Вот ты мне и хамишь…

– Я устал, – сказал Данилов, – ты же видишь во мне прислугу, будь я свободен, возможно, я помогал бы тебе, но увы, сейчас твои хлопоты мне в тягость…

Клавдия чашки оставила, опустилась на табуретку.

– Ах, Данилов, – сказала она. – Я вижу в тебе друга. Ты нужен мне для душевных общений.

– Для душевных общений тебе могло хватить и Войнова… Он профессор и автор книг…

– Войнов, конечно, – согласилась Клавдия, – профессор… Но

ведь есть у меня в душе и тайные уголки.

«Ну вот, дело дошло и до тайных уголков», – расстроился Данилов.

– А что касается твоей Наташи, – сказала Клавдия, – то мы с ней подружились. Она сшила мне чалму. Быстро сшила. Я довольна. Сейчас я покажу тебе. Только надевать ее следует с вечерним платьем… Я сейчас…

Клавдия направилась в соседнюю комнату, Данилов крикнул ей, что не надо вечернего платья, что ему через полчаса бежать. Что было толку! А увидеть чалму, сшитую Наташей, он желал.

К удивлению Данилова, Клавдия позвала его через пятнадцать минут. Войдя к ней в комнату, Данилов забыл о недовольствах. Британской королеве предстояло увидеть жену профессора Войнова в черном платье из бархата и в черной чалме. Смелые вырезы платья открывали плечи и грудь московской гостьи, черный бархат украшала бриллиантовая гроздь. И на чалме играли бриллианты.

– А что, – сказал Данилов, – хорошо.

Он искренне радовался за Клавдию.

Ему показалось, что и чалма хороша, хотя игра бриллиантов мешала ему разглядеть чалму внимательно.

– Для вечернего приема у королевы, – сказала Клавдия, – я сшила еще и тюрбан из горностаев. Но к нему у меня другое платье. Белое. Оно на той квартире. У Войнова. И тюрбан там.

– Жаль, – сказал на всякий случай Данилов.

– Жаль, – согласилась Клавдия. – Я потому тебе показываюсь, что у тебя художественный вкус. Раз ты говоришь, что хорошо, значит, хорошо.

– А тюрбан тоже Наташа шила?

– Нет, она не скорняк. Чалма вышла у нее безупречная. Но берет она дорого. И так решительно с меня запросила, будто я мильонщица. И это со своей-то!

– А ты уж и своя?

– Данилов, какой ты, право! Ты думаешь, эта Наташа простая? Ой нет! Поверь женщине. Мы с ней и вправду подружились, о чем только не переболтали… О тебе, конечно… Еще кое о чем… И я тебе скажу…

– Если ты шьешь наряды для королевы, – сухо сказал Данилов, – стало быть, вы с Войновым скоро уедете в Англию? И надолго?

– Ах, Данилов, – вздохнула Клавдия, – никуда мы пока не едем. Войнов, правда, старается получить командировку в Англию на три года, но до самой поездки далеко…

– А почему именно в Англию?

– Англию нам припрогнозировали, – сказала Клавдия и сразу же, словно бы в испуге, посмотрела по сторонам.

– Хлопобуды?

– Хлопобуды, – прошептала Клавдия.

– Но наряды твои устареют, что же их было шить?

– Чалма и тюрбан не устареют. А платья я заменю.

– И это все твои тайны? Из-за них ты вызывала меня?

– Ты не получил удовольствия от моих обновок?

– Ну… получил… – неуверенно произнес Данилов. – Но зачем тайнами-то заманивать?

– А ящики тебя совсем не интересуют? Те, что мы с твоими приятелями тащили…

– Да… Действительно… И что же с ящиками?

– Пошли! – приказала Клавдия.

Шли недолго, из кухни коридором и до кладовки, свет в коридоре был неяркий, однако Данилов сумел рассмотреть вечернюю Клавдию, не снявшую чалму, в движении и понял, что тело ее нисколько не потеряло прежних форм, наоборот, кое-что волнующее Данилова и приобрело. «Да, она красивая женщина», – словно бы согласился с кем-то Данилов. Ящики занимали половину кладовки, надписи на их боках, удостоверявшие принадлежность ценностей Камчатской экспедиции, были замазаны синей краской. Крышку верхнего ящика отодрали, и Данилов увидел в ящике большой камень.

– Камень какой-то, – сказал Данилов.

– Ну и какой камень? – спросила Клавдия, в глазах ее теперь были и торжество, и тайна, и предчувствие будущих радостей, и желание вновь показать Данилову свое превосходство над ним.

– Я не знаю.

– А ты посмотри внимательно.

Данилов не только осмотрел камень, но и общупал его, и запахи камня уловил, только что не попробовал его на зуб. Верхняя поверхность камня была плоская, но не ровная, вся в выбоинах, видимо, ломами или перфораторами вынимали камень из родной среды.

– Лава, что ли? – сказал Данилов, вспомнив о вулкане Шивелуч.

– Лава! – рассмеялась Клавдия и с удовольствием погладила камень.

Минуты две она любовалась камнем, потом закрыла дверь кладовки и повела Данилова в кухню. Платье для королевы она не испачкала и не помяла, носить его, да и чалму, ей нравилось. Бриллианты с двойным внутренним отражением по-прежнему играли на Клавдии тут и там. На кухне Клавдия закурила и

сказала:

– Это лава. А через четыре года будут изумруды.

– Два ящика изумрудов?

– Два не два, а шкатулку заполнят.

– Неужели тут такая замечательная кладовка?

– Кладовка ни при чем. Каким образом лава превратится в изумруды, не имеет значения, но превратится.

Твердость была в словах Клавдии и деловитость. Она давала понять Данилову, что ту информацию, какую он заслуживал, он получил, а прочее его не касается. Может, и вообще она не имела права говорить об этом прочем. А Данилов молчал, он чувствовал, что Клавдии не терпится поделиться тайной. Он и молчал.

– Сейчас бриллианты в моде, – сказала наконец Клавдия, – а через семь лет, после одного события, в моду войдут изумруды. В такую моду, в какой они не были последние три столетия.

Данилов опять молчал.

– А у меня их будут десятки, около сорока, точнее, тридцать семь, крупные, будто с шапки Мономаха, если мне надоест их носить, я их продам по хорошей цене.

Данилов молчал.

– Это реальные деньги, – сказала Клавдия так, будто Данилов с ней спорил.

Данилов молчал.

– И в том, как они возникнут из лавы, не будет ничего нечестного, никакого волшебства, а все выйдет по науке… Один ученый из одного НИИ… – тут Клавдия опять спохватилась и стала смотреть по сторонам, но вряд ли кто, кроме Данилова и мелких бытовых муравьев, гулявших по столу, мог ее услышать. – Один ученый, то ли Озямов, то ли Озимов, сделал открытие… Все хотел получить искусственный изумруд, бился, бился – и ни с места. Потом решил разобраться, как природа-мать создает изумруды, и действовать ее способом. Понял: они из магмы, она остывает, что-то с ней происходит – и она преобразуется в кристаллы изумрудов…

Дальше объяснять своими словами открытие Озямова стало для Клавдии делом непосильным, она принесла записную книжку, показала Данилову сделанный ею собственноручно рисунок разреза земли – разрез она назвала стратиграфическим. Показала: и где именно пекутся, а потом и остывают изумруды. Рядом на страничке был график движений температуры и давления.

– Ты тут все не поймешь, – заметила Клавдия. – В общем, кавитация… Схлопывание пузырьков газа… А в газ надо

перевести магму, то есть в наших условиях остывшую лаву… Температуры – порядка полторы тысячи градусов… давление – миллион атмосфер, а то и два… И пожалуйста – изумруд!

– Откуда же твой Озямов, – удивился Данилов, – возьмет давление в два миллиона атмосфер?

– Давление у нас найдется, – махнула рукой Клавдия.

– А зачем тебе лава именно от Шивелуча?

– Озямов бьется, бьется, сделал открытие, выбил оборудование для опытной установки, но подходящей магмы не нашел. Какую лаву брать – не знает. А я знаю.

– Откуда? Ах да… Хлопобуды…

– Да, хлопобуды, – прошептала Клавдия, и обреченные бриллианты взблеснули на черной чалме, – они. Ясно, что не в порядке очереди, а… Ну, а в общем, неважно. Они и моду на изумруды мне предсказали, и открытие Озямова учли, и на машинах из всех вариантов выбрали лаву от Шивелуча. А Озямов о ней пока не знает… Я через верного человека наведу его мысль на эту лаву, вот и получу тридцать семь изумрудов – материал-то мой!

– Начнут делать искусственные изумруды – они появятся у всех и станут стоить копейки, как стекляшки.

– Свои изумруды я получу через четыре года. Все посчитают, что они из горных пород. Но у Озямова-то это будут опытные изумруды! А по прогнозам хлопобудов он еще три года походит в шарлатанах, потом перед ним извинятся, станут внедрять открытие – на внедрение уйдет шесть лет. А мне камни уже надоест носить! Я их продам, пока они еще будут в цене… Понял теперь, каково иметь дело с хлопобудами!

Данилова вся история с изумрудами очень заинтересовала, объяснения Клавдии его не удовлетворили, даже и с высоты технических знаний Данилова слова Клавдии показались ему подозрительными. А может, она передала и все верно, да ученый Озямов бродил по ложным тропам. Так или иначе, Данилов решил выяснить, каким образом появляются изумруды и имеет ли к ним отношение лава от вулкана Шивелуч. Ведь ящиками с лавой Шивелуча владела не только Клавдия, но и Камчатская экспедиция, а какие из них подлинные, какие сотворенные им, Даниловым, он не знал, не запомнил в спешке. Камчатские экспедиторы тоже небось могли затеять опыты с лавой. С ящиками следовало разобраться, и сейчас же. Но Клавдия взяла его за руку.

– Данилов, изумруды ладно! – сказала она с неким вдохновением и забыв о шепоте. – Я добыла еще один долговременный прогноз! Подожди тут!

Она моментально принесла из комнаты сувенирный настольный сейф со свежей еще краской и никелированной ручкой. Сейф был как настоящий. «Бутылки три в него войдет», – отметил про себя Данилов. Ключом Клавдия отворила бронированную дверцу сувенира и пригласила Данилова заглянуть в его недра. Там стопкой лежали документы. Изнутри к дверце был приклеен лист белой бумаги со словами «Операция „Лишние дипломы“». Документы и были дипломами. По большей части синими, лишь два из них, от отличников, имели коричневые обложки. Данилов несколько дипломов осмотрел. Верхний принадлежал Казематову Игорю Платоновичу, получившему в 1960 году профессию врача-стоматолога. Другой – инженеру-металловеду Ципскому Олегу Николаевичу. Узнал Данилов и о дипломной работе третьего специалиста – Думного Виктора Петровича: „Плетение словес в житийном творчестве последователей Епифания Премудрого“. Виктор Петрович был учителем литературы.

– Отдел кадров на дому? – осторожно спросил Данилов.

– Эти картонки – мои. Я имею и расписки… Все написавшие их отказываются не только от дипломов, но и вообще от прежних своих профессий. Честное слово дают.

– Зачем тебе все это?

– А-а-а! – протянула Клавдия.

Молчать она уже не могла, и, по ее словам, с дипломами выходило так. По точным исследованиям хлопобудов, лет через пятнадцать – семнадцать разведется у нас столько разных выпускников и так не станет хватать всяких необходимых людей – санитаров, продавцов, мозолистов, мусорщиков, полотеров, клейщиков обоев и афиш, садовников, домработниц, что общество вынуждено будет просить лиц с дипломами, особенно неуверенных в своем призвании, пойти в санитары, домработницы, садовники. Государство якобы даже решит доброхотам платить компенсацию за годы учений.

– Какую компенсацию? – не понял Данилов.

– А такую… Кому девять тысяч, а кому и все четырнадцать. В зависимости от затрат. Только чтобы пошли в санитары и в раздатчики пищи.

– Разве мы тратили деньги на образование?

– Государство и тратило. Ну и что? Если обществу так потребуются люди в обслугу, оно хоть и свои затраты решит компенсировать. Сколько диплом стоил, столько, с учетом школьного воспитания, и заплатят человеку, лишь бы он согласился сдать диплом.

– Странно все это… – покачал головой Данилов.

– Так и будет… Припрет – и будет… И теперь ведь… Сколько людей, что учились, изнуряли себя, спокойно работают – и вовсе не по специальности, а где кому хочется, хоть бы и пожарниками или ассенизаторами… И не нужны им никакие дипломы… Вот я уже сколько приобрела… У кого за пятерку, у кого за двадцатку, у кого подороже, у кого бесплатно… А придет срок, я по этим дипломам и по распискам их владельцев соберу всю компенсацию!

– Нет, что-то тут не так.

– Что не так? Что? Ты, Данилов, далек от социальных проблем. Ты бы лучше мне помог. Есть у тебя люди на примете, кому не нужны дипломы? Только не старые и не больные, чтобы могли тянуть и через двадцать лет?

– Надо подумать… Один есть. Кончил консерваторию, был контрабасистом. Теперь он пробочник.

– То есть?

– Люди, не имеющие штопора, обычно проталкивают пробки в бутылку. Бутылка емкостью ноль семь стоит семнадцать копеек, а с пробкой внутри ее берут на пунктах приема по десять копеек. И то как бы из жалости к хозяину. А там у них за ящиками сидит пробочник и леской с петлей вылавливает пробки, имеет за пробку две копейки. Мой знакомый играл скверно, а пробочник, говорят, вышел из него виртуоз. Делом доволен, живет хорошо.

Было похоже, что Клавдию заинтересовал не диплом пробочника, а способ добывания им пробок.

– Надо запомнить, – сказала она. – Именно леской?

– Можно и не леской. Можно веревкой. Или проволокой.

– У тебя один такой знакомый?

– Не знаю… У твоего приятеля Ростовцева, – вспомнил Данилов, – два диплома, из них один университетский, а сам он разводит попугаев, ты обратись к нему.

– Ладно, – быстро сказала Клавдия. – Ты займешься переговорами по моему списку. Там много кандидатов.

– Откуда я время найду? – жалобно произнес Данилов.

«Опять я ей поддаюсь, – подумал он, – опять малодушничаю… Эка ловко она меня приручила снова…»

– Я пошел. Это и были твои сумасшедшие идеи?

– Нет. Главная моя идея иная.

– Ты ее уже получила от хлопобудов?

– Сегодня я тебе ничего не скажу.

– Ну, смотри, – сухо произнес Данилов и направился в прихожую.

Клавдия то ли подумала, что Данилов обиделся, то ли вообще не хотела отпускать его, пошла за ним и заговорила так,

словно в чем-то была перед ним виновата:

– Володенька, я не могу все сразу… Ты и сам знаешь, что у хлопобудов строгие порядки… И есть очередь… Я уж и так все время норовлю заскочить вперед… Да и все хотят с черного хода… С черного-то хода вся очередь перемешалась… Я имею лишь косвенные данные о своей главной идее… Она и не сформулирована точно… Но мне сейчас хватит и не главных дел…

Клавдия не лукавила, была искренней, говорила с полным к Данилову доверием. Словно сейчас считала его равным себе. Это Данилова растрогало. «Да нет, – тут же подумал он, – это она так, со сверхзадачей… Ей нужны помощники в ее затеях, ящики таскать или выкупать дипломы, вот она и желает меня, любопытного дурака, подцепить… А впрочем, ей надо и выговориться перед каким-нибудь одушевленным предметом…» Но при всем при этом отчего-то возникли вдруг у Данилова и некие теплые чувства к Клавдии. Давно с ним не было такого. Будто старое время вернулось, когда Данилов находился относительно Клавдии в заблуждении. Ее затеи были для Данилова чужие и странные, но все же – к чему-то стремилась женщина, пламенем пылала ее нетерпеливая натура! А это для Данилова многое значило. Он ощущал, что и его бывшая жена смотрит на него сейчас если не с прежним интересом, то во всяком случае как бы сожалея о чем-то. Клавдия и сказала:

– А может, зря у нас с тобой тогда так все вышло?

Данилов пожал плечами.

– Ты приятный человек… Если бы ты еще не вел себя рохлей. Или был бы таким, как твой приятель из Иркутска Сомов…

– Сомов?

– Да… В нем было что-то демоническое…

– В Андрее Ивановиче?

– Да.

– Однако он вернулся от тебя подавленный.

– Он мог бы вести себя тогда и как джентльмен… Он не появится еще в Москве?

– Не знаю, – сказал Данилов. – Мне надо идти. Меня ждет музыка.

– Ах, эта твоя оркестровая музыка! – с досадой сказала Клавдия. – Был бы ты хоть по натуре солистом! Вот Сомов, он – да…

– Я пошел.

– Иди… Но ты запомни: твоя Наташа – совсем не простая. Хочешь, я расскажу тебе…

– Я пошел, – сказал Данилов и закрыл за собой дверь.

Он нажал кнопку лифта, однако кабина вверх не поехала. Лишь через минуту возник знакомый звук, кабина поднялась, и в то мгновение, когда она проходила пятым этажом, Данилов увидел в кабине румяного злодея Ростовцева. И Ростовцев заметил Данилова. Возможно, он был намерен выйти на пятом этаже, но при виде Данилова раздумал и поехал выше. Данилов махнул рукой, пошел вниз по лестнице. Когда он был на первом этаже, кабина с Ростовцевым опустилась туда же. Данилов остановился, и тут кабина понеслась вверх. «Ну ладно, его дело, – подумал Данилов. – Пусть катается».

27

В театре Данилов узнал, что привезли несгораемые шкафы для инструментов оркестра. Трубач Тартаковер исполнил «Славься» в честь администрации и профсоюзов. Не один Данилов имел дорогой инструмент. Были в оркестре замечательные скрипки, деревянные духовые, да и медные, редких свойств и судеб. И их стоило холить и беречь, как Альбани. Данилов получил ключ от именного шкафа, вбил гвоздь для плечиков фрака, подумал, что инструменту в шкафу будет тепло и просторно, и как хорошо было бы, если бы он, Данилов, устраивал теперь в несгораемом шкафу свой Альбани. Данилов так и присел возле шкафа. В суете последних дней он почти не вспоминал об Альбани. А вот теперь ему стало худо. Будто пропажа только что обнаружилась. Данилов захотел сейчас же пойти позвонить в отделение милиции. Он пошел и позвонил. Ему ответили, что пока альт найти не удалось, но розыски ведутся, сейчас они поручены старшему лейтенанту Несынову.

«Да зачем я! – спохватился Данилов. – Опять будто дитя малое! Что я занятых людей обременяю пустыми хлопотами! Теперь еще и лейтенанта Несынова! Ведь известно: не было Альбани и не будет! И не должно быть! Переслегина я обязан сыграть на простом инструменте. Или меня следует держать подальше от музыки!»

Однако Данилову было тоскливо. Звуки Альбани опять возникли в его душе…

– Хорош шкаф-то? – услышал он голос Земского.

– Хорош, – согласился Данилов.

– Хорош… Я думаю свой обить сукном… Черным… Могут ведь профсоюзы, если захотят…

– Могут…

– Этот Туруканов напорист, – сказал Земский, имея в виду виолончелиста Туруканова, месткомовского удальца, – ему бы работать директором магазина или снабжением ведать на заводе… Но нынче эта скотина хороша!

Данилов кивнул. И он считал Туруканова порядочной скотиной, однако за шкафы следовало ему поклониться в ноги.

– Ну как, – спросил Земский, – не разгадал тайну М.Ф.К.?

– Не разгадал, – сказал Данилов.

– Говорят, у тебя скоро будет сольное выступление. В клубе завода «Прожектор».

– У меня?

– У тебя. С молодежным оркестром. Будто вы исполните

симфонию какого-то начинающего…

– Откуда вы знаете?

– Знаю, – сказал Земский. – Стало быть, рискуешь начать в твоем-то возрасте? Ну что ж… Коли будет провал, так уж с грохотом… Не боишься?

– Боюсь, – сказал Данилов и отвернулся от Земского.

«При чем тут „Прожектор“?» – подумал Данилов. Впрочем, он знал, что Земский подрабатывает в оркестрах заводских народных опер, там уж он водит смычком по струнам как следует, добиваясь громких звуков, какие и в бухгалтериях были бы слышны. Вот откуда Земский мог иметь сведения о клубе завода «Прожектор».

Следом Данилов вспомнил о своем интересе к происхождению изумрудов. В библиотеке театра книг по минералогии не оказалось, хотя у них на основной сцене и шел когда-то «Каменный цветок». Данилов взял энциклопедию, прочитал про изумруды. Мнение энциклопедии его озадачило. То ли опиралось оно на устаревшие теории, то ли хлопобуды морочили наивную Клавдию. Так или иначе, но любопытство Данилова обострилось, теперь и не в хлопотах Клавдии было дело. Данилов решил зайти в научную библиотеку, там познакомиться с последними суждениями об изумрудах. Действительно, как они, изумруды, растут… В чем их тайна? В чем их откровение? Данилов даже напел тему белки из вступления к третьему акту «Царя Салтана». Как там у Александра Сергеевича: «ядра чистый изумруд»… Однако пошла работа, репетиции и спектакль, потом была Наташа, только утром, у себя в Останкине, Данилов вспомнил об изумрудах.

Но тут же и забыл о них. Позвонил Переслегин.

Звонил он откуда-то из автомата. Данилов слышал звуки трамваев. Переслегин сказал, что все складывается удачно, Данилову надо завтра же встретиться с Юрием Чудецким, дирижером молодежного оркестра, оркестр хороший, полный состав, все профессионалы, пусть Данилов не волнуется. А исполнять симфонию, если Данилов, конечно, не раздумал, ему придется через три недели.

– В клубе завода «Прожектор»? – спросил Данилов.

– Нет, – сказал Переслегин, – во Дворце энергетиков. Мы договорились сначала с «Прожектором», но они передумали. И это хорошо. Клуб у них для оркестра маленький, у энергетиков куда больше.

– Я завтра свободен утром, в девять.

– Вы будете дома?

– Дома.

– Хорошо. Чудецкий к вам завтра зайдет в девять. Владимир Алексеевич, рад был услышать вас. Я побегу. Хлопоты. Да и барабанят уже в стекло…

– Погодите… – произнес Данилов, но Переслегин, верно, сел в трамвай.

«Экая досада, – подумал Данилов, – я ведь так хотел поговорить с ним и о симфонии, и о музыке, и о жизни, и о выступлении… Да что же это мы! Будто не музыкой заняты, а мылом торгуем…» И были люди, которым Данилов хотел бы открыть душу, да со временем не выходило. Вот ведь как. Петр Ильич – тот в письмах к благодетельнице фон Мекк высказывал свои соображения о музыке и искусстве, изливал душу, а как быть при телефонах? Данилову остро захотелось вступить в переписку с Переслегиным. Он тут же нашел большой лист бумаги. Вспомнил известного композитора. Тот встретит тебя, поговорит, а через два дня случается получить от него письмо. А зачем, спрашивается, письмо, когда и при встрече можно было все сказать? Над тем композитором смеялись: эка, пишет письма для истории, для томов музыкального наследства! Но теперь-то Данилову стало ясно, что композитор писал послания прежде всего для самого себя – какие сейчас при встречах на бегу душевные беседы! Вот Данилов и взялся за письмо к Переслегину. Однако скоро понял, что послание у него не выйдет, то ли разучился он писать длинные письма, то ли вообще не умел писать их. Открытки еще с дороги, из аэропортов в непогоду, с любезными и пустыми словами отправлял приятелям и приятельницам. Вот и все. И теперь записка кое-как могла у него выйти, но в записке он бы сказал Переслегину не больше, чем пять минут назад по телефону. Данилов расстроился и дал себе слово в свободные часы поучиться писать письма. Чтобы были протяжные и неспешные. Как в девятнадцатом веке. Или еще раньше.

«Три недели! – спохватился Данилов. – А время „Ч“? Они на меня понадеются, а меня – раз! – и след простыл». Однако тут же Данилов запретил себе думать о времени «Ч». Как будто бы оно касалось не его, а другого Данилова.

Данилов убрал ручку и бумагу, решил: «Вот завтра придет дирижер Чудецкий, с ним мы и поговорим о музыке. Я его сразу не отпущу». Данилов даже купил бутылку коньяка. Однако в девять утра Чудецкий не пришел а позвонил. Условился с Даниловым о часах репетиций, извинился, сказал, что спешит, и повесил трубку. Теперь Данилов и Чудецкому желал написать письмо.

Он вздохнул, убрал бутылку коньяка, пошел в автомат на

улицу Королева выпить пива.

Мужчины возле автомата стояли всегда, но нынче их было больше обычного. Данилов заметил знакомого оператора с телецентра, спросил:

– Что это?

– А Коля, водопроводчик, – сказал оператор, – за двадцать копеек показывает дым.

Тут же мужчин, то ли выпивших пива, то ли еще не пивших, окутало паровозным дымом.

«Про дым-то я забыл! – ужаснулся Данилов. – Надо сейчас же дым прекратить!»

– Вова! – водопроводчик Коля, выйдя из восхищенной толпы, направился к Данилову. – Я тебя пивом угощу!

– У меня есть, – сказал Данилов. – Я рубль разменяю.

– Что менять-то! – Коля чуть ли не обиделся. – Вон сколько двугривенных для автомата. За дым. Дыхнешь – дают двадцать копеек. А кто и с сушками.

– А не тяготит вас дым? – осторожно спросил Данилов. – Вы к врачам не обращались? Вдруг бы они и вылечили…

– Зачем мне врачи? От чего мне лечиться? Мне дым не мешает. Я когда дышу и говорю, он не идет. Могу петь. – Тут Коля остановился и запел: «Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда», и верно, дыма из него не вышло. – И ем я хорошо. Иногда только мясо пахнет костром. Вроде шашлыка. Это когда я из глубины дыхну, то дым. А людям нравится. Просят. Как-то я три раза подряд дыхнул, дали воблу.

– Но, может, вы хотите от него отделаться? Не мучит он вас?

– Да ты что! Коля поглядел на Данилова с укором. – У меня жизнь интересная.

«Ну коли так, – подумал Данилов, – что ж я его буду дыма лишать…» Ведь и вправду: вдруг он, Данилов, испортит жизнь человеку. Пусть дышит как хочет. Данилов опустил в щель автомата двугривенный, подаренный Колей, наполнил кружку, но, отпив два глотка, о пиве забыл. В нем возникли вдруг слова и чувства, какие он хотел бы передать и Переслегину и Чудецкому. Явились бы к нему сейчас листы бумаги, он бы их все исписал. «Что я стою-то здесь, пойду домой, напишу им письма. О музыке. Обо всем». Он пошел. Однако его намерениям помешал телефонный звонок.

У звонившего был лирический бас, годный, если бы собеседник Данилова пел, и на баритональные партии – князя Игоря или Мазепы. Вроде бы Данилов его где-то слышал, но где? Говорил незнакомец тихо, таинственно и вместе с тем так, будто Данилов сидел у него дома в клетке. Данилов проверил голос

индикатором: нет, звонивший был местной личностью.

– Мне любопытна ваша таинственность, – сказал Данилов. – Однако вы даете мне понять, что вам многое обо мне известно, стало быть, вы знаете, что у меня мало времени, поэтому прошу вас перейти к сути дела.

– Пока и дела-то никакого нет, – сказал незнакомец, – а есть предложение.

– Какое же?

– Сотрудничать с нами.

– А кто вы такие?

– Ну как вам сказать…

– Так и скажите.

– Настасьинский переулок, квартира Ростовцева…

– Хлопобуды, что ли?

– Это несерьезное дело… Но пусть хлопобуды…

Теперь Данилов узнал. Говорил с ним пегий человек с бакенбардами, возможно, секретарь хлопобудов, заполнявший обычно их вахтенный журнал или конторскую книгу. Но возможно, и не секретарь.

– Вы секретарь с бакенбардами, – сказал Данилов.

– Как вы узнали?

– Я музыкант. Должен иметь слух.

– Звонок мой как бы официальный.

– Вас Клавдия Петровна надоумила?

– При чем тут Клавдия Петровна! Клавдия Петровна – из очереди! Мы вышли на вас сами. А Клавдии Петровне вовсе и не следует знать о моем звонке.

– И чем же вызван ваш официальный звонок?

– Наша инициативная группа – особая, экспериментальная, впрочем, вы имеете о ней некоторое представление. Мы пока самодеятельная группа, но то, что мы делаем, хотя бы своими анализами и прогнозами, должно принести несомненную пользу обществу…

Тут Данилов чуть было не сказал о сомнительности затеи хлопобудов с изумрудами и дипломами, но сообразил, что подведет Клавдию. Промолчал. Он вспомнил о пятнадцати рублях и солидных людях, стоявших с чернильными номерами на ладонях в прихожей у Ростовцева. Сказал:

– Неужели люди из вашей очереди и есть общество?

– Идет эксперимент, и мы можем охватить лишь определенную группу людей, наиболее восприимчивых к условиям нашего опыта.

– Хорошо, – сказал Данилов. – А я вам зачем? Я и в очередь-то не вставал.

– У нас много трудностей. Особенно в области научного прогнозирования. Нам нужна ваша помощь. Естественно, она будет вознаграждена.

– Моя помощь? – удивился Данилов.

– Да, – сказал пегий человек. – Мы знаем о ваших возможностях.

– Я артист оркестра. Какие у меня возможности?

– Речь идет не о ваших музыкальных способностях.

– А о каких?

– Вы сами знаете о каких…

– Вы меня с кем-то спутали.

– Нет. Мы о вас знаем все.

– Откуда же?

– У нас есть люди.

– Эти люди сами ошиблись и вас ввели в заблуждение.

– Значит, наше предложение вы принять не хотите? – угрюмо спросил пегий человек.

– Ваш звонок я расцениваю как шутку, какую я оценить не могу из-за отсутствия чувства юмора.

– Печально. И для нас. И для вас. Мне хотелось бы дать вам время подумать, чтобы потом вам не пришлось жалеть о своем легкомысленном отношении к важному делу.

– Вы говорите таким тоном, будто угрожаете мне.

– Возможно, что и угрожаю. Безрассудное упрямство следует наказывать… Потом, вы, видимо, не верите в нашу серьезность и в нашу силу, вот вы их и почувствуете…

– И что же будет?

– Будут и мелкие неприятности… Скажем, в театре… Ну, предположим, на гастроли в Италию вы не поедете…

– Еще что?

– Вряд ли отыщет милиция альт Альбани…

– Так… Далее…

– Через три недели должно состояться ваше выступление в Доме культуры медицинских работников…

– Отчего же не во Дворце энергетиков?

– Во Дворце энергетиков срочно устроят конкурс бальных танцев, оркестру придется искать другой зал…

– Ну хорошо, в Доме культуры медицинских работников… И что же?

– Так ваше выступление не состоится… Оно, возможно, и нигде не состоится…

– Хватит! И меня можно рассердить.

– Это как вам будет угодно.

– Вы ведь себе противоречите. Вы приписываете мне какие-то

особенные возможности и пугаете меня мелкими неприятностями. Но если у меня возможности, что мне ваши угрозы! Не подумать ли вам в таком случае, как самих себя обезопасить от неприятностей?

Секретарь хлопобудов, видно, растерялся. Молчал, дышал в трубку. Потом сказал, но не слишком решительно:

– Видите ли, тут особый случай, мы, наверное, не нашли подхода к вам, а потому разрешите считать наш разговор предварительным… Мы к вам по-земному… А вы, возможно, на своих высоких ступенях полны иных чувств… Возможно, вас обидели слова о вознаграждении… Это чуждо вам… Я понимаю… Мы шли здесь на ощупь… Но и вы нас поймите… Мы пытаемся заглянуть в будущее, и отчего же… существу… предположим, попавшему к нам из более высокой цивилизации, пусть и занятому своими целями, нам неведомыми, не помочь хоть капелькой своего богатства энтузиастам приближения будущего на Земле…

– Вы меня, что ли, под существом имеете в виду?

– Нет, это я в теоретическом плане…

– Вы меня пришельцем, что ли, считаете? Так я прошу вас ввести в хлопобуды профессора Деревенькина, он все объяснит вам насчет пришельцев.

– Ирония здесь неуместна, – уже мрачно сказал пегий человек.

– А дальнейший разговор излишен.

– Печально. У нас ведь есть земные возможности, и как бы вам все же не пришлось сожалеть…

Договорить секретарю хлопобудов Данилов не дал, повесил трубку. «Жулики вы и будохлопы! – произнес он вслух. – Еще вздумали угрожать!» Он храбрился, но ему было худо. Мерзко было. Откуда они столько узнали о нем? И что за поводы он дал подозревать его пришельцем? Кто им поставил сведения? Клавдия? Ростовцев? Или, может быть, хлопобудный компьютер? Или Кудасов?

Не хватало еще и хлопобудов! «И так носишься, – думал Данилов, – а теперь еще и хлопобуды! Но, может, я зря, может быть, они и вправду полезные и умные люди, а деньги берут лишь на карманные расходы?..» Данилов опять вспомнил людей, стоявших в прихожей Ростовцева, и почувствовал, что они ему чужие. К дельцам, доставалам, пронырам душа у него не лежала. Нет, сказал себе Данилов, даже если хлопобуды узнают, что в музыке и в любви к Наташе он может быть только человеком, а стало быть, уязвим, и тогда он их не устрашится, ни в какое сотрудничество с ними вступать не будет.

28

Теперь Данилов спал часа по четыре в сутки. Его просили зайти в милицию к следователю Несынову, он не выбрался.

Он позвонил в оркестр на радио и сказал, что не сможет пока играть с ними. А ведь деньги были ему нужны.

Он играл в театре, играл дома, ездил на репетиции с оркестром Чудецкого. Когда играл, ему было хорошо. Когда отдыхал и думал о своей игре, сидел мрачный. Репетировали в утренние часы в зале Дворца энергетиков. Оркестранты были люди молодые, Данилов пришелся бы им старшим братом, по вечерам они работали кто где: кто в театрах, в том числе и драматических, кто в Москонцерте, кто в ресторанных ансамблях. Все они были недовольны своим теперешним положением, и то, что они были вынуждены исполнять на службе, им не нравилось. Душа их рвалась к большой музыке. Пусть за эту музыку и не платили. Все они, если разобраться, были юнцы, еще не утихшие, жаждущие простора и признания, уверенные в своих шансах сравняться с Ойстрахом, Рихтером, а кто – и с Бетховеном. Первый раз на репетицию Данилов ехал в ознобе, в ознобе он вышел и на сцену. Чувствовал, как смотрят на него оркестранты. Друг другу они уже знали цену. Данилов играл старательно, но, наверное, хуже, чем дома, да и не наверное, а точно хуже. Однако в оркестре лиц недовольных он не заметил. Но, естественно, и по пюпитрам стучать никто не стал. Отношение к нему было спокойное, как бы деловое. Ну, сыграл – и ладно. Данилов отошел в сторонку, присел на стул, опустил инструмент. Чудецкий с Переслегиным стояли метрах в пяти от него, говорили озабоченно, но не об его игре и не об игре оркестра и других солистов – валторны и кларнета, а о том, что симфония звучала сорок четыре минуты, Переслегин заметил время. Это много, считали они.

Данилов почувствовал себя одиноким на сцене, да и на всем свете. Ему стало холодно, будто он без шапки и в плаще оказался на льдине в полярных водах, ветер сбивал его с ног, подталкивал к трещине, становившейся все шире и страшнее. Яма в театре представилась сейчас Данилову местом спасения. «Что я лезу-то в калашный ряд!» – отругал себя Данилов.

Композитор Переслегин сказал ему: «Как будто бы ничего…» И все. Имел он в виду то ли игру Данилова, то ли свою музыку. То ли успокаивал Данилова, то ли успокаивал себя. Переслегин тут же ушел куда-то, и Данилов решил, что Переслегин им недоволен, но из деликатности говорить ему об этом, да и

никому, не стал, ведь он сам отыскал именно Данилова, сам его смутил и подтолкнул к дерзости. «Да и когда автор был доволен исполнителем!» – сказал себе Данилов, однако ему не стало легче. Дирижер Чудецкий подошел к нему. Чудецкий был Данилову ровесник, манеры имел мягкие, выглядел скорее дипломатом, нежели дирижером. Но было в нем и нечто твердое, значительное, словно он уже получил звание, да и не заслуженного, а народного. Чудецкий вежливо высказал Данилову замечания, уточнил время новой репетиции и добавил: «Думаю, что симфония прозвучит…» Но как-то вяло добавил.

«Прозвучит-то прозвучит, – говорил себе Данилов, сидя ночью над партитурой, – весь вопрос – как…» Теперь он понимал: утром музыка оркестра смяла его, раздавила, подчинила себе голос его альта. Да и был ли слышен этот голос, этот слабый писк? Выходило, что Данилов явился не готовым к репетиции. Дома он играл музыку Переслегина с удовольствием, радовался и ей и себе, но симфония превратилась для него как бы в концерт для альта, он словно бы забыл, что его альт существует в партитуре, не сам по себе, а в вечных столкновениях или перемириях с валторной и кларнетом, и уж, конечно, со всем оркестром. Нынче утром его альт был как будто бы удивлен тому, что на него обрушились звуки оркестра, что они терзают его, требуют от него чего-то, зовут куда-то или успокаивают с материнской нежностью, альт Данилова растерялся от всего этого, как растерялся и сам Данилов, а потому звучал лишь старательно. Стало быть, и посредственно. Да, Данилов внимательно читал партитуру Переслегина, но оркестр звучал в нем, видно, не так, как следовало ему звучать. А потом и вовсе затих, пропал куда-то, оставив инструмент Данилова в одиночестве. Сегодня же музыка Переслегина удивила Данилова. Она была мощная, нервная, широкая, порой трагическая, порой нежная, порой ехидная и ломкая, порой яростная. Альт в ней жил человеком, личностью, возможно – Переслегиным, или нет, им, Даниловым, с его прошлым и его вторым «я» – валторной и кларнетом, оркестр же был – толпой, жизнью, веком. Землей, вселенной, в них и существовал альт. То есть должен был бы существовать. Утром Данилов был на сцене, но будто бы сидел в своей комнате и там музицировал сам для себя, а жизнь и век шумели за стенами дома в Останкине. Только услышав оркестр, Данилов понял, как велик мир, переданный звуками симфонии, и как важен в этом мире голос альта. Симфония была не о мелкой личности, нет. Личность эта как будто бы соответствовала веку и вселенной. Но соответствовал ли этой личности голос альта? «Отчего он взял альт? – думал теперь Данилов. – Разве можно

альтом передать сущность современного человека, деятельного причем. В особенности мужчину. А впрочем, и женщину тоже. Тут нужна труба, или ударные, или саксофон. Или рояль на худой конец. А то – альт! С его тихим голосом, с его изысканными манерами. Он свое отзвучал в воздушные времена Ватто… Теперь, небось, и Переслегин казнит себя за то, что вывел солистом альт…» Но эти мысли тут же вызывали у Данилова обиду за альт. Он объяснял себе, что Переслегин намерен был рассказать о натуре тонкой, душевной, не трубой же и не ударными тонкую-то натуру передавать! Другое дело, что Переслегину был нужен иной альт. А главное – иной исполнитель.

Так терзался Данилов. И день, и два, и три. После четвертой репетиции он осторожно сказал Переслегину, что еще не поздно пригласить другого альтиста. «Нет, нет!» – решительно возразил Переслегин. И опять ушел куда-то. Впрочем, Данилову казалось, что Переслегин и Чудецкий смотрят на него теперь благосклоннее. Да и в глазах оркестрантов к нему как будто бы появилось больше любопытства. Однако Данилов ходил мрачный, бранил себя.

Теперь он, казалось ему, понимал, как следует играть музыку Переслегина. И оттого, что понимал, еще больше расстраивался. Разве он так сыграет? А ему хотелось сыграть хорошо, и уже не для себя, а для Переслегина, для музыкантов, составивших молодежный оркестр, для людей, какие, возможно, через пятнадцать дней придут во Дворец энергетиков. День выступления казался ему черным пределом. Хорошо ему было жить прежде с одними упованиями о своем будущем в большой музыке. Вот оно, будущее, и наступало. Реальное, жестокое. Всем упованиям Данилова оно могло положить конец. Да что могло! Должно было!

Иногда Данилов злился на свой инструмент, вздыхал: «Вот бы Альбани…» Но разве дело было в Альбани! Кабы в Альбани! Данилов осунулся, а и так был худ. Случались минуты, когда он у себя в квартире, оставив инструмент и ноты, подходил к окну, пытался представить, какие чувства испытывал в последние мгновения жизни Миша Коренев, о чем он размышлял и намечал ли раньше себе это окно. Стояли холода, когда Миша прыгнул, рамы были проклеены бумагой, и Мише пришлось с силой рвануть створку…

Не сразу Данилов отходил от окна… Мысли о тишине были соблазнительны. Вдруг Земский прав? Данилов чувствовал в себе симфонию Переслегина, все ее звуки и звуки своего альта, но он знал, что не сможет передать людям их так, как он их чувствовал. Да и никогда он не создаст именно эти звуки! С трудом Данилов

заставлял себя брать инструмент. И играл, играл… Не думал ни о чем, просто играл. Окончив какую-либо часть симфонии, говорил себе: «Да нет, что же я, ведь неплохо, лучше, чем в прошлый раз, не такая я уж и бездарность…» Однако проходили минуты, возвращались мысли о собственном несовершенстве, чуть ли не плакать хотелось… Он стал раздражительным. Вещи, не слушавшиеся Данилова, злили его. Он готов был их разбить или сломать. В театре коллеги удивлялись Данилову, для них он был ровный, мягкий человек, вежливый, как старый петербуржец, а тут словно преобразился. Он и на репетициях во Дворце энергетиков нервничал, и не раз. Однажды чуть было не поругался с Переслегиным. Переслегин тоже был в раздражении, ему не нравилась и своя музыка, и оркестр, и игра Данилова, и, наверное, то, что альт солировал у него в симфонии. Он ходил по сцене дровосеком, явись ему сейчас топор в руки, он порубил бы в ярости и пюпитры, и инструменты, в том числе и медные. Походив, он бросил оркестру, а потом и Данилову обидные слова. Данилов, как будто бы готовый принять любой упрек в свой адрес, все же не выдержал и тоже обидел словом композитора. Про себя подумал: «Тоже мне! Большой мастер! Чайковский! Вагнер! Строит из себя гения… А сам-то кто! Сочинил симфонию в семи частях, не знает почему, а думает, что гений».

Только в вестибюле Данилов пришел в себя. «Что я – базарная баба, что ли? Да пусть в семи частях и есть претензия, так что же – от этого музыка вышла плохая? Ведь нет! А Успенский, тот симфонию написал в двадцати с лишком частях, и как написал! Что взъяряться-то! Скажи спасибо, что за тебя все хлопоты произвели и пригласили на готовое». Действительно, ведь другой в его возрасте долго бы бился, чтобы ни с того ни с сего получить выступление. Да и что иронизировать по поводу семи частей, ведь, играя Переслегина, он, Данилов, не чувствовал искусственности построения симфонии, наоборот, выходило, что именно семь частей и были нужны. «Экая я скотина, – думал Данилов, – надо бранить себя, а я Переслегина…» Им бы с Переслегиным быть теперь как одно, слиться мыслями и чувствами, а они смотрели друг на друга врагами. Переслегин, похоже, теперь его, Данилова, лишь терпел. И Данилов вел себя так, будто был не рад, что связался с Переслегиным и его музыкой. А ведь оба они были взрослыми мужчинами!

«Хоть бы Земскому, что ли, душу излить?» – думал Данилов. К Земскому его тянуло. Но опять бы он услышал слова о спасительной тишине. Данилов же и без Земского, перелистывая книгу о Хиросиге, наткнулся на слова учения «юген» – «Истина – вне слов». А истина музыки, стало быть, вне звуков? Во всяком

случае, она вне звуков его бездарного альта! Лучше уже тишина как исход и успокоение. Лучше уж распахнутое окно и прыжок в тишину…

Нет! Это было не для Данилова. Теперь при мыслях об окне Миши Коренева Данилов приходил в ярость, сразу же брал альт и смычок.

В этой своей ярости он поссорился с Наташей. Дважды он обещал Наташе приехать к ней – и все не получалось. Наконец она позвонила ему, он играл, не сразу вернулся в реальность, сказал Наташе что-то нескладное, резкое, она обиделась. В другой раз он сразу бы нашел Наташу, повел бы себя дипломатом и все б уладил в мгновение. А тут он и сам обиделся. «Она и понять меня не может, – думал Данилов, – что ей моя музыка!» На следующий день после спектакля он все же бросился к Покровским воротам и по дороге к знакомому дому встретил Наташу, она прогуливалась под руку с молодым человеком. Наташа Данилову сухо кивнула и пошла дальше. Она была красива, отчего же не прогуливаться с ней молодому человеку? Данилов вначале рассвирепел. Но что было свирепеть и возмущаться? Какие он имел права на ее свободу и симпатии! Да и был в ее судьбе уже человек со скрипкой, много ли радости мог принести ей еще один неуравновешенный музыкант! Тут же пришли на ум и слова Клавдии: «Наташа – совсем не простая…» Значит, и не простая. Для успокоения Данилов убедил себя в том, что не только он Наташе не нужен, но и она ему не нужна. Убедил без труда. Он так уставал сейчас от музыки, что на женщин не глядел. Да и что общего, думал Данилов, может быть у них с Наташей? Она так легко обиделась на его резкость, стало быть, и понять не могла – или не хотела! – что творится сейчас с ним. Что ей до его дела, до его переживаний! Эта мысль была сладкая. Но тут же явилась и мысль неприятная. А он-то знает, что сейчас на душе у Наташи? Страдает она или нет? Похоже, это его и не интересовало… Не говорил ли ему Земский, что он обречен на одиночество? И на жестокость. То есть не он, а Большой Артист. Но ведь Данилов и был намерен стать Большим Артистом. Впрочем, эти намерения жили в нем до нынешних репетиций. Теперь они сконфузились и утихли. «Какой уж тут большой артист!» – думал Данилов. Он считал сейчас, что ему очень хочется исполнить музыку Переслегина. Он ее и исполнит. И все. Однако иногда, на минуты, оживали и прежние упования. А вдруг…

«Нет, наверное, я и есть одинокий себялюбец, – сокрушался Данилов. – Много ли я думал о людях, которые мне дороги? Вот я и одинок…» Тут же он вступал с собой в спор. Отчего же он

одинок? У него много приятелей, Муравлевы в частности, им интересны и близки его порывы, его дело, они готовы выслушать любые его излияния, а если возникнет нужда, тут же бросятся ему помогать. Пустому себялюбцу стали бы они помогать? Вряд ли… Другое дело, что сам он из-за тайной своей жизни старается быть на некоем расстоянии от людей ему приятных. Чтобы не навредить им. Быть одиноким он не хотел, и жестокость вовсе не в его натуре. Он желал любить и жалеть. Он бы и сейчас ради дорогого друга, бросив альт, побежал с авоськой в магазин или в аптеку за горчичниками и кислородной подушкой… Да и теперь он не то чтобы проявляет себя эгоистом, просто в суете и хлопотах не успевает заниматься лишь своими делами, на чужие у него не остается ни времени, ни сил… Но в искусстве он, и верно, будет всегда одинок, творцы – одиноки, кто же вместо него, Данилова, создаст музыку? Тут он один. Он да альт…

Так Данилов размышлял, то ругал себя, то оправдывал. То давал себе слово стать иным. А каким – он и сам не знал. При всем при этом мириться с Наташей он не был намерен. Данилов дулся на Наташу. Он бьется с музыкой Переслегина, а она гуляет с молодым человеком… Ну и пусть. Ну и ладно. Ей будет лучше оттого, что она оборвет отношения с Даниловым. Ну и ему лучше. Музыке его никто не станет мешать…

Наконец на репетиции Данилов остался доволен своей игрой. Он даже улыбался в то утро. Явившись в театр, узнал, что на гастроли в Италию поедет не он, а альтист Чехонин. «Ну что же, – успокаивал себя Данилов, – и Чехонин достоин поездки». Хотя и знал, что Чехонин музыкант скверный. И другие знали это. В антрактах Данилов ходил скучный. Было обидно, следовало сейчас же идти в кабинеты, требовать, упрашивать. Однако Данилов и прежде никуда бы не пошел, теперь же он и вовсе не желал тратить нервную энергию. Данилов вспомнил о звонке пегого хлопобуда. «Вот оно, старца проклятье!..» Может, конечно, и не оно… Наутро Данилов осторожно поинтересовался у дирижера Чудецкого, не будет ли каких затруднений с залом Дворца энергетиков.

– А что такое? – удивился Чудецкий.

– Да нет, я так… Я к тому, не замышляется ли тут конкурс бальных танцев…

– Сейчас узнаю, – сказал Чудецкий.

Ушел он легким маэстро, судьбой предназначенным для вальсов и полек Штрауса, вернулся серьезным музыкантом, готовым к Шестой симфонии Петра Ильича.

– Действительно, затеяли конкурс бальных танцев, – сказал Чудецкий. – Опять у нас начнется беготня…

– Досадно, – сказал Данилов.

– Досадно, – кивнул Чудецкий. – Но не мы одни такие… Есть и театры.

Данилов хотел было намекнуть насчет Клуба медицинских работников, но удержался. «Ну спасибо, хлопобуды! – подумал Данилов. – Я ведь и впрямь рассержусь…»

Ночью у Данилова зазвонил телефон. Данилов поднялся медленно, трубку взял нехотя. Раньше бы он припрыгал к телефону в надежде услышать Наташин голос. А теперь и Наташин голос не смог бы заставить его двигаться быстрее. Звонила Клавдия. Она страдала, ей было плохо, она хотела увидеть Данилова, умоляла его зайти к ней завтра.

– Извини, но у меня совсем нет времени, – сказал Данилов, зевая.

– Володенька, я тебя никогда ни о чем не прошу, а теперь прошу… Ты должен мне помочь…

«А ну ее!» – подумал Данилов. Однако он смутился. Голос Клавдии звучал непривычно жалко. Будто и впрямь с ней что-то стряслось. Позавчера Данилов корил себя за эгоизм, а теперь вот отказывается помочь человеку в беде! Да и тянуло теперь Данилова узнать от Клавдии нечто новое о хлопобудах, этих смельчаках и умницах…

К Клавдии он выбрался за час до вечернего спектакля, ехать следовало на квартиру Войнова.

Клавдия встретила Данилова в шелковом халате, с платком на голове, укрывшим бигуди. Выглядела она озабоченной и деловитой. А Данилов шел к ней в тревоге, думал, что Клавдия выйдет в слезах, бросится к нему на грудь за утешениями. «Опять морочила голову!» – обиделся Данилов.

Был дома и профессор Войнов. Данилову он пожал руку. Данилов заметил, что живот у Войнова убавился. Войнов последние недели бегал трусцой. Он и сейчас, крупный, широкий в кости, в синем тренировочном костюме с белыми лампасами, походил на спортсмена, готового бежать. Но нет, похоже, ему было определено занятие дома.

На полу большой комнаты стояли четыре бутылки из-под вина «Старый замок» с пробками внутри. Войнов сразу же вернулся к бутылкам. Сел на стул, шнурком от ботинок стал ловить пробку в ближней бутылке. Язык высунул. Данилов взволновался, присел возле бутылки на корточки, готов был помочь Войнову советами.

– Пошли, пошли, – резко сказала Клавдия.

– Вчера выходило, – как бы извиняясь перед Даниловым, произнес Войнов, – а сегодня петля соскакивает.

– Данилов, пошли!

– Зачем это он? – спросил Данилов Клавдию в коридоре.

– На всякий случай, – сказала Клавдия Петровна. – Мало ли что…

– Надо леской.

– Мы пробовали. Шнурком надежнее. Да и обойдется шнурок дешевле.

Клавдия провела Данилова в свою комнату, спросила:

– Ну ты что?

– Как что? Ты мне звонила ночью…

– Ах да… – вспомнила Клавдия. – Ну ладно. Пока посиди минуту, я кончу одно дело…

Она уселась за стол, то ли письменный, то ли туалетный, и на листе хорошей бумаги принялась что-то решительно писать. Ручка ее двигалась, словно Пегги Флеминг по льду во время обязательной программы, росчерки пера получались какие-то особенные и красивые, на листе бумаги возникали вензеля. В комнате Клавдии у Войнова Данилов был впервые. Впрочем, она мало чем отличалась от личных покоев Клавдии в квартире Данилова, более знакомой. Только здесь над столом, в рамке и под стеклом, группой, «под деревню», разместились портреты женщин. Портреты были черно-белыми репродукциями с гравюр, живописных портретов и кинокадров. Всего из общей рамки на Данилова глядело десять дам. Маргарита Наваррская. Жанна д'Арк. Екатерина Дашкова на лошади. Зинаида Волконская. Софья Ковалевская. Александра Коллонтай. Софи Лорен. Сама Клавдия. Юная и хорошенькая. Девятую даму Данилов узнал не сразу. Потом понял, что это Миледи из «Трех мушкетеров». То есть Милен Демонжо, игравшая Миледи. «Что же это она их в рамку?» – удивился Данилов.

За стеной раздался стеклянный звук.

Клавдия подняла голову, сказала с досадой:

– Опять уронил бутылку. Вот медведь!

Тут она заметила Данилова и в первое мгновение удивилась ему.

– Посиди, посиди, Данилов…

– У тебя срочное дело?

– Да… То есть не дело, а упражнение. За королеву Елизавету пишу королеве Бельгии. По образцу.

Клавдия протянула Данилову серую книгу «Дипломатический церемониал и протокол», а сама продолжила разведение вензелей. Книгу Данилов листал с любопытством. Он и сам был не прочь иметь такую. Чуть ли не наизусть запомнил параграфы о бутоньерке, планы рассадки почетных гостей на завтраках с

женщинами и без женщин, узнал, что в представительских экипажах с расположением мест друг против друга почетным местом является место на заднем сиденье справа по ходу движения. Шелковой лентой в книге была заложена страница с разделом «Переписка между монархами». Здесь предлагались образцы комплиментов и обращений к монаршим особам. Клавдия, видно, следуя советам протокола, и сочиняла сейчас письмо бельгийской королеве.

– Вот, – сказала Клавдия. – Теперь комплимент на месте и концовка верная: «Моей доброй сестре королеве Бельгии». А если бы они были родственницами, пришлось бы добавить: «Моей доброй сестре и дорогой кузине…» А если бы я писала от себя, то окончила бы словами: «Имею честь быть Вашего королевского высочества весьма покорный слуга». Непростое дело. К маркизу следует обращаться: «Весьма достопочтенный маркиз…» Достопочтенный всегда сокращается и пишется: «Дост.» Граф – тот высокочтимый… А епископ – Ваше блаженство…

– Зачем тебе?..

– Ну мало ли зачем… – уклончиво сказала Клавдия.

– Все-таки едешь в Англию?

– Пока нет. Да тут и не только английские правила, тут французские, прочие… Я, может, и без всякой перспективы. А так… Просто интересно…

– И что же ты написала бельгийской королеве?

– Это наш с ней секрет, – строго сказала Клавдия.

– Я вижу, что у тебя увлекательное занятие, – сказал Данилов, – и в моем участии нет никакой необходимости. В следующий раз я вряд ли поверю ночным звонкам. А теперь прошу принять уверения в моем глубоком уважении. С этим я раскланиваюсь.

Данилов встал. Он был сердит.

За стеной опять упала бутылка.

– Ну прости, ну извини, – чуть ли не взмолилась Клавдия. – Я тебе вчера не лгала. Мне и вправду было тошно.

И тут она расплакалась.

Данилов поначалу смотрел на Клавдию с недоверием – не новая ли это уловка удержать его при себе? Он хорошо знал, какие у Клавдии бывают глаза и какие губы, когда она фальшивит. Нет, выходило – страдания ее были искренними. Данилов расчувствовался.

– Было тошно, не хотелось жить… Я нуждалась в тебе!

– Что-нибудь случилось? – спросил Данилов.

– Ничего не случилось… А так… Тошно, и все… Бегаешь, крутишься, а зачем? Все мелкое… И все пустое!

Полчаса назад Данилов думал сказать Клавдии о сомнительности ее предприятий с изумрудами и дипломами, теперь он был готов расхвалить эти же изумруды и дипломы. Давно он не видел Клавдию такой – беззащитной, смятой жизнью, куда девалась ее победная уверенность в себе!

– Данилов, ушло бы все это! А жить бы просто и для чего-то, и чтобы кто-то верный был рядом! Хоть бы и ты!..

Данилов сидел растроганный, думал: «Может, и вправду стоило быть рядом с ней, а все остальное – ошибка?»

– Это со всеми случается, – сказал Данилов, – находит тоска, и все… Что же отчаиваться? Надо жить. У тебя ведь с будущим связаны большие надежды…

– Какие? – нервно спросила Клавдия.

Однако слезы уже высыхали на ее щеках.

– Ну какие… – осторожно сказал Данилов, – ты знаешь о них лучше меня… Или хлопобуды… Наконец, у тебя будет главная идея… Эта… достаточно сумасшедшая…

– А она осуществима?

– Не знаю… Я и о самой идее не знаю. Не знаю, что тебе на двадцать лет вперед припрогнозировали хлопобуды…

– Независимость! – горячо сказала Клавдия. – Вот моя главная идея!

– От чего независимость? От кого?

– Просто независимость! Независимость с большой буквы!

– Ну знаешь… – развел руками Данилов.

Больше он ничего не мог сказать.

Клавдия была в печали, но уже и энергия появилась в ее взгляде. Данилов чувствовал, что, если он сейчас станет соглашаться со словами Клавдии о неосуществимости ее достаточно безумной идеи, Клавдия сама ринется в спор и с ним, и с собственными словами. Это было хорошо, значит, она отошла от ночных тревог. Наверное, и отошла, раз писала письма королеве Бельгии. Слезы ее были, видно, явлением остаточным…

– А отчего эти женщины оказались вместе? – спросил Данилов, имея в виду портреты в рамке.

– Подумай…

– Странный набор…

– Стало быть, ты плохо знаешь меня, коли считаешь, что странный…

– Теперешнюю – возможно, что и плохо.

– Если все их свойства перемешать и слить в одной! Что было бы! Я б перевернула весь мир!

– У тебя вселенские масштабы?

– Данилов, какие во мне энергии и порывы! Если б ты знал!

Но ведь все попусту… Все сгорит во мне… А я бы… Может, конечно, еще и выйдет что…

– Независимость тебе определили хлопобуды?

– Да. Но это тайна. Молчать о ней – в твоих же интересах. Как и в моих.

– Хлопобуды – серьезные люди?

– Они очень серьезные люди.

– Я уже чувствую, – вздохнул Данилов.

– С чего бы вдруг? Ты им не вредил?

– Пока нет.

– Не вздумай вставать у них на дороге. Сметут!

– Не пугайся. Я хожу по другой дороге.

– Но если они позовут в очередь, соглашайся немедля!

– Зачем?

– Из вашего театра люди стоят. Знают зачем.

– Кто же это?

Данилову очень захотелось, чтобы Клавдия назвала альтиста Чехонина. Она его и назвала. Еще, по ее словам, в очереди стояли виолончелист Туруканов и один из дирижеров, фамилию его Клавдия не помнила, но знала, что он – дирижер.

– Надо подумать, – сказал Данилов.

– Тут и думать нечего! Ты человек легкомысленный, что тебе будущее! Конечно, ради музыки в очередь вставать глупо. Но хлопобуды и тебе поставили бы прогнозы, возможно, нашли бы и главную твою идею. Ты стал бы жить серьезнее! Нет, ты встань! Ты хоть мне будешь помогать!

– Но откуда брать деньги на взносы?

– Приработаешь!

При воспоминании о пятнадцати рублях разговор об очереди стал Данилову неинтересным. Да и не собирался он вставать ни в какую очередь! Ему бы теперь вести разговоры с Переслегиным и Чудецким, а он занимался пустой болтовней с Клавдией. Эка Клавдия умеет его прихватывать! А главное – он сам, при всех своих попытках освободиться из-под ее власти, при всех своих горячих внутренних монологах, является и является к ней! Конечно, она напугала его своим ночным звонком. Но что пугаться! Есть у нее утешители. И Войнов среди прочих. Да, наконец, и дамы, собранные в рамке, способны, видно, развеивать сомнения Клавдии. Что он ринулся сюда? Неужели у него и вправду есть потребность во встречах с ней? Или он стал больше уважать ее, в особенности теперь, когда узнал о ее страстях и вселенских намерениях? А ведь она ни разу не заговорила ни о его заботах, ни о его музыке. Но, может, оно и хорошо, что, встречаясь с Клавдией, он на время забывал о музыке? Может, в

этих забвениях есть нечто необходимое и целительное? «Не знаю, – сказал себе Данилов, – не знаю…» Но пора б ему было и знать.

– Это у тебя золото? – спросил Данилов, имея в виду медальон, висевший на гвоздике под портретами замечательных женщин.

– Золото, – сказала Клавдия. – К счастью, есть у меня друзья, способные делать и такие подарки.

В словах ее был упрек, но Данилов упрек не принял. Он пошел было к двери, однако Клавдия сняла с гвоздика медальон, открыла его, протянула Данилову. К задней стенке медальона была приклеена фотография попугая с плеча Ростовцева, да и локон, лежавший в медальоне, был определенно от Ростовцева. Данилов поглядел на Клавдию.

– Да, – сказала Клавдия. – Эта вещь – особенная.

Данилов подумал: «Тут и не в вещи дело!» Медальон со стены Клавдия сняла не зря. И уж явно не зря она открыла его и протянула ему.

В соседней комнате упала бутылка, покатилась по полу.

Клавдия проводила Данилова к двери. Заметила вдруг:

– Ба! Да я не заставила тебя снять ботинки! Ты наследил! В следующий раз снимай сразу!

Данилов поглядел на пол, но не обнаружил никаких следов. «Снимай! – подумал он. – Как же! Нашла дурака. Этак при увлечениях Войнова останешься без шнурков».

Уже в лифте Данилов вспомнил, что не спросил Клавдию о Наташе. То есть о том, что имела в виду Клавдия в прошлый раз, когда говорила о Наташе. Ну и хорошо, что не спросил, решил Данилов.

29

Переслегина Данилов, похоже, перестал раздражать. А Чудецкий однажды сказал Данилову и приятные слова.

Играл Данилов лучше. И меньше мучился от своих несовершенств. Хотя и мучился.

Во Дворце энергетиков круто взялись за конкурс бальных танцев, и молодежный оркестр Чудецкого перебрался в Дом культуры медицинских работников. При этом Данилов почувствовал, какие Переслегин и Чудецкий деловые люди. Хотя, впрочем, они, как и он сам, были застенчивые артисты. Но предприятие требовало отваги. И он обязан был подавить в себе жалкие голоса.

Впрочем, теперь, когда дело как будто бы пошло, и не как будто бы, а хорошо пошло, Данилов это чувствовал, жалкие голоса в нем затихали. Да и когда им было звучать! Если только в общественном транспорте, доставлявшем Данилова на репетицию из театра и с репетиции в театр. Но и тут Данилов доставал из кармана «Культуру» или «Советский спорт» и забывал о многом, читая необъективные отчеты об игре хоккеистов «Динамо». В «Спорте» явно сидели спартаковцы. Нередко в троллейбусах и такси Данилов засыпал, а газеты вынужден был дочитывать в лифте. И все же иногда что-то в нем вздрагивало: «Ну сыграешь. И опустишь смычок. И будет – тишина…» – «Кыш!» – говорил тогда Данилов.

Однако на него нашло другое. Теперь, когда он был уверен, что должен сыграть и сыграет Переслегина, Данилову стали являться страхи как бы ему что не помешало. Хлопобудов он в расчет при этом не брал. И время «Ч» тоже. Время «Ч» ему сейчас и в голову не приходило. Он думал, что вдруг погибнет или умрет накануне выступления. Он смеялся над своими страхами, но смех получался нервный, а страхи не проходили. И не за свою жизнь было ему в этих страхах обидно (хотя и за нее тоже), главным образом досаду и печаль вызывали в нем мысли о том, что он не успеет сказать людям то, что может и обязан им сказать. То есть не сказать, а звуками своего альта открыть им нечто такое, чего они не знали, но о чем догадывались. Никогда Данилов не болел, ни разу не бюллетенил, а сейчас то будто в лопатку ему отдавало, то ломило затылок, то ныл зуб, то в животе случались рези. Иногда кто-то жаловался в присутствии Данилова тоже на затылок или на лопатку, все кивали на погоду, экая дрянь на улице, тут Данилов успокаивался. Однако ненадолго. Вскоре страхи возвращались, и Данилов был уже

уверен, что болезнь у него смертельная. Он бегал в поликлинику, но там у него нашли лишь нервную усталость и начальные явления катара желудка. Данилов даже расстроился, что так мало нашли. «Э, нет, – решил он. – Они мне всего не говорят…» Одно было хорошо: впервые в жизни Данилов схватил простуду и получил на три дня больничный. Он выспался. Но в свободную минуту, поразмыслив, удивился тому, что вообще может болеть. Неужели его организм перестраивался?

Утром он почувствовал себя мерзко, на репетицию пришел в дурном настроении. Репетировали они вдвоем с Переслегиным, тот, сев к роялю, играл за оркестр. Кончили, обменялись словами, замолчали, и тут Переслегин спросил:

– Что это вы сегодня выглядите неважно? – И, не дождавшись ответа Данилова, сказал: – Я себя мерзко чувствую. Хоть бы до концерта дожить.

Данилов взглянул на Переслегина удивленно, но и обрадованно: неужели у Переслегина те же страхи? Он открылся Переслегину. И Переслегин обрадовался. «Именно, именно, – сказал он, – именно так все и есть! Со мной это не впервые. Когда писал симфонию и дело шло к концу, вдруг испугался: а закончу ли? Уж уверен был, что вот-вот окочурюсь. Потом прошло… И сейчас перед самой премьерой опять…» Тут они посмеялись над своими страхами, пожурили друг друга, а когда расстались, каждый из них подумал: «С ним-то, верно, что может случиться? А вот со мной еще неизвестно как…»

Впрочем, в тот день колик в желудке Данилов уже не испытал.

От театра он был еще на один вечер свободен. Сидел дома, ничего не делал. О Наташе приказал себе не думать. Музыка опять занимала его.

Данилов вспоминал секунды скверной игры на репетициях, секунды отчаяния, когда его подмывало сдвинуть пластинку браслета. Но это мальчишеское желание могло привести лишь к минутному триумфу или потрясению, а ничего бы не изменилось. Просто он, Данилов, был бы в те мгновения не творцом, не артистом, не личностью, а патефонной иглой. И в лицее и позже, находясь в демоническом состоянии, Данилов любил играть на многих инструментах. И тогда, конечно, требовались для музыки некие навыки и способности. Главным были не возможности его, Данилова, личности, а возможности его демонического положения. В любой миг он мог бы ощутить вечную музыку от ее простейших звуков до ее пределов, понять все ее изгибы, все ее законы, и не только ощутить и понять, а и услышать ее звуки и волны или почувствовать их в себе. Мог при желании любую

музыку, и прошлую, и будущую, исполнить на любом инструменте. Но чужое откровение ему наскучило. И принимать это откровение стало для него унизительно. Он был проигрыватель музыки. А Данилов во всем желал своего, то есть того, что бы делало его личность личностью. Вот как человек он постигал музыку с удовольствием. Все открывал сам. Чаще мучился и страдал, но уж и радовался иногда, как творец. Увлекала его и неизвестность. Что дальше-то будет с музыкой и с ним в музыке? Вдруг он достигнет такого совершенства, осмелеет до такой дерзости, что и сам эдак плечиком хоть чуть-чуть, но подтолкнет музыку… куда?.. вперед?.. выше?.. Что значит – вперед, выше, дальше?.. куда-то, он еще и не ведает куда, на новое место. Но уж без всяких чудес с браслетом – так он себе положил! Мало того, что он оказался бы тогда не на равных с людьми – это было бы скучно, пошло, это было бы шарлатанство и заблуждение, более ничего. Теперь он как будто бы мог сделать один из важных своих шагов, нет, он ничего еще не подталкивал плечом (да, возможно, ему и не суждено подтолкнуть-то), однако нынче он был убежден, что его существование будет оправдано именно тем, что он исполнит симфонию Переслегина. Нужна она людям или нет – это другой вопрос, но он им откроет ее. А потом уж пусть с ним случается то, что должно случиться.

При этом Данилов думал о Земском. Земский, наверное, прошел многое из того, что ему, Данилову, еще предстоит пройти. То есть дороги у них разные. Но муки и сомнения одинаковы на всех дорогах художников. И ведь Земский не скис, не пал духом, а хлопочет о вечном. Претензия у него большая. Однако Земский полагает, что выстрадал на эту претензию право…

Мысли Данилова о Земском были прерваны звонком Муравлева. Муравлев приглашал Данилова в гости, жена его уже готовила плов и жарила баранью ногу, купленную на Бутырском рынке. Данилов быстро собрался и поехал на Нижнюю Масловку. Проезжая мимо Савеловского вокзала, он вдруг подумал, что прежде, в подобные дни, наверное, сдвинул бы пластинку браслета и позволил себе отдохнуть или развлечься. Может быть, искупался бы в молниях, а может быть, перенесся в Анды, в пещеру, там бы полежал в одиночестве и покое. А он теперь думать забыл о купаниях в грозу и о полетах в Анды! Ехал к Муравлевым и знал, что там ему будет приятно и сытно, а потом он посидит в тепле, в спокойствии или подремлет…

Данилов расцеловался с Муравлевым, поздоровался с их сыном Мишей и взятой недавно на воспитание грамотной собакой Салют дворовой породы. Какие запахи текли из кухни!

Собака Салют и та облизывалась. В прихожей Данилов заметил жокейские сапоги, Муравлев увлекся верховой ездой, в свободные часы на кауром жеребце разъезжал по аллеям Петровского парка. Он и Данилова звал кататься. Данилов слушал Муравлева с завистью, думал: «А что, и в самом деле, когда пойдут дни поспокойнее, надо будет попробовать…» Данилову дали мягкие домашние туфли Муравлева, отвели в комнату, усадили в кресло возле стола, но и так, чтобы Данилов мог видеть телевизор. Хозяйка хлопотала на кухне, Муравлев, читая на ходу газету, протирал вилки и ножи, и вокруг Данилова шла жизнь – резвились собака Салют и обычно задумчивый пионер Миша. «Салют, анкор, анкор!» – кричал Миша, размахивая горном, и собака Салют хотя никуда и не прыгала, но все же старалась отгрызть кусок домашней туфли у Данилова с правой ноги. Собака Салют была женского пола, и поэтому Данилов относился к ее стараниям благодушно, с некоей снисходительностью. Прежде он, конечно бы, отправился на кухню, помогать хозяйке, а тут не мог, не имел сил…

Пришли гости. Были тут и Еремченко, и Кошелев с Ольгиной, и Вильчеки, и Спасские, и Добкины, и Екатерина Ивановна, но одна, ее муж Михаил Анатольевич опять находился в отъезде. Пришел на плов и баранью ногу я с женой, мы с удовольствием поговорили с Даниловым, я поблагодарил Данилова за открытку, присланную мне осенью из Хабаровска, – Данилов был тогда на гастролях в Южно-Сахалинске и застрял из-за непогоды в Хабаровском аэропорту. «Давно тебя, Володя, здесь не было! – сокрушались гости. – Пропал, и все! Мы по тебе соскучились!» Данилов оправдывался, а сам был растроган и жалел, что не ходил к Муравлевым, действительно, лучше бы уж он бывал тут, а не тратил время попусту, скажем, на хлопоты Клавдии… «Вот скоро буду посвободнее, – сказал Данилов, – сыграю одну вещь…» Тут Данилов рассказал о симфонии Переслегина и пригласил всех прийти на концерт в Дом культуры медицинских работников.

Наконец стол был накрыт, начались удовольствия, Данилову хозяйка накладывала порции побольше, все говорили: «Ешь, Володя, ешь!», видели, какой он голодный.

– А отчего Кудасова нет? – спросил Данилов.

Ему объяснили, что Кудасов всех удивляет. Он потерял аппетит и много думает. Для поддержания семьи Кудасов все же читает лекции, но как-то вяло, умолкает вдруг ни с того ни с сего, словно бы поражаясь ходу собственной лекции и не веря ей. Дома он садится за письменный стол, берет источники, но недолго выдерживает общение с ними, ложится на диван, смотрит грустно в цветы на обоях.

– Странно, – сказал Данилов.

– Странно, – согласился с ним Муравлев.

А уж то, что Кудасов не почувствовал нынешний плов и в особенности нынешнюю баранью ногу, фаршированную чесноком и политую хозяйкой по золотистой корочке вином «Киндзмараули», было не только странным, но и печальным. Приязни к Кудасову никто не испытывал, его у Муравлевых терпели, но и привыкли к нему. И теперь отсутствие Кудасова казалось чуть ли не дурным знаком. Впрочем, гости снова принялись за еду. Раскрасневшаяся хозяйка влюбленно глядела и на гостей, и на мужа с сыном, и на Данилова, и на бараньи кости, и на грамотную собаку Салют, потихоньку покусывающую свежую монографию о Сергее Судейкине.

Насытившись и сказав хозяйке добрые слова, Данилов стал задремывать. Совсем он не задремал. Он все видел, а многое и слышал, но сам ни говорить, ни двигаться не мог. (Я желал в тот вечер побеседовать с ним о музыке, кое о чем расспросить его, но Данилов сидел такой, будто явился к Муравлевым с пытки и теперь приходил в себя. Что же пытаного мучить. Я отошел.) Гости притихли, выключили звук телевизора, мужчины смотрели немой хоккей. Даже собака Салют с меньшим усердием грызла теперь монографию, собака и впрямь была ученая, первой в доме Муравлевых знакомилась с книгами. Женщины тихонько болтали, их голоса ласкали Данилова.

Данилов знал, что, если с ним случится дурное, в доме Муравлевых будут о нем печалиться. Ему даже захотелось рассказать приятелям о своих недомоганиях и мрачных мыслях последних дней, чтобы мысли эти тут же бы развеяли, а его, Данилова, за них и отчитали. Но он сдержался. И задремал.

Когда проснулся, многие из гостей уже ушли, а Муравлев с Кошелевым играли в шахматы. Кошелев был адвокат, ново всех играх кидался в атаки, словно прокурор. Невдалеке от себя Данилов увидел Екатерину Ивановну. Вместе с хозяйкой она рассматривала «Бурду», приискивая выкройки для летнего сезона. Данилову стало неловко. Ему показалось, что Екатерина Ивановна взглянула на него с неким укором. Возможно, ей было известно о его разладе с Наташей. И Данилов почувствовал, что ему очень хотелось, чтобы Екатерина Ивановна заговорила с ним о Наташе. Все он лгал себе! Теперь он понимал, как недоставало ему в последние дни Наташи! Пусть он ей не нужен, но она ему – нужна! И не ему одному, а и его музыке. Ведь и тогда, в НИИ, он играл хорошо оттого, что в зале была Наташа…

Весь следующий день Данилов был грустный и рассеянный. Чудецкий с Переслегиным удивлялись ему. «Что с вами,

Владимир Алексеевич? – говорил Чудецкий. – Все шло удачно, а нынче… У нас ведь через день премьера…» А у Данилова и на самом деле альт и смычок чуть ли не валились из рук. «Я устал», – сказал Данилов.

В театре он отыграл спектакль, приехал в Останкино и в темени, возле своего дома, увидел Наташу.

– Здравствуй, Володя, – сказала Наташа, – извини, что караулю тебя, но мне необходимо с тобой поговорить. Даже если я и разговор со мной тебе в тягость, все же я прошу выслушать меня…

– Здесь холодно, – сказал Данилов, – если не возражаешь, пошли ко мне.

Они поднялись к Данилову.

– Володя, – сказала Наташа, – ты можешь посчитать, что я навязываюсь тебе в друзья или любовницы, ты можешь презирать меня, это ничего не изменит. Я не могла не увидеть тебя и не выяснить все до конца. Я не стыжусь того, что пришла.

Данилов промолчал.

– Нужна я тебе или не нужна, – сказала Наташа, – но я без тебя не могу. Если ты не любишь меня, скажи об этом, я уйду от тебя. И навсегда.

– Мне без тебя было плохо, – сказал Данилов.

Данилов почувствовал, что хотя вчера и сегодня он печалился о Наташе, мечтал о встрече с ней, обида на нее все же не прошла совсем, напротив, теперь она ожила, и его слова значили не только то, что ему без Наташи было плохо, но что ему вообще было плохо, а она, Наташа, этого не ощутила. «Зачем это я? – подумал Данилов. – Ведь все это мелкое и лишнее!»

– Я нужна тебе? – спросила Наташа.

– Да, – сказал Данилов.

– У меня нет никого другого. Ухажеры были всегда, я позволила одному из них в тот вечер проводить меня, я чувствовала, что ты придешь в наш переулок, вот я и позволила с досады и по женской глупости… Ты прости…

– Мы и не договаривались держать друг друга на цепи. И ты извини меня за обидные слова и невнимание к тебе… Но у меня вся жизнь сейчас на лету.

– Я бы хотела, чтобы все твои беды, все твои хлопоты стали моими, чтобы тебе стало легче оттого, что я рядом, но я боюсь подойти к тебе, может быть, все и не так, но я чувствую, что ты скрываешь от меня нечто важное, оттого я мучаюсь, и мы с тобой не откровенны до конца, а что хорошего может выйти у нас без этого откровения?

Данилов молчал, был растерян.

– Прости, – сказала Наташа, – возможно, я слишком много хочу и обидела тебя. Да и какое право я имею на твое откровение?

Данилов поначалу был намерен произнести легкие слова, возможно и отшутиться, с тем чтобы все у них с Наташей осталось так, как оно было прежде. Но, взглянув на Наташу, он понял, что это невозможно.

– Да, – сказал Данилов. – У меня есть тайна. Открыть ее тебе – и никому – я не могу. И никогда, как бы ни сложились наши отношения с тобой, я не смогу открыть ее.

В глазах Наташи были испуг, нежелание верить ему. «Нет, нет, нет! Все ты придумал! Этого не должно и не может быть!» – казалось, хотела выкрикнуть она. Предчувствия или догадки, тяготившие ее в последние дни, теперь, видно, обернулись дурным сном, от которого хотелось бы избавиться, но не было сил избавиться.

– Так все и есть, – сказал Данилов. – Но тайна эта касается только меня, она связана с моим происхождением и нынешним моим положением. В ней нет ничего подлого, бесчестного… И на тебя не упал ни один отсвет от нее. – На всякий случай Данилов добавил: – Тайна эта не связана с каким-либо вредом отечеству.

Данилову показалось, что его последние слова отчасти успокоили Наташу. Да и легко ли было ей узнать, что он какой-нибудь агент или шпион!

– Я открыл тебе значительно более того, что я мог открыть, – сказал Данилов. И подумал: «Я ничего не мог открывать! Мне еще зачтется! И как!» – Это оттого, что наш разговор с тобой последний.

Наташа сделала некое протестующее движение.

«А не посчитает ли она меня теперь сумасшедшим? пришло на ум Данилову. – Пусть бы и посчитала, – решил Данилов, – лишь бы легче отошла от меня…» Впрочем, тут же сама возможность того, что Наташа заподозрит его в помешательстве, показалась Данилову неприемлемой.

– При этом, – сказал Данилов, – я прошу не считать меня больным душою. Я здрав рассудком. Хотя, конечно, эти мои слова еще ничего и не доказывают…

– Я знаю, что ты не болен, – тихо сказала Наташа, и Данилов понял, что она говорит правду.

– Я оттого тебе сказал про последний разговор, что теперь после моих слов наши отношения с тобой стали бы настолько серьезными, что продолжать их не было бы возможности. Прежде нам было легко, ничто нас всерьез не связывало, но и ничто не тяготило, кроме мелких недоразумений и бед. А теперь и беды бы

стали слишком большими. Со мной возможны странные явления, в любую минуту, да вот хоть бы и сейчас, я могу исчезнуть. И навсегда. Но и не это главное. Главное, что человек, который свяжет свою судьбу с моей, сразу же подвергнется опасностям, какие я ни отвести, ни предотвратить не смогу. И тебе стало бы хуже, и я дрожал бы за каждый твой шаг. Никаких выгод мое положение не дает, напротив, тебя ждали бы напасти, болезни, а возможно, и гибель. Я мечтал, чтобы у меня были сын или дочь, но я не могу иметь ни сына, ни дочери. Моя тайна дала бы их жизни свой поворот.

– Бедный Данилов, – сказала Наташа.

– Нет, я не бедный. Я знаю, что мне дано и чего мне ждать. Но увлечь за собой чужую жизнь и опалить ее я не могу. И не хочу.

– И что?

– То, что теперь нам следует расстаться.

– Сейчас я нужна тебе?

Данилов промолчал.

– Я буду тебе в тягость, буду обузой?

– Не знаю… – сказал Данилов.

Он и вправду не знал.

– Ты можешь разлюбить меня, я пойму это и уйду. Но сейчас хоть на неделю, хоть на день я тебе нужна? Скажи, что есть на самом деле, оставь в стороне все иные соображения и заботы о моей судьбе, я прошу тебя.

– Нужна, – сказал Данилов.

– Я буду с тобой хоть эту неделю, хоть этот день.

– Наташа, я не могу…

– Ты меня ничем не испугал. Я принимаю все твое. Напасти, болезни, погибель – что они мне, если я с тобой и тебе нужна? Если что-то будет мне угрожать, значит, что-то угрожает и тебе. Если ты исчезнешь, уйдешь из моей жизни по своей воле, пусть. Но если ты исчезнешь по чужой воле, ты можешь понять, что будет со мной. Ты уж не исчезай. Я прошу тебя. Если на тебе вина, если ты закабален тяжким обязательством, я возьму на себя твою вину и твои обязательства. Если нужно заплатить жизнью, я заплачу. Я понимаю, ты откажешь мне в этой моей просьбе, но ты не спеши, ты отнесись к ней всерьез. Дай мне хоть часть своей ноши, не объявляя, что это за ноша. Я знаю, что для тебя музыка, я не могу быть с тобой здесь на равных, но я постараюсь, чтобы мой интерес к твоей музыке не стал для тебя обременительным, скучным и пустым. Я сделаю все, чтобы не мешать твоей музыке. Не думай, я не стану лишь тенью и прислугой, ты бы сам заскучал со мной, я ни в чем не отрекусь от себя, но ведь тебе нужна

любовь, опора, вот я и буду тебе любовью и опорой.

– Спасибо, Наташа, – сказал Данилов. – Коли так… Но обещать не исчезнуть я не могу…

– Я много наговорила… Но все слова мои – не зря и не попусту. Верь им. А если ты посчитаешь, что я навязываю себя тебе, что со мной тебе не станет легче, прогони меня.

Теперь Данилов был убежден в том, что им с Наташей следует расстаться навсегда. Он обязан был уберечь ее от своей судьбы. Но ни слова Данилов не произнес. А если бы и произнес – разве мог бы он что-либо изменить? Сейчас Наташа была сильнее его.

– Ты хоть сегодня меня не гони, – робко улыбнулась Наташа.

– Сегодня не прогоню, – сказал Данилов.

30

Пришел день выступления.

Наташа отутюжила Данилову фрак и брюки, черную бабочку гладил он сам. Есть Данилов ничего не мог, хотя и был ему предложен горячий завтрак. Выпил лишь кофе.

Звонил Переслегин, нервно спрашивал, получил ли Данилов отгул в театре, явится ли он сегодня к шести в Клуб медицинских работников. Звонил Чудецкий, тоже нервничал, советовал Данилову привести в клуб знакомых, настроенных благожелательно к нему, Данилову, и к музыке, а то вдруг зал окажется пустым. Вчера была суматоха, и сегодня ей предстояло быть. Как и в театре, когда всем кажется, что ничего не готово, еще бы день или два, а теперь все ужасно, и актеры плохи, и декорации вот-вот рассыплются, и провал несомненен. Но суматоха и была Данилову хороша. Надо было действовать, репетировать, нестись куда-то, спорить, ругаться, отчаиваться на мгновения: «Ах, пропади все пропадом!» – и тут же опять играть, играть, чистить ботинки, стричь бороду, звонить знакомым, отговаривать их покупать цветы, «какие еще цветы, обойдетесь порченными яблоками». Нетерпение жгло Данилова. Он был бодр, энергичен, чувствовал себя хорошо, забыл о болезнях и страхе смерти!

В пять часов Данилов поехал в Клуб медицинских работников. Наташа полагала прийти туда вместе с Екатериной Ивановной после работы. Данилов почувствовал, что голоден, заскочил в чебуречную на Сретенском бульваре. Чебуреки были скверные. Но Данилов понимал, что эти чебуреки и бульон с фрикадельками, как и все сегодняшнее, он запомнит навсегда. В сквере, на тумбе, Данилов оглядел афиши. На Переслегина с Чудецким не хватило бумаги.

«Как бы хлопобуды не отменили концерт! – явилось вдруг Данилову. – Я им тогда покажу!» – грозно пообещал он. Но ехал в клуб в тревоге.

– Не отменили? – не успев поздороваться, спросил у Переслегина и Чудецкого.

– С чего вы вдруг? – удивились те.

– Нет, я так… – сказал Данилов.

Однако он не успокоился. Осмотрел инструмент – целы ли струны. И позже альт не выпускал из рук. Сходил на сцену, все оглядел тщательным образом, словно искал пластиковую бомбу.

Потихоньку стала приходить публика. Лица в фойе поначалу Данилову были незнакомые, видно, медики. Но потом появились

и известные личности. Преподаватели консерватории, они хоть и не вели когда-то занятий в классе Данилова, теперь с ним раскланялись. Четыре музыканта с именем. Музыкальные критики. Всех их у дверей встречали Чудецкий с Переслегиным, стало быть, они их и приглашали. Пришел и еще один человек, вызвавший беспокойство композитора и дирижера.

– Вы его не звали? – спросили они у Данилова.

– Нет, – сказал Данилов. – А кто это?

– Зыбалов! – поморщился Переслегин. – Музыкальный критик и фельетонист…

– Ну и чудно, – сказал Данилов.

Крупный мужчина Зыбалов глядел на всех мрачно. «Да он прямо как фея Карабос, – подумал Данилов, – на дне рождения Спящей…» То, что Зыбалов музыкальный критик, Данилов не знал, но он видел этого человека в очереди к хлопобудам. Чудецкий с Переслегиным ждали еще кого-то, но те пока не приходили. Оно и естественно. Самые необходимые люди всегда опаздывают. Или вообще не являются.

Хотя и было глупо, стыдно даже, с альтом в руке стоять в фойе, однако Данилов стоял, пока не пришли его знакомые. Всего человек сорок. Почти все, кто был в последний раз у Муравлевых. И иные. Конечно, пришла Наташа с Екатериной Ивановной, Данилов был в волнении, он не знал, как представлять Наташу приятелям. Однако Екатерина Ивановна очень быстро перезнакомила их с Наташей, и Данилов понял, что о Наташе все уже знали или догадывались. Да и не Наташей с Даниловым все были как будто бы теперь заняты. Среди прочих пришла давняя знакомая Данилова Лена Буранова, концертмейстер из Гнесинского, она и отвлекла внимание. Буранова ждала ребенка, да и не одного, если судить по ее видимому состоянию, а двух. Теперь все принялись придумывать близнецам имена, причем мужские. «Да идите вы! – говорила Буранова. – У меня будет девочка Марьяночка…» Данилова просили играть тише, без страстей, а то вдруг Буранова взволнуется и прямо в зале родит. Одно было хорошо – то, что Данилов играть взялся именно в Клубе медицинских работников. Данилов отшучивался, однако был доволен легкомысленным ходом разговора.

Но вот все, кого Данилов ждал, пришли, он побежал за сцену. Кто-то крикнул ему вдогонку: «Банкет-то где будет?», Данилов обернулся с намерением ответить и увидел входившего в клуб румяного злодея Ростовцева. Данилов ничего не сказал о банкете, ушел.

Люди уже сидели в зале, хотя многие толпились еще возле буфета. Кроме симфонии Переслегина, оркестр должен был

исполнить Седьмую Прокофьева. Поначалу Переслегиным хотели закончить концерт, но композитор заявил: «Нет!» По мнению Переслегина, Прокофьев мог спасти репутацию оркестра и после провала его симфонии. «Ну и пусть, – решил Данилов. – Быстрее отыграю. И ладно».

Объявили симфонию. Данилов вышел в тишину. Как он играл и что он чувствовал, позже вспоминал он странным образом. Какими-то отрывками, видениями и взблесками. А ведь он привык к сцене, выступал в залах куда более вместительных, чем этот, аккомпанировал певцам театра в составе ансамблей или просто играл в секстете, но тогда он выходил на сцену спокойный, видел и ощущал все, что было вокруг, – каждую пылинку на досках пола, каждый вздох, каждый кашель в зале. Здесь же он был словно замкнут в себе, он сам себя не слышал. То есть слышал, но так, как слышит себя человек, торопящийся сказать, выкрикнуть людям что-то важное, необходимое, разве существенно для него сейчас – красиво ли он произносит звуки, все ли его слова правильны? Данилов и не думал теперь выйти из состояния, в каком оказался, и оценить свой звук как бы со стороны, он просто звучал, и все. Данилов, похоже, не только в Клубе медицинских работников был сейчас, он был везде. А время замерло. Всюду замерло. Но не в музыке. Там оно текло – и быстро, и медленно, и рвалось, и перекатывалось по камням, в отчаянной усталости. Снова альт Данилова, как и Данилов, находился в борьбе, в любви, в сладком разрыве, в мучительном согласии со звуками оркестра. Он и сам был как оркестр и не желал смириться с металлической поступью труб и ударных, наступавших на него то в марше, то в каком-то визгливом зверином танце, и, заглушенный, исковерканный было ими, возникал вновь и жил, звучал, как жил и звучал прежде. А потом, оказавшись вдруг в нечаянных вихрях скерцо, бросался за сверкающим полетом скрипок, исчезал в их звуках, словно бы купаясь в них, озорником выскакивал вперед, сам манил скрипки куда-то, и тут все стихало, и только альт Данилова, только сам Данилов утончившимся и потеплевшим звуком то ли печалился, то ли радовался в долгожданном покое и сосредоточенности. Но то были короткие мгновения. И снова толпа. Земля, вселенная захватывали Данилова, и ему было хорошо и горько и хотелось плакать. И при всем при этом всегда валторна и кларнет – прошлое и второе Я – существовали рядом с альтом Данилова, валторна порой грустила, вздрагивала как-то или что-то предсказывала, а порой звучала светло, будто исчезнувшая свежесть юных лет, кларнет был нервен, вцеплялся в мелодию альта, рвал ее, грозил и мучился, и скрипом тяжелой черной

двери, впускающей страшного гостя, кларнета опекал контрабас. А то вдруг валторна изменяла самой себе, на мгновения приближалась голосом к деревянным духовым, становилась будто кларнетом, и альт Данилова затихал в растерянности. Потом он, подавленный памятью и тем, что было в нем, но чему он не мог или не желал дать свободу, выслушивая ехидные голоса, в тягостных напряжениях как бы приходил в себя, снова к нему возвращалась ярость, жажда любви и жажда жизни, и какой бы скрежет, какие бы обвалы гибельных звуков, какие бы механические силы ни обрушивались на него, он пробивался сквозь них, летел, несся дальше, иногда суетливо, в лихорадочном движении оркестра, иногда будто сам по себе, и опять ненавидел, и опять страдал, и опять любил, движение все убыстрялось, становилось мощным, яростным, ему предстояло быть вечным, но тут – все. Ноты Переслегина кончились, смычок замер и отошел от струн.

Все стихло. И навсегда.

Потом все ожило. Публика аплодировала шумно, благожелательно. Даже цветы бросали на сцену. Данилов раскланивался, дирижер Чудецкий улыбался, пожимал Данилову руку, показывал публике на Данилова: мол, он виноват. Данилов, в свою очередь, показывал на Чудецкого, на валторниста, на кларнетиста, на оркестр. Отыскали автора, привели. И ему хлопали.

– Неужели все? – спросил Данилов Переслегина.

– Но ведь, Владимир Алексеевич, – как бы извиняясь, сказал Переслегин, – звучало сорок четыре минуты. Куда уж больше!

– Нет, я не про это. Звук у нас как-то обрывается на лету…

– Он не обрывается, – горячо сказал Переслегин. – В том-то и дело. Он не обрывается и не замирает, он должен звучать дальше, вы разве не чувствуете?

– Вы так считаете? – задумался Данилов.

Со сцены следовало уходить. Публика из задних рядов потекла в фойе и к буфету. Пошли и оркестранты. В комнате за сценой Переслегин обнял Данилова, тут же отпрянул от него, сказал серьезно:

– А ведь вы сыграли большее, нежели то, что я написал… Ведь что-то мощное вышло! Ужасное, гордое, высокое…

– Как же я мог сыграть большее, чем у вас есть? – удивился Данилов. – И играл не я, а оркестр, я солировал…

– Вы не спорьте со мной, – сказал Переслегин. – Я все слышал, хоть и дрожал в уголке… На репетициях у вас не так выходило… ну, впрочем, это и понятно…

Данилов в сомнении и так, чтобы другие не видели,

посмотрел на браслет. Нет, он был на сцене вполне человеком. К ним подошел большой музыкант, поздравил и заявил Переслегину:

– Вы, сударь, этак всю музыку перевернете…

– Да что вы! – чуть ли не взвился Переслегин. – Отчего же! У меня самая что ни на есть традиционная музыка… Ну отразились какие-то современные ритмы и голоса, вот и все…

– Нет, сударь, – покачал головой большой музыкант, – это вам так кажется. – Тут он поклонился Данилову: – И к вашей игре, молодой человек, надо привыкнуть.

Он сослался на то, что его в фойе ждет дама, и ушел.

– Ну да, привыкнуть! – произнес расстроенно Переслегин. – Вежливые слова.

Забежал Чудецкий, спросил, откуда Данилов с Переслегиным будут слушать Прокофьева. Данилов сказал, что из зала. Однако чувствовал, что ничто уже не сможет слушать сегодня, он с удовольствием отправился бы домой, но нехорошо было бы перед оркестрантами. Он их полюбил. Дождался третьего звонка и тихонько прошел в зал. Альт оставил за сценой, теперь-то было можно, теперь-то что! Сидел в зале на жестком стуле и приходил в себя. Будто возвращался откуда-то из недр или из высей. Уже не ощущал усталости, а возбуждался все более и более и, хотя чувствовал, что сыграл хорошо, теперь желал исполнить симфонию Переслегина снова, тут же бы и исполнил, если б была возможность. Да и не один бы раз, а много раз, пока не утолил бы жажду и не успокоился. Он стал напевать свою партию. На него зашикали в темноте. «Извините», – пробормотал Данилов, очнувшись. Оркестр уже играл Прокофьева. Данилов пытался слушать приятных ему молодых людей, да и Прокофьева он любил, но ничего не смог с собой поделать. «Если бы меня сейчас снова выпустили на сцену!» – страдал Данилов. А тут уж и Прокофьев кончился. Данилов побежал за сцену, поздравлял артистов оркестра и Чудецкого, но слова путного не мог найти. Так, бормотал что-то радостное. Впрочем, никто, казалось, путных слов и не ждал. Чувства были нужны, и все. А чувства у Данилова были.

Потом все стали гадать: а не поехать ли теперь куда-нибудь, да и всем вместе. Но куда? И столько в оркестре было народу, и столько знакомых ждало в фойе, что в конце концов стали расходиться компаниями. Данилов искал Переслегина, однако тот исчез. Или забился куда-нибудь в угол. В фойе стояли приятели Данилова, они опять принялись говорить ему, как он был хорош на сцене с инструментом и с бабочкой, хоть пиши с него предметную картину. Муравлев все же упрекнул Данилова в

недостаточной силе страстей – Буранова хоть и была взволнована его игрой, однако не родила.

– А где Буранова? – спохватился Данилов.

Буранову уже отправили домой в автомобиле.

– Ну так как, к нам, что ли? – спросил Муравлев, потирая руки. – Жена там кое-что приготовила…

– А может, к Володе? И у Володи есть чем угостить… – робко произнесла Наташа, но тут же как бы испуганно посмотрела на Данилова.

– Действительно, а давайте ко мне! – сказал Данилов.

Чтобы не обижать жену Муравлева, пошли на компромисс. Муравлев был послан за угощениями и сластями домой. «Рюкзак возьми, рюкзак!» – молила жена его Тамара, а вся компания на трамваях покатила к Данилову. Сидели за полночь, Данилов был в возбуждении, все вскакивал, бегал на кухню, носил какие-то стаканы, какие-то салаты на тарелках, что-то говорил кому-то, мне в частности, и сам слушал всякие слова. Сказаны ему были и слова серьезные – о музыке, о его игре, и, хотя в компании все были слушателями-дилетантами, Данилову эти слова показались справедливыми и точными. «Нет, Данилов, ты сделал важный шаг, важный…» – повторяла Костюрина. «А мне иногда было просто ужасно, – тихо говорила Муравлева, – и за тебя, и вообще…» А потом сразу возбужденность Данилова спала, он почувствовал, что сейчас же заснет. Сквозь дрему Данилов слышал чьи-то споры, чей-то смех, стеклянные и металлические звуки посуды, журчанье дамских бесед, милый голос Наташи. Ах, как хорошо ему было! Данилов открыл глаза. Екатерина Ивановна танцевала с Еремченко, снег летел за окнами, Муравлев, размахивая руками, что-то доказывал Костюриной. А рядом стоял Ростовцев. «Откуда он здесь? – удивился Данилов. – Зачем?» Но тут же Данилов заснул. И когда заснул, увидел, как выходит он на сцену Клуба медицинских работников И услышал свой альт.

31

Утром снег растаял.

Данилов, зевая, стоял у окна, потягивался.

В квартире его было чисто, стол сдвинут и поставлен на место, посуда вымыта. Будто и не сидели у Данилова всю ночь гости. Лишь в глиняном горшке на окне в черноземе остался пепел. Видимо, в споре Муравлев тыкал сигаретой в кактус.

Не было и Наташи. Данилов позвонил ей, но, наверное, Наташа уже ушла в свои лаборатории.

Да и играл ли он вчера в Клубе медицинских работников? Естественно, играл. И в клубе, и по дороге домой, и во сне. Вот и цветы, нарциссы и лилии, стояли в хрустале. Были вечером в руках у Данилова и розы, но он их сразу же раздал дамам.

Данилов спустился на лифте к синим почтовым ящикам, взял газеты. В Анголе бились повстанцы, Карпов мучил Полугаевского, Мальцев по системе «гол плюс пас» набрал двадцать семь очков и вышел на четвертое место. Просмотрев газеты, Данилов несколько опечалился. Ничего он как будто бы и не ждал от газет, однако выходило, что ждал. Ну ладно «Спорт», там и Мальцеву дали мало строк, но вот «Культура»-то или «Московская правда» могли ведь уделить симфонии Переслегина и ее исполнителям хоть абзац. Хоть строчку в «Новостях культурной жизни». А не уделили. «Чем я занимаюсь! – возмутился Данилов. – И о знаменитостях-то газеты сообщают не сразу, а тут искать про себя, да еще и на следующий день!..» Да и подумаешь, какое событие произошло вчера в Клубе медиков! Дрянь, стало быть, а не событие, если Клавдия не сочла нужным явиться в клуб. Данилов вспомнил, как Клавдия рвалась к синему быку. И нечего искать в газетах… Внизу на улицах неслись машины, торопились люди, тащили сумки и портфели, ветры мели желтый коммунальный песок по скользким тротуарам, подталкивали озабоченных граждан – к работам, к службам, к занятиям. Что изменила в судьбах, в душах этих людей музыка Данилова, что она вообще могла изменить? Видимо, ничего… Данилов был утомлен и пуст душой. Музыка стала противна Данилову.

В стеганом халате Данилов сидел на диване. Исходил озябшей душой. И музыка ему была не нужна, и сам себе он не был нужен. Никто не был ему нужен.

Зазвонил телефон.

– Здравствуй, Володя, – сказал Земский, – был, был я вчера на твоем выступлении!

– Вот как…

– Взял бюллетень и сходил.

– А была ли нужда, Николай Борисович? Музыка Переслегина находится в полном противоречии с вашей.

– А я любопытный. И потом, ведь я пока терпим к иным направлениям. Пусть себе дудят. А ты сыграл сильно, вот что я тебе хочу сказать.

– Спасибо, Николай Борисович.

– Сильно и дерзко. Будто спорил с кем-то. Не со мной?

– Нет, Николай Борисович, я не спорил с вами. Просто играл, и все. Как мог…

– Теперь ты должен играть не как можешь, а как не можешь. В крайнем случае ты ведь все равно сыграешь как можешь. Ты понял меня?

– Я понял, Николай Борисович.

– Играй, играй, иди дальше… Будешь большим артистом, – сказал Земский. – А потом дойдешь до черты. Спросишь: «А дальше куда?..» И некуда дальше. Шагнешь в невозможное, а из невозможного-то прибредешь к тишизму… Вот ведь как… Я тебя не пугаю, не расстраиваю, я без зла… Кстати, много ли гармонии было во вчерашней музыке? Играл ты блестяще, но гармония-то где?

– Я стремился к гармонии.

– Ну и что? – сказал Земский.

– А ваши теории и мечты, Николай Борисович, разве не поиски гармонии, пусть и своеобразной?

– Володя, – вздохнул Земский, – юн ты еще и свеж… Много тебе еще придется по мукам ходить…

На этом Николай Борисович закончил разговор.

Звонок Земского взбодрил Данилова. «Хоть одного-то, но задела наша музыка! Так он и сказал, – вспоминал Данилов, – играл ты сильно…» А ведь Земский – ценитель строгий! Данилов даже встал, в возбуждении ходил по комнате, полы его стеганого халата разлетались. Теперь он мечтал о новых звонках, в особенности надеялся услышать Переслегина и Чудецкого. «Нет, – говорил себе Данилов, – все же я молодец! Пусть в мире ничего не изменилось. Оно и не могло измениться! Но вдруг что-то изменилось во мне? В музыканте Данилове? Я играл так, как не играл раньше. И на простом альте. Отчего же мне хоть сегодня не быть довольным собой?»

«А что же Наташа мне даже и записки не оставила?» – подумал Данилов. Теперь он досадовал на то, что Наташа уехала вместе с гостями. Данилов понимал, что так оно, наверное, и к лучшему, что Наташа справедливо полагает жить и сама по себе, а не только при нем, еще Александр Сергеевич говорил, – правда,

французскими словами, – что в женщине нет ничего пошлее терпения и самоотречения, и Данилов с Александром Сергеевичем поспорил бы лишь по поводу резкости суждения. Но сейчас Данилов почувствовал себя чуть ли не обиженным. Отчего же в сию минуту Наташи не было рядом?

Зазвонил телефон:

– Здравствуйте, это Валентин Сергеевич.

– Какой Валентин Сергеевич? – спросил Данилов и тут же понял, что растерянностью выдает свою слабость.

– Вот вы и сообразили, какой именно.

– Здравствуйте, – сказал Данилов. – Чем обязан?

– Именно мне вы ничем не обязаны… Так, если одной мелочью… Да что о ней говорить… И сейчас-то я вам звоню вовсе не по Делу… Дело-то у вас впереди… Ох, и большое!.. Я так… И для собственного успокоения. И для того, чтобы вас из некоего пагубного заблуждения вывести… Мне бы и звонить не следовало, настолько это разговор частный, я и нагоняй, возможно, получу, но вот уж не утерпел…

– Говорите, – сказал Данилов.

– Ведь вы теперь торжествуете…

– С чего бы?

– Торжествуете! Этак сыграли! И потому еще торжествуете, что вам кажется, будто вы сыграли вчера как обычный житель Земли. Будто вы не воспользовались никакими нашими возможностями. Действительно, вы пластинку браслета не сдвигали. Ну и что? Что изменилось-то? Ведь вы сами должны понять – вы весь были вчера в музыке! Весь Данилов! И тот, что существует на Земле как бы человеком, и тот, что является демоном на договоре. Вся ваша натура вчера звучала, и с историей своей, и с опытом житейским. Где уж тут на равных-то!

– У вас все? – спросил Данилов.

– Конечно, я личность мелкая… – захихикал Валентин Сергеевич, – да и не мое это дело соваться в вашу музыку… Но вот не утерпел… Слова мои вы можете посчитать пустыми: мол, он из неприязни или от зависти…

– Вы бы лучше инструмент вернули, – сказал Данилов.

– Какой инструмент?

– Ворованный. Альбани.

– Какой Альбани! Нет у нас никаких Альбани! – взвизгнул Валентин Сергеевич. – В милицию обращайтесь! В милицию! Какие еще Альбани!

И неожиданный, чуть ли не базарный визг Валентина Сергеевича сменился короткими гудками с неким присвистом.

Все возвращалось. Стало быть, никуда не исчезал

старательный порученец Валентин Сергеевич, доставивший Данилову лаковую повестку с багровыми знаками. Стало быть, лишь на короткий срок, неизвестно с какими целями, оставили его, Данилова, в покое, а теперь напомнили ему о том, кто он есть и что его ждет. Отчаяние забрало Данилова. Как все некстати, сокрушался он. Впрочем, а когда было бы это кстати? Но теперь-то Данилову казалось, что месяца два назад он бы легче перенес назначение ему времени «Ч». Да что говорить…

Все же вскоре Данилов стал уговаривать себя не хныкать и не отчаиваться, а жить дальше хоть час, хоть день, вдруг все и обойдется. Ему теперь казалось, что Валентин Сергеевич не слишком нахально или даже не слишком уверенно вел себя, раз обратился к нему не особенным и не ярким способом, а с помощью городской телефонной сети. Конечно, это не имело никакого значения, но Данилов все же пытался отыскать в самом факте именно звонка некий смысл. «А может, это и в самом деле, – думал Данилов, – частный звонок? Не утерпел Валентин Сергеевич, вот и выговорился». Как бы то ни было, но Валентин Сергеевич, эта тварь мелкая, был приставлен именно к нему.

«Но что он лезет ко мне с музыкой? – обиделся вдруг на Валентина Сергеевича Данилов. – Какое его собачье дело!» Мысли о времени «Ч» сразу рассеялись. Данилова стали мучить сомнения: а вдруг Валентин Сергеевич прав? Вдруг и верно, вопреки своим упованиям и постановлениям, он, Данилов, оказался в музыке с людьми не на равных?

Однако, поразмыслив, Данилов склонился к тому, что прежней договоренности с самим собой он вчера не нарушил. Да, наверное, его способности, его нынешнее умение и понимание музыки были в явной связи с его жизнью, его судьбой, с тем, что он перечувствовал, что открыл для себя и в себе. Но ведь и у любого земного любителя или профессионала существует подобная связь. К тому же на свете встречались люди с куда более сложной судьбой. С куда более богатыми возможностями, нежели были у Данилова. Тут они могли дать ему сто очков вперед. А если разобраться всерьез, музыкальные способности, какие Данилов получил при рождении, совсем не сделали его на Земле вундеркиндом. Предки Данилова по отцовской линии к музыке относились без интереса. Уж если и оказался младенец Данилов при слухе, то из-за матери. Женщины земной. И позже, на Земле, он сам, без помощи всяких чужих сил, воспитывал в себе музыканта. Тут Валентин Сергеевич может и помолчать. С людьми Данилов в музыке не шутил и своей вчерашней игрой не ввел их в заблуждение. Значит, занятия музыкой ему не стоит бросать. Вот про Альбани он, наверное, зря вспомнил в разговоре

с Валентином Сергеевичем. Требовать у жулика ворованный инструмент было делом пустым и жалким. Но, может, и вправду не было у Валентина Сергеевича Альбани, а следовало напомнить об инструменте милиции? Да что напоминать! Ведь на днях Данилова вызывали в милицию к старшему лейтенанту Несынову, а он не пошел. Сегодня же надо было идти!

Однако Данилов не пошел в милицию.

Все ему стало безразлично. От всего хотелось отдохнуть. От музыки – в первую очередь. Пошла бы она куда подальше! О звуках, об инструменте, о нотах, о необходимости сидения в яме Данилов думал с остервенением. Бросить сейчас бы все и удалиться куда-нибудь в охотничью избушку в Туруханской тайге или в саклю в горах Дагестана, и чтобы вокруг все было завалено снегом, и бил в крохотное оконце ветер, и выли волки, а он, Данилов, лежал бы один и пальцами бы не шевелил. Год лежал бы или два, а что потом бы стал делать, даже об этом и не думал бы. При этом Данилов не отрицал возможность присутствия рядом с ним в сакле Наташи. Но никаких особенных видений, связанных с Наташей, у Данилова не возникало. Наташа могла лишь молча сидеть возле него, и все. Возможно, потом Данилов и не вернулся бы к музыке, а начал бы новую жизнь, какую – неизвестно. Уж там бы, в сакле или в охотничьей избе, впал бы он в некие тихие раздумья, а может быть, даже и в философское состояние, пока ему, Данилову, чуждое, и многое понял бы. И уж наверное, с белых вершин тишины и покоя, вся его нынешняя жизнь, и музыка естественно, показались бы такой мелкой суетой, такой секундной бессмысленностью, что Данилов захотел бы закрыть глаза. Да что с тех вершин! Данилов и теперь ощущал эту суету и бессмысленность. Надо же, возрадовался! В свои-то тридцать пять лет – вылез на сцену солистом, сыграл, пусть и неплохо, ну и что? Дальше-то что? Дальше? Впрочем, какой смысл было думать о будущем, коли позвонил Валентин Сергеевич.

Данилов сидел разбитый. Мучением было теперь для него думать-то о том, что он когда-либо опять возьмет инструмент в руки. Однако взял альт и отправился в театр. Отыграл и дневной и вечерний спектакли. Когда играл, уже и не вспомнил об утренних грезах относительно сакли и туруханской избы.

Коллеги Данилова не говорили о вчерашнем концерте. Да и откуда они могли знать о событиях культурной жизни медицинских работников! Впрочем, виолончелист Туруканов в последнем антракте поинтересовался, хорошо ли платят медики, и был чуть ли не расстроен, узнав, что Данилов, как и оркестранты, играл задаром.

– Ну, Данилов, – покачал головой Туруканов, – вы же не мальчик…

– Не мальчик, – согласился Данилов.

– Ну вот, – добавил Туруканов, – а эти доктора, особенно зубные, деньги вилами гребут…

После спектакля Данилов запер инструмент в несгораемом шкафу, дома Данилову альт не был нужен.

32

А назавтра все пошло, как и в прежние дни. Снова Данилов окунулся в суету и в хлопоты. Обнаружилась Клавдия Петровна со своими претензиями.

В театре Данилова торопили с выпуском стенной газеты «Камертон». Данилов уже перепечатал заметки о стажерах, и прежде всего – о меццо Черепниной, получил от трубача Тартаковера дискуссионную статью об ансамблях и солистах, сам описал осенние сахалинские гастроли, но вот с передовой дело у него не шло. Свирели какие-то вились над бумагой, а литавры так и не звучали. Данилов звонил мне, уговаривал сочинить передовую, просил не погубить. Но что я мог? Пришлось Данилову обратиться к помощи отрывного календаря. А за газетой пошли семинары, вновь ожила вечерняя сеть. Данилов хлопотал и по хозяйству, он не хотел вынуждать Наташу таскать продукты в останкинскую квартиру. Сам иногда варил перцы с любительской колбасой.

Естественно, что и спектакли в театре шли один за другим. На основной сцене и на торжественной. Данилов уже не испытывал острой ненависти к музыке. Однако порой она ему была скучна. Иногда Данилов ощущал облегчение. Думал: «Не будет меня теперь тяготить симфония Переслегина, я ею разрешился…» Дней пять для Данилова вышли хоть и суетные, но легкие. Он опять забыл о Валентине Сергеевиче. Только однажды вдруг Данилова тихонечко что-то толкнуло, будто плеча коснулось. И защемило тогда: «Неужели все? Неужели я больше никогда ничего не сыграю?»… Потом прошло.

Встречался Данилов с Переслегиным и Чудецким. Чудецкий был по-прежнему деловит, весь в планах. А Переслегин не желал больше писать, обзывал себя бездарью.

– Ну как же, – возражал Чудецкий, – публика приняла вашу вещь хорошо, да и Константинов с Вегенером вас хвалили.

– Разве хвалили? – оживился Переслегин. – Но я тут при чем? Это вы с Даниловым сделали из моей бумаги музыку! Разве у меня альт так звучал?

Для альта Переслегин вообще не намерен был теперь писать, он говорил, что альт Данилова испугал его. «Это же царь, а не инструмент, куда мне до его звуков!» Чудецкий посмеивался, уверял, что через месяц Переслегин отойдет и возьмется писать именно для альта. От Чудецкого и Переслегина Данилов узнал, что большие музыканты высказались об его игре с похвалой. Мол, он, Данилов, удивил. Показал, какие у альта возможности.

Словно бы напомнил о чем-то забытом. Или, наоборот, предсказал будущее. Однажды и Клавдия Петровна явилась к Данилову с претензией – как это он не пригласил ее в Клуб медиков.

– Да что было приглашать? – удивился Данилов с некоей долей притворства.

– Нет, – сказала Клавдия, – я на тебя в обиде, о вашем концерте говорят, а я на нем не была…

Чудецкий говорил, что, наверное, программу удастся повторить. Если не в Клубе медиков, то во Дворце культуры мукомолов. А может быть, и там, и там. Тут явился возбужденный Переслегин и стал повторять неистово:

– Музыку надо писать без оглядки! Без оглядки! Вы, Данилов, играли дерзко, без оглядки! И музыку надо писать без оглядки!

– Что значит без оглядки? – спросил Данилов, хотя и сам как-то произносил подобные слова.

– А то, что без оглядки! – сердито сказал Переслегин, как будто бы даже обидевшись на Данилова. И быстро куда-то ушел.

Позже Данилов ходил и повторял про себя: «Без оглядки! Естественно, без оглядки!» Впрочем, без оглядки на что? Может, на что-то и следовало иметь оглядку?

Тут проявил себя критик Зыбалов, выступивший в одной газете, не самой интересной и важной, но все же из тех, что клеят на витринной фанере. Сочинение Зыбалова – или «реплика» – было небольшое, размеры его как бы подчеркивали незначительность концерта в Клубе медиков. Название оно имело укоризненное – «Кому предоставили сцену?» Зыбалов напористыми, ехидными словами отчитывал администрацию Клуба медиков, безответственно относящуюся к общественному богатству, а именно к сцене и залу. Ей, администрации, бы пестовать и показывать на сцене народные таланты, а она дала пространство и время неким предприимчивым музыкантам, у которых за душой ничего нет. Мимоходом упоминалось сомнительное и претенциозное сочинение некоего Переслегина. Вызывала тревогу Зыбалова культура, в том числе и общая, дирижера Чудецкого. А солист Данилов и не был назван.

Переслегин сразу сник, Чудецкий улыбался, говорил: «Этого следовало ожидать!», уверял, что все равно программу оркестр повторит.

Данилова расстроило отсутствие его имени в реплике. Пусть бы выругали его, но хоть бы упомянули. А так выходило, что он – нуль, даже не вызвал и тревоги Зыбалова. На следующий день поутру Данилову позвонил пегий секретарь хлопобудов.

– Владимир Алексеевич, – сказал секретарь, – вы не

передумали?

Данилов был намерен нагрубить секретарю и сейчас же учинить что-либо хлопобудам, но он сдержал себя.

– В последние дни, – мрачно сказал Данилов, – у меня не было времени на подобные раздумья.

– Но я хоть надеюсь, на чтение статьи Зыбалова у вас нашлось время?

– Нашлось.

– Полагаю, вы оценили деликатность Зыбалова, – вашего имени нет в статье.

– Очень признателен…

– Мы ведь и дурного пока вам ничего не причинили, а только даем понять…

– Я и тогда вас понял.

– Но все могло быть иначе. И ваше имя могло бы теперь громко звучать.

– Сразу и громко?

– Ну а что же? Хотя бы в музыкальных кругах… А сейчас мне кажется, что упования Чудецкого повторить программу выглядят наивными…

– Вы уверены?

– Владимир Алексеевич, вы могли бы отметить, что сегодня мы вам совсем не хотим угрожать или там действовать на нервы, мы просто напоминаем о себе.

Пегий человек действительно говорил вежливо, не дерзил.

– Мы ведь вам пока совсем ничего не напортили, так, мелочи, мы решили подождать, – добавил пегий человек, при этом как бы с любовью к Данилову.

– Хорошо, – сказал Данилов. – Я подумаю.

– Когда вам позвонить?

– Через два дня, – сказал Данилов и повесил трубку.

И он решил пока подождать, а не пускаться в поход на хлопобудов. На будохлопов! Смелые, смелые, а его, видите ли, пощадили. Зато выместили зло – или проявили свои возможности – на неповинных Чудецком и Переслегине.

Наташа уже ушла на работу, и хорошо, что не слышала разговора с пегим человеком. Вчера она желала отыскать критика Зыбалова и высказать ему все, что она о нем думает. Данилов ее на вылазку не пустил. «Надо терпеть», – сказал он. Совсем к Данилову Наташа не переезжала. Не только потому, что не было смысла терять ее площадь, но и потому, что она не хотела перевозить из Хохлов в Останкино швейные машинки – электрическую и ручную. Да и каково было сойтись в однокомнатной квартире альту и швейным машинкам!

Нынче опять лег снег, температура была неожиданно минус восемь, Данилов решил покататься на лыжах. Он имел часа три.

Снег лежал такой, какого в эту зиму вовсе не было. А ведь дело шло к весне. На этот снег и наступать было приятно, он скрипел.

Данилов прошел километров пятнадцать вдоль заборов Останкинского парка, устал. Было бы со временем посвободнее, он отправился бы в любимые Сокольники. В здешнем парке было тесно, и прямо по лыжне бродили пенсионеры. Но вот снег был хорош и в Останкине. Похоже, что в последние три зимы он так ни разу не скрипел. Когда-то, будучи молодым и беспечным, Данилов ради удовольствия устраивал в Москве прекрасный снег. С сугробами и морозцем. Теперь он как бы стеснялся прежнего озорства. И может, зря стеснялся, может, оно и сейчас, зимой, следовало бы ему пользоваться своими возможностями, москвичи соскучились по снегу и морозу, только обрадовались бы им, а в бумагах Канцелярии от Того Света, глядишь, ему, Данилову, поставили бы галочку за то, что его усилиями мороз крепчал. Может, какой-нибудь Валентин Сергеевич, скривившись, эту галочку и вынужден был бы поставить.

При мыслях о Валентине Сергеевиче Данилов расстроился, снял лыжи, связал их сверху и снизу бечевкой.

Хотелось пить. Павильон «Кофе – пончики» был закрыт, и Данилову через улицу Королева пришлось идти к автомату «Пиво-воды-соки». Данилов полагал, что встретит в автомате водопроводчика Колю и узнает, идет ли из Коли дым. Однако Коли в автомате не было. Данилов быстро выпил кружку пива, взял вторую и понял, что взял зря. Но от усталости не смог сдвинуться с места, стоял, прислонившись к стене, и лыжи пристроил к стене же. Тянул потихоньку пиво. Смотрел сначала на рыжих тараканов, гулявших по полу возле мусорных ящиков, потом его заставили оглянуться чьи-то неприятные голоса. У соседнего стола возились подростки. На вид подростки – парни и девицы – были самые что ни на есть местные щеголи, Данилов дал бы им лет по семнадцать. Все они были пьяны, то ли загуляли с утра, то ли продолжали вчерашние развлечения. Парней было пять, а девиц две. Тоненькие, крашеные, в шумном своем возбуждении, они были резвы, вертлявы, лезли к парням целоваться. Возможно, что лезли целоваться и не совсем к тем парням, к каким им полагалось лезть по сюжету их гуляния. Один из кавалеров – как и все остальные, под два метра, – с кудрями, вылезавшими из-под пышной лисьей шапки, и в клешах, дернув за рукав розовую подругу, крепко съездил ей по физиономии. У Данилова чуть пиво из кружки не вылилось. Парень и выругался,

громко, некрасиво. Барышня заплакала, а кавалер, с которым она целовалась, вступаться за нее не стал, отвернулся и продолжил беседу с приятелем. Оскорбитель в лисьей шапке тоже включился в беседу. Барышня все плакала, слезы вытирала со щек белой варежкой. Потом она успокоилась и стала целоваться еще с одним парнем, тоже, видно, из их компании. Этот парень даже на колени ее усадил. Кавалер в лисьей шапке двинулся к подруге, съездил ей по физиономии и опять вернулся в беседу. «Экие нравы у нынешней молодежи!» – печально подумал про себя Данилов. Пожилой мужчина, стоявший рядом с Даниловым, смотрел на юнцов с радостным любопытством и ждал новых событий. «Две девки-то у них на всю компанию, – сказал он, – мало…» А видно было, что, несмотря на некоторые недоразумения, компания дружная и хорошо гуляла. Барышни опять повизгивали от шуток приятелей. Впрочем, мило повизгивали. Мордашки у них были приятные. А приятели их и обнимали, и щипали, и гладили, при этом не искали рыцарских выражений, а говорили слова, какие лучше знали.

Один из парней подошел к Данилову, хлопнул его по плечу, сказал: «Отец, дай сигарету!»

Вообще Данилов, видимо, производил впечатление человека солидного и обеспеченного, у которого можно было попросить что-то и занять. Потому вскоре к Данилову подошли двое парней из компании и барышня. Кавалер с барышней в белых варежках остановились чуть поодаль от Данилова, а малый в лисьей шапке доверительно зашептал Данилову прямо в лицо: «Слушай, мужик, дай три рубля. У нас на вино не осталось. А то купи две бутылки вермута литровые – и пойдем с нами. У нас девки добрые». «Молодой человек, – сказал Данилов, – отчего вы своих дам так дешево цените, всего по три рубля? Что же касается вашей просьбы, то я обойдусь без этой коммерции». Если бы он просто послал малого подальше, тот бы отошел и успокоился, «интеллигентские» же слова Данилова его обидели, а может, и разозлили.

«Что?» – двинулся он на Данилова, чуть ли не схватил его за грудки. И кавалер с барышней сейчас же нахмурились и шагнули вперед. «Что! – заорал малый в лисьей шапке, пуговицы его кожаного пальто расстегнулись, белый вязаный шарф болтался по полу. – Да я тебя сейчас!.. Да мы тебя сейчас!..» Мужчина, стоявший рядом, с радостным любопытством смотрел уже на Данилова. «Все, – сказал Данилов малому, – больше в разговоре нет нужды». «Ща ты увидишь нужду!» – зло произнес малый. А уж вокруг Данилова собралась вся веселая компания, еще какие-то решительные парни: сразу же присоединились к ней. «Бить

будем!» – виделось на их лицах. «Пошли на улицу!» – приказал Данилову малый. Данилов никуда бы не пошел, но он сам понимал, что если потом возникнет какой-нибудь документ или, скажем, протокол и поплывет своим ходом, Данилову на службу, то место действий – пивной автомат – сейчас же поставит под сомнение нравственность Данилова. Пусть даже и поверят, что Данилов прав, но некая мысль все же отложится. Работник культуры, а где скандалил… «Пошли», – вздохнул Данилов. Вышли на улицу – Данилов, а за ним и раззадоренная ватага юнцов, готовая Данилова растерзать, но, впрочем, пока ожидавшая какого-то сигнала, а может быть, новых слов Данилова. «А теперь во двор!» – опять приказал малый в лисьей шапке. Данилову было не по себе, казалось, от него теперь ничего не зависело, ватага волокла его, куда желала, злые, пьяные глаза пугали и не оставляли надежд, с тремя-четырьмя парнями Данилов еще бы справился, а этих было уже больше десяти, и барышни кричали воинственно. Данилов и нож разглядел справа в лихой руке… Тут Данилова остановили. «Гони десять!» – крикнул малый. «Цены, стало быть, повышаются?» – сказал Данилов. Тяжело дались ему эти слова. Он и на самом деле был напуган. «Ах ты, сука, замолчи!» – закричал малый, схватил Данилова за отвороты куртки. И свора сбилась плотнее. Лыжи упали из рук Данилова. Данилов оттолкнул от себя малого и сдвинул пластинку браслета.

Прохожие люди и зрительницы из окон, только что ожидавшие увидеть происшествие, удивились повороту событий. Не только не случилось смертоубийства, но, казалось бы, вот-вот должно было начаться взаимное сердец лобызание. Барышням Данилов вернул невинность, и теперь они, ощутив приобретение, стояли печальные, строгие, будто попавшие в чужую жизнь, а на Данилова смотрели глазами Веры Холодной. Парни получили взгляды работников детских комнат, во всем сейчас желали видеть нравственный порядок и совершенство душ. Они с извинениями кинулись подымать лыжи Данилова, но на всех лыж не хватило. Естественно, не осталось при них и запаха спиртного, а про пивной автомат они думали с негодованием. Данилов пожалел, что сгоряча лишил парней причесок, это было мелким самоуправством, неостроумным к тому же, хорошо хоть клеши он не обузил, не превратил кримплен в шинельное сукно и не отклеил у барышень ни приставных ресниц, ни дорогих платформ. Да и что он напал на прически-то! Стало быть, растерялся, коли сразу принялся переделывать личности изнутри и снаружи. Стало быть, воля его производила действие какими-то судорожными усилиями. Нервы, нервы… А надо было держать

себя в руках. Если при таком пустяке сплоховал, как же выдержит испытания, какие у него впереди!

– Не буду вас задерживать, – сказал Данилов.

Уходя, он все же взглянул на стоявших в растерянности барышень, пожалел их. Барышни сейчас были миленькие. «Ладно, – пообещал Данилов, – так уж и быть. Я прослежу… Однако пусть пока попостятся». На всякий случай он выяснил, какая невинность была им возвращена барышням – вечная или временная? Выходило, что временная, сроком не более чем на три года. Но сразу же Данилов получил дополнительную информацию. Временная-то временная, однако ни один мужчина, кроме него, не смог бы и по истечении срока отменить его постановление. «Ну идиот! – выругался Данилов. – Попал в историю!»

Он и дальше шел, ругая себя. Какое он имел право навязывать незнакомым юнцам и девушкам чужую судьбу! Да и при чем тут знакомым или незнакомым! Но что ему оставалось делать? Данилов и ответить себе на это не мог. Положил, что потом во всем разберется. Однако опять пожалел барышень. Вздохнул. Придется ему постараться, чтобы они век в девках не задержались. Ладно хоть на вид они были не слишком противными. Наоборот…

Подойдя к дому, он вспомнил статью критика Зыбалова. Хорошо еще, что вчера он не погорячился, как нынче с юношами, и не ответил Зыбалову в газете этак же, сдвинув пластинку браслета. Да и в чем виноват Зыбалов? Проявил себя верным движению хлопобудов. И все. А может, он и искренне писал заметку, может, и впрямь плохим музыкантам была предоставлена сцена и зал Клуба медицинских работников? Впрочем, так оно или не так, но сами хлопобуды раздражали Данилова. Хлеще прежнего раздражали… Однако следовало пока терпеть…

33

В театре трубач Тартаковер сообщил Данилову, что его ждет приятный сюрприз – галстук из Канады. При этом Тартаковер рассмеялся. Данилов уловил в его смехе ожидание некоего удовольствия.

Года два назад театр был на гастролях в Монреале. Оркестранты из местной оперы подружились с москвичами, а теперь трое из них приехали в Москву туристами, захотели встретиться со старыми знакомцами, привезли сувениры. Альтисты Монреаля передали с ними каждому из членов альтовой группы театра по галстуку. Стало быть, и Данилову приехал из Канады галстук. «А где он?» – спросил Данилов. Тут не только Тартаковер рассмеялся, но рассмеялись и другие музыканты, подошедшие к Данилову. Было видно, что в разговоре с ним они лишь продолжают забаву. А может быть, ждут от него каких-либо действий.

Вышло так. Монреальские музыканты пожелали с московскими коллегами тихо посидеть в дружеской беседе. Деятельный виолончелист Туруканов взялся устроить сидение за столом, пригласил монреальцев в свои дом, пообещал большой сбор, дружбу, музыку, закуску и прочее. Канадские друзья пришли, увидели дома у Туруканова двух скромных виолончелистов и его жену, скрипачку, были удивлены, отчасти раздосадованы. Посидев, ушли, сгрузив у Туруканова все сувениры. В том числе и галстуки для альтовой группы. «Так что же, – спросил Данилов, – к Туруканову идти?»

Тут все вокруг Данилова зашумели с возмущением. Оказывается, Туруканов и не собирался раздавать никаких галстуков. Туруканову из слов гостей якобы показалось, что все сувениры привезены именно ему и его жене, скрипачке. Кое-какие сувениры, в их числе – альбомы с видами провинции Квебек и баночки с канифолью, он отдал двум своим друзьям, виолончелистам, представлявшим на встрече с канадцами оркестр. Те рассчитывали на большее, обиделись на Туруканова, а еще серьезнее на его жадную жену, и рассказали обо всем в оркестре.

Минутами раньше Данилов не хотел идти к Туруканову, а теперь почувствовал, что пойдет.

Туруканов сидел сейчас в маленькой комнате, принимал профсоюзные взносы.

«Я к вам, Григорий Евгеньевич», – сказал Данилов. «Володенька, – сказал Туруканов, – у вас же за этот месяц

заплачено…» «Разве? – удивился Данилов. – Но я к вам, Григорий Евгеньевич, по иной причине… Говорят, вы галстуки раздаете…» «Какие галстуки, помилуйте, Володенька?» – строго сказал Туруканов. «Канадские». «Какие канадские? – пожал плечами Туруканов. – Что за шутники послали вас ко мне?» – Но было видно, что он смущен. «Мне неудобно говорить вам об этом, выходит, что я вымогаю у вас какой-то галстук, – сказал Данилов, – но и мне неловко, я встретил вчера альтиста Вернье из Монреаля, он между прочим спросил, как мне понравился переданный вами галстук…» – Насчет встречи с альтистом Вернье Данилов от волнения приврал, но у Туруканова слова об этой встрече не вызвали сомнений. «Но, Володенька, – сказал Туруканов тихо, пряча глаза, – зачем вам галстук, вы ведь носите бабочки?» «Да, бабочки, – подтвердил Данилов. – Но я и костюмы надеваю. Однако разве тут в галстуке дело?» Туруканов молчал, бумаги оставил. «Нам надо спешить, – сказал Данилов, – давайте я возьму галстук и пойду…» «Нет здесь никаких галстуков! – чуть ли не плача произнес Туруканов. – Я не захватил… Может быть, ваш, Володенька, дома найдется…» «А это что у вас из пакета торчит?» – спросил Данилов, ощущая в себе бестактную напористость. «Где? Из какого пакета? Ах, из этого?» Из пакета, устроенного на стуле, ничего не торчало, но на красивой бумаге с цветочками имелись английские слова, возможно, сообщавшие название галстучной фирмы. Туруканов стал объяснять Данилову, что это так, мелочи, их лично ему подарили канадские друзья, а он, от себя, намерен сделать приятное хорошим людям. «Кому?» – решительно сказал Данилов, будто пистолет в руке держал. Туруканов ответил. Имелись в виду один из дирижеров, концертмейстер, влиятельный общественник, словом, все полезные люди. Данилов сказал: «Не только ведь я галстук жду, но и вся альтовая группа». «Да что вы, Володя, – рассердился Туруканов. – Я, конечно, посмотрю дома, не оставили ли вам канадцы галстук, но уж от этих бредней об альтовой группе вы меня увольте… Да и что это за артисты, которые только о тряпках и думают… Вам я и вправду посмотрю…» Туруканов, видно, решил отделаться от бестактного альтиста, к тому же редактора стенной газеты «Камертон». Он открыл пакет и, покопавшись в нем, со вздохом потянул синий в белый горошек галстук, но галстук сразу не кончился, а оказался длинным, таким, будто бы имел продолжение в квартире Турукановых на Сивцевом Бражке. Он как бы разросся, стал шириной в полметра и пошел пятнами, словно был сшит из цветных лоскутов. Отчетливо проглядывались на полотне галстука как бы вдавленные в него носовые платки, фотографии с видами провинции Квебек и реки Святого

Лаврентия, пластинки и магнитофонные ленты, лезвия бритв, носки, дважды дамские колготы, одни в листочках, другие в черных сердцах. Туруканов потел, говорил в отчаянии: «Что же это? Откуда это?», пыхтел, однако вытягивал и вытягивал галстук, остановиться не мог. Лишь когда галстук занял чуть ли не полкомнаты, из пакета объявился его конец.

«Фу-ты! – расстроился Данилов. – Опять я сгоряча перестарался…» Туруканов же в испуге и растерянности ходил вдоль возникшего из пакета галстука, все желал дотронуться до странной и, возможно, бесполезной вещи, но и руку то и дело отдергивал от галстука, боясь обжечься. «Как же это? Откуда это?» – повторял он и с неким опасением взглядывал на Данилова.

Позвонил телефон. Туруканов не сразу поднял трубку, будто и из трубки могло что-то выползти или выстрелить. Данилов тут же, хотя и стоял от телефона метрах в трех, услышал крик жены Туруканова. «Все улетело! – кричала она. – Улетело все!» «Что улетело?» – спрашивал Туруканов. «Все! Все! Все! Галстуки, пластинки, колготы, все!» «Куда улетело?» «Откуда я знаю, куда улетело! Куда-то! Сквозь стены! От нас!» «Успокойся, – говорил Туруканов, – вызови врача!» «Ты думаешь, врач все вернет?!» Повесив трубку, Туруканов опять в испуге посмотрел на Данилова и пробормотал: «Как же это? Ведь этого не может быть! А? Как же это?» Данилов пожал плечами и вышел из комнаты. «Неужели взносы у меня действительно уплачены?» – опять удивился Данилов. Коллеги обступили его. «Есть у Туруканова один большой галстук, – сказал Данилов, – а обычных, выходит, что и нет…»

После репетиции альтист Чехонин спросил Данилова, отчего он не едет домой.

– Мне «Свадьбу» играть, – сказал Данилов.

– Да ты что? – удивился Чехонин. – Ты сегодня свободный. Я играю.

Данилов побежал к инспектору оркестра, выяснил, что две недели назад плохо изучил расписание. С ним и прежде случалось такое. Однажды за неявку на утренний «Золотой петушок» он получил выговор и не смог поехать на гастроли в Монголию. Теперь бы Данилову пуститься в Останкино, насладиться домашним уютом, поспать, но он после некоторых колебаний решил послушать «Свадьбу Фигаро» из зала. И когда стал слушать, понял, что он не знал как следует этой музыки! Был же случай у них в театре. Контрабасист, игравший в оркестре лет сорок и отправившийся на пенсию, достал по знакомству билеты на «Кармен», привел в театр внука. В первом же перерыве он

прибежал в яму, чуть ли не закричал: «Музыка-то какая! Увертюра-то какая! Опера-то какая! Я-то всю жизнь думал, что в ней только пум-пум, а в ней, оказывается, и та-ра-ра-ра…» – и пропел тему тореадора. В яме Данилов играл «Свадьбу Фигаро» десятки раз, а из зала слушал ее впервые. Поначалу он сидел открыв рот, потом стал петь. Текст оперы он знал наизусть. Но Данилов не только пел, а и несколько раз, забывшись, обращался со словами: «Музыка-то какая! Ансамбль-то какой!» – к старичку, сидевшему прямо перед ним, при этом чуть ли не за плечо старичка хватался в восторге. Старичок поначалу смотрел на Данилова удивленно, потом стал сердиться, попросил Данилова помолчать, сказав, что люди на сцене поют лучше. Да и другие зрители из ложи с шиканьем оборачивались в сторону Данилова. Данилов смутился, пел он теперь про себя и оркестр поддерживал про себя, однако нет-нет, а срывался и чуть слышно звучал в ложе бенуара.

Оркестр моцартовским составом играл хорошо и без него, Данилова, да и можно ли было плохо играть эту музыку! В антрактах Данилов не ходил ни в яму, ни в буфеты, он не хотел спускаться в быт. Тихо сидел в ложе бенуара на гостевом стуле, устроенном ему капельдинером Риммой Васильевной. Весь был в Моцарте.

После третьего антракта он сконфузился. Он заснул и проспал минут пять. Лишь при звуках дивного голоса Керубино, не явившегося на военную службу, Данилов проснулся. Как он ругал себя! Но тут же себя и простил. Ну, заснул, ну что же делать-то? Ведь устает… Хоть бы отдохнуть недельки две. Покупаться бы в морских волнах.

– Молодой человек, – сказал старичок, сосед по ложе бенуара, вы своим стоном мешаете слушать…

– Извините, – сказал Данилов, – музыка больно за душу берет…

И по дороге домой Данилов пел про себя Моцарта. «Кабы я мог написать такую музыку! – думал Данилов. – Какой же идиот я был десять дней назад, когда сыграл Переслегина и решил, что все. Кончилось! Ведь было! Было! И отвращение к музыке было! Как дурной сон! Вот тебе и Моцарт. Пусть по нынешним понятиям у Шенберга высшая математика, а у Моцарта, скажем, алгебра, так что же? Нет никакой алгебры, и нет никакой высшей математики, нет никакого восемнадцатого века, а есть вечное и великое, есть музыка». Шенберга Данилов в душе вовсе не громил, он относился к Шенбергу с уважением, а Вторую камерную симфонию его и «Пережившего события Варшавы» почитал и держал у себя на магнитофонной пленке. Уроки

двенадцатитоновой теории Шенберга чувствовал в симфонии Переслегина. И все же теперь он как бы возвышал Моцарта над Шенбергом, то ли из азарта, то ли пытаясь пересилить мнение о музыке скрипача Земского. Вот тебе традиционная музыка, а что делает! Музыка нужна, нужна, и он, музыкант Данилов, должен играть. Играть и играть! И для себя и для людей. Данилов словно бы исцелился сейчас окончательно от тяжкого недомогания. Словно бы возродился наконец для музыки! Так оно и было.

Данилов все напевал про себя в троллейбусе темы из «Свадьбы Фигаро», потом испугался: не признают ли пассажиры его тронувшимся, поглядел по сторонам. Нет, все были в своих заботах. На всякий случай Данилов достал из кармана пальто вечернюю газету, чтобы отвлечься от музыки, просмотрел программу телевидения, объявление о спектаклях, некрологи, прочитал «Из зала суда» и «Календарь садовода», потом взглянул на первую страницу и увидел заметку «Интересное явление». В заметке описывались опыты геофизиков геологоразведочного института. Летом эти геофизики были в экспедиции на Камчатке, облазали вулкан Шивелуч. Их лаборатория интересуется теорией ядра Земли. Они привезли в Москву образцы застывшей лавы вулкана Шивелуч. И вдруг, совершенно неожиданно, при термической обработке из куска лавы вулкана Шивелуч весом семьсот сорок граммов образовались четыре крупных изумруда и живая бабочка Махаон Маака. Руководитель лаборатории член-корреспондент Н.Г.Застылов заявил журналисту: можно предположить, хотя и с некоторыми опасениями совершить серьезную научную ошибку, что ядро Земли состоит целиком из жидкого изумруда. А возможно, что и не жидкого. Или не совсем жидкого. Во всяком случае геофизики лаборатории находятся на пороге большого открытия. Несколько затрудняет разработку новой теории явление бабочки Махаон Маака, в особенности если принять во внимание то, что размах крыльев у нее на семь сантиметров больше общепринятого и, по странной игре природы, кроме хоботка есть зубы.

«Отчего же изумруды-то? – удивился Данилов. – И бабочка? Что же это за материя попалась мне тогда под руку?» Сегодня, решил Данилов, он займется камнями Шивелучской экспедиции. Или нет, завтра. Тут он сообразил, как расстроится Клавдия, прочитав заметку. Бедная женщина. И надо же, чтобы именно изумруды! А бабочка оказалась чуть ли не сильнее Моцарта, о ней думал Данилов, направляясь с троллейбусной остановки по улице Цандера к дому. Мелодии «Свадьбы» в нем почти умолкли. Однако тихонечко все-таки звучали.

Данилов открыл свой почтовый ящик. Газет не было. В ящике

лежал листок бумаги в клеточку, сложенный вдвое, и на нем рукой Земского – Данилов эту руку знал, Земский иногда приносил заметки в «Камертон» – было написано: «Ну как, Володя, с тайной М.Ф.К.?»

«Что он ко мне пристал? – рассердился Данилов. – И тайны, небось, никакой нет».

Когда Данилов стал открывать дверь, его обожгло предчувствие недоброго. Что-то уже случилось или вот-вот должно было произойти. В квартире его был жар и чем-то воняло. Данилов бросился на кухню и там, на столе, на фарфоровом блюде, взятом кем-то из серванта, увидел лаковую повестку с багровыми знаками. Остановившись на секунду, Данилов все же решился шагнуть к столу и прочел пылающие слова: «Время „Ч“. Сегодня ночью. Без пятнадцати час. Остановка троллейбуса „Банный переулок“. Дом номер шестьдесят семь».

«Ну вот и все», – подумал Данилов и сел на табуретку. Лаковая повестка тут же исчезла, надобности в ней уже не было. «Ну вот и все», – повторил про себя Данилов.

Времени у него оставалось мало. Полтора часа. Минут двадцать пять из них следовало уделить троллейбусу. А то и больше. Троллейбусы в эту пору ходят редко, минут пятнадцать придется ждать.

Переодеваться Данилов не стал, в театр он всегда являлся в приличном виде. Данилов просмотрел свои земные распоряжения и письма, приготовленные накануне дуэли с Кармадоном, остался ими доволен. Никого он, кажется, не обидел. Ни тех, кому был должен. Ни тех, кто и ему был в чем-то обязан. Ни Клавдию. Может быть, она еще вспомнит о нем с теплыми чувствами. Впрочем, ему-то что.

Вот Наташа… Пожалуй, хорошо, подумал Данилов, что она решила сегодня заняться шитьем дома. Но позвонить ей, наверное, следовало. Данилов никак не мог поднять трубку. Подходил к телефону и отходил от него. Данилова останавливало не только волнение, не только боязнь причинить боль Наташе. Он боялся, как бы его звонок не стал для Наташи опасным. Впрочем, что добавил бы прощальный звонок к прежним знаниям о Наташе порученца Валентина Сергеевича!

Данилов поднял трубку.

Наташа подошла к телефону не сразу, наверное от швейной машинки, и, возможно, дело с маркизетовой блузкой, срочно заказанной ей инженершей с «Калибра», приятельницей Муравлевой (Данилов видел начало Наташиной работы), двигалось неважно. Голос у Наташи был усталый.

– Наташа, – сказал Данилов, стараясь быть твердым, однако

чуть-чуть заикаясь, – наступила минута, о которой я предупреждал. Спасибо за все. И больше – ни слова.

Он повесил трубку.

Альт Данилова остался в театре, в несгораемом шкафу, Данилов подошел к фортепьяно, стал играть. Что он играл, он и сам не понимал. Руки его двигались как бы сами собой, музыка была стоном Данилова, отчаянием его и болью.

Без десяти двенадцать Данилов встал, снова просмотрел все свои бумаги, провел рукой по крышке фортепьяно, словно бы погладил его. Прикосновение его было легким, отлетающим, ничто уже не связывало Данилова со старым инструментом, инструмент потерял звук. Данилов надел пальто и шапку, проверил, не включены ли где в квартире электрические приборы, не горит ли, случаем, газ, погасил во всех помещениях свет и, не спеша заперев дверь, вызвал лифт.

34

Троллейбуса, как и предполагал Данилов, пришлось ждать. Было зябко и сыро. Снег к ночи опять растаял. Наконец троллейбус подошел. Автомат был в нем новой системы, Данилов опустил пятак, подергал металлическую ручку, билет не выскочил. Данилов обернулся в сторону единственного пассажира, нетрезвого, видимо задумчивого в своей нетрезвости, сказал виновато, но вместе с тем с осуждением технического новшества:

– Не дает билета…

– А! – махнул рукой пассажир, на Данилова, впрочем, не поглядев.

«Не Ростовцев ли это?» – обеспокоился Данилов. Но нет, пассажир был случайный, не Ростовцев, мрачный человек, пивший, наверное, с горя или по привычке.

Данилов сел. Вздохнул. Витрины пустого и будто подводного в ночную пору магазина «Океан» проплывали справа. Вспомнился Данилову виолончелист Туруканов, испуганный явлением большого галстука, вспомнились две барышни, чьи жизни из-за легкомыслия его, Данилова, могли оказаться теперь разбитыми, вспомнился водопроводчик Коля, дышавший паровозным дымом, вспомнился Кудасов, иссушивший себя сомнениями в высоких грезах. Да мало ли что вспомнилось теперь Данилову. Скольких дел он не закончил, в скольких судьбах должен был – и обещал себе – принять участие. А вот не принял, не успел. Все спешил, летел куда-то или несся по волнам.

«Я и в милицию не зашел!» – спохватился Данилов. Теперь случай с альтом, скорее всего, останется среди нераскрытых дел и в отчетную пору будет тяготить пятьдесят восьмое отделение милиции. Впрочем, Данилов несколько обрадовался. Теперь как будто бы не музыка, не Наташа, не желание жить и быть самим собой вынуждали его приложить усилия, чтобы уцелеть и вернуться, а именно обязательные мелочи приобретали для него чрезвычайное значение. Надо их доделать-то! Вот Данилов и обрадовался. Понимал – и при всем своем легкомыслии, – что нынче особое путешествие, не похожее на прежние, и все же легонько тешил душу. До тех пор, пока троллейбус не одолел Крестовский мост.

«Что я думаю о пустяках! – встрепенулся Данилов. – Ехать-то всего две остановки. Мне бы теперь размышлять о высших смыслах». Но тут же Данилова пронзило соображение, – впрочем, оно не могло быть новым для него – о том, что сейчас за ним

наблюдают, все видят. А главное – им ясны все его мысли, все его порывы, все моментальные и неуловимые даже для самого Данилова движения его души. Как унизительно было ощущать это. Мука-то какая! Даже если бы он теперь волевым усилием заставил себя пребывать в некоем спокойствии, то и это его нравственное напряжение было бы, естественно, понято и проанализировано. Тут Данилов несколько хитрил. Или полагал, что хитрит. Он-то считал (правда, не без определенных опасений), что все сложности его натуры, ход его мыслей и чувств вряд ли до конца поняты и самыми чувствительными аппаратами.

Мысли, в особенности в людском обиходе, чаще всего становятся известны благодаря их словесному выражению. Но слово, притом скованное привычками языка, примитивно и бедно, оно передает лишь часть мысли, иногда и не самую существенную, а само движение мысли, ее жизнь, ее трепет, и вовсе не передает.

Именно музыка, был уверен Данилов, тут куда вернее. Для него, альтиста Данилова, – без всяких сомнений.

Передавать свои состояния он стал порой не в виде слов, а в виде музыкальных фраз или коротких звуков. Вышло все само собой. Потребность привела к этому. Отчасти озорство. Поначалу его мысленный музыкальный язык был простым. Данилов взял Девятую симфонию Бетховена – в ту пору он очень увлекался Бетховеном – и из ее звуков и выражений составил для себя как бы словарь. Сам термин «словарь» его, естественно, не устраивал, и Данилов заменил этот термин звуками, причем произнесение их доверил гобою. Некоторое время Данилову хватало звукового запаса Девятой симфонии. Но потом пошли в дело фортепьянные концерты Чайковского и «Пиковая дама», Четвертая симфония Брамса, отдельные фразы итальянцев, Вагнера, Малера, Хиндемита, Шенберга, не забыты были Стравинский с Прокофьевым (в особенности его «Огненный ангел») и Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Данилов даже стал себе много позволять. С удовольствием, но и с разбором, как некий гурман, распоряжался он чужими звуками. Частушечные темы Щедрина использовал для передачи хозяйственных наблюдений. Достижениями биг-бита прикрывал сентиментальные чувства по поводу утраты Альбани. Нидерландские акапелльные хоры эпохи Возрождения сгодились для скрытых угроз Данилова превратностям судьбы. Потом Данилов и сам, увлекшись, принялся создавать звуки и фразы, выражающие его состояние. Чаще всего он думал в суете и спешке, мысли его были скорые, энергичные и как бы рваные, музыкальные средства использовались тут самые скупые, рациональные, было не до

украшательств, не до разработок темы, не до ее оркестровки. Увлекшись самим процессом выражения своих мыслей и чувств, Данилов обратился и к другим музыкальным школам с их особыми законами и сладостями – негритянской, индийской и дальневосточной. И стали звучать в нем маракасы, ситары, рабобы, сямисэны, кото, бамбуковые флейты – сякухати. Для построения целых, пусть и моментальных, фраз хороши были и семиступенный диатонический индийский звукоряд и пятиступенные японские лады – миякабуси и инакабуси. Очень часто Данилов самым причудливым образом смешивал европейские звуки с восточными, и нибелунговским медным в нем вторила застенчивая флейта сякухати, из-за спешки мысли Данилова не допускавшая, правда, привычных для нее мелизматических украшений и опевания ступеней. Реже других инструментов Данилов использовал альт. Когда же случались минуты покоя – покоя чисто физического, покоя чувств и мыслей не было, – соображения Данилова принимали более или менее правильную форму, фразы повторялись им в разных вариациях, иногда – в радости – с удовольствием, как некое мечтание, иногда в отчаянии и нервно, фуги с их полифонией рождались тогда в Данилове, бывало, что и сонаты. А в общем, музыка была своеобразная, возможно, что и странная, во всяком случае искренняя, именно искренняя. Кабы ее записать и исполнить ради опыта. Но где уж тут записывать… Так или иначе внутренняя музыка увлекла Данилова, он привык к новому языку, главным для него было творение новых звукосочетаний, порой и мелодий. Музыкальная система Данилова, теперь уже его собственная, усложнялась, импровизации его были неожиданные и упоительные, а что касается его предполагаемых исследователей, то для них, считал Данилов, эта его внутренняя музыка могла оказаться и загадкой. Впрочем, теперь ему предстояло проверить, так ли это…

Троллейбус подошел к Банному переулку.

Данилов встал. Сам не зная зачем, в некой нерешительности оглянулся на задумчивого пассажира, будто тот мог его сейчас ободрить или даже удержать. Пассажир не поднял головы. «А не проедет ли он свою остановку?» – обеспокоился Данилов.

– Извините, пожалуйста, – сказал Данилов. – Вам где сходить? Вас не увезут в парк?

– Ты не проедь! – с вызовом произнес мужчина. – Это тебе сходить, а мне не надо. А ты сойдешь, и все равно тебя увезут в парк… А там люстры…

Данилов поднял воротник, до того стало ему зябко. Часы на углу Больничного переулка показывали без двадцати четырех час.

По соседней, Второй Мещанской, ныне Гиляровского, прогремел по металлу трамвай, видимо, отправился на отдых в Ростокино. «Неужели этот пьяный мужчина, – с тоской подумал Данилов, – последний человек, которого я видел?..» Оставалось девять минут его земного существования, дом номер шестьдесят семь стоял в ста метрах от Данилова.

Дом шестьдесят семь, как и соседний, продолжавший его, дом шестьдесят девятый, был трехэтажный, с высоким проемом въезда во двор в левой своей части. В этом проеме метрах в семи от уличного тротуара и находилась дверь для Данилова. Когда-то и с левой стороны к шестьдесят седьмому примыкал дом, дверь в проеме пускала жильцов на крутую лестницу, она вела на второй этаж и чердак. Лет пятнадцать назад старый дом сломали, на его месте поставили табачный и квасной киоски, а чуть подальше устроили баскетбольную площадку, правда, теперь стойки для корзин были покорежены, кольца погнуты и посреди площадки утвердился стол для любителей домино и серьезного напитка. Дверь же в сломанный дом осталась, ее не заделали, и, поднявшись на третью ступеньку бывшего крыльца, можно было открыть дверь и шагнуть в небо. Кто и как присмотрел этот дом, Данилов не знал, но уже двенадцать лет являться в Девять Слоев по чрезвычайным вызовам полагалось исключительно здешним ходом. Прежде Данилов относился к этому указанию с иронией, было в нем нечто нарочитое, театральное, подобные игры могли быть рассчитаны лишь на детей. Но теперь пропала ирония. Ужасен был шестьдесят седьмой дом в ночную пору, жалок был и плох. Днем он не бросался в глаза, люди жили в нем обычные. А теперь этот шестьдесят седьмой наводил тоску. Рядом стоял семьдесят первый дом, огромный и угрюмый, его серые тяжелые полуколонны казались каменными ногами городского чудища. Низкорослых старичков соседей, притулившихся к нему, он держал как бы на поводке, властным присутствием давая понять и им и всем, что они – гримасы прошлого и вот-вот должны развалиться и исчезнуть. Но пусть еще стоят, пока точное время им не назначено[3]. И на самом деле была теперь какая-то мерзкая гримаса в кривых линиях кирпичных карнизов и межэтажных поясков старых домов, не выдержавших тяжести своего века, в обреченно изогнутой балке проезда во двор. Дом шестьдесят седьмой и вправду вот-вот должен был развалиться и исчезнуть, и каждому, кто являлся к нему, вызванный роковой повесткой с багровыми знаками, не могло не броситься это в глаза, не могла не явиться мысль, что вот и он все время был на поводке у чего-то сильного и властного и теперь и ему предстоит исчезнуть. Дом имел вид виноватого в чем-то, и Данилов,

оказавшись рядом с ним, ощутил себя виноватым.

В проезде было мрачно, воняло котами и гнилой капустой. Данилов подумал, что, наверное, и на этот мрак, и на гнилье, и на котов рассчитывали сочинители инструкции. Вызванные повестками в свои последние мгновения на Земле должны были испытать унижение этого пошлого места, запомнить Землю мерзкой, ощутить свою мелкость и беспомощность. Тут было как бы подведение черты, подготовка к переходу в состояние еще более унылое, а возможно, и в никакое. Данилов наступил на что-то скользкое и вонючее, чуть не упал, выругался, ногой пошаркал по асфальту, стараясь оттереть с подошвы грязь. Потом шагнул на ступеньку крыльца. Дернул ручку двери. Дверь не поддалась. Данилов нагнулся. Три гвоздя, вбитые, видимо, по распоряжению техника-смотрителя, крепко держали дверь. Значит, люди в ЖЭКе сидели все же хозяйственные и углядели наконец, что осиротевшая дверь хлопает без дела. А возможно, дверь и прежде иногда забивали, но находились причины, по каким жэковские гвозди исчезали без следа. Ни гвоздодера, ни кусачек у Данилова не было, сняв перчатки, Данилов попытался раскачать гвозди, но только ободрал до крови пальцы. Он злился, понимал, что может опоздать. И тут вспомнил о браслете. «Что же это я? – подумал Данилов. – Да и каким же манером я собирался пускаться в странствие?» Он подвинул пластинку браслета, гвозди вылетели из досок и исчезли. Данилов открыл дверь. И сейчас же, не дав себе ни секунды на колебания, шагнул в небо.

35

Что-то будто завертело его, сжало, ударило, что-то хрустнуло, возможно, хрустнуло в нем самом, какие-то нити рвались и цепи звякали глухо, вихри обдували Данилова, горы падали на него или он сам падал в раскаленные кратеры. Иными случались его прежние перемещения во времени и пространстве. Больно было Данилову и страшно.

Но прибыл Данилов куда ему следовало прибыть. Он находился теперь невдалеке от Девяти Слоев, в Колодце Ожидания, известном ему с чужих слов. Темень была всюду. Да и не темень, а чернота. Однако Данилов в черноте не растаял, он все еще ощущал себя живым неуверенным. Легче ему от этого не было. Он чувствовал, что с четырех сторон его окружают стены, их нет, но он не сможет сквозь эти несуществующие стены куда-либо уйти. Он знал, что стены продолжаются и вверх и вниз и нет при них ни пола, ни потолка, колодец бесконечен, но ему, Данилову, не дано в нем ни летать, ни плавать. Поначалу Данилов думал, что и позу менять не позволят, но нет, не вытерпев неведения, Данилов чуть выпрямил ноги, опустил руки, ожидал кары, однако никаких запретительных сигналов не последовало. Значит, можно! Что руки, что ноги, он мог существовать сейчас и застывшим, не это было важно, его обрадовало обретение пусть и крошечной, но свободы. Или видимости крошечной свободы. В черноте Колодца ничего не происходило. И, по всей вероятности, ничего и не должно было происходить. Сама чернота, сама бездеятельность Данилова, ощущение им собственного бессилия, предчувствие страшного впереди должны были его изнурить. Времени он сейчас не чувствовал, то есть не чувствовал того времени, какое могло течь, разрываться, останавливаться или винтиться в Девяти Слоях. Это удручало Данилова, обрекало на некое безволие, неготовность к неожиданностям, а стало быть, и к мгновенному сопротивлению им. Данилов понял, что если он устроит в самом себе отсчет времени земным способом, ему станет легче укрепить себя. Так и вышло. Теперь он хоть и в мелочи, но был хозяином своего состояния. Он сам установил в Колодце время, привычное для него. И, отсчитывая час за часом, говорил себе: «Ну вот и еще выдержал. А они сколько протянут? И что придумают после?»

Проходили сутки (в земном измерении, хоть на самой Земле, полагал Данилов, могло не сдвинуться и секунды). Данилов все считал. Однажды он снова изменил позу. И не потому, что в его теле что-то затекло, а из желания не выглядеть некрасивым или

жалким. Какой-то скрюченный висел он в Колодце.

И обнаружилось перед Даниловым видение. Явился старательный порученец Валентин Сергеевич в ношеном-переношенном тулупе, в валенках, снабженных галошами, с метлой в руках. Стоял он сейчас в печальном проезде под домом шестьдесят седьмым на Первой Мещанской, в ночной подворотне, и имел вид дворника. На нем был темный передник в заплатах и даже дворницкая бляха, давно отмененная в Москве. Валентин Сергеевич опустил метлу, стал сгребать ею вонючие и гнилые предметы, вызвавшие досаду Данилова в последние его мгновения на Земле. Греб Валентин Сергеевич плохо, и выходило так, что он ничего не сгребал. Валентин Сергеевич стоял на месте, и метла его повторяла одно и то же как бы застывшее движение. Сам Валентин Сергеевич выглядел сейчас заведенным механизмом. Наконец его завод кончился, он замер. Потом дернулся, опять начал водить орудием труда, не позволяя себе при этом ни увеличить, ни уменьшить размах движения метлы, хотя бы и на сантиметр.

Теперь Данилов услышал и звуки. Сморкание Валентина Сергеевича, его вздохи, шуршание чего-то по асфальту. Валентин Сергеевич, до этого не замечавший Данилова, посмотрел на него с укором, погрозил пальцем. Он и лицо скорчил: «Ну что, дождался своего, негодный!» Но тут ему, видимо, на что-то указали, Валентин Сергеевич сгорбился и тихонько пошел, его дворницкая бляха стала заметнее, весь его облик как бы говорил: «Да, конечно, я помню, помню, я мелочь, я ничтожество, я свое дело исполнил, и все…» Подворотня исчезла, и Валентин Сергеевич удалился в черноту.

Опять Данилов пребывал в черноте, выжидая, когда наконец его подвергнут новым воздействиям. А о нем как будто бы забыли.

Данилову захотелось снять пальто. Ему не было жарко. Как, впрочем, не было и холодно. Но пальто, шапка и перчатки начали стеснять его. Он бы с удовольствием расстегнул пуговицу рубашки и убрал бабочку, он бы и шнурки ботинок развязал, хотя ботинки не жали. От чего он желал свободы? От вещей? Пусть для начала и от вещей… Но тут же Данилов сказал себе, что это нервы. Данилов не расстегнул ни единой пуговицы пальто. И перчатки не снял. А шапку натянул покрепче и уши ее опустил, будто некий шум раздражал его. Но ничто не звучало. И Данилов повел про себя партию альта из симфонии Переслегина.

Потом перестал. То ли ослаб, то ли отчаялся, в нем сейчас жила обида маленького и слабого ребенка, чуть ли не со слезами глядящего на взрослых: «За что вы меня! Что плохого я сделал

вам?» Данилову хотелось, чтобы он и вправду стал сейчас маленьким, беззащитным (беззащитным он, впрочем, и был) и чтобы кто-нибудь сильный приласкал его или хотя бы пожалел, простил ему капризы и шалости. Данилов и бороду сейчас, пожалуй бы, сбрил. Если бы попросили. Однако никто не увидел в Данилове обиженного ребенка, ни вздоха сочувствия Данилов не услышал.

Он вообще по-прежнему ничего не слышал. Скребки метлы Валентина Сергеевича, его вздохи и сморкания вспомнились нечаянным и бесценным подарком. А вдруг и само время «Ч» уже началось? И может быть, заключалось оно в вечном отлучении Данилова от звуков. Ведь кураторы и исследователи могли уже все решить, и не было у них никакой нужды проводить с Даниловым разговоры. «Так нельзя! – ерепенился Данилов. – Не имеют права! Нужно объяснить мне, почему и что!» Но сразу же он почувствовал, что его возмущение, как и готовность сбрить бороду, как и желание оказаться на глазах у публики бедным, заблудившимся ребенком, сами по себе бессмысленны, и его, Данилова, показывают лишь жалкой личностью. Ожидание подачек и милостей было изменой самому себе, да и за подачки эти и милости следовало бы еще платить по высоким ценам.

Он закрыл глаза, но сразу же сквозь сомкнутые веки увидел некое движение где-то рядом. Опять то ли скользили тени, то ли колыхались снятые с чьих-то незаживших ран бинты. Данилов устало и словно бы нехотя открыл глаза.

Тени или полотнища унеслись, покачиваясь, в глубину черноты, растворились в ней, а перед Даниловым появились шесть бараньих голов на коротких сучковатых палках. Головы перемигивались, словно кривлялись, скалили зубы и подскакивали, норовя толкнуть друг друга или укусить.

Вскоре вместо них возникла небольшая фигура мужчины, смутно Данилову знакомого. «Это мой Дзисай!» – догадался Данилов. Своего Дзисая он никогда не видел, но был уверен теперь, что это именно его Дзисай. Дзисай опустился на колени, видно, собираясь молить о чем-то. Возможно, о смягчении своей участи. А возможно, и о смягчении участи Данилова, с судьбой которого он был связан по желанию прекрасной Химеко. Лицо Дзисая исказила гримаса предсмертной муки, он опустил голову. Прежде Данилов полагал, что его Дзисай – порождение наивных времен, о каких и помнят немногие, – должен был бы носить кимоно и иметь стекающую на спину косичку, но нет, Дзисай был одет в техасы и кожаный пиджак, а волосы отрастил пышные, длинные, будто бы играл на электрической гитаре. «Как он молод! Он совсем юноша! – содрогнулся Данилов. – Нет, Химеко,

не надо… Не надо… Молю тебя…» Данилов закрыл глаза, но Дзисая он наблюдал и с закрытыми глазами, Химеко не услышала его мольбы, да вовсе и не Химеко явила Дзисая или его тень пред очи Данилова. Возможно, Химеко уже принесла Дзисая в жертву ради спасения Данилова, и теперь Данилову были намерены показать, как это произошло и почему жертва вышла напрасной. Данилов открыл глаза, на месте Дзисая было нечто багровое, растекшееся, это растекшееся стало исходить дымом и рассеялось в черноте. «А ведь я принял бы жертву, принял бы!» – почувствовал Данилов. Данилов жалел и юношу Дзисая, погибшего бессмысленно, и себя. Он заплакал бы, коли б знал, что на него не смотрят… На мгновение ему показалось, что возник нежный запах цветов анемонов, вдруг Химеко сквозь все препоны удалось высказать ему теперь сострадание? Но тут же глаза и носоглотку ему защипало, не цветы анемоны благоухали, а, похоже, где-то невдалеке без звука разорвалась граната со слезоточивым газом. Газ этот оказался теперь хорош для Данилова. Неприятность, доставленная им, как бы напомнила Данилову, что и его судьба ничем не лучше судьбы Дзисая.

А перед Даниловым уже неслись световые вихри – и фиолетовые волдыри лопались в них. Вихри эти скоро уже не казались Данилову сообщением о чем-то, они стали реальностью, приобретали мощь и глубину, а глубина их была – в миллиарды земных километров. Данилову даже показалось на мгновение, что стены черного колодца исчезли, но это было ошибкой. Действительно, глубина его видений была сейчас в миллиарды километров, но и черные стены остались. Вытянув руки, наверное, можно было дотронуться до них, впрочем, естественно, ничего не ощутив.

Тут он вспомнил, что какое-то время назад – а счет времени он уже и не вел – он заставил зазвучать в себе музыку Переслегина. Однако музыка тогда же и затихла. Неужели он стал так слаб? Или себе не хозяин? Или засмотрелся на видения? Нет! Данилов решил, что немедленно в его суверенной личности будет восстановлен обычный ход жизни, нисколько не зависимый от бытия в колодце и опытов исследователей. Усилием воли он опять заставил себя вести счет времени, и тут же «Пассакалья» Генделя стала исполняться в нем классическим секстетом. Что касается мыслей и чувств, то они по-прежнему существовали в нем в двух потоках – словесные и музыкальные.

Видения опять напали на него.

Розовые пузыри все разбухали и лопались, яростные свирепые вихри обтекали их, но иногда и налетали на пузыри, и тогда взрывы ослепляли Данилова. И снова огненные языки и осколки

от этих взрывов разлетались на миллиарды километров. Вспышки и взрывы продолжались долго, но потом они стали случаться реже, словно бы угомонение происходило в их стихии, и, наконец, некоторые успокоенные, упорядоченные формы и линии стали проступать в поначалу раскаленных, нервных потоках. Теперь перед Даниловым висел и переворачивался вокруг невидимой оси мутноватый, чуть искривленный, мерцающий диск, в нем держались, соблюдая тихое движение, светящиеся спирали, закрученные и взблескивающие на концах. Потом Данилов увидел, что и всюду, на разных расстояниях от явившегося ему диска, расстояниях, измеряемых уже не миллиардами километров, а веками и тысячелетиями, висят, вращаются, плавают, копошатся другие диски, спирали, скопления светящихся и черных пылинок – планет и звезд.

Данилов почувствовал, что он перед ними – великан и может ступать по ним, как по кочкам мокрого торфяного поля где-нибудь под Шатурой или Егорьевском. Ступать по ним и властвовать ими. Не хватало лишь сущей малости. Позволения ему, Данилову, вышагнуть из Колодца Ожидания…

Тут же Данилов ощутил себя никаким не великаном, а жалким существом, растерянным и испуганным. Вошью земной перед этими исполинскими дисками, спиралями и сгустками, перед галактиками и вселенными, перед ходом их судеб. Зябко стало Данилову. Тут и шапка с опущенными ушами не могла умерить дрожи. И инструменты секстета, которые Данилов, противясь напору исследователей, все еще заставлял играть «Пассакалью» Генделя, умолкли. А диски и спирали, известные Данилову и прежде, исчезли, маленькая крупинка блеснула в черноте. На Земле ни одна бы электронная установка не смогла бы разглядеть ее или хотя бы дать о ней сведения. Она разрослась, или Данилов был усушен и уменьшен. Данилов уже понимал, что он помещен внутри явленной ему крупинки. Да что крупинки! Внутри ядрышка какого-нибудь захудалого атома, что и науке неинтересен! Или еще унизительнее – внутри простейшей частицы, не знающей на Земле покоя и управы, не словленной там ни одним хитроумным устройством, а здесь, в колодце, покорной и недвижимой. Но теперь в ней, в этой частице или в этом ядрышке, Данилову представились свои мерцающие диски, свои кристаллические построения из сгустков, из скрепов каких-то ледяных шаров и игл, и будто бы шевеление этих ледяных шаров и игл усмотрел Данилов, и явно полет здешнего космоплана привиделся ему, и отчего-то вспомнился Кармадон, мелькнуло даже злое, надменное лицо Кармадона, какое было у него на лыжне в Сокольниках. И вдруг что-то случилось,

разломились диски, стали крениться кристаллические решетки, посыпались с них ледяные шары и иглы, взрываясь на лету или тая. Все свалилось и все исчезло, но он, Данилов, остался. Перед ним сидел сапожник, курносый мужик лет пятидесяти из Марьиной рощи, и чинил парусиновые тапочки, какие носили, придавая им белый цвет зубным порошком, щеголи в Москве в конце сороковых годов. На коленях сапожника был черный кожаный фартук, губами он держал гвозди, хотя для починки тапочек они не были нужны. «Кто это? – удивился Данилов. – Зачем мне его показывают? Вдруг я ему что-то должен? Нет, не помню…» Возле сапожника стала прыгать серая дворняжка, отдаленно напоминавшая Данилову грамотную собаку Муравлевых по кличке Салют. Сапожник с любовью осмотрел починенные им тапочки, остался ими доволен и протянул их собаке. Собака взяла тапочки и съела их. Потом лапой она пододвинула к себе сапожника и съела его. Облизнувшись, она поморщилась, выплюнула черный фартук и сапожные гвозди. Зевнула и ушла. Гвоздей было пять. «А во рту он держал шесть, – вспомнил Данилов. – Ну шесть! Ну, а мне-то что!»

Фартук и гвозди потом долго валялись в пустоте перед Даниловым. Главное же действие производили теперь многочисленные вещи, предметы и машины, знакомые Данилову по Земле. Чемодан, платяной шкаф, угольный комбайн, металлические плечики для брюк, самолетный трап, асфальтоукладчик, электроорган, вращающаяся электрошашлычница с кусками баранины, совмещенный санузел изумительного голубого цвета, автомобиль «Ягуар», игрушечная железная дорога с туннелями и переключателями стрелок, бормашина с плевательницей, скорострельный дырокол для конторских папок, кухонный гарнитур… Впрочем, всего разглядеть Данилов не мог и не имел желания, машины и вещи то и дело возникали новые, в столпотворении вытесняли друг друга, толклись, на месте не стояли, а находились в некоем хаотическом движении. И то разбирались на части, то – энергично, но и аккуратно – собирались в прежних своих формах. При этом именно разбирались кем-то невидимым, а не рассыпались сами по себе. Но однажды части вещей так и не вернулись в привычные соединения, то ли не смогли, то ли им уже не было в этом нужды. Во всяком случае, движение их стало совсем бешеным. Но составные части как будто бы вовсе не зажимались судорожными поисками своих ближних, чтобы вцепиться в них, и уж явно не желали вступать в соединения с чужими составными. Однако что-то происходило. Данилов сначала не мог понять, что именно, но потом, когда из досок,

щитов, панелей, стекол, металлических суставов и блоков, ламп, фарфоровых полукружий, шестеренок, приводов, свечей зажигания, деревянных ножек, колес образовались чуть ли неживые существа, самые разные, со своими фигурами, походками, осанками, одни – гибкие, проворные, словно бы одетые в резиновые обтекаемые костюмы – мешки, другие – густые, водянистые, тяжелые, сонные, с мазутными глазами, – тогда Данилов догадался, в чем дело. Перед ним были сущности вещей и машин, успевших вместиться в Колодце Ожидания, в его, Данилова, пространство и время. Или, может быть, если применить выражение афинского философа, – «чтойности» этих вещей и машин. Освобожденные от своих оболочек и функций, теперь они выявляли стывшие в них порывы и страсти, в азарте наступали на что-то, агрессивные, настырные, жадные, лезли, толпились, лягали это что-то. Данилов понял: они мнут и топчут черный фартук сапожника, не убранный после ухода собаки, Данилов был уверен: не убранный случайно, по небрежности исследователей. В их жестах, прыжках и наскоках была и патетика, было и торжество, но была и мелочность.

«Гвозди они, наверное, тоже затоптали», – подумал Данилов. Но разглядеть ни гвоздей, ни фартука он сейчас не мог. Темп движений неуравновешенных танцоров все убыстрялся, их самих становилось все больше и больше, злясь, каждый или каждое из них стремились пробиться к центру толпы, словно забытый фартук был им необходим. Неожиданно над ними взвинтилось и запрыгало кольцо огненных букв: «Вяленая икра минтая, яснычковая, 1-150, 1 рубль восемьдесят копеек, Темрюкского рыбозавода». Тут словно бы лампочки стали перегорать в огненном кольце или на пульте управления случился какой дефект, некоторые буквы погасли, а потом исчезло и все кольцо. С пляшущей, подпрыгивающей толпой ничего не произошло. Лишь в центре ее, в самой свалке, в самом ее вареве, по всей вероятности, что-то случалось, возможно, какие-либо чересчур скорые и настойчивые фигуры гибли там, разрушенные, раздавленные напором свежих чтойностей, лишь рожденных и желающих сейчас же потенцию самих себя перевести в осуществленное бытие.

Но затем во внешностях топтунов, толкачей и проныр начались преобразования. Что тут только не появилось. Человеческое стало пропадать. Возникало нечто новое. Да и само новое тут же преобразовывалось. Резиновые мешки, соединения желеобразных шаров, стержни из гибкого металла с утолщениями и шипами, пузыри с зеркалами внутри, колючие кусты то ли нотных знаков, то ли никелированных украшений петербуржских

кроватей, беременные колбы, зеленые стручки на проволочных ножках, точильные круги, астма в полиэтиленовом куле, нечто похожее на жадную куриную лапу, а все больше силуэты, словно бы сбежавшие с экранов рентгеновских аппаратов, оставившие на тех экранах скелеты или что они имели там конструктивного, подкрашенные теперь неким неестественным светом, все они, не переставая двигаться, приобретали на ходу совершенно новые формы. И скоро это были уже никакие не силуэты и не мешки, а очевидные уроды или даже монстры, которые вызвали бы удивление и у служащих кунсткамер. Отрубленная задняя половина автомобиля «Шевроле» была сочленена с крупом и ногами парнокопытной особи, породу которой Данилов определить не решился. Рога оленя украшали миниатюрную пудреницу. В одиноко порхающем крыле бабочки-капустницы размером с покрывало Пьеретты серьгой висел амбарный замок. Из ратушных часов выползал дымчатый плеозавр и никак не мог выползти. Граммофонная труба устроилась среди щупалец дешевого синтетического осьминога, из трубы выскакивали творожные сырки в унылой коричневой фольге, в трубу же они и падали.

Словно в нервном тике мигал светофорами котел тепловой станции, залитый луковым супом. Но все это были комбинации составных или композиции, Данилов не знал, как их назвать, внешне приличные, не вызывающие у Данилова позывов к рвоте. Но потом к ним стали присоединяться – существа? фигуры? сочленения? композиции? – (в конце концов, Данилов для удобства мыслей назвал их фантомами, но и это было неточно) – куда более пошлые и мерзкие. Тут Данилов несколько раз унимал спазмы пищевода. Полезли какие-то пластиковые и металлические детали, то ли роторы, то ли куски самолетных турбин, обмотанные колышущимися, истекающими кровью внутренностями животных и людей. И многие механизмы стали являться вывернутыми наизнанку, посыпанные при этом неизвестно чем, но вонючим и гадким. В банках со спиртом возникли машины – автомобили, трамваи, гильотины, сцепленные с себе подобными, как сиамские близнецы. Самогонные аппараты гнали омерзительную студенистую жижу, в ней трепыхались утопленные щенки, аппараты сейчас же ее употребляли. Полугнида-полукатафалк с белыми кистями врезался в самогонные аппараты и вместе с ними превратился в черную жабу с желтыми гнилыми клыками и бивнями, обвешанную к тому же ротными минометами и терками на гнутых ручках, эти терки были не для овощей. Жаба сожрала спаренный трамвай, содержавшийся в банке со спиртом, и тут же

стала бумагой для поимки мух. Приклеившиеся к бумаге коморские драконы судорожно били хвостами, вызывая колыхание мучных червей. Открытые раны терлись о наждачную бумагу.

Следом объявились рожи, знакомые Данилову по земным суеверным страхам и по рассказам людей с воображением. Тут были и вурдалаки, и вампиры, и беззубые людоеды, пугавшие в сытые дни мелких мальчиков, и меланхолическое чудо-юдо с оранжевой пеной на стоматитовых деснах, и фантомасы, и франкенштейны, и недорогие ведьмы-потаскухи с Тирольских гор, и синие мертвецы, защекоченные когда-то русалками, а с ними и дохлые русалки, жертвы промышленных вод, и гневные дармапалы, семиликие, двадцатирукие, многоглазые, опоясанные шкурами тигров, в венцах из людских черепов, в ожерельях из отрубленных голов, кто с мангустой в одной из рук, кто с морковью, и белая, трехглазая, с огненными волосами, в зеленом диком шарфе дзамбала, управляющая сумерками, и наглые асуры, и лукавые апсары, танец которых только увидь – жить не захочешь, и какие-то черные истуканы, сладострастные пугала с экватора, нервные от почесухи, и унылые псы из подземелий, чьи глаза как плошки, и летающие упыри с вечной слюной, капающей на галстук, плохо завязанный, и мелкие бесенята, приволокшие сковороды таких размеров, что не лишними были бы при них ядерные источники тепла. Да кто только не объявился! Скакали тут и конь бледный, и конь вороной, и томная дева плавала на листе лотоса.

И при этом все возникающие фантомы, а может быть, и не фантомы, – не все ли равно, кто они, – были снабжены приметами нынешних земных времен. Будто необходимым было для них увлечение капризами моды. Или им были нужны доказательства их возрастного развития. И теперь один из этих фантомов мрачно, давя соседей, подпрыгивал на мотоцикле. Другой дул в саксофон. Третий обрядился в бикини, сшитое из грачиных гнезд. Кто-то грыз ртутные светильники, кто-то метался в оранжевом плаще от радиационных осадков и противогазе, кто-то размахивал гарпуном для подводной охоты, кто-то вдел в ухо вагон монорельсовой дороги, кто-то распухшими лапами – от них отпадали синие гнойные струпья – держал части разодранного надвое греческого танкера, кто-то поливал толпу из тринадцатиствольного огнемета. Словом, жуть что творилось!

«Зачем все это? – думал Данилов. – Скоро ли все кончится?» Однако не кончалось. И только что приставшие к Данилову фантомы, и уцелевшие от прежних действий синкретические монстры, чтойности кто знает каких вещей, предметов и существ,

долго буйствовали вокруг Данилова, вакханалия их была теперь разнузданной и, по всей вероятности, трагической для них самих. Многие фигуры и гибли, исчезали в толчее и разбое, в бешеной давке неизвестно к чему стремившихся тел, оболочек, жидких и газообразных состояний. Данилов чувствовал, что действие безграничной толпы – не самодовлеющее, но имеет отношение к нему, однако он не был еще растоптан и не претерпел ни единой метаморфозы. Фигуры же толпы, уходившей, куда ни взгляни, в бесконечность, не только буйствовали, не только гибли в неизбежном движении – к чему? – может, к кожаному фартуку? – но и продолжали, сталкиваясь друг с другом, превращаться в новые и неожиданные образования. Лишь исторические персонажи, из суеверий и страхов, резких изменений не имели. Но и с ними происходили трансформации. Они то и дело словно бы обзаводились новыми украшениями. Ртутные светильники меняли на кастрюли-скороварки, голубые очки – на собак китайской породы с вислыми ушами, греческие танкеры – на бульонные шарики. При этом в любые мгновения изменялись те или иные части тел разбушевавшихся существ. Распухали или уменьшались. То головы становились раз в сто больше нормальных, то животы вспучивались аэростатами воздушного заграждения, то ноги, или лапы, или хвосты русалок усыхали и казались крошечными, будто от ящериц. Но тут же прежние конечности возобновлялись, животы опадали, зато выскакивали глаза метров на десять вперед и вращались больными влажными шарами.

Во все усиливающейся толчее Данилов стал различать видения, как будто бы явно посторонние. То тут, то там словно на особых экранах возникали объемные картины-действия, и были в этих картинах сюжеты, одинаково неприятные Данилову. Вот ножом резали ребенка, и кровь стекала в ведро. Вот на поросшие лесом горы выехал казак на вороном коне, заснувший хлопец, младенец-паж, сидел за его спиной, казак швырнул в пропасть странного мертвеца, тут же костлявые пальцы желтых скелетов схватили мертвеца и стали душить его, и какой-то огромный почерневший скелет отчаянно старался прогрызться сквозь землю к мертвецу, но тщетно, и он страдал, мучился от своего бессилия, а горы тряслись и рушились хаты. Вот красивую женщину, совсем юную, замуровывали в крепостную башню, она билась, пыталась уйти от погибели, но кирпич за кирпичом закрывал нишу, и серый раствор тут же схватывал швы кладки, лишь краешек красной юбки застыл между нижними рядами кирпича. Вот в зеленой ложбине падали мины, летели обрубки металла, кровавые куски мяса, живые еще люди куда-то бежали, кололи

друг друга, серые дымовые кусты от снарядов и бомб стояли плотные, упругие, будто вечные, черный паук полз по холодной шее уткнувшегося лицом в траву ефрейтора. Вот штормовая волна смыла людей, дробивших камни за оградой. Вот чудом уцелевшее дерево умирало на черной гари.

И тут Данилов почувствовал приближение некоего нового поворота видений. Да и видений ли? Усилились резкие запахи, воняло паленым и злой химией.

Черное сменилось багровым, потом огненно-белым, стали взрываться и обрушиваться дальние вершины, не существовавшие прежде. Взрывы продолжались, ударные волны их должны были бы коснуться Данилова, отшвырнуть его неизвестно куда или уничтожить вовсе, Данилов и чувствовал порой сдвиги сферических волн, но висел на месте и не имел никаких повреждений. Толпу же диковинных существ и тварей эти взрывы, извержения, разломы горных хребтов, движения кипящей жидкости тревожили. Будто сбивали их в кастрюле с невидимыми или несуществующими боками. Не хозяевами себе были энергичные существа и твари, они и раньше, видимо, управлялись или хотя бы подталкивались в своих толчеях и оргиях кем-то, а уж теперь их явно мотала, сбивала в кучу, месила жестокими пальцами-крюками холодная, злая по отношению к ним стихия. И снова произошли взрывы, были они сильнее прежних, ужасней прежних. Сейчас Данилова трясло. Он понял, догадавшись при этом, что мгновенное озарение подсказано ему, понял: сейчас произойдет катастрофа, случится крушение, сейчас – конец всему, что он видел, а может быть, и всему, в чем он существовал. Данилов зажмурил глаза. Но какой от этого прок! Данилов все видел и все чувствовал. Гибли, пропадали суетившиеся только что существа, твари и фантомы, вспухали фиолетовые волдыри, все мельчало и обращалось в прах, снова во взрывах и сполохах потекли перед Даниловым спирали, диски, скопления звезд и планет, движение их становилось все более тихим или сонным, все вокруг словно бы вмерзало в лед или становилось льдом. И Данилов, не ощущая холода, почувствовал себя ледяным и погибшим. Черное, неподвижное вобрало его в себя…

Потом он очнулся. Сколько – минут, веков? – он был неживым, он не знал. Находился он в пустоте. Слева как будто бы брезжил рассвет. «Что это там лежит?» – удивился Данилов. Впрочем, он ясно видел, что лежит. Там, где в прошлом дыбилась толпа, пребывал в одиночестве кожаный фартук сапожника. Данилов захотел подойти или подплыть к нему, но ни единая мышца Данилова не дернулась, не вздрогнула. Фартук же тотчас подпрыгнул и исчез.

По-прежнему Данилов не слышал ни звука.

«По небрежности они забыли его убрать, – подумал Данилов, опять имея в виду фартук, – или все же оставляли со смыслом? Но какой смысл-то в этом фартуке? И во всем, что тут происходило или мерещилось мне?» Что он мог сказать себе в ответ? Ничего. Чудом приходилось считать то, что его существование еще продолжалось.

Он опять попытался собрать свою волю, снова начать счет земного времени, возродить в себе музыку, любую, какая вспомнилась бы теперь, и мыслить удобным для себя способом. Данилов напрягся, но тут же что-то подхватило его, завертело будто в воронке смерча, подняло ввысь, и он ощутил то, что старался избежать ощутить. Ощутил вечность. Ощущение было мгновенным и пронзительным. Данилов думал, что он поседел.

Воронка смерча быстро опала. Данилова кинуло вниз. Тогда Данилов услышал звуки. Звуки были металлические, чем-то стучали и скребли по железу.

И опять черное вобрало в себя Данилова и словно бы растворило его.

36

Данилов лежал на кровати с металлической сеткой, какие встречаются в гостиницах районных городов. Матрац был тонкий, и сетку Данилов чувствовал боками. Сетку, похоже, успели сильно продавить, она провисла и напоминала гамак. Что же касается постельного белья, то его выдали свежее, пахло оно прачечной и имело, где следовало, овальные отметки инвентарных резиновых печатей. Лежал Данилов в голубой пижаме. Рядом с кроватью стоял ореховый платяной шкаф, там, возможно, находились сейчас вещи Данилова, в том числе пальто и нутриевая ушанка.

В прежних случаях он имел куда более порядочные помещения, иногда даже апартаменты, с королевскими альковами, с зеркалами в серебряных оправах и дюседепортами Буше.

Данилов в обиде натянул на голову шерстяное одеяло. Но тут же как бы и проснулся вконец. Какие нынче могут быть обиды! Что он ропщет! Что прикидывается дураком! Ну не Версаль, не Сансуси, не хьюстонский Хилтон-отель, так ведь это после черного колодца. Хорошо, что живой и белье дали, пусть и бывшее в употреблении, но свежее, утюженное, и на тумбочке рядом с репродуктором установили графин с жидкостью. Что же роптать-то!

И все же постельное белье, и пижама, и графин на тумбочке обнадежили Данилова. Он привстал, притянул графин, хлебнул из горлышка. Жидкость была теплая. Однако Данилов выпил полграфина. Ничего с ним не сделалось. Он захотел тут же и есть. И в этом естественном требовании его организма было нечто обнадеживающее. Значит, натурально, жив и желает жить.

Меню завтрака, пусть завтрака, посчитал Данилов, могло быть сообщено ему внутренними сигналами или прислано отпечатанным на машинке. Тут Данилов затаил и некую хитрость: из названий блюд он мог узнать, конечно, с известными оговорками, степень тяжести твоего нынешнего состояния. Как его полагали кормить? Как пленника? Как смертника в одиночной камере? Как гостя? Как утерявшего расположение? Как гуся лапчатого? Как последнюю тварь? Как кого?

Данилов поднялся, обнаружил под кроватью стоптанные шлепанцы, отыскал туалет и умывальник, зубы почистил суровой щеткой, причесался. И протянул судьбе руки.

В ладони ему упали листочки папиросной бумаги. Нельзя сказать, что они обрадовали Данилова. Блюд было много, но все

они происходили из буфетов железнодорожных станций. «Не перепутали ли они меня с Кармадоном?» – удивился Данилов. Но, может быть, здесь была новая манера в еде? Или в меню был намек на случай с Кармадоном? Мол, жуй и соображай, что и из-за дуэли ты прибыл сюда.

Данилов решил сначала поесть, а потом гадать.

Тем более что в меню значилась вареная курица. А курицу, завернутую в «Советский спорт», Данилов и сам, отбывая с Земли по вызовам, случалось, брал раньше. Сейчас курица (ножка) явилась Данилову незамедлительно, причем не на буфетной фольге, а на фаянсовой тарелке. Курица была холодная, тощая, но Данилов ее проглотил с азартом, перемолов и кость. Данилов потребовал бумажные салфетки, возникли и салфетки. Попросил он зубочистку, и зубочистку ему спустили.

Вроде был сыт, как бывал сыт именно утром, перекусив наскоро, но сытость не принесла ни радости, ни успокоения. Обычно утром в Останкине после завтрака он гладил электрическим утюгом бабочку. Теперь в глаженье бабочки не было нужды.

Не было сомнений в том, что вчера (вчера!), помимо всего прочего, его не только намерены были устрашить или восхитить, ему не только предлагались загадки и задачи. Исследователей бесспорно интересовали и моментальные отклики его личности на видения, катаклизмы, сотрясения, на толчею энергичных фантомов и монстров, наконец – на открытие ему вечности. (Когда Данилов увидел над умывальником зеркало и увидел в зеркале себя, он удивился тому, что не поседел. Впрочем, проснувшись, он понял, что ощущение вечности из него ушло. Бездны, открытые ему, были им забыты. Мгновенные озарения вычерпнули из него. Он опять знал о себе и о мире не более, чем земной Данилов. К лучшему это или нет, он не мог сказать. Теперь он лишь смутно помнил, что и его будущее было ему открыто. Так что же? Может быть, в вечность его окунули по ошибке? Может быть, по ошибке ему, Данилову, дали лишние сведения и, спохватившись, поутру стерли их мокрой тряпкой, чтобы он не мог воспользоваться никакой лазейкой в будущее? Или им был нужен именно его мгновенный отклик? И все? Там, в Колодце Ожидания, Данилов, потрясенный открытым ему, сам старался упрятать ощущение вечности в дальний ящик – да и с сотней запоров! – своей памяти. Сейчас же он напрягал эту самую память, надеясь возобновить хоть толику знания об уготованном ему. Но тщетно.) Так вот теперь наверняка эти отклики его личности, движения его натуры были уже изучены исследователями и лежали в дискотеке.

«Ну и пусть! – отчаянно подумал Данилов. – Пусть! Что они могут узнать обо мне нового? Зачем они еще тратили средства и энергию?» А средств и энергии в Колодце Ожидания было потрачено немало. Сколько там было толчеи жизни, сколько крушений миров, галактик, неизвестных Данилову спиралей, сколько суетни сущностей вещей и явлений! Ему напоказывали всякой чепухи и всяких странностей, каких никогда не было в реальной жизни. Скажем, швыряние в пропасть казаком со спящим младенцем за спиной страшного мертвеца заимствовали у Николая Васильевича Гоголя. Интересно, читали ли сами исследователи «Страшную месть» или сведения о ней (возможно, искаженные: Карпатские горы были показаны Данилову довольно приблизительные) попали в их аппараты и камеры косвенным образом? Впрочем, это не имело значения. Значение имело то, что порой исследователи пытались воздействовать на него чуть ли не как Кармадон. Пугали всякими состарившимися ужасами, чудищами и нежитями. Что они теперь готовили ему?

«А-а-а!» – махнул рукой Данилов.

Он заказал настенные часы Сердобского завода, причем не удержался и попросил ходики с кукушкой. Укрепил их над кроватью. Он то бродил от умывальника и до шкафа, то, скинув шлепанцы, валялся, ноги положив на холодный металл спинки. Голубая пижама стала раздражать Данилова. Но подойти к шкафу и переодеться в свое платье отчего-то не хотелось. Может, оттого, что в костюме надо было куда-то идти, а никуда не приглашали. Пребывание же в голубой пижаме как бы оправдывало праздное сидение на кровати.

Время на ходиках, однако, текло к обеду. Режим питания Данилов соблюдал редко. Теперь же, хотя и не нагулял аппетита, проявил себя педантом. Опять в руки ему спустились листочки меню. В них были названы блюда вагона-ресторана. «Когда же открылась эта мода?» – расстроился Данилов. А ведь прежде его кормили и черепаховым супом, а от устриц в вине он позволял себе отказываться…

Данилов вздохнул. Перед ним возник столик из вагона-ресторана с четырьмя стульями с двух сторон. Данилов как был в пижаме, так и сел на один из стульев. На самом деле, путают его с Кармадоном или напоминают о дуэли? И как сейчас Кармадон? Наказан, высмеян или поднялся, выправил челюсть, повышен в чинах и теперь сидит рядом с наблюдателями персоны Данилова? Данилову казалось, что если бы вызов был связан с Кармадоном и дуэлью, его дела могли бы оказаться и не совсем погибельными. Он понимал, что тут, вероятно, он находится в заблуждении, и все же тешил себя надеждой.

Блюда тем временем уже стояли на столике, только что столбы и леса не бежали навстречу по правую руку от Данилова. На закуску была селедка с горошком, затем краснел борщ с куском сала, рядом стыли сосиски, опять же с горошком, и стакан компота. «Неужели пива у них нет? Ну хоть бутылку!» – то ли возмутился, то ли взмолился Данилов. Однако, возможно, дело было и не в скудности буфетных ледников, а в том, что клиент не имел прав на пиво.

Данилов был в смятении. То он думал о том, какие найти пути спасения. То оценивал прожитое им, искал в этом прожитом смысл и оправдание. Может, и не было смысла-то, что же тогда стремиться к спасению? К продолжению бытия?

И теперь, хотя Данилов наконец имел и время, и тишину для того, чтобы в сосредоточенном напряжении все обдумать, все решить, мысли его по-прежнему были нетерпеливы, приходили, как и раньше, соблазнительные желания об отсрочках и откладываниях. Но откладывать что-либо было уже поздно. Вот и думал Данилов. Пребывал в отчаянии и унынии. Уверен был, что странное его существование смысла имело мало. Был ли Данилов, не был ли Данилов, от этого в мире ничего не менялось. Если только в музыке… Но что там, в музыке, в конце концов, изменилось, улучшилось или испортилось? Да, наверное, пока ничего… Что же тогда стремиться к спасению? Так размышлял Данилов, соглашаясь в некоей сладости сам с собой. И в то же время против этих мыслей, против сладостного согласия с ними, нарастал в Данилове протест. Целый бунт вскипал.

Вскоре Данилов уже полагал, что в самом пребывании его в пижаме есть нечто не гостиничное, а тюремное, жалкое, будто бы он, Данилов, сдался и голову согласен пристроить на плахе как можно удобнее для палача. Нет, надо было тут же снять пижаму и идти куда-нибудь. Не без страха Данилов подошел к платяному шкафу. Раньше он был уверен, что там висят его земные вещи. Но вдруг их отобрали, определив ему лишь пижаму? Данилов рванул дверцу шкафа воинственно, будто бы ограбленный. Но нет, зимняя московская одежда была ему сохранена. Данилов устыдился своего порыва, хорошо хоть дверцу не сорвал в сердцах. Брать из шкафа пальто и нутриевую шапку не было смысла, поколебавшись, Данилов пожалел брюки и фрак – много ли он их имел, – и попросил снабдить его сейчас же приличным костюмом для встреч в обществе. Костюм Данилову прислали, и, надев его, Данилов понял, что костюм пошит хорошо. К костюму выдали туфли, рубашку, галстук, платок, подтяжки и носки, хотя о них Данилов и не отваживался ходатайствовать. Данилов стоял растроганный, ему казалось, что служба внешнего вида отнеслась

к нему куда благосклоннее, нежели служба кормления. Может, были на то причины? Или службы существовали сами по себе? Впрочем, что было гадать. Данилов взбодрился. Еще пуще он взбодрился, когда на внутреннем кармане пиджака обнаружил название фирмы – «Бидерманн – Париж». Конечно, фирма имелась в виду не ахти какая, да и этикетка вместе с костюмом вряд ли были подлинными. Но неважно! Разве можно было сравнивать их с блюдами железнодорожных буфетов! Тут не Моршански, тут Диоры и Зайцевы были предложены Данилову. Песней герцога Мантуанского из второго акта они зазвучали в нем.

Комната его – или гостиничный номер, или одиночная камера – не имела ни окон, ни стен, ни дверей. Но Данилов, привыкший к условностям, постоял там, где, по его понятиям, могла в гостинице находиться дверь. Выйти долго не решался, а когда вышел, готов был держаться за стены, если б были стены. Ноги у него отнялись. Он ждал, что сейчас или кирпич свалится ему на голову, или его накажут каким оружием, или просто затолкают назад к кровати и к пижаме. Кирпич не упал, сетью Данилова не словили, никаких мер принято не было. Потоптавшись на месте, Данилов побежал, потом подпрыгнул и стал парить, как парил в юные годы. Но парение скоро наскучило, и он пошел пешком. Куда он шел, он не знал. Шел, и все. Снова неопределенность стала тяготить Данилова. Прогуливаться он уже не мог. Он желал теперь же выйти на своих исследователей и судей и сказать им: «Нате, жрите, только не томите понапрасну!»

В каком из Девяти Слоев он теперь находится, Данилов не знал. Может быть, в Четвертом, Гостеприимства. А может быть, и вблизи Канцелярии от Порядка. На привязи. И это только ему кажется, что он ходит и парит, на самом деле он не ходит и не парит, а пребывает в состоянии козы, привязанной веревкой к колышку.

Никаких примет здешних мест не обнаруживалось. Стояла сплошная пустота. Но не черная, как в Колодце Ожидания, а желто-голубая. И ничто не звучало. Но тут мимо Данилова, чуть ли не сбив его, с гиканьем промчался на самокате толстый тип в панамке с мятыми краями. Тип был пожилой, но толкался азартно, по-ребячьи, левой ногой, и самокат имел самодельный, точно такой, какие московские мальчишки, в том числе и Данилов, мастерили в сороковые годы – из досок и трех подшипников. Подшипники будто по асфальту крутились – гремели и вышибали искры. Обогнав Данилова, метрах в ста от него, тип остановился, погрозил Данилову пальцем, сказал, сокрушаясь, но и с удовольствием: «Фу-ты ну-ты, шины сдуты!» –

и укатил дальше. Вскоре Данилов потерял его из виду. «Он знает, куда ехать, – подумал Данилов. – Он спешил. Надо за ним и идти».

«А может быть, это Валентин Сергеевич? – тут же пришло соображение. – А хоть бы и Валентин Сергеевич!» И все-таки Данилов был уверен в том, что это не Валентин Сергеевич, а случайный проезжий. Этот дачный лихач в панамке даже умилил Данилова, напомнив ему о забавах юных лет, и Данилов не желал думать о нем ничего дурного. Может, он и самокатом-то наслаждался впервые в жизни и свой облик, дачный и отеческий, принял ради него, Данилова, сам же веками выглядел каким-нибудь кристаллическим стручком в созвездии Дивных Тел. Случайным образом пересеклись их с Даниловым жизненные дороги, вот и расстарался тот стручок, обернулся дачником и надел панамку.

Тут надо заметить, что мир, который Данилов считал когда-то своим, а теперь с некоей отчужденностью называл Девятью Слоями, обладал поливариантностью. Мир этот мог иметь много выражений. И существа этого мира могли не только преобразовываться и превращаться (то есть переходить из одного состояния в другое), но и воплощаться. И стало быть, пребывать сразу хоть бы и в ста различных состояниях, принимая самые подходящие для случая облики.

Когда-то Земля была избрана для Девяти Слоев базовой планетой (Данилов слышал о такой теории происхождения Девяти Слоев). Но с той поры много воды утекло. Много дыма истаяло. Работниками Девяти Слоев были освоены и другие цивилизации. Иные замечательные, но слишком грамотные. Иные недоразвитые. Внедрились работники и в пустынные звездно-планетные системы, где пока корчились и грелись лишь микроорганизмы, а то и просто бушевали в одиночестве и самоедстве бездушные стихии. И движения расплавленных или остывших веществ нельзя было оставлять без пригляда и внимания. Хватало занятий и пространств. (Время же текло само по себе. А может быть, и не текло. Впрочем, это не имело значения.) Земля по-прежнему в хлопотах работников Девяти Слоев занимала важное место. Но и иная микрокосмическая система на элементарной частице порой требовала больших забот. А всякие туманности? Или сложности с двойными звездами? При этом повсюду были свои понятия о смысле бытия, о способах выжить и устроить цивилизацию, наконец, о том, что и как кушать и какие одежды носить. До того в галактиках все было по-своему, до того странно и удивительно! Работники Девяти Слоев старались усилить эту странность и удивительность,

прививая там и тут заблуждения. Но им, для того чтобы действовать с толком, надо было знать тьму различных состояний и пребывать во всех освоенных ими цивилизациях и в бездушных системах в надлежащем виде. В общении с землянами и с личностями, занятыми делом лишь на Земле, вроде Данилова, Девять Слоев и их обитатели воплощались в формы, известные именно жителям Земли. Эти формы в Девяти Слоях и любили более всего Сказывались давние, устойчивые моды на все земное. Тип на самокате – возможно, на самом деле какой-нибудь кристаллический стручок из созвездия Дивных Тел, – наверное, тоже был вызван из своей провинции и попал в земной вариант Девяти Слоев. В этом варианте Валентин Сергеевич сидел сейчас где-то мелким порученцем, похожим на тихого барышника с Птичьего рынка или на артельного счетовода, но это не помешало бы его воплощению, если бы была необходимость, скажем, сотрудничать с Кармадоном, объявиться сейчас на планете Сонная Моль молибденовым телом. Впрочем, там ли теперь Кармадон? Коли б знать…

Впереди что-то блеснуло. «Ба, да это же лифт!» – сообразил Данилов.

В Девяти Слоях проживали и постоянные обитатели, каким не было нужды иметь воплощения в иных цивилизациях. Многие из них были заняты и земными проблемами. Они-то, местные жители, и Данилов когда-то был в их числе, и придумывали здесь и нормы приличия, и стили поведения, и просто мелкие привычки. Из Слоя в Слой демоны всех статей могли перемещаться любыми способами. Однако последние лет сто пользовались исключительно лифтом. И лифт-то был тихий, такой ездил когда-то в гостинице «Астора» в какой-нибудь Филадельфии, ходил он погромыхивая и покачиваясь. Но было в нем много шику. Всякие металлические накладки на кабине и приемных камерах, чудесные зеркала, медные виньетки, лилии из голубого фарфора над зеркалами, кисти с помпонами из золотых нитей. И оставалась при нем несомненная солидность.

Проезжий самокатчик то ли уже успел воспользоваться лифтом, то ли укатил дальше.

Данилов нажал кнопку вызова.

Кабина приехала быстро, она поднималась снизу. «В каком же я слое? – опять подумал Данилов. – Ясно лишь, что не в первом…» Ни с того ни с сего на память пришло одно из посещений Клавдии Петровны и катание в лифте ее дома румяного пирата Ростовцева. А вдруг и в этом лифте Ростовцев катается?

Пока Данилов вспоминал Ростовцева, кабина лифта проехала

мимо. Данилов в возмущении и по привычке стал давить на кнопку вызова, но ничего не достиг. Какие-то личности были в кабине, но кто они, Данилов не успел разглядеть. Да и всех ли он знал в Девяти Слоях? Что же это – кнопка испортилась или он, Данилов, был заперт здесь? Данилов опять нажал на кнопку. Вскоре он услышал звук спускавшейся кабины, невидимые тросы гудели и поскрипывали. «Неужели и эта не остановится?» – испугался Данилов. Остановилась. Данилов, не раздумывая, устремился в пустую кабину, будто опаздывал куда-то.

Испытывать судьбу он не стал – вдруг путь наверх ему заказан! – и нажал на нижнюю кнопку.

В Первый Слой он вышел не сразу. Опять заробел.

Он полагал, что пробудет здесь недолго. Если его отсюда выпустят. Но Данилов думал, что выпустят. Теперь, по кнопкам лифта, он знал, что его койка с платяным шкафом помещаются в Четвертом Слое Гостеприимства. Он – гость. То есть хотя бы вызванный просто по делу. Впрочем, Данилов не обольщался. Мало ли где могли его разместить…

Ни навстречу Данилову, ни мимо него никто не шел. Сам он не был намерен тревожить чьи-либо тени и сущности. Печальная мгла стыла всюду. Данилову было не по себе. Следовало уезжать. И уж никак нельзя ему было идти к памятному месту. А Данилов не смог побороть искушения. И пошел. В том месте до сих пор был завал булыжников, битого цветного стекла и изломанных декоративных костей. Данилов разгреб завал, перламутровая пленка по-прежнему была здесь ободрана, и сквозь открытый бесценный хрусталь нижней сферы Данилов увидел Большого Синего Быка.

Синий Бык стоял смирно, тихо шевелил губами, вздрагивали его верхние веки, однажды дернулось правое ухо, будто на него село насекомое. Большой Синий Бык всегда держал на своей спине Девять Слоев и должен был их держать вечно. Знать о нем полагалось, смотреть на него было запрещено. Однако в юности Данилов из любопытства и озорства нарушал запреты (повзрослев, узнал, что нарушение иных запретов поощряется). Но запрет на Большого Быка был слишком серьезный. Именно своей серьезностью он и подтолкнул Данилова к рискованной проказе. Данилов прослышал, что в нескольких местах перламутровая пленка, покрывавшая изнутри нижнюю хрустальную сферу, обшелушилась, и там сквозь хрусталь – видно. Данилов, бедовая голова, проник в одно из тех мест, здесь не только облетела перламутровая пленка, но и была в хрустале трещина, чуть ли не щель. Ее даже не заделали, а просто завалили камнями, битым стеклом и декоративными костями.

Тогда Данилов и увидел Большого Синего Быка. Бык стоял на самом деле великий, но Данилов по молодости лет был разочарован: «Ну, стоит, ну, держит, ну и что?» Однако потом вспоминал о Быке с уважением. Теперь Данилов чувствовал, что не одни лишь воспоминания о юношеской проказе привели его сюда. И нечто другое… Щель до сих пор так и не заделали, перламутровую пленку не подклеили. Оставили завал. Данилов стоял и смотрел на Быка. На спине Быка под жесткой и свежей еще шерстью вздрогнули мускулы, какое-то усилие почуял Данилов, возможно, спина животного чесалась. «Бедняга!» – подумал Данилов. В завале он отыскал обломок кости потоньше и подлиннее, сунул его в трещину, достал до спины Быка, почесал ее. Веки животного поднялись, видимый Данилову глаз показался ему благодарным, он просил: «Еще!» Данилов долго почесывал обломком кости Быка. Наконец веко Большого Быка опустилось, и Данилов понял: «Хватит». Данилов сдвинул камни, стекло и кости, пошел к лифту. По дороге подумал: «А Кармадон-то? Неужели на Земле он хотел побыть синим быком именно из-за этого, Большого, который держит на себе Девять Слоев? Как мне раньше не пришло в голову! Но зачем Кармадону это?.. А зачем тебе твоя музыка…»

37

В лифте Данилов нажал кнопку Второго Слоя. Во Втором Слое квартировали увечные воины.

Теперь Данилов был спокойнее и разглядел в кабине новинку – кондиционер. В лифте никогда не было ни душно, ни холодно, а вот на тебе – взяли и поставили.

И во Второй Слой Данилов вышел не без робости. Какая надобность была здесь в нем? Виды во Втором Слое были живописные. Ароматы обтекали Данилова изумительные. Сюда не проникали ни звуки, ни запахи из складских помещений Первого Слоя, где содержались в мучениях или весельях уловленные души. Здесь, в местах, отведенных обществу, происходило гуляние, как в каком-нибудь Баден-Бадене. Всюду были выведенные линейкой или шнуром боскетные городки, прелестные трельяжные беседки с розетками и гирляндами, зеленые тоннели аллей берсо, фонтаны с золочеными драконами, их струи рассыпались жемчугами. Меж ними и прогуливались отдыхающие. Когда-то – особенно в пору, называемую на Земле средневековьем, – иные из них выглядели страшилищами. Теперь на них – не на всех, конечно, и тут встречались своего рода хиппачи, а то и просто неряхи, – приятно было смотреть. То ли нравы облагораживались, то ли сильнее и устойчивее действовали людские моды. К тому же теперь на службе уродами имело смысл лишь пугать детей либо являться в страшных снах. Но во Втором Слое не было нужды работать, а своих-то и на отдыхе – что пугать?

В безделье – вполне оправданном – в виноградных и миртовых зарослях, под сенью струй, демоны бродили, летали, ползали, волочили ноги, играли в кости и дверные ручки, перебивали обухом плеть, являлись приятелям духами, курили ядовитые травы, гадали. В этой местности Второго Слоя отдыхали демоны низших статей, в крайнем случае – средних. Были меж ними бойцы, лицедеи и пройдохи, попали сюда, несомненно, и кровопийцы, и мародеры. Данилов прошелся аллеями, побродил вдоль боскетов. Встретились ему некоторые знакомые старички, притомившиеся на службе, в частности лицейские преподаватели из младших групп. Встретились и демоны помоложе, ставшие инвалидами в горячих хлопотах. Встретились и калеки умственного труда. И просто лодыри, сбежавшие от деловых забот раньше срока. Данилов вступал с ними в беседы, говорил о том о сем. О назначении ему времени «Ч» здесь не знали. Но не тихие разговоры, не местные кущи занимали Данилова. Ему

хотелось узнать что-либо о Кармадоне. Или увидеть Синезуда.

С судьбой Кармадона Данилов отчасти связывал теперь свою судьбу. Демон-стрелок Синезуд мог рассказать ему о несчастном домовом Беке Леоновиче. Он, Данилов, вверг Бека Леоновича в пучину (или в черную дыру?), и надо было узнать, есть ли шансы (и в нынешней ситуации) возвратить Бека Леоновича в Останкино. Но Синезуда Данилов не встретил.

Эти ветераны, хоть и были вольные птицы, квартировали в каморках (правда, довольно просторных). Аса со спецзаданием искать среди них было бы бессмысленно. (Да и зачем искать-то? Данилов, увидев Кармадона, все равно бы не подошел к нему. Но вот искал.) И Данилов отправился дальше, туда, где позволялось селиться личностям значительным. Но теперь уже отдыхающим. Или поверженным. Или разочарованным. Или обессиленным познаньем. Эти отдыхающие имели просторы, свои пастбища и замки, горные хребты и водопады, свои коралловые острова, вулканы, долины гейзеров. Разочарованные просто скучали, как Манфред, на базальтовых плато, куда с трудом поднимались угрюмые горные козлы. Или в сырых пещерах, где глухо капало со сталактитов. Уставшие ветераны и калеки, вспоминая молодые годы, иногда устраивали в своих усадьбах землетрясения, холерные эпидемии, взрывы пороховых погребов. Порой заходили к соседям сыграть в лото или выпить арабского вина. Некоторые просто дремали, в бочках или стеклянных сосудах. Места и тут были живописные. Данилов, не вторгаясь ни в чьи пределы, – да и кто бы позволил ему вторгаться! – не перелетев ни через чей частокол, обтянутый металлической мелкой сеткой, или же частокол чисто духовный, выяснил, что Кармадон во Втором Слое участка не получил. На всякий случай Данилов как бы праздным странником пронесся мимо места уединения внучатого дяди Кармадона – Мефистофеля. Дядя имел хижину пустынника, впрочем, в три этажа и вполне современных линий. Теперь дядя стоял возле крыльца своего жилища в фермерском комбинезоне и из алюминиевого таза горстями разбрасывал просо калифорнийским петухам. Аккуратные грядки чертополоха, куриной слепоты, бледных поганок указывали на то, что дядя Кармадона увлекается огородничеством. Это было трогательно. Но не ради грядок Данилов заглядывал на участок дяди. А Кармадон у дяди не гостил.

Оглядев напоследок войнов, Данилов вздохнул и отлетел к дверям лифта.

В лифте он нажал седьмую кнопку.

Нажал, не подумав. Седьмой Слой назывался Слоем Удовольствий, и ему ли, Данилову, было являться сейчас на балы

и банкеты? Да и прилично ли он был одет для Седьмого Слоя? Но что теперь делать! Нажал кнопку и нажал. Не то чтобы в некотором кураже находился сейчас Данилов, но все же он явно храбрился, чуть ли не вызов бросал кому-то. Или, может быть, просто своему положению. Данилов ехал, нервничал, вспоминал, каким он являлся в Седьмой Слой Удовольствий в юные годы.

Тогда он был удачливым повесой, ему прощалось многое. Какими глазами глядели на него дамы! И в них играла кровь, и в нем. Впрочем, сам Данилов не слишком давал разгораться душевному пламени и не искал покровительства пусть и прелестных дам. Он был горд и самостоятелен. Было время, он служил в Седьмом Слое, устраивал там фейерверки, играл на лютне чувственные пьесы, танцевал на балах. Коли б он остался на службе при Седьмом Слое в Канцелярии от Наслаждений, разве нашелся бы нынче повод назначать ему время «Ч»?

Но тогда бы Данилов не попал на Землю. А о том, что он попал на Землю, Данилов жалеть не мог.

В Седьмом Слое было удивительно тихо. И свет был тусклый. Странные звуки раздавались вдалеке, однако они не имели никакого отношения к музыке. Звуки были деревянные и тряпичные. Будто где-то сдвигали мебель и мокрой шваброй терли пол. Буйствам, гуляниям, танцам и фейерверкам полагалось происходить здесь вечером и ночью. Но, может быть, стрелки ходиков с кукушкой находились вовсе не там, где им следовало бы находиться? По ощущениям Данилова дело шло к ужину, а здесь, скорее всего, протекало утро. «Надо перестраиваться», – решил Данилов.

Однако все равно. Утро утром. Пусть не гремят оркестры, не шуршат платья по паркетам. Но ведь тяжелым головам и подорванным организмам именно по утрам и необходимо решительное облегчение. Им нужен спасительный рассол! Живительная влага! В прежнюю пору всегда по утрам здесь открывались траттории, бистро и сосисочные. И голову можно было окунуть хоть в жбан со змеиными настойками, хоть в бочку с пивом.

А сейчас никакая жидкость поблизости не лилась и не булькала, ни одна буфетчица нигде не бранила иззябших натур и не ласкала их словом.

Но Данилов, пожалуй, был рад пустыне Седьмого Слоя. Теперь он понимал, что был не готов к появлению здесь в разгар веселий. Со сложными чувствами Данилов думал о возможности встречи с Анастасией. Анастасия была ему приятна, но, наверное, он побоялся бы теперь взглянуть ей в глаза. А ведь раньше земное в их отношениях не бралось в расчет. Прекрасная же Химеко,

полагал Данилов, в Седьмом Слое вряд ли бы появилась. Она и прежде заглядывала сюда редко. И все же Данилов испытывал некоторое беспокойство оттого, что ни один знакомый, ни тем более Анастасия и Химеко, существа ему не безразличные, даже и не попытались пока войти с ним в контакт. А ведь он уже давно впал в демоническое состояние, и, стало быть, по правилам договора, контакт был дозволен.

– Слушай, парень, – услышал Данилов хриплый голос. – Где здесь это?

Данилов обернулся. Лохматый, с трудом продиравший глаза демон стоял перед ним. Был он весь плюшевый, не то чтобы нацепил на себя плюшевое платье, нет, ходил именно с плюшевым телом, и ничего неприличного в этом теле не было. В страданиях пребывал он теперь, но, видно, жила в нем и надежда на освобождение от этих страданий.

– Что – это? – спросил Данилов. И сразу же подумал, что спросил зря.

То есть, конечно, собеседник мог иметь в виду туалет Но все же вернее было предположить, что его мучает иная нужда.

– Вон там, – указал Данилов в направлении, где раньше по утрам бушевали опохмельные.

Плюшевый демон улетел. Данилов хотел было последовать за ним. Однако плюшевый тут же вернулся. Он негодовал.

То ли на Данилова, то ли на увиденное им. Вскрикивая, махая руками и крыльями, он сунул Данилову какую-то безобразную картонную табличку, сплюнул и исчез с гневным электрическим звуком. На табличке в восемнадцати смыслах значилось: «Санитарное время». «Ага, – сообразил Данилов, – стало быть, здесь ничего странного нет, а просто новые затеи». На всякий случай Данилов ринулся в опохмельные места. Нет, там на самом деле всюду висели таблички санитарного времени. «Когда же они ввели-то?» – удивился Данилов. Тут он подумал о том, что не знает о многих здешних новостях. Ну хотя бы и о мелочах – о кондиционере в лифте или вот о санитарном времени, а ведь когда-то он во все в Девяти Слоях с охотой совал нос, все ему было интересно. «Какие они чистюли стали…» И он опять отметил, что называет здешних обитателей «они», как бы отстраняя себя от жизни Девяти Слоев. Плохо это было для него или хорошо, Данилов не знал.

Не спеша Данилов обошел знакомые места Седьмого Слоя, улыбку умиления не раз вызывала его память. Однако и ирония взрослого была тут как тут. Скучно здесь было сейчас. Лишь где-то стукали ведра об пол, и тряпки терли паркеты, линолеумы и флорентийские мозаики. Может быть, и Валентин Сергеевич в

усердии поблизости скоблил пол. Но в памяти Данилова то и дело возникали чудесные картины, он видел себя юношей, вот здесь он играл на лютне, вот здесь он раскладывал звездчатые ракеты для фейерверков «Черный цилиндр» и соединял их шнуром, вот здесь в беседке говорил пустые, но горячие слова голубой прелестнице, а та смеялась и покачивала перламутровым веером. Впрочем, что было теперь умиляться, вспоминая о наивных и легких радостях… Старым чувствовал себя в Седьмом Слое Данилов. «Но, может быть, – подумал Данилов, – не столько я постарел, сколько я здесь стал чужой?» И в том, что при его появлении в Слое Удовольствий случилось санитарное время, Данилов усматривал теперь некий знак. Прежде здешний мир по отношению к нему был куда гостеприимнее. Впрочем, чему удивляться-то!

«Интересно, – пришло в голову Данилову, – и зоопарк нынче закрыт?» Когда-то Данилов любил отдыхать в зоопарке. В нем содержались твари, вымершие на Земле. Коллекция зоопарка то и дело пополнялась, территорию он имел обширную, но часто возникали разговоры о том, что парку следует отвести большие просторы. Ожидалось, что скоро сюда переберутся с Земли очень многие звери, птицы, рыбы и насекомые. Как, скажем, приплыла из волн Тихого океана в здешние водоемы простодушная стеллерова корова. Ни клеток, ни оград с зубьями и башнями в парке не было. Обитатели паслись, резвились, кушали кому кого полагалось, отстаивали свое существование в естественных природных обстоятельствах.

Зоопарк был открыт.

Данилов пробыл в Зоологическом саду недолго. Все его тянуло к своей постели и платяному шкафу. Будто там его ожидало какое-либо письменное распоряжение. Да и пить хотелось. В парке было два заведения с напитками. И по всему чувствовалось, что нынче они работали. Но на одном из них висела бумага со словами: «Только что ушла на базу», другое было покинуто без объяснений. «Прежде порядки были строже!» – подумал Данилов с возмущением.

Снова он поглядел на плавающих ящеров, на динозавров, на мамонтов, на драконов, которые не оставили людям даже костей для исследований, а попали лишь в мифы и легенды. Все они были живые, резвые и вряд ли имели понятие, что на Земле они вымерли. В их движениях, полетах и прыжках была своя мелодия, забытая в Солнечной системе. Но и эти животные, многие подробности которых Данилов уже не помнил, не надолго отвлекли его от тревожных мыслей. Даже знакомый единорог – Данилов в детстве звал его Клеонтом, – увидевший Данилова,

обрадовавшийся ему, и тот Данилова развеселил лишь на минуту. Данилов быстро ушел от Клеонта, а тот расстроился, взревел, задрав рог, бил по грунту копытами. «Не хватало мне тут еще расчувствоваться», – проворчал Данилов.

38

Данилов вернулся в Четвертый Слой. Ничто здесь не изменилось. Данилов заглянул в платяной шкаф. Все его земные вещи были на месте. «Ну и ладно», – сказал Данилов. Налил в стакан из графина, жидкость опять показалась теплой, противной. Данилов хотел было заказать напитки, но посчитал, что одними напитками они от него не отделаются. Стрелки на ходиках следовало перевести. Они торопились к ужину, а, судя по всему, время в Девяти Слоях шло лишь к обеду. Данилов уже завтракал и обедал. Теперь надо было приставать к общему порядку. Так что же, опять обедать? Опять давиться стылыми сосисками? Данилов испугался. Однако вскоре отважился на дерзость. Не испрашивая меню обеда, он отослал в службу питания мысленный заказ и в том меню назвал и пиво, и коньяк, и солянку, и свиной бок на углях, и черный кофе, и апельсины на десерт. Прикатил столик из вагона-ресторана, были на нем – селедка с горошком, борщ с двумя кусками сала, сосиски с горошком и лимонный напиток. Стало быть, его поставили на место. «У, скупердяи!» – выругался Данилов. Средствами музыки. А так и виду не подал, что огорчен.

Отобедав, Данилов из упрямства решил поискать удачи здесь же, в Четвертом Слое. Все-таки это был Слой Гостеприимства и прежде имел достаточно баров, харчевен, тратторий, пабов, забегаловок с музыкальными аппаратами, не говоря уж о буфетах и рюмочных.

Все это и теперь никуда не исчезло. Не истощилось и не было нынче осчастливлено санитарными делами. Данилов не без робости заглянул в знакомые ему заведения. Испытывал судьбу – не покажут ли ему пальцем на дверь, не вышвырнут ли подальше, не прихлопнут ли скалкой. Нет, не вышвыривали и не прихлопывали. Тогда Данилов стал выбирать. Во-первых, потому, что он мог (так он считал) разрешить себе выбирать. И потому, что многие блюда и бутыли, чьи ароматы, соки, запахи и букеты когда-то привлекали юного Данилова, теперь совсем не нравились ему. В частности, Данилов нынче нос воротил, проходя мимо заведений с историческими кушаниями. Всякие настойки из сушеных мокриц, ядовитые варева, каши из протертых кактусов, маринованные ляжки гигантских пауков, булыжники в зеленой простокваше Данилову были чуть ли не противны. К тому же во многих заведениях надо было расплачиваться наличными. В конце концов Данилов выбрал скромный мясной буфет, где можно было тихо посидеть в кредит.

Он вошел в буфет и сразу увидел Кармадона.

Кармадон сидел с тремя незнакомыми Данилову демонами возле самой стойки за тяжелым, грубо отесанным столом. Впрочем, здесь все столы были из пористого туфа, грубо отесанные. Данилов чуть было не выскочил из буфета, однако успел подумать: «Что же это я?» Степенно сел за свободный стол, правда, достаточно далеко от Кармадона. Сколько заведений он мысленно отклонил, мимо скольких буфетов прошел в сомнениях и вот выбрал именно этот. Но отчего он растерялся, отчего теперь, хотя и вынудил себя присесть за стол, все еще готов был бежать отсюда? Ведь совсем недавно сам искал Кармадона, и вот он. Кармадон. «Сиди! – сказал себе Данилов. – Раз зашел». И он сидел.

Сидел он (если брать нынешнюю их с Кармадоном ситуацию) удобнее, нежели Кармадон: тот мог его и не заметить. От этого Данилов испытывал чувство неловкости. Сам же он то и дело посматривал на лицейского приятеля. И не было у Данилова острой неприязни к нему. Что же теперь с Кармадоном, думал он. На некоторые соображения его наводило то обстоятельство, что аристократ Кармадон, ас со спецзаданием, прежде выбиравший для отдыха и встреч с друзьями места роскошные, нынче сидел в захудалом мясном буфете.

«А вдруг, – испугался Данилов, – здесь теперь железнодорожная кухня! Вот Кармадон и ходит сюда!» Это подозрение Данилова расстроило. Данилов поводил пальцами над розовым камнем, словно над музыкальным аппаратом Термена, вызывая из кухни блюда. Прежде в буфете кормили не только мясом, случалась здесь и рыба, и Данилов заказал: «Икра минтая вяленая, 1-150, яснычковая». Икра поступила. На Земле Данилов не пробовал вяленой, яснычковой икры минтая, но теперь на память ему пришло огненное кольцо, вспыхнувшее над бесновавшейся толпой в Колодце Ожидания, он и пожелал икру. Икра лежала на тарелке твердой плиткой, видно, была прессованная. Данилов отгрыз кусок и обрадовался, икра была вполне сносная, пусть и прилипала к зубам на манер ирисок, соленая, к ней кстати было бы пиво. Данилов распорядился насчет «Хейникебир» и «Радебергера». Кружки возникли запотевшие и в пене. Голландское пиво было точно голландское, «Радебергер» же ему подменили пльзеньским апольдского завода. «Ну и ладно, – благодушно подумал Данилов. – Может быть, у них и нет на складе „Радебергера“. Да ведь и „Радебергер“, если разобраться, – типа пльзеньского…» Данилов вспомнил, что Апольда – под Веймаром. Там Гете, соскочив с лошади, командовал когда-то тушением пожара. «Хорошо! – умилялся Данилов. – Разве дали бы арестанту, обреченному пиво и икру!» И

повторял заказы. Он как будто бы даже забыл о Кармадоне. Хотя, конечно, все время видел его. Кармадон сидел к Данилову боком, тихий и суровый, жевал что-то. И соседи Кармадона по столу тоже серьезно жевали.

– Можно присесть? – услышал Данилов.

– Пожалуйста, – кивнул Данилов.

– Ба, да это Данилов! – сказал присевший. – Здравствуйте!

– Здравствуйте, – неуверенно произнес Данилов.

– Какими судьбами?

– Обыкновенными… – замялся Данилов. Он все соображал, кто это перед ним.

Внешность присевшего казалась знакомой. Одет он был в европейский шерстяной костюм, но на голове имел белый капюшон от бедуинского плаща («бурнуса, что ли, – вспоминал Данилов, – или убруса…»). Лицо присевшего капюшон чуть ли не скрывал, но было заметно, что части его лица существуют сами по себе и могут меняться местами. Кто же это, думал Данилов. Не из лицейских ли знакомых? Ясно, что не их выпуска, но, может быть, старшего? Или младшего?

– Нет, я не из лицейских, – сказал демон. – Куда мне до лицея. Я мельче… Мы с вами встречались на курсах по повышению личных свойств… Вы делились наблюдениями… Я тоже с Земли… Тружусь в аравийских пустынях…

– Ах, да, да, – сказал Данилов. – Я вспомнил вас…

Он вспомнил на самом деле. Даже имя собеседника было когда-то знакомо Данилову, то ли Ураэл, то ли Ураил…

– Ураэль, – сказал демон.

– Да, да, – согласился Данилов. – Ураэль…

– Вы сюда с отчетом или за инструкциями?

– С отчетом, – быстро сказал Данилов и оглянулся.

– Ну да, – кивнул Ураэль и, как показалось Данилову, усмехнулся: мол, знаю, с каким отчетом.

– Вы здесь давно?

– Порядочно, – сказал Ураэль. – Я по вызову.

– И приятный повод, если не секрет?

– Хороший повод, – важно сказал Ураэль.

В это мгновение Кармадон, опустивший на стол бокал с черной жидкостью, повернул голову, и Данилов увидел правую сторону его лица, дотоле от Данилова скрытую, она была перекошена, словно Кармадона хватил паралич, пусть и не самый решительный, да так и не отпустил. «Экая гримаса неприятная!» – удивился Данилов и даже расстроился. Он-то знал, отчего перекосило лицо Кармадона, но прежде полагал, что все давно выправлено. Кармадон опять повернул голову, похоже, так и не

заметив Данилова, не ощутив его присутствия.

– Страдает, – сказал Ураэль чуть ли не с удовольствием.

– Кто? – спросил Данилов.

– Кармадон. Вон как его скривило.

– Но, может быть, на задании? – сказал Данилов.

– На задании! – усмехнулся Ураэль. – Если бы на задании, так его бы давно починили! Да и в звании могли бы повысить. А тут вон куда бросили! Даже стал ходить в этот буфет, бывший-то ас со спецзаданием!

– А куда?

– Что куда?

– Куда его бросили?

– Да вы что?.. – удивился Ураэль. – Вы разыгрываете меня? Все ведь знают. А вы были приятели.

– Я только из Москвы…

– Из Москвы! – опять усмехнулся Ураэль.

– Из Москвы, – хмуро и твердо сказал Данилов.

– И что же, вы не знаете, что Кармадона разжаловали из асов и бросили в микрокосмос на элементарную частицу?

– Нет, не знаю, – искренне сказал Данилов.

– Ну, так вот, бросили.

И тут же Данилов вспомнил видение в Колодце Ожидания. Был он усушен в немыслимое количество раз и помещен вовнутрь ничтожной крупинки. Там, посреди спиралей микрогалактик, каких-то кристаллических сеток, построений ледяных шаров и игл привиделся ему космический корабль и сверкнуло лицо Кармадона. Выходит, не зря сверкнуло. Но тогда лицо Кармадона было гордым, надменным, такой Кармадон на самом деле вряд ли бы зашел в мясной буфет.

– Ну и что же, – сказал Данилов, помолчав, – и там работа ответственная, там сложная работа…

– Сложная, – согласился Ураэль. – Просто ювелирная. И все же вы меня разыгрываете!

– Нет, нисколько… Мы теперь не так близки с Кармадоном, как в юные годы.

– Может быть… Конечно, я понимаю, в ту пору, когда Кармадон был блестящим асом со спецзаданием, он мог такими, как мы с вами, и брезговать… Но теперь-то?

– Я его только что увидел, – сказал Данилов. – Я не думал, что он в Девяти Слоях. Лиц, что сидят с ним, я не знаю, нарушить их беседу было бы неприличным. Но вид его меня поразил. Что произошло с ним?

«Зачем я оправдываюсь?» – отругал себя Данилов. Он понимал, что и не следовало бы расспрашивать (лукавить при

этом) случайного собеседника, неизвестно зачем вызванного в Девять Слоев из аравийских пустынь, о несчастье Кармадона, но и удержать в себе вопрос Данилов не смог. В глазах Ураэля опять была усмешка, он словно бы давал понять: мол, я-то знаю, как вы не знаете.

– Я и сам не слишком информирован, – сказал Ураэль, – Кармадон никогда не удостаивал меня беседы… Кто я для него? Мелочь… Был.

Он сделал ударение на этом «был» и опять со значением поглядел на Данилова. Может, сюда Ураэль прибыл с надеждой на продвижение, а тут надежду его укрепили, вот ему и не терпелось намекнуть об этом хотя бы Данилову?

– Я знаю обо всем с чужих слов. А это что же? Слухи. Сплетни… Будто имел Кармадон приключение… Вовсе не связанное с делом… А этакое… лирическое… Он оконфузился. Тогда его и скривило. А вы сами знаете, что в таких случаях ран и повреждений не отменяют. К тому же, говорят, Кармадон нарушил правила… Стало быть, замарал честь. Покровители и родственники сделать для него ничего не смогли. Проигравший, опозоренный – разве мог он оставаться асом со спецзаданием? Сами посудите. Теперь он демон десятой статьи.

– Десятой? – не поверил Данилов.

– Десятой. И служит на элементарной частице.

Возле Ураэля на столе возникла бутылка имбирной настойки и на тарелке – кусочки сухого бамбука, словно от распиленной лыжной палки. «Видимо, надоело ему все аравийское…» – подумал Данилов. Ураэль пожелал угостить Данилова имбирной, но Данилов, любезно поблагодарив Ураэля, вызвал кружку светлого пива.

– И вы знаете, – сказал Ураэль, – никаких официальных разборов, пусть даже и закрытых, приключения Кармадона не было. Просто его разжаловали и послали в микрокосм. Говорят, он не подавал апелляций. Да и что тут подавать?.. Обидно! Из-за какой-то юбки…

Тут левый глаз Ураэля опустился к краешку его губ, расширился и уставился на Данилова в некоем ожидании. Откровений Данилова, может быть, ожидал он?

– Да, – сказал Данилов. – Печальная история.

Глаз Ураэля вернулся на место и скромно смотрел теперь в рюмку имбирной. Этот чистенький демон в бедуинском капюшоне, видимо, многое знал. Раз имел сведения насчет юбки, то, наверное, был наслышан и об участии Данилова в приключении Кармадона. Сейчас же он (может, и с намерением) разыгрывал из себя наивного провинциала. Но вдруг Данилов

ошибался?

– Ну как у вас в Москве? – спросил Уграэль.

– Что вас интересует?

– Меня многое интересует, – сказал Уграэль. – Климат, условия быта, напитки, курево…

Тут он осекся, словно испугался, словно сообразил, что проговорился, что своими вопросами он выдает нечто такое, о чем следует промолчать. Данилов с интересом поглядел на Уграэля. Что далась ему Москва?

– По сравнению с аравийскими пустынями в Москве прохладно, – сказал Данилов, – рядом Ледовитый океан.

– Да, да, я знаю, – быстро сказал Уграэль.

– А насчет курева… Вас что интересует? Сигареты, папиросы, трубочные табаки? Или анаша?

– Нет, я это так, к слову… – смутился Уграэль. – Я не курю… Извините, я спешу по делу… Желаю вам отчитаться, – сказал Уграэль.

– Спасибо, – холодно кивнул Данилов.

– Может, еще и встретимся. А может быть, и нет, – сказал Уграэль, и тут уши его наползли на глаза, неприятно, даже зловеще Уграэль смотрел на Данилова А потом исчез.

«Нет, и вправду он что-то знает? – забеспокоился Данилов. – Он явно валял передо мной дурака. И что он расспрашивал о Москве? Похоже, что не из вежливости… Хорошо, хоть мой театр его не занимал…» Данилов чувствовал, что своей прощальной гримасой Уграэль испортил ему настроение. В раздражении пребывал теперь Данилов.

Он утолил жажду, был сыт, ему следовало уходить. Но куда? Опять в свою комнату, в свою келью, в свою камеру? И зачем уходить? Из-за боязни столкновения с Кармадоном? Но что его бояться, думал теперь Данилов. Совсем недавно он был готов бежать из мясного буфета, сейчас же он сидел чуть ли не обиженным на Кармадона: тот его не замечал. Раздражение, вызванное Уграэлем, он словно бы перенес на Кармадона. Данилову хотелось выкинуть нечто такое, что привлекло бы внимание Кармадона к нему. Данилов занимался пошлым делом – после принятия ячменных напитков потягивал коньяк (будто протестуя против чего-то). И хмуро смотрел на стол Кармадона.

Кармадон обернулся. Он что-то говорил собеседникам, что-то доказывал им и, обернувшись, замолчал, замер. Потом, словно пришел в себя, стул передвинул, спину показал Данилову и, видно, продолжил разговор.

В том, что Кармадон заметил его, Данилов не сомневался. Обратили внимание на Данилова и демоны, сидевшие с

Кармадоном. Они то и дело посматривали теперь на него. Но вряд ли вели с Кармадоном о нем речь.

А Кармадон больше не оборачивался. Данилов нервничал. Он отставил коньяк. Все в буфете раздражало его. «Он меня даже не желает замечать! – горячился Данилов. – Не выказывает презрения, ни злобы, ни обиды. Ну как же! Он – аристократ, он хоть и пониженный в чине, хоть и ущемленный, а все равно – демон главной последовательности!» Что-то распирало Данилова, личность воспитанную и скорее мирную, что-то неприятное мучило его, вот-вот готово было подтолкнуть к скандалу, совершенно бессмысленному и уж, конечно, вредному для него, скандалу (Данилов уже предчувствовал это) противному, бабьему, возможно истеричному, с битьем сосудов. «Я сам подойду к нему! – разжигал себя Данилов. – Я потребую объяснений, где Синезуд и где Бек Леонович…»

Соображение о домовом Беке Леоновиче явилось Данилову на ум (или было подсказано ему) кстати, Данилов ухватился за него. Он теперь уверял себя, что именно из-за Бека Леоновича он и намерен подойти к Кармадону и, если потребуют обстоятельства, на самом деле надерзить тому, предпринять нечто решительное. Судьба Бека Леоновича несомненно волновала Данилова, его не покидало ощущение вины, но сейчас причиной стремления подойти к Кармадону, хотя Данилов и не желал себе признаться в этом, было иное. А что – иное, он и сам не мог бы сказать. Будто причина эта существовала независимо от Данилова.

Данилов встал и подошел к столу Кармадона.

– Извините, но я вынужден обратиться к вам…

Кармадон Данилова будто бы не видел, но собеседники его смотрели на Данилова с интересом и, возможно, ждали зрелища.

– К сожалению, мне приходится нарушать приличия, но я не нахожу иного выхода…

– Вы к нам ко всем обращаетесь, – спросил демон в берете с рысьими ушами, – или кого-то имеете в виду особенно?

– Я хочу задать вопрос Кармадону, и его право решать, в обществе он желает выслушать меня или в одиночестве?

– Мне все равно, – сказал Кармадон.

– Где Бек Леонович?

– Кто? – удивился Кармадон.

– Бек Леонович. Домовой из Останкина.

– А-а, – вспомнил Кармадон, тут же сказал надменно: – К сожалению, ничем не могу удовлетворить ваш интерес.

– Но он был отправлен в известном лишь вам направлении… Именно вы его и отправили… А я давал ему гарантии безопасности… Его следует вернуть.

– Это мне теперь не под силу, – сказал Кармадон.

– А кому под силу? – не мог уняться Данилов.

– Не знаю. Но думаю, что и не вам.

Данилов вдруг почувствовал, что запал его исчез и говорить ему нечего, какой тут скандал, какие решительные выражения, да и зачем они? Жалким он стоял перед столом Кармадона, и с каждой секундой его положение становилось все более нелепым, выходка его превращалась в фарс. А собеседники Кармадона все еще смотрели на него в ожидании пассажа. Но пассаж и так вышел! Кармадон же, хоть и изуродованный, сидел по-прежнему надменный и спокойный и будто бы держал у глаза ледяной монокль.

– Что же, – сказал Данилов, – придется мне хлопотать о возвращении Бека Леоновича.

Тут он откланялся.

Теперь-то ему, точно, следовало уйти из буфета, а он не смог, вернулся к своему столу, сел спиной к Кармадону. «Какая глупость! – думал Данилов о своем походе к Кармадону. – Бабья глупость! Вот сам и принял позор. И поделом!» Безрассудным и некорректным по отношению к Кармадону было упоминание при публике имени останкинского домового. И шепотом-то, на ухо Кармадону, его нельзя было произносить. Ведь он, Данилов, ничего не знал. Ничего, кроме того, что Кармадона разжаловали и следы конфуза оставили на его лице. А как все было сделано, при каких словах, записях и аттестациях, это Данилову было неизвестно. Как он мог проявлять себя базарной личностью, крикливой торговкой солеными огурцами, у которой взяли из кадки овощ и ушли, не расплатившись! А овоща-то вдруг и не брали… Ему было стыдно и противно.

Так сокрушался Данилов, сидя в буфете. Теперь ему казалось, что намерен был буянить совсем другой, но не он. «Может быть, это все подстроили они, – думал Данилов, – исследователи?» Тогда, значит, он потерял самоуправление, расслабился и дал возможность исследователям направлять его действия в созданной ими ситуации. В этом тоже было мало приятного. Пусть не вышло крепкого скандала, но кое о чем они узнали, о Беке Леоновиче хотя бы. Нет, и выпив хорошего пива, сказал Данилов себе, он не имел права забывать о волевых напряжениях.

Данилов потягивал пиво и дальше. Удалился ли Кармадон с компанией или нет, он не знал. Шумы компании Данилов отключил от себя. Но думы о Кармадоне не уходили. Эким стал лицейский приятель! Однако держится. Пострадал, разжалован, лицо имеет кривое, а держится. И как! Будто не растерял прежних достоинств и связей и вот-вот получит решительное повышение.

Орел, беркут! Пусть и пораненный. А может, знает наперед о своей судьбе такое, что и разрешает себе выглядеть беркутом. И он еще ответит на нынешнюю выходку Данилова. Он и за дуэль заплатит ему по высокому или по низкому счету. Как пожелает. «Посмотрим, – подумал Данилов. – Орел, беркут! Он уже пыжился быть синим быком!» Сейчас же Данилов посчитал, что это его ехидное соображение о синем быке – дурное, оно как бы мелкая месть, пусть и мысленная. И это ему, Данилову, пришло на ум сравнение с беркутом, довольно пошлое, сам же Кармадон, возможно, в душе и не столь грозен. «Нет, – думал Данилов, – он все еще хищник, все тот ас со спецзаданием…»

39

Впрочем, ему стоило идти домой. «Главное – домой!» – усмехнулся Данилов. А что там? Сидеть у платяного шкафа в тоске и рефлексиях? «Вот именно там и сидеть! – сказал себе Данилов. – И думать о том, кто ты есть и зачем существуешь. И есть ли смысл в твоем дальнейшем существовании».

– Данилов, – кто-то положил ему руку на плечо.

Данилов оглянулся. Над ним стоял Кармадон. В буфете было тихо и пустынно.

– Да, – нахмурился Данилов.

– Мне нужно поговорить.

– Я вас слушаю.

– Не здесь, – сказал Кармадон.

– Где же?

– Я знаю одно место. Если ты… Если вы согласитесь отправиться туда, я буду вам признателен.

– Хорошо, – сказал Данилов.

Он встал. Кармадон повернулся и быстро пошел, не проявляя никакого интереса к тому – идет ли за ним Данилов или нет. Он был в синей накидке, хлеставшей по полу, накидка развевалась, слева под ней угадывалась шпага. Данилов шел за Кармадоном в волнении, они свернули в темный переулок, и какой там возник век, Данилов не понял, и какой архитектуры стояли здания, не мог определить, но они стояли. Здесь хозяин был Кармадон, и условия его прогулки Данилов не счел нужным разгадывать. Заскрипела дверь. Кармадон толкнул ее плечом и пригласил за собой Данилова. В руке у него оказалась тонкая свеча, бледный, нервный свет ее освещал узкую лестницу со смелыми изломами, такие лестницы устраивали в крепостных башнях и в стенах замков или каменных палат, по одной из них Данилов поднимался как-то в Соликамске в воеводском доме. Здесь он шел за Кармадоном вниз. Ступени были сухие, из камня, но стертые, и оттого как бы наклонные. Ничем не пахло, тени были хотя и живые, но зловещие, летучие мыши с песьими мордами будто бы таились в них. «Да что мне летучие мыши-то!» – думал Данилов. А сам пугался. Наконец стало чуть светлее, будто бы обнаружился некий погреб или подвал. Кармадон указал Данилову на скамью, стоявшую возле длинного дубового стола. Данилов, помедлив, на скамью сел, но нерешительно, на краешек. Кармадон властно предложил ему подвинуться к центру стола. Данилов повиновался. Кармадон разжал серебряную застежку у горла, сбросил накидку и сел возле Данилова.

– Данилов, – положил, вдруг Кармадон руку Данилову на плечо. – Данилов…

И заплакал.

До того как Кармадон заплакал, Данилов хотел сбросить его руку с плеча. Он даже дернулся, но тут же и замер в смущении. Он поглядел по сторонам: не смотрит ли кто на них. Похоже, в погребе никого не было. А смотрел ли кто и откуда на них с Кармадоном, об этом можно было только гадать.

Кармадон опустил руку, положил ее на дубовую доску стола, а потом и голову уронил на руку. «Что он плачет? – думал Данилов. – Играет комедию? Или на самом деле?» Сейчас он испытывал и жалость, и сочувствие к Кармадону.

На всякий случай он осмотрел уединенное место. Три свечи в аугсбургских шандалах, толстые, с ярким пламенем, стояли на столе, единственном в погребе. Два столба держали своды с распалубкой. Погребок был ранней готики, причем скромной, деревенской. Стены, своды и столбы его были побелены, естество кирпича проявлялось лишь в ровных шнурах нервюров. Пламя свечей не дрожало, будто электрическое, нервюры казались непоколебимыми и неизбежными. В углу, за дальним столбом, Данилов углядел бочки. С вином, с порохом, или еще с каким зельем, или с пиратской добычей, кто знает.

Кармадон поднял голову. Глаза его были сухие.

– Данилов, – сказал Кармадон. – Сыграй мне.

– Что? – удивился Данилов.

– Сыграй мне что-нибудь печальное.

– У меня и инструмента нет…

– Возьми вон там, – сказал Кармадон.

Он указал на бочки, там что-то появилось. Данилов обмер: неужели Альбани? Он быстро подошел к бочкам и увидел лютню. Лютня была знакомая. Данилов играл на ней в пору лицейской юности и позже, в Седьмом Слое Удовольствий. Лютню он держал с нежностью, чуть ли не умиление испытывал к вечному инструменту.

– Я боюсь, у меня сейчас не выйдет, – сказал Данилов.

– Я прошу тебя, – тихо произнес Кармадон.

– Я попробую, – сказал Данилов. – Но я привык к земному. Тебе же надо что-то из тех, юношеских вещей?

– Да, из тех, – кивнул Кармадон.

Данилов, естественно, мог бы сейчас исполнить любое произведение на лютне, даже если бы он взял лютню в руки впервые. Но такими же возможностями располагал и Кармадон. Кармадон желал сейчас не исполнения музыки, а самой музыки и еще чего-то большего, и Данилов стал играть. И в юности у них

были минуты высокие и печальные, и тогда звучали элегии. Данилов вспомнил былое, искренне желал своей музыкой облегчить участь давнего знакомца, застывшего рядом, жалел его и себя жалел…

– Спасибо, Данилов, – сказал Кармадон.

– За что же?

– Давай выпьем!

– Давай!.. – неуверенно сказал Данилов, пить он не желал, а главное, с неохотой опускал на скамью лютню, с печалью отпускал ее от себя, он стосковался по музыке.

Данилов с опаской поглядел на кубки, возникшие на столе, ожидал появления бутылей ликера «Северное сияние», закусок железнодорожных буфетов, уложенных в нетленные тарелочки из гофрированной фольги, но нет, страхи его были напрасными. Выпили, Кармадон пил угрюмо, махом, и Данилов удивился – до того хорош и благороден оказался крепкий напиток. «Что же на Земле Кармадон мучил нас „Северным сиянием“ и почему мне суют железнодорожную еду?» – чуть ли не обиделся Данилов. Кармадон снова наполнил кубок и опрокинул его. Данилов сделал один глоток.

– Тошно, Данилов! – сказал Кармадон. – Тошно!

– Отчего? – скорее из вежливости спросил Данилов.

Кармадон то ли издевку ощутил в его словах, то ли простое непонимание – и этого было достаточно. Он взглянул на Данилова свирепо, но в глазах его была и слабость израненного зверя, однако Данилов заробел. И Кармадон, похоже, смутился. Не для ссор, видно, он привел сюда собеседника. Данилов же не знал, как ему сейчас себя вести, они опять перешли на «ты», однако ничего, что между ними произошло, отменить было нельзя.

– Я на самом деле не знаю причин твоего нынешнего состояния, – сухо сказал Данилов.

Кармадон снова взглянул на него.

– Неужели ты ничего не слышал?

– Слышал, – сказал Данилов. – Случайно и совсем недавно. Но это были сведения невнятные и, возможно, отдаленные от истины… Может, это просто сплетня…

– Разжалован, разбит и сослан, – сказал Кармадон.

Данилов полагал, что Кармадон, коли у него возникла потребность в нем как в собеседнике, сейчас выговорится, все расскажет, драматизируя подробности, ища сострадания, но Кармадон, произнеся три слова, ударил кулаком по столу, как бы ставя точку, и с ревом опрокинул кубок.

– Но и в микрокосмосе, – осторожно сказал Данилов, – своя

жизнь.

– Да, – кивнул Кармадон. – И в микрокосмосе.

– Что же отчаиваться, – сказал Данилов. – Мы не юнцы. А в наши зрелые годы знаешь, что не в пребывании на вершине дело…

– Данилов, не надо, – сказал Кармадон. – Ты хорошо играешь на лютне, а мыслитель из тебя никакой.

– Наверное, – согласился Данилов.

– Да и не в том дело, что меня посадили на элементарную частицу! – чуть ли не выкрикнул Кармадон. – Не в том! Слабость моя – вот что меня приводит в уныние!

Данилов молчал.

– Имя твое упомянуто не было, – сказал Кармадон. – Можешь быть спокоен.

– Что же, и о дуэли они не знают?

– О дуэли знают.

– Коли знают о дуэли, знают и обо мне.

– Я твоего имени не называл, – сердито прокричал Кармадон, – я!

– И на том спасибо, – сказал Данилов.

– И слово «дуэль» не было произнесено. Все его держали в уме.

«А я заявил о Беке Леоновиче в буфете!» – расстроился Данилов.

– Я ни о чем не жалею, – сказал Кармадон. – И не жалею о том, что нарушил правила и выстрелил, упредив тебя. Ты должен это понять.

Данилов хотел было возразить Кармадону, но подумал, что действительно понять Кармадона он может.

– Но надо было стрелять наверняка! – сказал Кармадон. – Тогда бы мне все простили. И никаких разжалований. Все уважали бы меня! И я бы уважал себя. А выстрел вышел жалкий.

– Ничего себе жалкий! – сказал Данилов. – Ты выпалил в меня тысячью солнц, сжатых в пушечное ядро!

– Жалкий, – сказал Кармадон. – Раз ты существуешь, значит, жалкий. А на большее у меня не хватило сил.

– Тебе виднее, – вежливо согласился Данилов. Потом спросил: – А где секунданты?

– Они были свидетели! – резко сказал Кармадон.

– Это я понимаю, – сказал Данилов. – Однако, прости меня за назойливость, меня волнует судьба Бека Леоновича, за Синезуда не я в ответе, но Бека Леоновича я вовлек в дело, обещал ему, что с ним ничего не случится.

– Я привел тебя сюда вовсе не для того, чтобы заниматься

судьбой домового!

– Это ничего не меняет, – твердо сказал Данилов.

– Ну ладно! Сгинули они. И возможно, они улетели в черную дыру, о которой ты умалчиваешь. Теперь, скорее всего, они в иной вселенной, с нами никак не связанной. Но если у тебя есть возможности, попробуй вернуть их оттуда.

– Попробую, – сказал Данилов, будто бы не заметив издевку Кармадона.

– Но вдруг им там теперь приятнее, чем здесь?

– Может быть, – кивнул Данилов.

– И кончим о них! – сказал Кармадон.

Кубок его опять был полный. Пил Кармадон жадно, жидкость лилась на серый замшевый камзол. Данилов старался не смотреть на Кармадона. Видеть его изуродованное лицо было ему неприятно.

– А та женщина… Как она? – спросил Кармадон.

Данилов был уверен: Кармадон говорил о Наташе. Он все время опасался, что их слова кому-то слышны, хотя и полагал, что Кармадону нет резона иметь свидетелей их беседы, и, наверное, он выбрал место действительно укромное и потайное. Но тут Данилов поневоле ощупал глазами все углы готического подвала.

– Не бойся, – громко сказал Кармадон. – Нас не слушают. Я знал, куда тебя привести.

«Может, оно и так, – подумал Данилов, – а может, и нет…»

– Я ведь тогда не шутил, – сказал Кармадон. – И тебя я не испытывал. Я думал, у тебя к ней легкое отношение. А мне она была на самом деле необходима.

– Оставим эту тему, – хмуро сказал Данилов.

– Я и теперь думаю о ней, – произнес Кармадон.

– Полагаю, что дальше вести беседу бессмысленно, – сказал Данилов.

Кармадон опять опрокинул кубок.

– Да, я понимаю, – выкрикнул он, – это не по-мужски! Да, я жалок, я слаб! Моим девизом было: «Ничто не слишком!», но где уж теперь – «Ничто не слишком!». Помнишь наш разговор в Останкине?

Данилов сидел напряженный, он думал сейчас лишь о том, не повредит ли их беседа Наташе, слова Кармадона слушал рассеянно, он понял только, что Кармадон спросил его о чем-то, и кивнул на всякий случай.

– Я говорил тогда, – сказал Кармадон, – от познания – бессилие. От познания! Ты спорил со мной.

– Ты просил забыть о том разговоре.

– И я не забыл, – сказал Кармадон. – И ты вряд ли мог забыть.

– Да, я помню, – согласился Данилов. – Но у меня пока не было случая убедиться в твоей правоте. Теории же меня волнуют мало.

– Ты молод!

– Я твой ровесник!

– Ты молод! Асы стареют раньше. Ты тихо сидишь на своей планете. А со сколькими цивилизациями и неживыми системами пришлось столкнуться мне! Чего мне это стоило! Сколько я узнал!

– Но ведь ты и при выпуске из лицея был одарен Большим Откровением, – осторожно вставил Данилов.

– В том-то и дело, – выпалил Кармадон, – что многое из того, что я узнал, вовсе не совпадает с Большим Откровением!

Кармадон тут же замолчал, и теперь он, как раньше Данилов, огляделся по сторонам, нет ли кого.

– И забыл я подробности Большого Откровения, – добавил Кармадон уже не столь решительно, как бы даже смирно.

Но очень скоро он опять стал нервен и громок.

– Я устал от знаний, но ничего не могу с собой поделать. Я жаден по-прежнему. Даже если я перейду в увечные воины и буду разводить мандрагору, то и тогда, наверное, я не успокоюсь. Вот и сейчас я попал в цивилизацию элементарной частицы – по вашим земным понятиям элементарной – и там кручусь, как заведенный. Я должен вернуться в асы со спецзаданием. И кривое лицо мне без нужды! Но мне следует доказать, что я все тот же. Что я тверже прежнего и злее прежнего. Однако попробуй смути цивилизацию этой мелкоты! Поверни ее ход! Да они, эти невидимые вам крошки, тоньше и педантичнее многих существ, с которыми мне приходилось связываться. Надо понять их суть и все их оттенки. А они ни на кого не похожие. И, стало быть, опять входит в меня знание, знание, знание! И порой такое знание, от какого дрожь во внутренностях! Я отравляюсь знанием и слабею! Ничто не слишком! Куда там!.. И очень может быть, что я опозорюсь в микрокосмосе и не вернусь в асы. Я и теперь опозорен: ты существуешь и не смят мною, а у меня кривая рожа!

Он опять уронил голову на руку и затих.

Секундами раньше Данилов вспомнил о Большом Синем Быке, вспомнил о том, как он, Данилов, просовывал кость в трещину в хрустальном своде и как почесывал ею животному спину, он хотел было узнать, ради чего Кармадон собирался побыть на Земле синим быком, но спросить об этом теперь не решился.

Кармадон почувствовал его мысли, голову поднял.

– Да! Да! Я хотел там влезть в шкуру самого Синего Быка,

ощутить себя супердемоном, чтобы знать, как двигаться дальше, но что из этого вышло!

Он замолчал, потом заговорил уже о другом:

– Каждая стихия – первооснова для чего-то другого, с ней связанного, но иного, непохожего, – сказал Кармадон. – Земля, в смысле почва, – для деревьев и растений, вода – для минералов и камней, эфир – для ветров, снега, дождей. Одно преобразуется в другое. И я – стихия. Но для чего первооснова я?

Слова Кармадон произносил Данилову знакомые. Похоже, Данилов когда-то читал их в лицейских научных пособиях. Наверное, тогда. Они казались ему наивными и от его интересов далекими. Но Кармадон имел свои взгляды на мир, и что же было относиться к ним с пренебрежением?

– Для чего первооснова я? – говорил Кармадон. – Выходит, что и я должен рано или поздно преобразоваться в нечто. Но во что?

– Почему вдруг преобразоваться? Это вовсе не обязательно…

– А-а-а! Что ты знаешь! – сказал Кармадон. – И потом, у тебя – свой случай. У меня – свой. Я чувствую, что когда-нибудь преобразуюсь. Но во что? Неужели моя буйная стихия станет чистым бессилием? Или вишневой косточкой? Или оскопленным бараном? Или винтом водяного насоса? Или оплавленным куском молибдена?

«Однако… – подумал Данилов. – Прежде он так никогда не отчаивался…»

– Это нервы, – сказал Данилов. – Житейские и служебные неприятности, отсюда и нервы.

– Какие у нас нервы, ты что, – поморщился Кармадон. – Это у вас, на Земле, нервы… Или вот… Порой какой-нибудь цивилизации из-за нетерпения или еще по иной причине устроишь такую встряску, что ужас, с потопами и извержениями, с моровыми поветриями, со взрывами губительных веществ, с кровью, с сожжением столиц, с ненавистью братьев друг к другу, со страданием мысли, но оставишь жизнь – и потом все, не сразу, постепенно, но обязательно расцветает мощно и пышно, как злак на перегное… Будто бы я дал толчок развитию, какое хотел замедлить… Так нужны ли эти встряски? И кому? Мне? Им? Сейчас – встряска, огонь и кровь, а потом противные нам плоды, противное нам развитие, цветы и краски, музыка…

– Не преувеличиваешь ли ты возможности Девяти Слоев, – сказал Данилов, – не сами ли цивилизации обязаны себе встрясками?

– Даже если и преувеличиваю… Зачем мы со своими стараниями и соблазнами? И кто мы? Все эти существа и неживые

системы – при нас? Или мы – при них? Мы что-то утверждаем или чему-то вредим? Необходимо ли наше присутствие в мире, и в чем она, необходимость? Или это все игра и пустая суета? Я запутался…

– А ты считаешь, что располагаешь знанием.

– Да, я располагаю слишком многими знаниями. А то, что я пока не понимаю, я желаю, пусть и помимо своей воли, понять… Стало быть, и опять приходит знание… Это мучительно… Я слабею! Я становлюсь равнодушнее к идеалам, которые вели меня по моей дороге! Или я уже вступил на чужую дорогу? Нет, я просто обессиливаю… Ты сидишь тут живой, а я перекошен.

– Ты повторяешься, – сказал Данилов. – Что же касается твоих сомнений, то я не смогу стать тебе советчиком или оппонентом. У меня свой взгляд на вещи. Ты же в своих мнениях сейчас вряд ли поколеблешься.

– А мне и не нужен ни советчик, ни оппонент, – сказал Кармадон.

– Зачем ты привел меня сюда?

– Я сам не знаю зачем. Может быть, для того, чтобы было перед кем выговориться. Я одинок. Родственники мои и мои влиятельные приятели, хотя и сделали все, чтобы слово «дуэль» не было произнесено, холодны теперь ко мне, если не брезгливы. Это деловые демоны. Мой ученый брат Новый Маргарит считает, что меня нет. А ты хоть по сути дела и никто, так, демон на договоре, и для меня сейчас личность посторонняя, а может быть, именно и потому, что посторонняя, тут вполне уместен. Я пустил слезу, я был жалок, но мне стало легче. Может быть, я скоро забуду об этой слезе. И никто мне о ней не напомнит. Сейчас ты при мне. А скоро сгинешь.

– Ты в этом уверен? – спросил Данилов.

– Уж раз тебя вызвали такой повесткой…

Данилов хотел было возразить Кармадону, сказать, что вызвали-то его вызвали, но держат не в карцере, а в приятной комнате с платяным шкафом и часами-ходиками, и гулять дают, может, все обойдется и без крайнего исхода… Потом он вспомнил, как Кармадон обещал устроить его при своей канцелярии и тем спасти от разборов и расправ. Но что было сейчас вспоминать об этом.

– Ты знаешь о моем деле что-либо новое?

– Знаю… И вряд ли бы я смог тебе помочь.

– Я и не стал бы утруждать тебя, – холодно сказал Данилов.

– Твое дело… Твое…

Кармадон поднял кубок, но теперь уже как бы нехотя, как бы неволя себя. Потом сказал:

– Ну все. Прощай. Не будь слишком откровенным с Уграэлем. Его смотрят на твое место. Все. Иди. Прощай.

– Прощай, – сказал Данилов.

Он встал, несколько мгновений стоял в нерешительности, не зная, куда идти. Брать свечу и взбираться по лестнице?

– Данилов, – сказал вдруг Кармадон. – Ты хотел бы иметь детей?

– Детей? – удивился Данилов. – Хотел бы…

– А я не хочу.

– Отчего же?

– Я не могу передать им никаких нравственных ценностей!

«Вот тебе и раз!» – только и мог подумать Данилов.

– Да и не будут, видно, уже у меня дети-то, – горестно и тихо произнес Кармадон. Но тут же как бы спохватился и сказал грозно: – Все! Прощай!

Сразу же словно бы взорвалась бочка с порохом, готические своды исчезли в огне и дыму, и Данилов понял, что находится в двух шагах от входа в буфет.

40

Прошло еще несколько дней, если верить ходикам с кукушкой, а Данилова не тревожили. Будто издевались над ним. Или Данилов оказался в хвосте очереди, а у особ, вызвавших его повесткой, не было острых причин гнать очередь галопом. Ездить на лифте из слоя в слой Данилову надоело, зовы прошлого были им удовлетворены, знакомых встречалось мало, да и с теми беседы приходилось вести уклончивые и осторожные.

Часами Данилов лежал на гостиничной кровати, смотрел неизвестно куда и ни о чем не думал. Обещание, горячее и решительное, сейчас же и непременно обсудить смысл собственного существования и понять, стоит ли отстаивать это существование, Данилов так и не исполнил. Оправдывал безделье мысли соображением, что в своих раздумьях и разборах он наверняка будет к себе жесток и, возможно, несправедлив, расстроится, отчается, ослабнет вконец – и тогда его возьмут голыми руками. «Нет, – сказал себе Данилов, – пока погодим…»

Порой он вспоминал то или иное видение в Колодце Ожидания и пытался его истолковать. Однако уверенности в правильном понимании видений у него не было. По-прежнему вызывал недоумение забытый или намеренно оставленный фартук сапожника… Иногда приходил Данилову на ум разговор с Кармадоном. Были в том разговоре сказаны Кармадоном слова, каким теперь Данилову хотелось возразить. «Что же там не возражал?» – спрашивал себя Данилов. А впрочем, зачем возражать-то? Кармадон разговаривал с условным собеседником, равным пустоте. Он же, Данилов, в утверждении своих мыслей потребности тогда не имел. Конечно, был соблазн поспорить о тех же встрясках и первоосновах, но они с Кармадоном все равно не поняли бы друг друга, случилась бы путаница в терминологии. Данилов в Девяти Слоях и так не раз ловил себя на том, что употреблял слова в их земном значении. Хорошо, хоть собеседники этого не замечали. Впереди был главный разговор, там следовало быть чрезвычайно внимательным, чтобы не навредить себе или что-либо не так понять. И хорошо, что в беседе с Кармадоном он больше молчал. Как бы он стал спорить о тех же нравственных ценностях, какие Кармадон не может передать детям? Ценности это были бы для Данилова? Естественно, нет. «У них свое, у меня свое», – полагал Данилов… При всем том, что между ними случилось, Данилову порой было жалко Кармадона (однажды он даже сказал про себя: «по-человечески жалко», так увлекся). Он закрывал глаза, видел

Кармадона безвольным и горестным и сострадал ему. Теперь хоть стал известен Данилову смысл пребывания Кармадона на Земле синим быком (шкуру большого животного он хотел примерить на себя!). Загадкой же было то, почему прежде Кармадон обожал ликер «Северное сияние» и блюда железнодорожных буфетов, а теперь о них не вспомнил.

В Седьмой Слой Удовольствий Данилов больше не ездил. Хотя наверняка там закончилось санитарное время. Не заявлялся пока Данилов и в Пятый Ученый Слой. Он и прежде посещал этот слой редко. Трудно было ему поддерживать умные разговоры с образованными демонами. Себя Данилов считал существом недалеким, неспособным воспринять учение мудрости. Не видел он в них и особого смысла. Хотя по любознательности интересовался всякими научными новостями. Сейчас от нечего делать он был не прочь заехать и в Пятый Слой. Знакомых – и по лицею, и по былым развлечениям – у него служило там немало. Давно не встречался Данилов и с однокашником – Новым Маргаритам, братцем Кармадона. Еще в Останкине Кармадон сообщил Данилову, что Новый Маргарит сделал смелую карьеру, попал в козыри, правда, при этом облысел. Теперь Данилов узнал, как отнесся Новый Маргарит к дуэли брата и его конфузу. Вряд ли сейчас он стал бы воротить нос от него, Данилова. Впрочем, кто знает… Зачем ему Новый Маргарит, Данилов объяснить себе толком не сумел. Или не захотел. То есть он понимал, что на встречу с Новым Маргаритом толкает его помимо естественного интереса и некая корысть…

Так или иначе, однажды, испросив у интендантов куртку из свиной кожи и техасские штаны, Данилов сел в лифт и приехал в Пятый Слой.

Там дули ветры и сверкали молнии. В этих молниях Данилов не стал бы купаться, даже если теперь купание было бы ему приятно. Шли опыты, и молнии сверкали экспериментальные.

На зеленом лугу Данилов увидел крестьянскую девушку в деревянных чеботах, тоненькую, чернобровую, но с холодными, будто стеклянными глазами. Девушка подбежала к ручью, стала бросать в воду, как понял Данилов, кусочки мелко порубленного яйца, сваренного вкрутую. При этом она приговаривала: «Тети-хилоти, вас семьдесят семь, нате плату вам всем». Данилов ушам и глазам не поверил. Будто шли средние (по людским понятиям) века. Тогда лихорадок было семьдесят семь, и, чтобы избавиться от болезни, следовало бросить в реку семьдесят семь зерен проса, или ячменя, или какого другого злака, или же разрубленное на семьдесят семь частей яйцо. По всей вероятности, сейчас Лаборатория Лихорадки ставила опыт противодействия просу и

яйцу. Сотрудник лаборатории, воплотившийся отчего-то не в больного, как того требовали обстоятельства, а в весеннюю лихорадку (зимняя должна была бы выглядеть жадной трясущейся старухой), и швырял в воду кусочки яйца. Стоило пожалеть лабораторию – способов лечения лихорадки издавна существовало множество. Больной мог есть кал собачий и мышиный, пить кровь скота. Или, что приятнее, употреблять настойку навоза на водке. Больной мог найти осину с расщелиной, пролезть через нее три раза, оставив в расщелине хворь. Мог носить при себе нитку с двенадцатью узлами. Мог сказаться отсутствующим, заколотить дверь дома и повесить на ней табличку: «Его нет, уехал». Родственники могли положить больного на телегу и мчать ее на бешеной скорости по канавам, рвам, камням, колдобинам и тем самым вытрясти лихорадку. Они же могли с колами в руках гнать больного в поле или в лес, а когда страдалец упал бы обессиленный, вбить кол поострее рядом, пригвоздив болезнь к земле. Или хотя испугав ее. Словом, средств хватало, и все они были верные. Естественно, специалисты по лихорадке и прежде не сидели, сложив руки, привыкали к колам и гремящим телегам и находили кое-что посильнее тех колов. Но это было давно. Еще в пору юности Данилова все их старания и находки были названы устаревшими и ненаучными. Что же теперь они снова вступили в сражение с вареным яйцом?

Данилов не стал дожидаться окончания опыта, да и ждать бы, наверное, пришлось долго. Он побрел дальше. Встречу с Новым Маргаритом он желал теперь оттянуть, заробел. «Неужели я его буду просить о чем-либо?» – терзал себя Данилов. И он бродил по Пятому Слою, заглядывал в разные его закоулки.

Пятый Слой открывался ему то природными полигонами – лесом, черным ущельем, каменистым дном океана (чудища плавали над головой Данилова), то корпусами и ангарами (правда, без стен и без крыш) с металлической (или какой там) арматурой, переплетениями труб, изломанными прозрачными сферами, исполинскими колбами и сосудами, то коридорами или тоннелями, уходящими неизвестно куда. Там и тут виднелись таблички с названиями учреждений.

Данилов замедлил шаг. По коридорам и тоннелям катились какие-то вагонетки, плавали то ли дирижабли, то ли аэростаты, шастали и летали ученые демоны, спешили по своим заботам. Иногда кое-кто кивал Данилову на ходу, попадались среди кивающих и знакомые, но разговоров не возникало. Пора была трудовая.

Некоторые названия пылали огненными буквами.

«Лаборатория Отсушки», «Оранжерея летающих тарелок», «Институт оптимальных способов расчесывания зеленых волос русалок» («А еще, что ли, у них есть какие волосы?» – задумался Данилов), «Академия Дурного Глаза», «Склад искусственных интеллектов», «Зал тонких умствований», «Институт вывернутого чулка», «Склад исторических личностей». В этих названиях для Данилова не было ничего неожиданного. Одно его остановило: «Комиссия по использованию утопших музыкантов». То, что утонувшие музыканты используются, Данилов знал всегда, но вот комиссия была для него новостью. Он сразу же захотел ее посетить. Но как бы он туда зашел? Что бы сказал? Принес, мол, новые сведения по интересующему комиссию вопросу? Но что ее интересует? Именно это Данилов и хотел бы узнать… Он постоял, постоял у двери комиссии, потоптался и пошел дальше.

Мимо него проходил работник, показавшийся Данилову знакомым (они обменялись кивками), и уронил несколько горшков с рассадой. Данилов поднял эти горшки и, ни слова не говоря, понес их, предложив тем самым знакомому помощь. Тот от нее не отказался. «Куда он приведет меня?» – гадал Данилов. Оказалось, что в Оранжерею летающих тарелок, называемых также на Земле неопознанными летающими объектами. В теплом воздухе под стеклянными сводами они росли на зеленых стеблях и стволах. Малые и большие. И действительно, как кухонные тарелки. И размером посерьезнее. С покойный лайнер «Куин Мэри». В ангаре за Оранжереей валялись средства доставки тарелок на Землю. Многие в Девяти Слоях к тарелкам относились критически, считали их баловством. Они и были баловством. Но отчего же и не баловаться?

Тарелки особой радости Данилову не доставили. Ну растут, ну и что? Знакомый деловито объяснил Данилову, что недавно устроено шестнадцать новых теплиц, там средние тарелки будут воспитываться в течение семнадцати дней. А раньше им и двадцати двух дней не хватало. «А качество не пострадает?» – спросил на всякий случай Данилов. «Не должно быть», – ответил работник Оранжереи. Правда, не слишком уверенно. Потом он добавил сердито: «Эх, кабы натуральный навоз шел на подкормку, а не эти порошки!» Насчет навоза Данилов выразил полное согласие. С плодами местных теплиц Данилов встречался на Земле. Летали они красиво, таинственно и бесшумно, вызывая у людей противоречивые чувства.

Сразу за зимним садом Данилов углядел вывеску «Отдел Бермудского Треугольника». Для Данилова загадкой была судьба самолета «Стар-Тайгер», сгинувшего в сорок восьмом году (об остальных случаях Данилов имел понятие). Он подергал ручку

двери отдела. Но без толку. Возможно, в отделе никого не было. Возможно, сотрудники находились нынче на объекте.

Запахло пирогами. Данилов оживился, пошел на запах и понял, что приближается к Академии домашнего хозяйства. В силу житейской необходимости сам Данилов был кулинар, полотер и посудомойка, в помещения академии он шел с любопытством. Сотрудники академии, хотя их исследования и открытия не совершали переворотов, а могли лишь привести к мелким порчам и потравам, трудились увлеченно. Видно, любили свое дело. Кто писал, кто ставил опыты. Иные стояли у кухонных плит и печей – голландских, русских, занзибарских, газовых, электрических, глиняных, у примусов и керосинок, иные брызгали жидкостью на паркетные и мозаичные полы, иные поджигали обои, иные старались проглотить пылесосом валансьенские кружева, иные, накидав на ковры снега, выбивали из них пыль ружейными шомполами. Работы всюду шли серьезные. Ученые личности составляли для людей мнимые рецепты. На вид рецепты должны были быть как бы подлинными, но один или два компонента их по давней традиции (и фараоны кушали пшеничные лепешки, испеченные по тем рецептам) полагалось вводить ложные. Данилову попался сейчас на глаза составитель рецепта для варки клецок. Как этот мученик страдал над газовой плитой! Гремел кастрюлей, эмалированной, пятилитровой, чадил, бранился. Клецки из манной крупы получались у него все ровные, круглые и вкусные. Стало быть, брак. Ему надо было сварить клецки, которые бы разбегались. Он и Данилова, стоявшего рядом, в усердиях не замечал. Наконец сообразил: следует меньше класть муки. В пляс пустился от радости. В кастрюле у него плавало теперь нечто безобразное, лохматое. Он тут же, оттолкнув Данилова, бросился записывать рецепт. Ложные рецепты отправлялись на Землю и с помощью известных усилий пристраивались потом в серьезные кулинарные книги, в энциклопедии домашних хозяек, на страницы журналов для семейного чтения. На столах сотрудников Данилов видел и филадельфийские издания, и оффенбургскую «Бурду», и женский еженедельник из Уагадуа, и тихую «Работницу» (Данилов всегда перелистывал ее у Муравлевых). Теперь предстояло быть сплавленному на Землю совету насчет манных клецек. Вот не повезет какому-нибудь журналу, посчитал Данилов, полетят туда потом гневные письма, восстанут хозяйки, в чьих кастрюлях разбегутся клецки! «Ну Клавдия-то, предположим, не будет варить такие клецки», – отчего-то подумал Данилов.

Завернув за угол, он опять наткнулся на Лабораторию отсушки. «Заблудился, что ли? – удивился Данилов. – Или тут

другая отсушка?» Впрочем, это не имело значения. И тут Данилов погулял. В лаборатории разрабатывали способы отсушки от любви. (Наверное, где-нибудь по коридорам существовала и Лаборатория присушки). Эта же лаборатория была солидная. Работников в ней сидело много. Они учитывали национальные и племенные традиции, степени силы предполагаемой отсушки. Когда-то отворотное зелье изготовляли в виде порошков, неприятных на вкус, горьких или кислых, на манер тех, какие сбывал лекарь Бомелий. Теперь зелья были сладкие, тянучие, походили на жевательную резинку. Данилов скушал один голубенький шарик, сказал: «Ничего…»

Наверное, он и впрямь сделал круг (или виток? или спираль?) и вернулся в места, им уже пройденные. Опять представлял себя огненными словами Институт оптимальных способов расчесывания зеленых волос русалок. «Что же они обозвали-то себя так манерно?» – подумал Данилов. В прихожей института сидел вахтер (при усах, ноги в шерсти, табачный кашель-горлодер), Данилова он пустил с неохотой, требовал письменного допуска, но Данилов сказал железным шепотом: «Я от Тертия, с мыслями», и вахтер скис. Вскоре Данилов понял, что были основания посадить в прихожей института строгого привратника. Многие помещения института имели просто номера, видимо секретные, а то и обманные. Порой же попадались таблички, заставлявшие думать, что название института не вполне соответствует широте интересующих его проблем. Скажем, очень заинтересовал Данилова отдел сексопатологии русалок. В нем были подотделы рейнских, миссурийских, волжскокамских, дунайских и прочих русалок. И были подотделы русалок из мелких водоемов. Данилов даже заволновался: а вдруг среди прикомандированных к институту русалок он встретит знакомых, хорошеньких, разумеется. Однако сразу осадил себя: нашел из-за чего волноваться!

Потом он увидел объявление: «Научная группа проблем щекотания». Тут было над чем работать. При нынешних темпах любви, при нынешних вкусах нелегко было русалкам находить паузы для щекотания. А если не защекотать клиента, то как превратить его в утопленника? А сами способы щекотания? Нынче многие, сильные когда-то, приемы стали убогими, в лучшем случае они доводят до слез, но не до желаемого конца… Данилов заглянул в лаборатории научной группы. Все здесь было как у земных физиков (впрочем, Данилов физиков никогда не посещал). Какие-то пульты, тумблеры и кнопки, стенды, горящие цифры приборов, гул машинный и треск. И что-то лилось и журчало. На ампирной кушетке, будто из салона мадам Рекамье,

сидели четыре русалки (в эластичных костюмах типа «Садко», хвосты – в поролоновых чехлах на «молниях», волосы лишь у одной зеленые, у других – крашеные: рыжие, фиолетовые, серебряные; зонтики в лапах), они, увидев Данилова, потянулись к нему. «Эка! – испугался Данилов. – Еще защекочут!» Прежде бы он и согласился на опыт, но тут посчитал благоразумным сбежать.

И опять, еще в русалочьем институте, увидел напоминание об утопших музыкантах. И тут им отдали целую лабораторию. Логика в этом была. Утопшие музыканты издавна играли в оркестрах при водяных и русалках. Данилов, оглядевшись, понял, что нынче в лаборатории главным образом озабочены репертуаром оркестров. Всюду стояли магнитофоны на кленовых листьях, громоздились стеллажи с кассетами. Звучала музыка. Своей музыки здесь, видимо, не могли создать, пользовались земными достижениями. Данилов услышал ансамбли «Лед Цеппелин», «Эмерсон и Клайд», «Эльдорадо», «Пинк Флойд» и прочие, услышал он колыбельную Моцарта и незабвенную «Стою на полустаночке». Наверное, эту музыку заказывали русалки. А их следовало ублажать. Они работали нынче в отравленных водах.

Как еще сохраняли свои зеленые волосы, какие требовалось расчесывать. А может быть, им и нечего было сохранять? Может быть, те четыре приятельницы на ампирной кушетке сидели в париках? «Хватит русалок! – подумал Данилов. – Надо идти к Новому Маргариту». Тут же увидел еще одну табличку: «Отдел жизнеобеспечения русалок в условиях экологической войны». «Вот оно что», – отметил про себя Данилов.

До Нового Маргарита было еще шагать и шагать. Тут все теснились учреждения отраслевые, а Новый Маргарит блистал в фундаментальных исследованиях. Дорога к нему шла сквозь теоретиков.

Пока же Данилову на глаза попалась Мастерская монструмов. Рядом стоял и Колледж монструмов. Одно время в этот колледж был недобор, теперь дела, видно, поправились. Опять гудели аудитории, да и на лавочках возле колледжа хватало монструмов. Монструмы изготовлялись теперь чаще всего металлические и пластмассовые, некоторые в виде роботов или инопланетян, лишь малое число монструмов выпускалось в старых формах, вроде заросших шерстью циклопов, семиглавых змиев или горных духов с лукавыми глазами. Да что изготовлялись! Многие из натуральных демонов рвались теперь в монструмы, готовы были преобразоваться хоть в кого, до того монструмы пользовались успехом. Особый конкурс – с толкотней и протекцией – был при отборе «инопланетян».

Данилов прошмыгнул мимо монструмов, поспешил пройти и мимо Лабораторий Землетрясений, Солнечных Пятен, Начинки Шельфов, Футбольных Волнений, Потерянных Сумок, Ложных Угрызений Совести, Банковских Крахов, Селекции Гриппа, Путаницы на спиралях Млечного Пути, Поломок Осей, Вращения Звезд Большой Медведицы, Ссор из-за Премий, Порчи Уравнения Клайперона-Менделеева… да мог ли Данилов запомнить названия всех лабораторий! Главное, там занимались делами, а он шлялся.

Наконец начались озера, потом пошли бастионы, подвесные мосты, и серым замком явился Данилову Институт фундаментальных знаний. Тут привратники оказались серьезнее русалочьего охранника, ни шепот о Тертии, ни слова о Новом Маргарите Данилову не помогли. Данилов рассердился, выругал стражей, обогнул прясло стены, поплевал на ладони и, пачкая техасские штаны, перелез через крепостную стену.

В институте Данилов бывал однажды и помнил, где что находится. От знакомых, не выразивших при его явлении ни радости, ни удивления, он узнал, что Новый Маргарит задерживается, но скоро будет. Ученые тут были значительные, все больше бакалавры и магистры.

Сидеть в какой-либо приемной Данилов не смог, отправился гулять по институту. Где побеседовал с лицейским однокашником, ныне, естественно, магистром, где послушал громкие споры ученых мужей. Теоретики занимались тут не только глобальными, меж– и внегалактическими проблемами, но и вопросами частными, какие, на взгляд Данилова, могли быть решены в покинутых им лабораториях. Вот, например, целая группа корпела над созданием теории Недопущения Нейтрино. Было известно, что на Земле в штате Южная Дакота доктор Девис восемь лет в заброшенной шахте пытается поймать в бак с перхлорэтиленом (жутко герметизированный, защищенный от всех излучений) нейтрино от Солнца, чтобы узнать, что там у Солнца в недрах. И никак не поймает. Теперь в горах Кабардино-Балкарии устраивают ловушку для того же нейтрино, пробивают тоннель возле Эльбруса и скоро пробьют. Значит, надо уберечь нейтрино от ловушек и запудрить земным умникам мозги. Впрочем, в Девяти Слоях и сами никогда не ловили никаких нейтрино, очень сомневались в том, что они есть и для чего-нибудь нужны. Но теперь, имея в виду бак в Южной Дакоте и тоннель возле Эльбруса, на всякий случай решили создать теоретическую модель Недопущения Нейтрино в Ловушки. И работа шла.

Та же группа куда удачливее, как понял Данилов, вела

исследования под кодовыми названиями «Медная пуговица» и «Французская булка». Когда-то во многих местностях лешего, проявившего себя вредным, отогнать можно было, лишь выстрелив в него медной пуговицей. С веками, понятно, в институте нашли кое-что и против пуговицы. Правда, лешие мало кого теперь беспокоили. Однако возникла необходимость обезопасить от людей работников более современного склада, нежели лешие (коли им приходилось охотничать на Земле). Что же касается «Французской булки», то и она была выведена из давних времен. Иногда деятельность работников Девяти Слоев нуждалась в рекламе среди населения. Но реклама требовала подтверждения. Скажем, летал какой-нибудь крестьянин опять же на лешем. В город. Но кто ему поверит? А крестьянин достанет из кармана французскую булку: нате, глядите, булка. И все сомнения сняты. Теперь же можно прокатиться и не на лешем, и не в город, но для того, чтобы доказать что-либо публике, опять же необходимо предъявить ей в своем роде французскую булку. И тут теория на месте стоять не могла.

У других проблемы были глобальные. При тех проблемах и лысели. Данилов, посетив места творчества больших ученых, услышал много новых для Девяти Слоев выражений и словечек. Иные из них давно уже были на слуху на Земле и через популярные издания доходили и до Данилова. В одном ученом споре то и дело выкрикивали: «Гиперпространство! Гиперпутешествие!» Именно гиперпутешествие совершил Данилов, когда он открыл дверь в доме шестьдесят семь по Первой Мещанской и оказался в Девяти Слоях. Раньше говорили проще – «перенесся». Звучали и другие слова: «Субъединица», «Сцинтилляция», «Затравочная волна», «Коррелятивная память», «Изолированная система» и тому подобные. Смысл нескольких терминов Данилов все-таки попытался уяснить и был приятно удивлен, узнав, что та же самая демонстрация французской булки называлась нынче эффектом контиллюзионистской коммуникации в заданных параметрах. Тоже неплохо. В институте были внимательны к достижениям иных умов. Всюду Данилов видел множество земных, научных и популяризаторских изданий, среди прочих отметил свежий номер «Знание – сила».

Данилов выяснил, что нынче обострился интерес к проблеме происхождения самих Девяти Слоев. Тут никогда не было ясности. А теперь вынырнуло много гипотез. Правда, почти все новые гипотезы не слишком далеко ушли от старых. Но были и рискованные, ставившие под сомнение избранность обитателей Девяти Слоев и их превосходство, скажем, над землянами. В частности, гипотеза «Вывернутого чулка» («И Институт

„Вывернутого чулка“, – вспомнил Данилов, – есть где-то на отшибе…»). Будто бы система, похожая на солнечную, в своем развитии дошла до точки и по всем необходимым законам вывернулась в свою полную противоположность. («В черную дыру и наизнанку!») Вот и получились Девять Слоев. А маятник развития несется теперь в другую сторону. В этой гипотезе виделась некая обреченность, и ее признали порочной. Явились упрямцы, какие утверждали, что жители Девяти Слоев произошли от пришельцев. И их гипотезу назвали порочной. Однако она была в моде у думающей публики. А так существовало несколько крепких и оптимистических гипотез. Но было и в тех гипотезах, узнал Данилов, одно тонкое место. Откуда при Девяти Слоях – Большой Синий Бык? Зачем он? (То есть так прямо вопрос не ставился из боязни рассердить Большого Быка, вдруг сомнения дойдут до него, ведь действительно неизвестно, зачем он и что будет без него.) В годы юности Данилова о Большом Быке молчали, признавая его явлением само собой разумеющимся, а теперь заговорили. На самом деле, даже и при здешнем знании, происхождение Большого Быка было загадочным. Сам ли он встал под Девять Слоев или его поставили? Несет ли он в себе некую основу и причину Девяти Слоев или это просто животное? Прародитель ли он Девяти Слоев или так, неизвестно что? Всегда (да и теперь в серьезных работах) обходили проблему Большого Быка, но ведь все знали, что он держит на себе Девять Слоев, что он стоит, что он живой и моргает. Конечно, может быть, избранными, вроде бы жрецами, хранилась тайна Большого Быка. А может быть, и нет. Словом, теперь загадка Быка многих волновала. «Вот и Кармадон попробовал быть на Земле синим быком, – подумал Данилов, – ради важных для себя наблюдений и ощущений…»

Потом он стоял в большом холле и, раскрыв рот, внимал спору ученых демонов о трансформации зла. Неприлично было слушать чужой разговор, но ученые чуть ли не кричали друг на друга, не делая из беседы никакой тайны. Напротив, они явно были заинтересованы в публике. «Да вам своими темами, – шумел ученый, размахивавший желтой кожаной папкой, – тешить выживших из ума ветеранов на сборищах у Броккеновой горы! Вы все еще бредите кинжалами, ядами, чумой. Но костры-то давно отгорели на площадях!..» Его оппонент тоже сердился, однако поглядывал на спорщика несколько свысока, как на модника и пустобреха. «Ну да, ну да, – говорил он, – а вы-то что же? Вы-то далеко ли уехали?»

Тут и появился Новый Маргарит. Был он при свите, и виделось сразу, что это светило. Спор стих, все смотрели на

Нового Маргарита, кланялись ему. И он быстро кивал всем. Проходя мимо Данилова, он и его заметил, но так заметил, будто Данилов наконец-то договорился с его секретарем об аудиенции и теперь ждал в приемной.

– Зайдешь ко мне через полчаса. Я вызову, – бросил Новый Маргарит Данилову на ходу и удалился.

41

Через полчаса Данилов действительно ощутил приглашение Нового Маргарита и прибыл к нему в голубую сферу. Сфера эта плавала в высоком замковом зале. Новый Маргарит сидел на диване, обитом голубым бархатом. Оглядевшись, Данилов увидел мягкие овалы книжных стеллажей, заметил слесарные приспособления, лабораторные столы, один с электронными (а может, и не электронными) приборами, другой – явно для занятий черной магией. При этом – как бы за стеной – тихо звучал сверчок.

– Да, – кивнул Новый Маргарит, – я не могу работать без сверчка. Садись. – И он указал Данилову на диван. – Ну что, Данилов, ты все такой же моложавый и изящный. А как находишь меня? Не узнал, наверное?

В своих словах о Новом Маргарите там, на Земле, Кармадон был несправедлив. Данилов ожидал худшего. Действительно, Новый Маргарит постарел и был лыс, как цейлонский жрец, но телом он по-прежнему оставался атлетом. Другое дело, что в юности Новый Маргарит был вечно возбужденный и нервный, сейчас же он находился в состоянии очевидного душевного покоя. Видимо, изведал мыслью многое и с этим изведанным был в согласии.

– Ты изменился, – сказал Данилов, решив, что раз «ты», значит, «ты». – Теперь ты серьезный и успокоенный.

– Успокоенный? Ой ли? – улыбнулся Новый Маргарит. Потом спросил: – Ну, как, Данилов, жизнь?

– Ничего, – сказал Данилов. – Спасибо. А у тебя?

– У меня, как видишь…

– Да, это, конечно, – сказал на всякий случай Данилов.

– Тебя сюда вызвали?

– Да, вызвали, – сказал Данилов. – То есть вызвали не к вам, а вообще сюда…

– Угу, – согласился Новый Маргарит.

«Идиотский разговор! – подумал Данилов. – Зачем я пришел сюда? Встать, что ли, и уйти?»…

– Прежде ты редко заглядывал в Пятый Слой…

– Я многого здесь не понимаю, – сказал Данилов.

– И я многого не понимаю! – обрадовался Новый Маргарит. – И не вижу нужды в понимании многого. А в том, что понимаю, ничего не могу изменить.

– Я думаю, что ты преувеличиваешь, – сказал Данилов.

– Несомненно, – согласился Новый Маргарит. И опять чему-то

обрадовался. – А если даже и могу что-либо изменить, то не имею желания изменять.

«Не мои ли заботы вызвали эти его слова?» – подумал Данилов. Сказал, помолчав:

– Я, наверное, поэтому и нашел тебя успокоенным… Но, может быть, тебе тут наскучило?

Вопрос этот и самого Данилова смутил. Он мог быть задан лишь в случае равенства собеседников и их потребности в откровениях, но разве они были равны и откровенны? Новый Маргарит мог сейчас же поставить Данилова на место.

– Нет, – сказал Новый Маргарит, – не наскучило. Тебе вот не наскучила твоя музыка. Я знаю, знаю… И мне пока не скучно. Я уже не говорю о важном… Меня порой занимает и самый нелепый ученый спор. Забавно. Хоть бы и пустая перебранка, вроде той, что ты слышал.

– Чью же сторону ты бы принял в этой перебранке?

– Оба правы. И оба не правы. Оба – посредственности. При этом один из них более делец.

Произнес это Новый Маргарит, поделившись институтскими секретами, доверительно, как именно равному и единомышленнику. Новый Маргарит всегда был либерал и, хотя на него часто ворчали, любил проявлять себя либералом. Он и в своем научном движении преуспел отчасти и потому, что многие серьезные и строгие личности, от которых зависело его продвижение, тоже в душе считали себя либералами, однако они не могли себе ничего этакого позволить, а Новый Маргарит позволял, выражая тем самым, как им казалось, и их настроения. Они его и поддерживали.

– Оттого что он делец, – сказал Новый Маргарит, – он и средств выудил на свои темы больше. Ну это ясно…

Те два демона представляли разные ученые направления. Тут Новый Маргарит назвал теорию трансформации зла и, полагая Данилова малообразованным, стал объяснять простые вещи. Зло имелось в виду в людском понимании. В Девяти Слоях были свои категории. «Зло» тут шло как бы рабочим термином. Неким обязательным для здешних работ компонентом. Естественно, выяснялось, что для тех или иных землян есть зло. И какое зло подходит к тому или иному времени. То есть надо было уметь учитывать спрос. Тот спорщик, что сгоряча поминал гору Броккен, – с редким нюхом, модный костюм закажет за год до прихода моды. Стрессы, неврозы, сексуальные и прочие взрывы – все это по линии их отдела. Тут они мастаки. Но ничего старого они не признают. Считают все старое укусами комара.

– А ты как считаешь?

– Я считаю, – сказал Новый Маргарит, – целесообразным одновременное развитие нескольких направлений в исследованиях, даже если большинство из них в конце концов окажутся ошибочными. Отчего же не рисковать? Эти, со стрессами, в своей победной уверенности, на самом деле многого добились. Они чутки к ходу земной цивилизации. Они и автомобиль учли, и самолеты, и бомбы, и демографию, и голографию, и знают, где в метро легче оторвать каблук и вызвать сотрясение мозга, они прекрасно отличают нынешнего клерка от клерка викторианского, и в фармакологии они доки, загубили в опытах тонны антибиотиков, про героин я уже и не говорю. Они и вперед на сорок лет чуют. Ну и ладно. Ну и молодцы! Пусть и живут при своем заблуждении, что человек настолько меняется или уже изменился, что к нему приложимо лишь какое-то новое зло. Конечно, и свежие средства должны появляться, но надо иметь в виду – вечное. А то – стрессы, неврозы, сексуальные взрывы! Нашли чем гордиться.

– Ты все про того спорщика?

– Я его не осуждаю. Пусть он есть. Он необходим. Но разве памятный тебе Иван Васильевич Грозный не имел стрессов и неврозов? Или, скажем, Людовик Одиннадцатый? Да имели они, только не знали, что это именно стрессы и неврозы. Естественно, способы их управления, их нравы, некоторые их милые штучки нынче на Земле как будто бы неприличны. Однако случаются там вещи и похлеще прежних. Но все было, было, было… Не так, но было. Вот потому и тот спорщик, кого желали оскорбить горою Броккен, тоже прав. И его алхимия хороша. Ведь порой нужно лишь обнаженное действие в его вечной сути.

– И все же, – сказал Данилов, – зачем яйца-то режут на семьдесят семь частей и крошат в реку? Что вам дались медные пуговицы? И зачем столько средств идет на русалок? Что они делают-то нынче на Земле?

– Относительно русалок ты ошибаешься, – сказал Новый Маргарит.

– Не знаю, – сказал Данилов.

– Человек, как, впрочем, и обитатели иных планет, – существо чрезвычайно живучее. И терпеливое. Какие только изменения среды он не выдерживает! Правда, изменениям этим он чаще всего обязан себе. Поболеет, поболеет от радиаций и химии, а потом они будут для него как кислород. А вот какой-нибудь древний и простенький насморк свалит его с ног. Станет очень умный, а на осмеянном и забытом черном коте и поймается. И еще. Чем цивилизация становится образованнее и взрослее – или это ей так кажется, – тем острее становится у нее интерес к

собственному босоногому детству. На детские сказки и вовсе мода вспухает. И ностальгия объявится и по русалкам, и по ведьмам. Как будто бы и с чувством превосходства над ними, с иронией, без страха, но все-таки… Тут и семьдесят семь кусочков яйца вкрутую будут хороши. Имеем уже уроки. Пришлось вот устанавливать новую аппаратуру на станциях спиритических ответов. Там, на Земле, все больше и больше любознательных личностей пускают блюдечки по столу, вызывая духов. А у нас не стало хватать мощностей, чтобы двигать всю эту посуду. Мы отстали. Оттого теперь и не экономим на русалках.

– Наверное, и русалки нынче не те?

– Не те, не те, – кивнул Новый Маргарит.

– Я видел… – начал Данилов, чуть было не спросил насчет париков, но сдержался. И тут он задал Новому Маргариту такой вопрос, какой задавать ему было нельзя: – Усилия велики, старания ощутимы, а толк-то есть от них? Не только нынче. А вообще. Всегда.

– Ну, Данилов! – развел руками Новый Маргарит. И было бы логично, если бы он выгнал Данилова из голубой сферы. Однако Новый Маргарит замолчал.

– Что же, – сказал Новый Маргарит серьезно, – мы вели один разговор. А теперь пойдет другой… Ладно… Есть ли от наших усилий толк? Скажем, на Земле? Да? Ну так вот я тебе скажу. Толку от наших усилий мало. Конечно, есть дела, и существенные, но… Ход земной цивилизации не мы движем и не мы тормозим.

– А кто же? – спросил Данилов. И себе же удивился: «О чем спрашивает? Будто не знает!»

– Сами земляне, – сказал Новый Маргарит. – И тебе это хорошо известно.

– Да, у меня есть наблюдения, – согласился Данилов.

– Поэтому я и принял твой вопрос. Иному бы я побоялся смутить разум. Или же обеспокоился бы за себя. А ты мне ясен. Я знаю, кто ты…

– Кто же я? – насторожился Данилов.

– Ну, Данилов, это лишнее.

– Нет, кто же я? – сказал Данилов, чуть ли не с обидой.

– Данилов, я знаю… Во всяком случае, ты не демон. И оставим это. Ты меня спросил о толке, и коли желаешь слушать… Так вот. Сам человек куда более энергично, чем что-либо, способствует ходу своей цивилизации. Сам же человек куда более успешно, чем все, – мы в частности, – этому же ходу и мешает.

– Может, так и должно быть?

– Видишь ли, в некоторых цивилизациях мы на самом деле

были ловки и сообразительны и многое перетряхнули. Но человек… Это существо особенное… Он неуправляем. Нашему контролю и влиянию он не подчиняется. Увы. У него своя самодеятельность. Он фантазер и творец. Мы думаем о человеке с чувством превосходства. Но это несправедливо. Наши возможности Изначально несравнимы с возможностями человека. Они для него сказочные. Но голь на выдумку хитра. Многие его открытия и нас соблазнили, сколько его изобретений мы использовали и в быту, и в трудах. Мы сами, в конце концов, стали ему подражать. А наши ученые? Они-то всю земную науку рассматривают с лупой в руках. Знают, что в ней много чепухи, много глупости, а все равно ни макового зернышка не упускают из ее открытий и заблуждений. Считают, что людское знание условно, и тем не менее… Знают, что на Земле обстоятельства заставят так исхитриться и придумать такое, что никакая умная аппаратура в Пятом Слое не догадается придумать. Хоть ты ее снабди земными условиями опыта.

– Я здесь, – сказал Данилов, – видел земные научные издания. И серьезные. И популярные. С картинками. Я один такой в Москве покупаю. «Знание – сила».

– И «Знание – сила»! Конечно! – согласился Новый Маргарит. – Может, и в первую очередь такие, как «Знание – сила»! А что? Хороший журнал. Ты не находишь?

– Хороший.

– Хороший, – еще раз отметил Новый Маргарит.

– У вас и словечки в ходу – оттуда. Гиперпутешествие. Гиперпространство.

– Так всегда было. Какие термины на Земле в моде, такие и у нас. И соблюдается видимость поспевания науки за ходом времени. И облегчается ученое общение.

– Гиперпутешествие. Слово-то какое скучное. Раньше проще было.

– Но разве – чем проще, тем лучше? Ты произносишь «гиперпутешествие» и чувствуешь, как усложняется твое понимание мира. И это хорошо.

– Ты смеешься, – сказал Данилов. – Не надо мной?

– Не над тобой, – сказал Новый Маргарит. – Над теми, кто суетится, полагая себя вершителями, с тем и живут…

– А ты с чем живешь?

– Я тебе на это не отвечу… Скажу лишь вот что. Если бы мы только будоражили, злили землян, если бы мы только мешали им, вводили бы их в заблуждения и буйства, если бы у нас были лишь такие хлопоты и в иных цивилизациях, мы бы сами по себе ничего не значили. Носились бы прислугами при Фаустах. Но это

скучно. Это пошло. Это безрадостно. Это унизительно, наконец. Нет, мы не одни лишь отрицатели и вредители! В нас, несомненно, существует и нечто свое, замкнутое на себя, независимое от иных систем и цивилизаций. И оттого в существовании Девяти Слоев есть свой высокий смысл… Должен быть…

– Ты знаешь, в чем он? – спросил Данилов.

– Я догадываюсь, – сказал Новый Маргарит. – Но не всем дано знать это.

– Но ведь есть Большое Откровение, – как бы изумляясь словам Нового Маргарита, сказал Данилов. – Можно видеть все насквозь и по диагонали. И в прошлом, и в нынешнем, и в грядущем. Можно ощутить вечность. Нас так учили в лицее. Зачем нам вообще науки, коли мы и так располагаем знанием всего? Зачем нам доктрины? И прошлые и будущие? Насчет наук ты меня извини, – спохватился Данилов. – Я не из-за них начал говорить, а из-за твоих слов о высоком смысле.

– Ты, – сказал Новый Маргарит устало и как бы снисходительно, – никогда не отличался большим умом.

– Да, да, это верно, – охотно согласился Данилов.

– Потому ты и был мне приятен. Хотя порой ты, конечно, лукавил, представляясь наивным простаком… Ты и сейчас лукавишь… У тебя ведь свое сейчас в голове, и ты тверд в своих понятиях. Что Большое Откровение! Что ощущение вечности! Что видение всего насквозь! Что наши волшебные по сравнению с человеческими возможностями! И с ними все равно не знаешь истины.

– Разве они обман?

– Они не обман. И обман. Они еще не истина.

– А она достижима, истина? И она нужна?

– Не знаю… Но ради чего я отрицаю? Ради чего я познаю? Мой разум не утолен. И он мучает меня. Оттого и есть мысль. Моя. Высокая. На какую не способны спорщики из коридора… Большое Откровение, раз оно мне дано просто так и неизвестно зачем, вызывает у меня, личности размышляющей, сомнение. А не морочат ли меня? И мне кажется порой, что морочат. Но, может быть, и не морочат. Вот в чем моя беда. И вот в чем моя услада. В моей натуре, по нашей привычке, развиты привязанности к познанию и отрицанию. Ты – не мыслитель, ты чураешься Большого Откровения и ощущения вечности, они тебе только мешали бы жить. Да и чуждо тебе все наше. Не спорь. А я не могу отбросить их или принять просто так. Меня в страданьях и радостях влечет к истине. Как, впрочем, и тебя. Но ты ее стараешься достичь музыкой.

– Так она достижима? Она нужна?

– Я не знаю! Я только вижу, что ты в своей музыке куда ближе к истине, чем я в своей науке…

– Откуда ты знаешь?

– Это я знаю, – сказал Новый Маргарит. Потом добавил: – Что же касается большинства исследований в Пятом Слое, то ты, наверное, сам мог понять, что характер их, главным образом, прикладной. Там дела практические. Иногда и без сверхзадачи. Но с обязательным истечением из живой нынче доктрины. Отрицание, вред, зло, раздражение, палки в колесах. А зачем? Так надо… Конечно, люди сами себе вредят. Но и нашего зла стоят. А может быть, они без всего этого и жили бы еще в пещерах на медвежьих шкурах…

– Но ты говорил, что тебя занимают даже перебранки, якобы ученые, в коридорах.

– Занимают! – сказал Новый Маргарит. – Тем не менее занимают! Я еще бодр умом и крепок. Я деятелен, люблю интриги, игру и рад, пусть и ложным, борениям и стычкам. Мне пока на самом деле немногое наскучило. И пусть я с иными делами и темами не согласен, но раз я берусь за них или держу их в поле своего зрения, я увлекаюсь ими, и они уже как бы мои… Однако порой тошно становится… Зачем я суечусь? Куда я спешу?.. Зачем мы вообще?

«И Кармадон произнес те же слова», – подумал Данилов.

– Боюсь, что я не отвечу на твои сомнения, – сказал Данилов.

Новый Маргарит смотрел на него молча, долго. Сказал:

– А жаль. Я бы послушал твои слова. Хотя бы потому, что ты иной, нежели мы, структуры.

– За кого все же ты меня принимаешь?

– Я знаю, за кого.

– Ты заблуждаешься, – сказал Данилов.

– Ну что же, – вздохнул Новый Маргарит, – может быть, и заблуждаюсь. Но и тогда не жалею о высказанном, мне и это облегчение. И ты как собеседник хорош. Сегодня ты меня слушал, а завтра исчезнешь.

«И опять он как Кармадон!» – расстроился Данилов.

– И я обо всем забуду, – сказал Новый Маргарит. – Сомнения не часто будут посещать меня. На бунты я не способен.

– А может быть, тут все от пришельцев?

– Что? – не понял Новый Маргарит.

– Я говорю, – сказал Данилов, – может, Девять Слоев основаны пришельцами? Прибыли сюда выходцы из какой-нибудь чрезвычайно развитой цивилизации, возможно и обиженные, и оставили тут рассаду. Все запрограммировали. И Большое

Откровение… И видение якобы всего насквозь. И ощущение вечности.

– Ты что-нибудь знаешь? – с подозрением взглянул на Данилова Новый Маргарит.

– Нет, – сказал Данилов. – Я так, предполагаю.

– Это глупая теория. Но на нее нынче мода.

– А что же ее не опровергнуть?

– Она не нуждается в опровержении.

– Слушай, – не смог удержаться Данилов. – А откуда Большой Бык? Он при Девяти Слоях или они при нем?

– Большого Быка ты не трогай, – строго сказал Новый Маргарит.

– Почему?

– По кочану!

– Стало быть, тайна? Стало быть. Большое Откровение и вправду не вполне откровенно?

– Оставим это. – Новый Маргарит сидел хмурый. – Не делай себе хуже.

Они долго молчали. И дальше уже вели разговор легкий. «Что же он ждал от меня?» – думал Данилов. Ведь когда Новый Маргарит говорил о своих сомнениях, он явно смотрел на него с некоей надеждой, будто Данилов мог сказать или даже совершить нечто необыкновенное. Что-то его тяготило и будоражило. Но за кого же он принимал Данилова? Хорошо, если за человека. Но вряд ли только за человека. Данилов даже опечалился, что ничем не мог помочь Новому Маргариту.

Они еще поговорили. Данилов интересовался работой озадачивших его лабораторий и мастерских. Новый Маргарит рассказал ему, как холят нынче монструмов, особенно тех, что определились в монструмы из натуральных демонов. Данилов вспомнил о складе искусственных интеллектов и спросил, хороши ли они в употреблении. Оказалось, что почти все искусственные интеллекты плесневеют сейчас на складах.

– Отчего так?

– Они слишком ретивые, – сказал Новый Маргарит, – чаще всего с перекосом и, помимо всего прочего, дешевые.

– Ну и что?

– Как что? – удивился Новый Маргарит. – Кто же теперь пользуется дешевыми вещами!

«Наверное, он уже успокоился на мой счет, – подумал Данилов. – И больше от меня ничего не ждет…»

– Ты знаешь, – спросил он, – зачем меня вызвали?

– Знаю, – кивнул Новый Маргарит.

– И как ты находишь мое положение?

– Почти безнадежным… Если, конечно, ты тот, за кого себя выдаешь.

При этом Новый Маргарит со значением взглянул на Данилова, будто ожидая от него важного признания.

– Я себя ни за кого не выдаю, – сердито сказал Данилов.

– Тем хуже для тебя, – сказал Новый Маргарит. Потом добавил: – Выбор тебе надо сделать, выбор.

– Какой выбор? – не понял Данилов.

– А такой… Самый решительный… Подумай.

– Хорошо, – пообещал Данилов. – Я подумаю. Рад был с тобой увидеться. Извини, если отвлек от дел.

Данилов встал. И Новый Маргарит встал. Он даже движение сделал к Данилову, будто хотел обнять лицейского приятеля. Однако не обнял, а лишь похлопал по плечу.

– Ну иди, – сказал Новый Маргарит. – Может, еще и увидимся. И усмири гордыню-то…

Данилов даже рот открыл от удивления.

– Какую гордыню-то? Гордыня всегда считалась в Девяти Слоях добродетелью. А я этой добродетели был лишен.

– Ты плохо знаешь себя… Ну, бывай.

– Бывай… – сказал Данилов.

И он покинул голубую сферу.

42

«Ведь он знал, что я его хотел о чем-то просить, – думал Данилов, лежа на своей гостиничной кровати. – Но, может быть, и то, что он принял меня и говорил всерьез, с его стороны – доблесть? Кого он желает видеть во мне? Кого подозревает? Я пришел просителем, но вышло так, что как будто бы он был заинтересован в моем приходе. Ведь что-то он искал во мне, на что-то надеялся, полагал даже, что я в силах его поддержать, не слишком надеялся, но какую-то мысль держал в себе… И много желал сказать. Я ведь молчал, он говорил. Откровенным он до конца не был, да и как ему быть откровенным, коли он знает, зачем я здесь. Кармадон мне сказал: „Сгинешь!“ Новый Маргарит признал мое положение безнадежным, и все-таки он чего-то ждал от меня. Я был куда менее откровенным, нежели он. А он, наверное, ждал от меня понимания его личности, ждал сочувствия, имел в этом нужду. Или хотел узнать, к чему я пришел, а он считает, что я к чему-то пришел, чтобы укрепиться в своих сомнениях или же, наоборот, покончить с ними. Но я был осторожен… А может быть, он просто был намерен показать самому себе, что он по-прежнему либерал и не боится бродить в беседах по тонкому льду даже и с ущербной личностью? Но что мне обижаться на него и в этом случае? Все же он принял меня и даже по плечу похлопал. О поединке не вспомнил. И даже что-то подсказал: выбор, что ли… Следовало бы и подумать…»

Шли дни. Данилова не тревожили. Он теперь обрадовался бы и Валентину Сергеевичу, если бы тот явился к нему с поручением доставить куда следует. Данилов и в буфете, встретив Валентина Сергеевича, унизился бы, спросил бы, не слышно ли, когда ему, Данилову, выйдет пора сгинуть. Но, видимо, слишком мелкой тварью был Валентин Сергеевич, чтобы кушать в мясных буфетах. А вот демон из аравийских пустынь Ураэль Данилову попадался часто. Он и за стол Данилова присаживался запросто, как старый знакомый, лишь спрашивал из вежливости: «Здесь не занято?», и Данилову ничего не оставалось, как ответить: «Не занято». При первой их встрече мысли о Кармадоне помешали Данилову как следует рассмотреть Ураэля. Теперь Ураэль ходил без капюшона и Данилову был хорошо виден. Замечательным оказалось лицо Ураэля. Все его частности – нос, глаза, уши, прочее – действительно существовали сами по себе и могли меняться местами. Ураэль с охотой говорил о Москве, но Данилов его бесед не поддерживал. Порой в разговорах с Ураэлем он даже дерзил, но Ураэль ничего не замечал.

Данилову вообще хотелось теперь дерзить. И не только дерзить, но и протестовать. Хотелось выкинуть нечто такое, что привело бы в замешательство, а то и в бешенство его исследователей. Тогда бы они зашевелились и потребовали бы наконец его к ответу. Но чем вызвать скандал, чем усугубить свою вину, что бы такое учинить, Данилов не знал. И вдруг ему пришло на ум: «А не слетать ли к отцу?» Посещать отца было ему запрещено. Данилов отца никогда и не посещал. Он его вообще не видел. Однако интересовался местами его пребывания. Когда-то тот жил на Юпитере, но потом его направили на пустынную планету в созвездии Тельца. Данилов подумал о полете к отцу вслух, нарочно, открывая исследователям свои намерения. А те себя никак не проявили. «Ну и пусть! Их дело!» – решил Данилов. Полет он не отменил. Данилов прошел Четвертый Слой до самой Хрустальной Стены, все оглядывался. Нет, за ним не бежали и не ехали. Данилов открыл хрустальную дверцу, выбрался из Девяти Слоев. Раскинул руки и полетел.

Данилов мог и перенестись в созвездие Тельца или, говоря нынешним ученым языком, совершить гиперпутешествие. Местами он и переносился. Но вблизи светил и планет позволял себе и пролетать, любовался видами и снова ощущал радость от собственного парения. Хорошо ему было. Данилов вспомнил, как Кеплер три с лишним века тому назад, пытаясь доказать гармонию вселенной и выведя закон: «Квадраты времени вращения планет вокруг Солнца относятся как кубы их средних расстояний от Солнца», посчитал, что существует музыкальная гармония планет, он даже выразил нотными знаками мелодии семи известных ему небесных тел. И сейчас Данилов на время согласился с Кеплером. Он и раньше порой соглашался с ним. Ради музыки. Теперь Данилов опустил себя в Кеплеров вариант мира, и небесные тела, мимо которых он пролетал, зазвучали.

Прежде Данилов любил слушать музыку планет Солнечной системы. Он хорошо знал мелодию каждой из них, знал их голоса, в особенности его волновал голос Марса. В нем не было рева воинственных труб, напротив, тот голос был нежно-голубой. Теперь Данилову попадались небесные тела, ему дотоле неизвестные, карты же звездного неба при нем не было. Не все мелодии ему нравились; правда, стараясь быть объективным, он говорил себе, что сразу и на лету он может что-то и не понять и надо эти мелодии послушать еще раз. Возможно, тогда он их примет и полюбит. Однако, вспомнил он, парение его во вселенной вряд ли могло повториться. Тут же мелодии планет и светил стали казаться Данилову печальными, а то и трагическими. Вселенная словно бы прощалась с ним. «Нет,

глупость! – строго сказал себе Данилов. – Мелодии они меняют редко, только при катаклизмах. Не станут же они звучать иначе из-за какого-то пролетающего мимо них альтиста. Надо слушать их музыку такой, какая она есть, коли дарована возможность, а не придумывать ее!»

Ликующе проревела расплавленным голосом молодая звезда, унеслась куда-то. Точно ксилофонами прозвенела стая метеоритов, и ее утянуло. Многое слышал Данилов. Словно якорная цепь скрипела, сострадая самой себе, оранжевая планета. Напомнив Данилову ритм тарантеллы, вращалась планета поменьше. Были и земные звуки. Были и звуки, какие Данилов слышал впервые. В иных мелодиях или в простых музыкальных темах угадывались Даниловым бури, предчувствия катастроф и взрывов, тоска не осознающей себя материи. В иных была радость. Была любовь. Был разум. «Какие голоса! – думал Данилов. – Какие звуки!»

Он залетел в небольшой мир со звездой, похожей на Солнце, и с пятью живыми планетами. Решил: «А не остановиться ли здесь?» И остановился. Выбрал в вакууме место, показавшееся ему выгодным в акустическом отношении, тут и улегся. Позу принял приятную, даже беззаботную, руки положил под голову, закрыл глаза, слушал. Для него будто бы играл секстет. Естественно, не тот, в каком Данилов привык выступать в концертах. Земного в секстете не было. Однако что-то и было… Голос светила звучал ярче и сильнее других голосов, с чувством превосходства и даже власти над ними и все же не отделял себя от них. Все планеты вели свои мелодии, но в каждой из них звучали (по-особенному) темы звезды, как бы рассыпанные или раздаренные ею, и передавали они (так показалось Данилову) отчасти даже гордое умонастроение шести небесных тел: «Мы одно! Мы одно во вселенной!» Данилов привыкал к здешней музыке и способам ее выражения, она все больше и больше нравилась ему. «Что это?» – удивился Данилов. Голос третьей от светила планеты («пульт номер четыре»), поначалу ничем не напоминавший земных звуков, вдруг изменился, и в нем, внутри него, как одно из составляющих, возникло звучание альта. Да, альта! Данилов ошибиться не мог. Теперь музыка еще сильнее трогала его… О, если б навеки так было…

Данилов как бы и очнулся. «Да, что это я тут разлегся! Они же меня сейчас хватятся!» Но что было пугаться! Ведь он именно и желал, чтобы его хватились. Мог бы здесь, слушая музыку, и ожидать, когда его хватятся и призовут. Однако нетерпение погнало его. «Туда, в созвездие Тельца», – приказал себе Данилов.

Теперь он не полетел, а перенесся. С таким усердием, что

чуть было не врезался в планету, где, по сведениям Данилова, обитал его отец. Данилов уже вывел себя из Кеплерова варианта мира и мелодию планеты не услышал. На первый взгляд она была не только беззвучная, но и безжизненная. Вся – в желтой пыли. И небо над Даниловым висело желтое, а местами – коричневое. Оглядевшись, а потом и поплутав по планете, Данилов обнаружил цепи невысоких гор, к сожалению, желто-коричневых. Ни кустика, ни лужицы не попалось на глаза Данилову. «Однако…» – покачал он головой. Не увидел он и ни единой хижины, ни единого шалаша.

Сведения об отце могли быть и ложными. Но если и не ложными? Как его искать? Где? И зачем? Зачем он бросился сюда сгоряча? Одно дело возмутить исследователей и вызвать скандал. Но тут-то что делать? Зачем он отцу? Зачем ему отец? Да и отец ли? Он его никогда не видел и не знает, никогда не ощущал его отцом, хотя потребность в нем в годы детства, конечно, имел. Что скажет он ему теперь? «Здравствуй, старик, я твой ребенок», так, что ли? «Фу-ты, глупость какая! – ругал себя Данилов. – Зачем я здесь!..» И все же он понимал, что сразу отсюда не исчезнет, а попытается увидать отца, хотя бы издали. Сначала это желание он объяснил себе простым любопытством. Потом посчитал, что нет, не простое любопытство, а нечто большее… Но что – большее, он и сам не знал.

«Как он живет в этой пыли и где? Как я найду его? Покричу: „Ау!“ Смешно. И еще: если у меня есть потребность, пусть и смутная, увидеться с ним, то это вовсе не значит, что у него есть потребность в общении со мной. Что же я буду навязывать ему себя?»

Потом он подумал: а вдруг его отец долгие годы желал увидеть сына, но не имел возможности, так что же теперь лишать его этой возможности? Впрочем, поймет ли он, что перед ним его сын? Данилов летал над планетой, прикладывал к глазу подзорные трубы, включал устройства познания, какими был снабжен, но признаков жизни не обнаружил. «Да и нет здесь никого», – решил Данилов. Он устал. Присел на одну из скал, на камни.

И тут внизу, в предгорной равнине, возникло движение.

Будто вскипело нечто желтое (пыль? жидкость? месиво?), поднялось вверх столбом, буйное, свирепое, и полетело. И повсюду родились желтые завихрения, горы задрожали, будто бы вся планета должна была вот-вот стать пыльной бурей и унестись неизвестно куда. Но горы не раскрошились, планета не изменила направление полета. Лишь бешеные, плотные пылевые облака носились возле скал, на которые взобрался Данилов. «В здешней

атмосфере какие могут быть ветры? – думал Данилов. – Стало быть, он. И видит во мне врага. Или ничтожного и случайного нарушителя его спокойствия… Или он сам существует лишь в виде пылевых облаков и ни в каком ином виде не может показаться мне?» Нет, это предположение Данилова оказалось ошибочным, очень скоро в одном из облаков проявилась фигура летящего старца, он был в белом свободном хитоне, яростно дул, вытянув губы, словно желая смести все, что было на его пути, его седые, прямые волосы неслись красиво и мощно, будто их и впрямь направляли воздушные струи.

Данилов встал. Он был взволнован. Он хотел что-то выкрикнуть старцу, но ни слова не смог прошептать. Старец заметил его, то есть он, наверное, и прежде видел Данилова, но теперь он повернул в его сторону. Подлетел к Данилову, резко застыл совсем рядом, Данилов готов был сейчас простонать: «Отец!» – и броситься к старцу, но тот, вцепившись в него взглядом, как бы не разрешал ему сделать ни движения, потом нервно вскинул руки, отшатываясь от Данилова или отгоняя его от себя, и взмыл вверх. Данилов чуть было не полетел за ним, но старик ничем не показал ему, что желает этого, и Данилов удержался на скале. А старик уже унесся вдаль и стал песчинкой.

«Как он красив, – думал Данилов, – и как ужасен. Он нисколько не похож на меня… Он – из трагедии… А я откуда?.. Но глаза, какие глаза… Он понял, кто перед ним, я чувствую это, и он вобрал меня в себя… В одно мгновение… Однако потом он так странно смотрел…» Старик смотрел не то чтобы странно. Данилову его взгляд показался взглядом безумца.

Данилову не раз намекали, что его отец, кажется, сошел с ума, и ему именно поэтому облегчили участь и разрешили отправиться на пустынную планету вольным поселенцем. Были и иные мнения. Данилов верил им. Но теперь глаза старика его ужаснули.

«Я здесь лишний, – думал Данилов. – Он видел меня, я – его, и достаточно. Он мне чужой, и я чужой ему. Он здесь хозяин, но он даже не посчитал нужным ни указать мне на что-либо, ни сказать хоть о чем-то… Просто исчез, истаял… Да и может ли он о чем-то сказать?» Именно после этих соображений Данилова старик появился снова. Он пронесся мимо скалы и, обернувшись, сделал властное движение рукой (или крылом?), какое Данилов понял: «Следуй за мной!» Данилов полетел. Больше старик не оборачивался, полагая, что и одного жеста для посетителя хватит. Он был хорош и величествен в своем протяженном льющемся хитоне. Данилов же считал собственный костюм (куртка из свиной кожи и техасские штаны) сейчас неуместным,

легкомысленным, стыдился его. Летели они долго, но словно бы на одном месте, все та же тоскливая желтая равнина была под ними. Наконец побежали печальные холмы. Старик приостановил полет, поднес руку к глазам, поглядел вдаль, видимо высматривая, все ли вокруг хорошо, не горит ли степь, нашу девушку не волк ли заел, и можно ли следовать дальше. Но дальше он не последовал, а кругами, кругами, как тяжелая птица, стал спускаться к холмам. Данилов увидел черную щель… Пещера… Стало быть, вот он, приют вольного поселенца… Влетели в пещеру. И при этом старик не обернулся.

К темноте Данилов привык сразу. Было в пещере два камня. Один побольше, плоский сверху, вроде стола, другой – поменьше, как бы табурет.

Щемящее и тонкое возникло в нем чувство сыновней вины. Будто он, богатый, юный и здоровый, посещал старика в сиротском доме. Захотелось сейчас же что-либо сделать для него. Но что? И как? «Бедный старик, – повторял про себя Данилов. – Бедный одинокий старик!»

Старик взмахнул руками-крыльями, белые жесткие кусты его бровей сошлись в напряжении, и Данилов тут же вместе с хозяином оказался в мраморном дворцовом зале, где хоть сотню гладиаторов своди в бою. Зал был с верхним светом, жаркое полуденное солнце било в широкие проемы, не знавшие стекол, взблескивала вода в мраморном бассейне, сверкала бронза и слоновая кость. Старец сидел в кресле с высокой спинкой и подлокотниками, как на троне, могучий, царственный. А кем Данилов стоял при нем? Слугой? Учеником? Наследником? Помещение было явно римским, времен побед и громкой славы, времен империи, публика собралась тут важная – все были в тогах, а кто и в панцирях. Ждали кого-то, верно императора. Явился и император. В лицо его Данилов не узнал (Цезарь? Август? и как мог бы узнать?), но посчитал, что, наверное, Цезарь. Да и хотелось Данилову, чтобы это был Цезарь. Началась подходящая к случаю церемония. Данилов желал разглядеть среди усевшихся на курульных креслах и в особенности на почетных бицеллиумах (сиденья – из кожи, а на них – подушки) Брута, но не угадал его. Все шло чинно, но при этом Данилов понимал, что главный здесь не Цезарь, хотя его и поздравляли с победой, а старец в белом хитоне. Старец взмахнул рукой, и римляне исчезли. («А Цицерон-то был среди них?» – спохватился Данилов.) Но уже был воздвигнут Версальский дворец, хорошо известный Данилову, и в чудной Зеркальной галерее Ардуэн-Мансара (направо, в окнах – главная аллея, бассейны с золотыми китайскими рыбками, водный партер, налево, в зеркалах, – гости

и деревья парка, а наверху – красное, зеленое и голубое небо живописца Лебрена) на наборном паркете дамы с невиданными прическами и кавалеры в перьях – куклы Ватто – при свечах (их тысячи в серебряных люстрах) и при тихих звуках галантного оркестра танцевали, радуя Данилова и движениями, и костюмами, и запахами. Среди танцоров был и Король Солнце. («Хороши у него манжеты!» – отметил Данилов.) Старец поманил Людовика сухим пальцем, тот извинился перед дамой и быстро, но и не забывая о том, что он король, подошел к старцу. Старик что-то шепнул ему, Людовик несколько удивился, однако поблагодарил старца и низко поклонился ему. Сразу же к Людовику подозвали молоденькую даму, Людовик завел с ней светский разговор, и по игре его глаз Данилов понял, что он чрезвычайно доволен подсказкой. (А от Зеркальной галереи до спальни Короля Солнце – два шага, Ардуэн-Мансар все должен был предусмотреть.) «Кем же она станет? – заинтересовался Данилов. – То есть кем же она была? Неужели это мадемуазель да Лавальер?.. А ведь и вправду хорошенькая… Как я ее сразу не заметил…» И Данилов потянулся к девушке.

Но Зеркальная галерея исчезла, и Данилов ощутил себя вблизи бельгийской деревушки Ватерлоо. Было зябко, и техасские штаны не грели. Лишь к середине сражения, когда дела Веллингтона были уже худы, Данилов перестал мерзнуть. А вскоре он промок в водах при Трафальгаре. Нельсон много кричал и не вызвал симпатий Данилова. Потом Данилов побывал во многих примечательных срезах земной истории, видел немало занятных личностей. С некоторыми даже знакомился и беседовал. Об иных из них память на Земле была свежая. Дворцы, гробницы, египетские, индейские, куда Данилов попадал, подчиняясь воле и знаниям старца, поля сражений, лужайки любви были ему интересны. Личности же часто встречались довольно мерзкие, иным Данилов плюнул бы в лицо, коли не был бы гостем на желтой планете. Но не он выбирал знакомцев…

Показывал ли старец ему, Данилову, некое зрелище или самому старику были сейчас интересны эти переходы из эпохи в эпоху, все эти повторения былых сражений, балов, интриг, свидетельства поисков человеческого духа, Данилов с определенностью сказать не мог. Похоже, дело было тут не только в нем, Данилове. Возможно, что старик со своим своеобразным (назовем так) умом и забывал о госте. Порой он так увлекался, что вмешивался в те или иные события, преобразовывался, переодевался, бросался в толпу, ничем не объявляя себя, и многие события принимали вовсе не тот ход, какой был отражен в документах и учебниках. За час до сражения

под Ватерлоо старец излечил Бонапарта от насморка, и Веллингтону пришлось бежать в сторону Гента, бросив разбитые полки и натянув грубую юбку шотландского волынщика. Бледные, неприкрытые ноги герцога Данилова разжалобили. Старцу, видимо, нравилось перемешивать эпохи и их возможности и добиваться при этом неожиданных для самого себя результатов. Ганнибала он посадил в танк Гудериана, и тот чуть было не отморозил уши. Вылеченного Бонапарта, прямо из Дрездена, где император возле дворцовых ворот смотрел на движение своих солдат (за спиной его, отметил Данилов, Хофкирхе, там Бах играл на органе Зильбермана), старец двинул в тренеры Елены Водорезовой по причине внезапного недомогания Станислава Жука. Гете старец сделал веймарским герцогом, а Карл Август, бросив собак и женщин, пробовал сочинить «Фауста». Ивану Грозному в Грановитой палате на западной стене, прямо поверх фресок, был показан фильм Эйзенштейна, и Иван Васильевич плакал. В садах Варанаси являлись старцу сладкие восточные женщины, ласкали его, но были среди них и особи европейские, в мини и в макси, и девушки с пляжей Калифорнии.

Данилов смотрел на видения (а может быть, и на картины реальной жизни) внимательно, порой они захватывали его, он сам будто бы жил в них. И вдруг пределы старцева мира раздвинулись, явились к нему люди в обилии, наверное, от всех поколений и народов, а он сидел на своем троне, сделавшемся гигантским. Старец раскинул руки, обнимая весь свой мир и как бы заявляя: «Вот оно – все мое!» «И если хочешь, будет – твое!» – услышал Данилов и вздрогнул. Нет, губы старца не шевелились. «Почудилось, – решил Данилов. – Да и бас должен быть у него, а прозвучал тенор…» Тут старец слетел с трона, глаза его оказались прямо против глаз Данилова, и Данилов, ошеломленный, испуганный, опять отметил, что на мгновение взгляд старца был цепкий, острый и мудрый. Но сразу же он стал безумным. Старец, как и у скалы, вскинул руки, отгоняя Данилова или отрешаясь от него, и горестно покачал головой.

Свет померк, снова Данилов стоял в пещере, она была пуста.

Данилов выбрался из пещеры. «Все? – думал он. – Он попрощался со мной?.. Но я-то с ним – нет».

Почему-то Данилов был в уверенности, что найдет старика возле скалы, где он явился ему. Нет, там старца не было. Данилов спустился в ущелье, там и увидел старика. Он лежал на камнях, лицом к небу. «Не разбился ли?» – забеспокоился Данилов. Совсем подойти к старику Данилов не решился. Тот дышал. Глаза его были закрыты. Из уголка рта текла слюна. Данилов сделал

шаг к старику. Но произошло преобразование. Теперь перед Даниловым лежал смуглый обнаженный юноша. Тело его могло стать моделью для Праксителя. Юноша поднял веки. Глаза его были усталые и печальные. «Он поверженный!» – как открытие пришло к Данилову. Юноша поглядел на Данилова, и в его глазах Данилов увидел безумие. Юноша привстал, взглянул вверх, поднял руку, и небо стало лазурным. Горы ожили, зазеленели. Белые и розовые храмы возникли на них, зазвенели струи горных ручьев, существа золотого века Эллады окружили юношу. Он посмотрел на Данилова с неким вопросом, будто ожидая от него важных слов. Данилов молчал. Нимфы в медленном, темно-лиловом танце стали подходить к нему, дивная свирель Пана помогала им. Данилов молчал. Юноша задрожал и снова стал старцем. Белые и розовые храмы исчезли, пропали и нимфы, и сатиры, и звуки свирели, все вокруг было теперь в зарослях орхидей. Данилов молчал. Старец вновь подлетел к Данилову, снова посмотрел ему в глаза и снова как бы отшатнулся от него. Потом он своими безумными глазами показал куда-то в небо, ткнул в ту сторону перстом. Сгорбился и пошел прочь.

«Теперь все, – подумал Данилов. – А мы и слова друг другу не сказали… А может, и верно: истина – вне слов?»

43

Хрустальную дверь в Девять Слоев Данилов открыл без труда. Дверь не заперли, капканов на него не поставили. Да и зачем капканы?

Данилов скинул куртку, улегся на кровати. Такой, стало быть, полет. И был ему, Данилову, предложен вариант жизненного устройства. Но понял старик отношение Данилова к его миру. И, поняв, указал сухим перстом… Куда указал? Данилов запросил атлас звездного неба, искал, где находился, потом выяснил, какие звезды можно было видеть с желтой планеты и именно из памятного ущелья. Похоже, старик показывал в сторону Солнечной системы. На Землю. Кабы от него что зависело…

О прошлом отца знания Данилова были смутные. В чем состояли вольные думы отца, отчего его называли вольтерьянцем, выяснить Данилову не удалось. Те времена были далекие. Наказать его в ту пору могли и за одну связь (коли посчитали ее серьезной) с земной женщиной. Но безумен ли он? Тут Данилов, вспоминая острый, мудрый на мгновения взгляд старика, придерживал мысли. Возможно, у него такая манера жить, а возможно… «А ведь он, наверное, доволен, – думал Данилов, – своим миром. Он не просто смотрит забавные картины, он творит. Это интересно, но не для меня. Ведь это не жизнь, а игра, это уже вторичное… что же играть в жизнь, если можно просто жить?..» Вот именно, если можно…

В своих мыслях Данилов почти не называл старика отцом. Так: «старик», «старец»… Не выходило: «отец». Данилов испытывал симпатию и сострадание к старику, но это было одно, а вот ощущение родства с ним у Данилова не возникло. Данилов бранил себя, называл очерствевшим. Однако распалить в себе сыновьих чувств Данилов не мог… Но не зря он побывал на желтой планете, не зря.

«А впрочем, почему бы и не принять игру старика?» – размечтался Данилов. Как хотелось бы Данилову, скажем, оказаться в 1732 году возле лейпцигской Томаскирхе, простодушной, просторной, и увидеть там кантора, и тот, крепкий еще, сорокасемилетний, только что сочинивший «Кофейную кантату», шагнул бы к нему, достал бы из кармана камзола бумаги и сказал бы: «Вот, Данилов, я посвятил вам концерт для альта, исполните, я прошу вас…»

«Нет, так нельзя!» – оборвал мечтания Данилов. Он встал. Был сердит. Готов был обвинить своих исследователей и

кураторов в волоките и даже безответственности. Когда же они призовут его к ответу! Хотя бы подумали о пустой трате средств, возмущался Данилов… Был он еще и голоден, а потому решил отправиться в буфет, там наесть и напить на столько, чтобы финансовые службы указали кому следует на недопустимость длительного содержания Данилова в Четвертом Слое Гостеприимства и призвали бы расточителей средств к ответу.

Данилов сел за стол, мысли его были уже заняты составлением программы обеда, желудочный сок выделялся в обилии, и тут появился Граэль. «Опять этот…» – рассердился Данилов. По лицу Граэля бродили уши, обтекая нос и глаза.

– Садитесь, – предложил Данилов.

– Что вы заказали? – спросил Граэль.

– Кажется, тетерева на вертеле, – сказал Данилов.

– А я возьму устрицы…

«А что? – подумал, воодушевляясь, Данилов. – Тетерева – это неплохо. Это хорошо! Но только чтобы были с корочкой и чтобы их обложили маринованными грибами…» В это мгновение Данилова взяли за шиворот (ощущение было, что именно за шиворот, в горло снизу врезался воротник, как петля) и куда-то поволокли. Данилов барахтался в пространстве, задыхаясь и делая нелепые движения руками и ногами, освободиться ему не дали, а чем-то пристукнули, на секунду Данилов потерял сознание. Когда очнулся, понял, что сидит на жестком стуле и пристегнут ремнями к спинке. «Зачем же пристегивать-то!» – возмутился Данилов.

Перед ним были черные стены, и на них, там и тут, стали проступать огненные слова: «Время „Ч“!», «Время „Ч“!», «Время „Ч“!» Слова запрыгали, заплясали, принялись наскакивать на Данилова, увеличиваясь на мгновения и раскаляясь до белого пламени. Потом возник звук, устойчивый, ноющий, и когда он остыл и утих, остыли и пропали огненные слова. Данилов увидел, что стул с ним стоит в высоком зале, похожем на лицейскую аудиторию. Он же, Данилов, находится наверху, как бы на галерке. Зал был пустой, но очень скоро там, где полагалось выситься кафедре, появилась маленькая фигурка. «Валентин Сергеевич!» – понял Данилов.

Валентин Сергеевич был в том самом пенсне, в каком Данилов увидел его в собрании домовых на Аргуновской улице. Но тогда он носил френч, а теперь надел старенькую толстовку, подпоясал ее шелковым шнуром и опять походил на тихого счетовода районной конторы. В руках Валентина Сергеевича было мусорное ведро, совок и веник. Данилова это удивило. Огненными словами уже обозначили «Время „Ч“», но как будто бы

вышла накладка, пол не убрали, и вот перед явлением судей, исследователей и исполнителей был выпущен с совком и веником порученец Валентин Сергеевич. Валентин Сергеевич очень старался. Это на Земле, да и то лишь с Даниловым, он позволял себе дерзить и даже нагличать, знал, что тот пошатнувшийся. Здесь же Валентин Сергеевич всем своим видом, движениями своими показывал (только кому?), что он личность мизерная и свой шесток знает. Данилову даже стало жалко курьера и подметальщика Валентина Сергеевича. „Эко достается труженику, – думал Данилов, – а может, и кормильцу беспечных чад. Чем его участь лучше моей?“

Тут произошел взрыв. Будто Валентин Сергеевич наступил на мину. Данилова ремни удержали на стуле. Дым потихоньку рассеялся, и там, где стоял Валентин Сергеевич, он же и обнаружился. Но это был уже не совсем Валентин Сергеевич. Он менялся на глазах Данилова. Личико счетовода превращалось во властное лицо, пенсне растаяло, толстовка стала необыкновенной важности сюртуком с золотой отделкой, бывший Валентин Сергеевич вырос, погрузнел, это был теперь строгий и могущественный начальник Канцелярии от Того Света.

Глаза Данилова щипало. Опять, как и в собрании домовых на Аргуновской, превращение Валентина Сергеевича, видимо, вызвало выходы слезоточивого газа. Вот, значит, какой Валентин Сергеевич! Сам начальник канцелярии проявил интерес к личности Данилова и его заблуждениям. И как проявил. Месяцы находился в охоте за ним. Даже если не сам он побывал на Земле единой сутью, а спустил туда свое воплощение в виде старательного порученца, Валентина Сергеевича, не меняло дела. Стало быть, ему показалась занимательной жизнь останкинского альтиста, коли не соскучился, а проявлял прыть и суетился на Земле, воруя, между прочим, у Данилова и Альбани. Начальник канцелярии стал сейчас для Данилова интереснее. Наверное, он получал удовольствие, пребывая в шкуре мелкой твари, мизерного лица – старичка на побегушках и зная при этом, что придет мгновение – и он произведет нынешний взрыв, потеряет пенсне и веник и грозным взором взглянет на Данилова. Да не только на Данилова!

Валентин Сергеевич, а Данилов уже не мог называть начальника канцелярии иначе как Валентином Сергеевичем, все еще строго глядел на Данилова. А ведь и так уже произвел должное впечатление.

Посчитав, что хватит и следует начинать, Валентин Сергеевич будто бы нажал на кнопку, и для Данилова началось. Свет в зале стал электрически синим, лампой с таким светом в сороковые

годы Данилова лечили от насморка, свет загустел, помрачнел, вызывал в Данилове тоску. Стул Данилова затрясло, подхватило, понесло вниз, а потом вправо и вверх, стул словно бы оказался частью отчаянного аттракциона, на какой в земном парке не допустили бы человека хворого и с нарушениями вестибулярного аппарата. Крутили все быстрее, Данилов вцепился в ремни, был рад им, еще мгновения назад казавшимся ему кандалами или тюремными цепями, теперь только ремни, верилось ему, и могли спасти его, удержать его. В синем свете что-то вспыхивало перед Даниловым, и эти вспышки освещали лица, тут же исчезающие. Чьи это лица, Данилов не успевал понять.

Было Данилову так противно, что и вправду хотелось исчезнуть вовсе. Все надоело.

Но вот стул стало потрясывать сильнее, будто булыжная мостовая оказалась на его пути или бревна, какие нынче, оторвавшись от плотов, бродят в водохранилищах, принялись бить по сиденью и ножкам, однако скорость движения заметно снижалась, и свет был уже не таким густым и жутким. Лица, являвшиеся во вспышках, проносились мимо Данилова теперь не так стремительно, кое-кого Данилов признал. Пролетел в синий свет заместитель Валентина Сергеевича по Соблюдению Правил, пролетели приближенные к Валентину Сергеевичу служащие Канцелярии от Того Света, пролетел сановник Канцелярии от Порядка, пронеслись два заслуженных ветерана с репейниками в петлицах, ученые господа, среди прочих и Новый Маргарит. Глаза у всех были суровые, готовые карать.

Движение стула замедлилось, но совсем не прекратилось. У Данилова осталось ощущение, что и судьи его на своих креслах (а может, диванах) также совершают некий полет. Он слышал раньше, что разборы судеб и провинностей особо опечаливших канцелярии демонов проводились способами самыми разными. И просто в темноте, одними голосами. И в помещениях, похожих на земные суды, с соблюдением процедур, предусмотренных кодексами и традициями подходящих к случаю стран. И как бы в начальственных кабинетах с криками и битьем кулаков по столу. И в исторических костюмах с явлением дыб, пыточных колес, раскаленных щипцов, гильотин, которые, впрочем, не применялись, а лишь создавали настроение. Данилову досталась карусель не карусель, но с чем-то и от карусели.

Вспышка осветила лицо Валентина Сергеевича, и он произнес:

– Решается судьба демона на договоре, земное прозвище – Данилов Владимир Алексеевич.

Новая вспышка выхватила из небытия заместителя Валентина

Сергеевича по Соблюдению Правил. Заместитель начальника канцелярии принялся произносить слова медленно, торжественно и с укором.

Он говорил долго, был дотошен и уместил проступки, сомнительные мысли, стиль поведения и претензии Данилова в семьдесят три пункта. При этом он сказал, что справедливости ради следует отметить, что растрат за Даниловым не замечено, напротив, представительские средства Данилов сберегал. Но это не меняет сути дела. Нарушены им многие пункты договора, подписав какой кровью из голубой вертикальной вены, Данилов и стал демоном на договоре. Причем нарушены и теперь, после вызова в Девять Слоев с объявлением времени «Ч». В частности, имелся в виду полет Данилова к отцу. Но эти нарушения для Данилова не страшны – они ничего не добавляют к сложившемуся представлению о его личности, а вызваны нервозностью ситуации, желанием Данилова похорохориться, и тут его можно понять. И нарушения правил сами по себе не страшны, не для Данилова, конечно, а для Девяти Слоев, с этими нарушениями можно было бы разобраться в служебном порядке. Данилова уже наказывали и прикрепили к домовым и теперь бы наказали по всей деловой строгости за дурь, коль был бы смысл. Но и не в нарушениях договора суть дела. Тогда в чем же она?

А в том, что, ради корысти или просто так, Данилов, если судить по его поступкам и умонастроениям, теперь более человек, нежели демон. Опять же, и такая личность могла бы оказаться полезной Девяти Слоям, быть на учете и пользоваться демоническими возможностями, но в Данилове или уже произошло нарушение надлежащих пропорций, или вот-вот произойдет. И еще. Коли бы Данилов изначально был человек плюс чуть-чуть демон, то и разговор бы шел иной. А то ведь начинал Данилов с демонов, пусть и не с полноценных, пусть и с незаконнорожденных, но с демонов. И вот теперь, особенно в последние годы, произошли большие перемены, они были подготовлены всем образом жизни Данилова на Земле и податливостью его натуры к людским влияниям. Объяснения последнему надо искать в свойствах, переданных ему с кровью матери, ярославской крестьянки. Да что перемены! Просто взрыв произошел в Данилове. Земное копилось, копилось в нем и взыграло. Кроме всего прочего, в последнее время Данилов, уверовав в то, что он большой музыкант, полагает и своей музыкой поставить себя вне Девяти Слоев и даже выше их.

– Музыка-то при чем? – не выдержал Данилов.

Заместитель оставил его слова без внимания и сказал, что дурен не только Данилов, но и дурен его пример. Данилов погряз

в людской трясине, поддался людским соблазнам и исхищрениям, пошел по легкому пути, он служит людям…

– Где доказательства? – заявил Данилов и сам себе удивился: что он ерепенится?

– Доказательства будут, – услышал он спокойный голос Валентина Сергеевича.

Данилов сразу же и сник. Естественно, будут.

– Да, – продолжил заместитель Валентина Сергеевича, – суть истории Данилова – измена и бунт. Пример его падения, пример его измены идеалам, пусть и не декларируемой измены – Данилов, к счастью, не мыслитель и не теоретик, – пример этот дурен. И заразен. Поэтому Данилов не должен более пребывать демоном.

«Переведут в человека?» – подумал Данилов.

– Но и сделать его просто человеком, – продолжал заместитель, – было бы неразумно. Решение проблемы вышло бы упрощенным. Злодей должен быть наказан. А потому следует лишить Данилова сущности и память о нем вытоптать.

Заместитель Валентина Сергеевича погас, и на его месте никто не возник. «Стереть в порошок!» – раздался одинокий возглас. Но он не был поддержан. Стул с Даниловым плавал и вращался, а все молчали.

– Что же, – сказал Валентин Сергеевич, – перейдем к просмотру материалов о жизни Данилова. Мы могли бы и укоротить разбирательство, дело тут определенное, но если есть любопытство к материалам и доказательствам…

«Ужас какой! – сокрушаясь, думал Данилов. – Сейчас все покажут! Они небось видели меня и в туалете. И покажут теперь. Кончали бы скорее. Ведь ясно все! Ясно!»

Он считал свою судьбу решенной. И не находил сейчас в себе сил сопротивляться чему-либо. Да и не желал ничему сопротивляться.

– Но прежде чем перейти к просмотру, мы хотели бы задать один вопрос Данилову. Нам известно о нем все. Но относительно одной вещи необходимо уточнение. Вы ответите нам?

– Спрашивайте, – обреченно сказал Данилов.

– Вначале послушайте, – предложил (и, видимо, всем) Валентин Сергеевич.

Звуки, какие раздались сразу же после слов Валентина Сергеевича, озадачили Данилова, однако показались ему знакомыми. «Где же я их слышал?» – думал Данилов. И в нем, почти сломленном и сдавшемся, объявилось вдруг предчувствие, что, если он поймет, что это за звуки, ему, возможно, выйдет облегчение. Звуки были нервные, порой растерянные, порой

усталые, но иногда в них ощущалась и воля. Некоторые из них жили сами по себе, некоторые выстраивались в неожиданные ряды. Но между всеми этими звуками, и одинокими, самостоятельными, и образующими какие-то фразы, чаще всего скорые, рваные, несомненно, существовала связь. «Это музыка! – решил Данилов. – Музыка!» И дело было даже не в том, что многие звуки произносились земными музыкальными инструментами, – если бы их издавали и несмазанные тележные оси, или крылья ветряной мельницы, или шланги пожарных машин, или пыльные смерчи желтой планеты, то и тогда бы Данилов сказал, что тут музыка. Звуки подчинялись законам и открытиям земной музыки, ему известным. «И ведь я не в первый раз слышу их, – говорил себе Данилов, – не в первый! Это своеобразная музыка, но интересная музыка». Он не мог не отметить, даже и в теперешнем своем состоянии, что качество воспроизведения звука – изумительное. Впрочем, чему тут было удивляться… Внезапно Данилов услышал тему из финала «Рондо» Жанно де Лекюреля, движение трехголосого хора передала виолончель, но тут же застенчиво вступила в разговор, будто успокаивая тихой надеждой, бамбуковая флейта сякухати, и Данилов чуть было не выскочил из стула, чуть было не оборвал ремни. Он все понял. Это была его музыка! Его!

«Вот оно что! Вот оно что!» – думал Данилов.

По распоряжению Валентина Сергеевича воспроизводили запись звуков, какими Данилов передавал ход своих мыслей и чувств. Это была его внутренняя музыка. Но всегда эта музыка звучала в нем, именно внутри него. Теперь он впервые стал ее слушателем.

И не из ямы он слушал, а будто бы сидел сейчас в десятом ряду Большого консерваторского зала. Появление темы из финала «Рондо» Жанно де Лекюреля Данилова несколько удивило, в последнее время он стремился к самостоятельности. Впрочем, он посчитал, что в использовании темы старого мастера нет ничего дурного, ведь он переложил ее, доверив виолончели, и развил.

«Когда я так думал и чувствовал?» – прикидывал Данилов. И понял. В черном Колодце Ожидания. Именно там. Вот что они записали! Однако зачем прослушивают? Что Валентин Сергеевич желает уточнить? И тут Данилову пришло в голову: «Они запутались. Они не смогли понять, что услышали, что восприняли их чувствительные аппараты! И ничего они не поймут!» Данилов знал, что, возможно, он и преувеличивает, и все известно. И все же он позволял себе сейчас торжествовать, он позволял себе в некоем упоительном состоянии слушать свою музыку.

«Вот сейчас там, в колодце, – вспоминал Данилов, – явился

Валентин Сергеевич с метлой и в валенках с галошами, вот сейчас он принялся сморкаться и шуршать чем-то…» Но не было слышно ни сморканий мнимого Валентина Сергеевича, ни его вздохов, а звучала свирель, и с совершенно необязательными интервалами ударяла палочка по белой коже большого барабана. Ушел Валентин Сергеевич, тот, колодезный, и свирель, чуть всхлипнув, проводила его.

Потом обрушивались на Данилова видения, возникали перед ним галактики и вселенные, толклись, преобразовываясь и давя друг друга, сущности вещей и явлений, и было открыто Данилову ощущение вечности, позже выкорчеванное из его памяти. Все это вызывало музыку, выражавшую отклики Данилова. Теперь он ее слушал!

Иногда на звуки – отражения его мыслей и чувств – находили мелодии, намеренно, как сопротивление тишине Колодца Ожидания, осуществленные в себе Даниловым, – его альт исполнял темы из симфонии Переслегина или же классический секстет играл «Пассакалью» Генделя. А то будто маятник стучал – Данилов вел про себя счет времени. Исследователи, не разобравшись, записали два слоя звуков, возникавших в Данилове, совместили их, в этих местах и качество записи было неважное, что-то дрожало и потрескивало. Но Данилову никакие наслоения, никакие посторонние шумы не мешали слушать главную музыку.

Данилов был ею удивлен. И был доволен ею. Правда, некоторые сочетания звуков вызывали в нем протест, но Данилов вскоре склонился к тому, что протест неоснователен, а и такие сочетания возможны, просто они и для него свежи. Но он-то хорош! Сам же их создал и им удивляется! Сам же причудливым образом – но вполне сознательно и с удовольствием – смешивал звуки, ту же валторну сводил с ситарами, выхватывал дальние обертоны, и прочее, и прочее!.. «Нет, что-то есть, – думал Данилов, – есть! Эту музыку исполнить бы в другом месте!..» Музыка звучала и трагическая, даже паузы – а паузы были частые и долгие – передавали напряжение и ужас, но в ней была и энергия, и вера, и случались мгновения покоя, надежды. Данилов был свободен в выражениях и звуковых средствах, и даже инструменты, каким он не всегда доверял раньше, – тенор-саксофон, электропианино, губная гармоника, синтезатор – оказались в колодце уместными… Танцевальную мелодию начала скрипка, и тут механический щелчок, похожий на щелчок тумблера, остановил ее.

– Все, – сказал Валентин Сергеевич. И обратился к Данилову: – Что это?

– Как что? – удивился Данилов. – Что именно?

– То, что мы сейчас вынуждены были слушать.

– Кто же вас вынуждал?

– Ведите себя серьезнее. Что это?

– Это музыка…

– Что?

– Это музыка, – твердо и даже с некоторым высокомерием сказал Данилов.

– Какая же это музыка? – в свою очередь удивился Валентин Сергеевич.

– Это музыка… – тихо сказал Данилов.

– Хорошо, – произнес Валентин Сергеевич. – Предположим, это музыка. В вашем понимании. Но отчего она звучит в вас? И так, словно в вас – сто инструментов?

– Это и есть уточнение?

– Отвечайте на вопрос, – строго сказал Валентин Сергеевич.

– Я же музыкант! – сказал Данилов. – Я – одержимый. Я и сам страдаю от этого. Но музыка все время живет во мне. Деться от нее я никуда не могу. Это мучительно. Что же касается множества инструментов и голосов, то что поделаешь, я – способный.

– Но это странная музыка, – сказал Валентин Сергеевич.

– Вся новая музыка странная, – сказал Данилов. – Потом она становится тривиальной. Эта музыка – новая. Она, простите, моя. В последние годы я увлекся сочинительством. Это как болезнь. Возможно, я музыкальный графоман, но сдержать себя я не могу. Где только и когда я не сочиняю! Порой с кем-нибудь разговариваю или делаю что-то, а сам сочиняю. Вот и теперь музыка рождается во мне. И я не волен это прекратить.

«Наверняка и сейчас пишут мои мысли», – думал Данилов.

– Вы помните, при каких обстоятельствах вы сочинили и исполнили только что прослушанную… музыку?

– Да, – сказал Данилов. – В Колодце Ожидания.

– Это звуковая реакция на увиденное и пережитое там?

– Не совсем, – сказал Данилов. – Нет, это скорее самостоятельная музыка. Конечно, я многое видел тогда и о многом думал. О чем – вам известно. Но я и сочинял одновременно. Такая у меня натура.

– Он и теперь сочиняет! Но только не музыку.

Вскричал, как Данилов понял по звуку, тот самый демон, что поддержал Валентина Сергеевича.

– Он сочиняет, но не музыку! И слышали мы не музыку! Я сам играл на чембало и на клавикордах. Таких звуков в музыке нет. И не должно быть.

– Я имею в виду настоящую музыку, – сказал Данилов. – Ее

звуковые ресурсы неограниченны. Я стараюсь осваивать эти ресурсы.

– Все, что звучало, бред, не музыка! Возьмите хоть это место, – и демон с репейником в петлице включил запись особо возмутившего его места.

Данилов сидел чуть ли не обиженный. Все, видите ли, бред! Но что они поняли? Ведь в его музыке (Данилов после прослушивания иначе не думал) были эпизоды и совсем простые, с хорошо развитыми мелодиями, и даже игривые мотивы, и совершенно ясные фразы в четыре и в восемь тактов, и танцевальные темы, где же сумбурно! Конечно, временами шли места и очень сложные, но то, на какое указывал любитель чембало, к ним не относилось.

– Что тут сомнительного или непривычного? – сказал Данилов с горячностью. – В земной музыке такого рода сочинения известны с начала века. Это не мое изобретение. Моя лишь тема. Я использовал принцип двенадцатитоновой техники – равноправие исходного ряда, его обращения, противодвижения и обращения противодвижения. Есть такая латинская формула: «Пахарь Арепо за своим плугом направляет работы». Выстрой ее по латыни в пять строк и читай как бустродефон, то есть ход быка по полю – слева направо, справа налево и так далее, и смысл будет равноправный… Вот и мой бык ходит в этом отрывке по полю с плугом…

– Хватит, – оборвал его Валентин Сергеевич. – В дальнейших разговорах о музыке нужды нет.

– Но как же, – возмутился Данилов, – мне приписывают музыкальную несостоятельность, а я профессионал, и я не могу…

– Хватит, – грубо сказал Валентин Сергеевич. – Все.

Он замолчал. А Данилов чувствовал, что Валентин Сергеевич хоть и грозен сейчас, но находится в некоторой растерянности. Пауза затягивалась. Валентин Сергеевич либо ждал новых материалов или сообщений, либо проводил с приближенными особами совещание. «Не поняли они ничего, – думал Данилов. – И уточнение им не помогло!.. Пожалуй, этот двенадцатитоновый отрывок слишком математичен и, наверное, скучен, но только невежа может вычесть его из музыки. А невежам спускать нельзя…»

– Итак, – сказал Валентин Сергеевич, – прослушав эти звуки, мы убедились, что и они свидетельствуют об одном. В Колодце Ожидания Данилову были представлены картины и действия, какие должны были и у демона, и у человека вызвать определенные реакции. Причем они требовали откликов как чисто бытового свойства, так и откликов, связанных с сутью

мироздания. И опять, и в мыслях, и в толчках крови, и в движениях биотоков, и в так называемой музыке, Данилов в Колодце Ожидания проявил себя человеком. Явления, дорогие демонам, вызывали в нем дрожь, а то и протест.

– При чем тут моя музыка! – не выдержал Данилов. – Вы ее разберите всерьез. Где в ней дрожь? Где протест?

Он сам удивлялся своей дерзости, своему непослушанию. После того, как он услышал музыку и опять признал себя Музыкантом, в нем и вскипела дерзость. Он чувствовал себя со всем на свете равным. Что же ему робеть Валентина Сергеевича! Он понимал, что сейчас все разберут с математическими выкладками и анализом нотных знаков, укажут, где дрожь и где протест, но молчать не мог.

– Разговор о музыке закончен, – сказал Валентин Сергеевич. – Впрочем, эпизод с Колодцем Ожидания – так, мелочь, последняя проверка, можно было бы и не проводить ее. Перейдем к другим доказательствам. Начнем просмотр.

Движение стула Данилова было остановлено, и он стал словно бы независимым зрителем. Сначала, значит, слушателем, теперь зрителем. Но если в звуках он был уверен, то сейчас следовало ждать конфуза, картины с его участием могли пойти и самые безобразные. Что ж, пусть смотрят, коли обязанности у них такие. Пусть! Так говорил себе Данилов, но опять сидел скисший, ждал позора. Стена напротив Данилова тем временем побелела, что-то щелкнуло, звякнуло – и пошли живые картины. И опять Данилов не мог не отметить совершенства воспроизведения записей. И изобразительного, и звукового, и обонятельного ряда. И всякая пылинка была видна и заметна. И всякое шуршание доносилось. И всякий запах ударял в нос. Скажем, когда показывали, как Данилов посещал Стишковскую с намерением поглядеть на ее домашних зверей, запах притихшего попугая явственно отличался от запаха саянского бурундука. Данилов видел реальную жизнь во всей ее объемности и вещности, он, если бы не ремни, мог бы, кажется, шагнуть в эту жизнь и стать собственным двойником. Но, впрочем, зачем?..

Показ сопровождался комментариями Валентина Сергеевича и его заместителя. Коли была нужда, показ прерывался, и тогда спрашивали участники разбирательства, а Валентин Сергеевич и заместитель разъясняли, тыкая в застывшую картину длинными указками. То и дело привлекали к ответу и Данилова. Тот выявлял себя спорщиком, с мнением Валентина Сергеевича он часто не соглашался. Поначалу ему напоминали о мелочах. Вот он из останкинских небес, прежде чем отправиться в Анды на раздумья, уловив сигнал, бросился вниз и угостил стаканом

водки учителя географии, у которого оперировали отца.

– Жест чисто человеческий, – комментировал Валентин Сергеевич, – добросердечие.

– Отчего же! – сразу же взбрыкивал Данилов. – Вы будто бы забываете, что алкоголь зло. Он разрушает моральное и физическое здоровье человека. Используя повод, я в понятных на Земле формах хоть немного, но отравил учителя географии. В чем же я тут провинился?

Подобным же образом Данилов поставил себе в заслугу поджог спального корпуса в доме отдыха «Планерское». Случай с домовым Георгием Николаевичем, которого Данилов заразил вирусным гриппом, он истолковал как попытку с помощью чихающего Георгия Николаевича вызвать хворь во всем его доме. «А что это?! Что это?!» – вскричал неуравновешенный демон с репейником в петлице. А было показано, как Данилов вел полуслепую старушку через улицу возле метро «Щербаковская» (именно этого случая Данилов не помнил, скольких старушек он переводил через улицы, и теперь подумал: «Неужели они опустились до такого крохоборства?»). «Это я старушку веду», – сказал Данилов. «Какая польза нам от этой старушки! – завопил демон с репейником. – Как вы от старушки-то отвертитесь?» «Не вижу в ваших криках и показе этого случая никакой логики, – сказал Данилов. – Если б я не исполнял на Земле простейших людских правил, кто бы поверил мне?»

Последние слова, похоже, произвели некое впечатление на Валентина Сергеевича. Он даже добавил: «Да и сохранить старушек надо, чтобы они сидели на шее у молодых». Позже подобных эпизодов не показывали. Ответственных за отбор материала, видимо, ждал нагоняй. Что же эдак придираться к демону, которому по штатному расписанию внешне следовало проявлять себя человеком.

Затем зрители наблюдали многие сцены московской жизни Данилова (в частности, и то, как он примерял австралийское белье для Клавдии, и как стоял в очереди к хлопобудам, потом струился в зал тяжелый табачный дым из автомата на улице Королева и пахло останкинским пивом и еще многим: перегарами, копченой красноперкой, аптечными напитками, туалетом). Опускались участники разбирательства в яму театра и следовали за Даниловым дорогами гастрольных поездок. С особым интересом, а возможно с сопереживанием, были восприняты эпизоды любовных увлечений Данилова, порой слышались и одобрительные реплики. Увлечения были давние, еще до встреч с Клавдией Петровной, но и их просматривали. С дрожью ждал Данилов появления Наташи. Но ни Наташу, ни

Кармадона пока не демонстрировали. Может, и впрямь не намерены были упоминать Кармадона и всего связанного с ним. Или держали его на крайний случай. Оставалось сидеть и терпеть.

И хотя воссоздавалась реальная жизнь, Данилов, привыкший к условностям искусства, и теперь будто бы смотрел то ли фильм, то ли спектакль, то ли еще какое синтетическое зрелище. С удивлением он наблюдал своих знакомых как актеров. И себе, естественно, удивлялся. Отчасти был расстроен. Он имел иное представление о собственной внешности и о манерах, нежели то, что складывалось у него теперь. «Рожа-то какая отвратительная! – думал Данилов. – И осанка!»

Его обвиняли в том, что он, будучи в демоническом состоянии и пользуясь неземными средствами, не позволил утонуть четырем судам в Индийском и Тихом океанах. («Это где же четвертое-то?» – притворно удивился Данилов. Ему назвали место: на подходе к острову Сокотра, в десяти милях от порта Хакари, сразу же были обнародованы и кадры неожиданного спасения сухогруза.) Обвинили Данилова и в помощи в африканских джунглях неким воинам, жаждущим свободы и справедливости (по их понятиям), на которых напали вооруженные до зубов наемные солдаты. («Это нехорошие люди!» – вскричал Данилов. Но было непонятно, кого именно он назвал нехорошими людьми и какой смысл вкладывал в это определение. Помощь он оказал тогда случайно. Летел куда-то над джунглями и учуял внизу неприятные ему обстоятельства.) В вину Данилову ставили его чрезвычайно бережное отношение к окружающей среде, памятникам архитектуры и населению во время последних эпизодов его любви с демонической женщиной Анастасией – не возникло никаких сдвигов земной коры, ничего не было сожжено или разрушено (Данилов сразу с некоторым даже возмущением заявил, что дело тут личное, интимное, мало ли о чем он в те мгновения думал, главное для него – искренность отношений, а не какая-то там окружающая среда!). Ему сказали: а когда в Исландии, то есть вовсе не на его участке и вовсе не его усилиями, возникло извержение вулкана, то почему он, Данилов, направил поток лавы мимо рыбацкого поселка? («Случайно пролетал, – пробормотал Данилов, – была температура, в театре все болели гриппом, ошибся… а может, с перепоя…») И другие подобного рода случаи числились за Даниловым. И не они одни. Данилов и еще немало напроказничал (это слово Валентин Сергеевич, видимо, произнес, не подумав). При стараниях Данилова поправились люди, какие должны были погибнуть от болезней или стать калеками. После

премьеры «Мертвых душ» в Большом театре Данилов устроил фейерверк в Сокольниках. Выказывая себя якобы объективным болельщиком, не помог «Спартаку» остаться в высшей лиге. («Как, а он разве вылетел?» – искренне удивился Данилов. Тут в разбирательстве произошла заминка. Выявилась временная путаница. И «Мертвые души», и «Спартак» должны были состояться лишь через несколько лет, и Данилову приписали будущие прегрешения.) Еще: услышав о предполагаемом строительстве в Хохловском переулке кооперативного гаража, Данилов сделал все, чтобы проект этого «страшилища» (по его мнению) хода не имел. Когда не уродился лук, Данилов искусными мерами, сам, естественно, оставаясь в стороне, склонил жителей Ростова Великого к разведению лука, в том числе и дунганских сортов, и Крестовский рынок был завален луком. Будучи на отдыхе на Валдае, Данилов подсыпал в патронташи охотников холостые патроны. В своих разговорах, особенно с детьми, Данилов поддерживал неприязненное отношение собеседников к профессору Деревенькину, справедливо разрушавшему веру в пришельцев. Данилов отучил способного попугая Стишковской ругаться матерными словами. И прочее. И прочее.

Данилов всякой мелочи пытался дать разумное объяснение. Старания с луком он, например, истолковал как чисто эгоистический порыв, у него не хватало времени выстаивать очереди в овощных магазинах, вот он и суетился с луком. Кораблям он якобы облегчал участь в Тихом и Индийском океанах, чтобы сберечь их для Бермудского треугольника. Матерные слова попугай Стишковской произносил не в той тональности, оттого и был наказан.

– А что касается Деревенькина, – говорил Данилов, – то мне не спускали новой методической разработки относительно пришельцев…

– Все, – сказал Валентин Сергеевич.

– Как все? – не понял Данилов.

– Все. Хватит. Просмотр доказательств закончен. За нами последнее слово.

– Но как же… – не мог остановиться Данилов.

И тут до него дошло. Все. Сейчас объявят приговор. А Кармадона не вспомнили! И потому Наташу не упомянули! Что же ему дальше дразнить судей и лезть на рожон. Ведь возьмут и упомянут! Данилов замолчал.

– Последнее слово, – объявил Валентин Сергеевич. – Материалы дела вы видели. В своих объяснениях Данилов был порой изобретателен и энергичен, слушать его было занятно. Но

его слова – одно, а то, что мы знаем о нем, – другое. Я сообщу вам данные специальных исследований. – Валентин Сергеевич принялся называть цифры и нотные знаки, размеры кривых и постоянных, отклонения от фиолетовой горизонтали, степени брутальных импульсов, показания приборов, измеряющих чешуекрылость, инфернальный гипердриблинг и прочее. – Все свидетельствует о том, что теперешние свойства ощущений и намерений Данилова в самых разных критических моментах были человеческие. И музыка его к нам отношения не имеет. Итак, я поддерживаю формулу наказания: демона на договоре Данилова лишить сущности и память о нем вытоптать.

«А сами-то у меня Альбани украли!» – обиженно и жалобно подумал Данилов. Но тут же осадил себя. Это для него кража Альбани была делом непорядочным, но не для них. Да и что теперь вспоминать про Альбани, коли формула выговорена, а с исполнением ее не задержатся. Был ли Данилов, не было ли его… Все. Кончено.

– Настало время выслушать ваши мнения, – объявил Валентин Сергеевич.

Раздалось:

– Лишить!

– Лишить!

– Вытоптать!

«Трое лишить… – слышал Данилов, – четверо… пятеро…» Другие выкрики были не столь решительные. Некоторые даже имели в виду облегчение кары. «Превратить в безумного и отправить на пустую планету!» («Вариант старца, не Нового ли Маргарита это милосердие?» – думал Данилов.) «Лишить сущности, но не убить, а перевести в расхожую мелодию типа „Чижика“ или „Ладушки“, но современнее их и пустить в мир!» («Ужас какой! – содрогнулся Данилов. – Ведь могут превратить и в „Лютики“! Лучше лишить и вытоптать. Пусть сейчас же и лишают… Но дали бы мне хоть на полчаса инструмент на прощанье…»)

– Все. Выговорено, – сказал Валентин Сергеевич. – Большинство: лишить.

– Следует испросить утверждение, – услышал Данилов чей-то незнакомый баритон.

– Я помню, – сердито и чуть ли не обиженно произнес Валентин Сергеевич.

Теперь прямо перед собой и внизу Данилов увидел Валентина Сергеевича. Именно там он в начале разбирательства в облике застенчивого счетовода убирал мусор. Валентин Сергеевич ступал осторожно, будто чего-то опасался. И действительно, перед ним

разверзлось. Возникла то ли трещина, то ли расщелина. Из нее шел гул. «Туда меня и столкнут», – понял Данилов.

– Демону на договоре Данилову, – произнес Валентин Сергеевич, в голосе его чувствовалось волнение, – определено: лишить сущности и память о нем затоптать.

Он замолчал. «Столкнут, испепелят – и теперь же…» – думал Данилов. Но тут он услышал тихий, хриплый голос: – Повременить.

Расщелина пропала. Валентин Сергеевич стоял в тишине озадаченный. Наконец он поднял голову и сказал: – Объявляется перерыв.

Все куда-то двинулись, Данилов это чувствовал. А он не смог бы подняться с места, даже если бы исчезли ремни.

Однако стул его взлетел и оказался в помещении, устланном коврами восточной работы. Помещение деревянным барьером с балясинами было поделено на две неравные части. В большей части зала теперь прогуливались и сидели на мягких диванах судьи. Перед ними разъезжали низкие подсвеченные столики с напитками, лакомствами и табачными трубками. Лежали на них и целебные травы. В судьях, видимо, предполагалось нервное утомление или головная боль. А возможно, и истощение вредности. Стул Данилова стоял за барьером.

Данилов все еще видел перед собой расщелину и слышал гул из нее. Мгновения назад там, в судебном зале, он сидел сам не свой, что ему тогда была пуля, или удар ножа, или жестокая давильня жерновов, все бы он принял и сгинул бы в ничто. Но теперь он остывал, страх приходил к нему: «Вот как могло кончиться…» Что – могло! Надолго ли – повременить? Может, и на полчаса, чтобы дать судьям отдохнуть на диванах и промочить глотки… Данилов сейчас не стал бы вымаливать инструмент для последней музыки – у него дрожали руки. «А кто произнес – „повременить“?»… Данилов пытался вспомнить, у кого положено испрашивать утверждение, но не мог.

– Данилов, подойдите, пожалуйста, – услышал он.

У барьера стоял демон средних лет в черном кожаном пиджаке и свежей полотняной рубашке с галстуком. Данилов показал на ремни.

– Откиньте их, – сказал демон.

Ремни упали. Данилов встал, подошел к барьеру.

– Мне показался интересным отрывок из вашей музыки. Тот, что у нашего ветерана с репейником вызвал сомнение.

– У него все вызвало сомнение, – сказал Данилов.

– Да, – кивнул собеседник. – Он глуп. Так вот, тот отрывок. Вы вспомнили латинскую формулу: «Пахарь Арепо за своим

плугом направляет работы». Это ведь приблизительный перевод.

– Да. К тому же я передал лишь смысл…

– Меня заинтересовал магический квадрат, какой здесь возникает. Напомните мне его текст.

– У вас есть на чем записать? – спросил Данилов.

Демон пошарил по карманам, покачал головой:

– Ну вот, если только на манжете.

Он вручил Данилову лучевой карандаш, а потом протянул левую руку, вытрясывая манжет из-под рукава. Данилов писал старательно, однако дрожание пальцев не прошло, и линии дергались.

На манжете вышло:

SATOR

AREPO

TENET

OPERA

ROTAS

– Смотрите, – сказал Данилов. – Теперь читайте снизу и наоборот. А теперь ходом быка с плугом. Справа налево… А потом – сверху вниз, вверх, вниз… И так далее… Видите?

– Да. Очень занятно.

– Неужели этот квадрат здесь неизвестен?

– Наверное, был известен. Но о нем забыли.

– Музыка же строилась так… – начал Данилов.

– Я понял, – сказал собеседник.

Он смотрел на свой манжет, а Данилов наблюдал за ним и вспоминал, звучал ли его голос во время разбирательства. И вспомнил: «Следует испросить утверждение…» Да, тот самый спокойный баритон. «И ведь не полагалось ему по правилам, – подумал Данилов, – напоминать о чем-либо Валентину Сергеевичу. А он напомнил. Как бы вынужденно. Будто Валентин Сергеевич и не собирался ничего выслушивать ни у какой расщелины».

– Спасибо, – сказал демон. – Извините, я вам не представился. Меня зовут Малибан. И еще. Эти хлопобуды… или будохлопы собираются в Настасьинском переулке?

– Да, в Настасьинском… А что?

– Так, – сказал Малибан. И добавил, скорее шепотом: – Мне думается, вы напрасно не внесли в Настасьинском переулке вступительный взнос…

Малибан отошел к мягким диванам.

Данилов в растерянности постоял у барьера, затем не спеша, тоже как бы прогуливаясь, отошел к стулу. Сел. Совсем недавно, в начале перерыва, он чувствовал себя обессиленным рабом, свалившимся на смоченный кровью песок римской арены, меч его был сломан, а в проходе за решеткой ревели оголодавшие львы. Демоны по ту сторону барьера тогда представлялись ему зрителями из лож Колизея, какие могли дать знак и впустить львов. Теперь, после беседы с Малибаном, Данилов ожил. Какие там рабы и какие ложи! А напоминание Малибана о музыке и вовсе укрепило Данилова. Опять он знал, что он Музыкант, и потому признавал себя равным каждому.

Новый Маргарит, попивавший во время разговора Данилова с Малибаном прохладительный напиток в компании с незнакомыми Данилову основательными демонами, оставил их, подошел к барьеру. Он был оживленный и светски-легкий. Улыбался. Данилов не удивился бы, если б Новый Маргарит принес и ему бокал с напитком. Однако не принес. Новый Маргарит как будто бы явился из восемнадцатого века, на нем была черная судейская мантия британского покроя и пепельный пудреный парик. Данилов встал, подошел к Новому Маргариту.

– Ну как? – спросил Новый Маргарит.

– Что как?

– Ну так.

– Ничего, – сказал Данилов.

– Ты хорошо защищаешься.

– Тебе не повредит разговор со мной?

– Если всего опасаться… Потом, твои проступки и падения – они твои, а не мои.

– А надолго – повременить-то?

– Я не знаю… Хотя и догадываюсь, – Новый Маргарит улыбнулся, в его глазах было лукавство, был намек, мол, мне понятен твой секрет, но коли ты о нем молчишь, так и молчи. – А ты ловок. Все думали – конец. И вдруг – на тебе!

– А кто это произнес – «повременить»?

– Ты всерьез или шутишь?

– Я шучу, – быстро сказал Данилов. – А ты тут кто? Эксперт,

исследователь, знаток права?

– Всего понемногу.

– И знаток музыки?

– В известной степени… Я развил в себе многие способности. И даже те, каких у меня не было. Но ты в музыке, естественно, сильнее меня. И не только меня, – опять в глазах Нового Маргарита был намек.

– Ты тепло одет.

– Функции мои здесь таковы, что мантия и парик мне положены. Маскарад, конечно. Но иногда приятно перерядиться. Эдак поиграть…

– Ты был вынужден просматривать мою жизнь? Велика радость!

– Ну и что? – Новый Маргарит говорил теперь тише. – Как вел себя, так и веди. Из роли не выходи.

– Из какой роли?

– Из такой… И еще. К тебе подходил Малибан. Пойми, в чем был его интерес. И в чем твоя выгода.

– Когда обсуждали приговор, ты промолчал?

– Нет. Я сказал: «Лишить!»

– Что же ты теперь даешь мне советы?

– Во всяком случае не из-за воспоминаний юности.

Ударили по рельсу. Вряд ли по рельсу. Но звук напомнил Данилову рельс. Данилов не успел отойти от барьера, не сделал он и ни единого движения, а ремни уже прижали его к спинке стула. И опять Данилов оказался в судебном зале. Но зал преобразился. На лицейскую аудиторию он уже не походил, а имел сцену, оркестровую яму, небольшую, какие устраивали в драматических театрах в прошлом веке, был здесь и партер, там стояли светлые кресла, обтянутые розовым шелком. В зале был полумрак, но привычный, земной. Электрический синий свет, нервировавший Данилова, иссяк.

Стул с Даниловым воздвигся на сцене в том месте, где полагалось быть суфлерской будке. Вращений, полетов и карусели как будто бы пока не ожидалось. А внизу, в партере, сидели участники разбирательства. Словно художественный совет. Или приемная комиссия. О чем-то перешептывались. «Кончилось повременение, – думал Данилов. – Но зачем подходил ко мне Новый Маргарит? Из желания проявить себя либералом и независимым? Вот, мол, и это могу. Тем более что сказал: „Лишить!“ Но до него был Малибан, и его интересовал Настасьинский переулок. Может, на самом деле, это „повременить“ что-то изменило? Неужели Большой Бык? Был в глазах Нового Маргарита какой-то намек… И мне он советовал не

выходить из роли…» Из какой роли, Данилов знал. Он ее себе не придумывал. Все вышло само собой. И для Данилова неожиданно.

– Решение судьбы демона на договоре Данилова продолжается, – объявил Валентин Сергеевич.

– Есть ли что сообщить самому Данилову? – сказал заместитель Валентина Сергеевича по Соблюдению Правил. – Есть ли у него раскаяние?

– Ни с какими раскаяниями я выступать не буду, – резко сказал Данилов. – Не в чем мне каяться.

– Ой ли? – спросил Новый Маргарит.

– Не в чем… – сказал Данилов менее решительно.

– Вы очень легкомысленный, Данилов, – заметил заместитель.

– Вот-вот, легкомысленный! – словно бы обрадовался Новый Маргарит этому слову, и в особенности тому, что не он первый его произнес. – И раньше ведь не случайно здесь прозвучало слово «напроказничал».

– Это была оговорка, – сказал Валентин Сергеевич.

– Если оговорка, то логичная, – не уступал Новый Маргарит. Он глядел на Данилова с выражением, как будто что-то подсказывал ему.

– Сожалеть о чем-то я не намерен, – хмуро сказал Данилов.

– Вот! – вскочил Новый Маргарит. – Данилов чрезвычайно легкомысленный. Стиль его жизни и работы в последние годы, его теперешнее поведение подтверждает то, что мы имеем дело с индивидуумом, который стал поддаваться людским соблазнам, стал жить, как люди, не по каким-либо серьезным умственным или тем более – программным соображениям, а по легкомыслию, по душевному фанфаронству!

– Нам радоваться, что ли, что по легкомыслию? – сказал заместитель по Соблюдению Правил. – Какой нам на Земле от Данилова прок? Если Данилов причинял вред, то людям, кому, по нашим понятиям, требовалась бы от него поддержка. А польза? Вот справка, в ней все анализы занятий Данилова. Это вполне квалифицированная оценка его полезности.

Копии справки в виде брошюр были розданы участникам разбирательства, зашелестели страницы. Брошюра возникла и перед глазами Данилова, листочки ее поворачивались сами, на весу, давая Данилову возможность познакомиться с документом.

– Много здесь истолковано неверно, – сказал Данилов. – Искажены показатели. Надо создать комиссию.

Валентин Сергеевич только руками развел.

– И опять здесь возникла старушка, – сказал Данилов, – которую я переводил через улицу. Долго меня будут преследовать

этой старушкой?

Держал бы он копию справки в руках, он, наверное, сейчас в сердцах швырнул бы ее на пол.

– В комиссиях нет необходимости, – сказал Валентин Сергеевич. – Их было достаточно. Что же касается комедии, какую ломает Данилов, то она не делает чести его уму.

– Да какой у него ум! – вступил Новый Маргарит. – Он всегда был вертопрахом. И в детстве, и в лицейские годы. И я еще раз хочу подчеркнуть, что то, что с ним произошло, это не бунт и не измена, а просто легкомыслие и безответственность.

– Это меняет дело? – спросил Валентин Сергеевич.

– Меняет, – сказал Новый Маргарит.

– Вы были за: «Лишить!»

– Да. Был! – сказав Новый Маргарит. – Теперь считаю целесообразным принять иное решение. Данилова надо наказать, но отказываться от него не следует.

– Но зачем нам Данилов? – возмутился заместитель.

– Разрешите мне, – встал Малибан. – Раньше я не знал Данилова, но теперь суть его мне ясна. Я ее понимаю несколько иначе, нежели наш коллега (кивок в сторону Нового Маргарита), но это неважно. И такой Данилов, какой он нынче есть, может оказаться для нас полезным. Вчера от него не было прока, сейчас прока нет, а завтра вдруг будет. Пусть даже Данилов слишком увлечен земным. А может, именно благодаря тому, что увлечен.

– Держать демона на договоре ради этого «вдруг»? – поморщился заместитель Валентина Сергеевича.

– Ради «вдруг»! – сказал Малибан. – Пусть ваши безукоризненные практики каждый день копошатся в служебном рвении, но это «вдруг» одарит нас куда щедрее.

– Отчего такое высокомерное отношение к безукоризненным практикам? – спросил Валентин Сергеевич. – И потом, видите ли вы поле деятельности, на котором произрастет ваше «вдруг»?

– Вижу, – сказал Малибан. – Вот оно.

Между Даниловым и участниками разбирательства прямо над оркестровой ямой возникло видение квартиры Ростовцева в Настасьинском переулке. В коридоре толклись прилично одетые люди, явившиеся отметиться в очереди у хлопобудов. Малибан рассказал о хлопобудах, представил наиболее замечательных из них, сообщил об отношении хлопобудов к Данилову, о двух звонках пегого секретаря.

– Данилов по легкости натуры, – сказал Малибан, – мог и не понять всей привлекательности этой очереди. Но мы-то не можем допустить подобного легкомыслия.

Он сел.

– Тут что-то есть! – заявил Новый Маргарит. – Есть.

– Да, – сказал Валентин Сергеевич. – Здесь направление действительно перспективное.

Все сразу зашумели, одобряли Валентина Сергеевича. Было похоже, что участники разбирательства стремились именно к такому повороту разговора и теперь, когда поворот произошел, испытывали облегчение.

– Однако сам-то Данилов? – спросил заместитель. – Как он относится ко всему этому?

– Что ж, – сказал Данилов, – если секретарь хлопобудов позвонит мне, я соглашусь с ним встретиться.

– На мой взгляд, – сказал Малибан, – продолжать разговор нет смысла. Деловые вопросы следует обсудить с Даниловым позже.

«Неужели все? – не мог поверить Данилов. – Неужели „повременить“ произнес Большой Бык?»

– Теперь меры, – сказал Валентин Сергеевич.

– Да, меры, – закивали его соседи.

– Я предлагаю люстру, – сказал заместитель.

– Люстру! Люстру! Люстру! – подхватили участники разбирательства. Даже ветераны с репейниками в петлицах высказались за люстру. И Малибан поддержал люстру. Согласился с ней и Новый Маргарит.

Над Даниловым возникла люстра. Она напоминала люстру, висевшую в театре Данилова, но была и несколько иной. Данилов видел теперь люстру и со своего стула. И видел ее и себя из глубины зала, как бы с кресла заместителя Валентина Сергеевича. Люстра была роскошная, метров в семь высотой, к ее центральному бронзовому стержню крепились три кольца из позолоченной бронзы, одно, нижнее, поменьше, два других – значительно шире, на бронзовых рожках и кронштейнах держались стаканы для ламп и подсвечники. И все это было – в хрустальном саду. Хрустальные букеты, подвески, гирлянды цвели и играли всюду. Смотри на них и забудь обо всем… Люстра стала быстро снижаться. Она висела на металлической цепи, цепь скрипела, вздрагивала, Данилов понимал, что люстра может вот-вот сорваться. И она сорвалась, упала на Данилова, пропустила его в себя. С кресла заместителя Валентина Сергеевича Данилов видел серый силуэт внутри люстры. Сидя же на стуле с ремнями, он чувствовал, что люстра не только захватила его, но и растворяет его в себе. Он потерял слух. А потом в нем стало гаснуть все. И угасло… Когда Данилов очнулся, он понял, что по-прежнему сидит на стуле, а люстра висит высоко над ним и раскачивается.

– Итак, люстра, – сказал Валентин Сергеевич. – Она будет теперь над Даниловым, и, если его жизнь даст ей основания сорваться, ничего ее не удержит.

– Я предлагаю добавить к люстре, – заявил Новый Маргарит, – чуткость к колебаниям.

– Это в каком смысле? – спросил ветеран с репейником.

Новый Маргарит стал объяснять. Существует теория Бирфельда – Таранцева. Она касается явлений в ионосфере Земли, исследования проводились на Кольском полуострове, и есть в ней нечто, что приложимо к нынешней ситуации. По этой теории Земля со всеми происходящими на ней процессами представляет собой мощную колебательную систему. Дрожит земная кора, пульсирует гидросфера, вибрирует атмосфера и так далее. Человек – часть земной колебательной системы. Он живет в ней и чаще всего не чувствует ее. Но увеличение частоты колебаний он переносит плохо. Если интервал частот около десяти герц (тут Новый Маргарит извинился за обращение к земным единицам), ему совсем худо. Особенно чувствительны к колебаниям люди, обладающие развитым ощущением ритма. Прежде всего музыканты. Одному ташкентскому мальчику, ученику по классу фортепьяно, было плохо за несколько часов до известного всем толчка. Конечно, теория Бирфельда-Таранцева – наивная и лишь обозначает серьезные явления, но можно воспользоваться ее логикой. Данилов прежде был освобожден от чуткости к колебаниям. Но теперь он стал слишком дерзким в своей музыке. Так пусть обострятся его ощущения. Причем, коли он станет играть лучше, достигнет в музыке высот, чувствительность его еще более разовьется, не только земные толчки и дрожания уловит Данилов, ему обнажатся и страдания людей, ближних и дальних, приступы чужой боли дойдут до него. Тяжкая ноша может оказаться на его плечах. Пусть помнит о ней и думает, стоит ли ему и дальше дерзить в музыке.

– Это убедительно, – сказал Валентин Сергеевич.

Все поддержали Нового Маргарита. Один Малибан пожал плечами.

– Разбирательство закончено, – объявил Валентин Сергеевич. И ремни отпустили Данилова.

44

Утром Данилов налетел на Нового Маргарита. Данилов спешил заполнить последние бумаги перед убытием и не был расположен к долгому разговору.

– Ну что, выкарабкался? – засмеялся Новый Маргарит. – Как это ты устроил себе…

Тут Новый Маргарит замолчал. Данилов почувствовал, что Новый Маргарит хотел произнести слово «повременить», а потом и поинтересоваться, каким образом Данилов получил необъяснимое для всех покровительство, да, скорее всего покровительство, хотя об этом можно было строить только предположения. Но тема, видно, была запретная и для Нового Маргарита. «А действительно, – думал Данилов, – неужели он пожалел меня из-за того, что я костью чесал ему спину? Зачем же?.. Я ведь без всякой корысти…»

– Ловок ты, Данилов, ловок, – только и мог сказать Новый Маргарит.

– Слушай, – нахмурился Данилов. – Что это за огненная надпись была в Колодце Ожидания? Насчет яснычковой икры? Я не понял.

– Она не имела к тебе отношения. Выпала из другой программы. Дефект аппаратуры.

– А кожаный фартук?

– Он задержался более положенного. Нерасторопность одного из операторов. Он наказан.

– Надеюсь, не слишком строго?

– Не слишком.

– И еще я хотел спросить тебя…

– О домовом и о Синезуде, – сказал Новый Маргарит. – Ты не в силах их вернуть. И никто тебе не поможет.

– Что ж, это остается за мной.

– Смотри, – сказал Новый Маргарит.

– Почему меня так долго держали в ожидании?

– Какое долго! Ты был вызван не один. Да и у нас хватало хлопот. Ну и надо было позлить твое нетерпение. Но ты был хорош. Ты мне понравился. И дальше следить за твоей жизнью будет для меня удовольствием. Не со служебными целями следить, не бойся, а просто так. Как любопытному зрителю, неспособному на поступки. Очень интересно, какие еще повороты будут в твоей судьбе. И как отнесутся к тебе личности, для кого ты – заноза в глазу. – На том и разошлись.

Данилов сразу же вспомнил о железнодорожной пище, хотел

было остановить Нового Маргарита и спросить его, что собирались достичь этой пищей, но Новый Маргарит был легок на ногу и слов Данилова уже бы не расслышал. А кричать Данилов не стал.

«Удивил я его! – думал Данилов. – Я и самого себя удивил».

Во время разбирательства он взял да и повел себя так, будто он был именно демон и готов доказать несправедливость и оскорбительность для него, как добросовестного демона, обвинений. То есть так могло показаться со стороны. А какой он демон? Конечно, он более человек, нежели демон. Да что более! Скорее – он просто человек. Правда, с особенными возможностями. Что же, он изменил своей сущности и ради того, чтобы уцелеть, отверг все свое, дорогое? Нет, полагал Данилов, ничему он не изменил и ничего не отверг. Он хотел дать всем своим словам объяснения, чтобы с этими объяснениями жить дальше. Каким мог быть исход разбирательства? Либо его гибель. Либо сохранение его демоном. И никакого Данилова – человека. Были еще возможности: превратить его в расхожую мелодию, лишить разума и поселить на пустынной планете и так далее, но все они виделись Данилову оттенками первого исхода.

Данилов был готов и к первому исходу. Сколько раз он говорил мысленно: «Нате, жрите!» Порой он представлял себя мучеником и чуть ли не умилялся будущему мученичеству. Но что толку было бы в его мученичестве? Конечно, он не изменил бы себе, одно это много значило. Но можно было и по-иному не изменить. А так он погиб бы, тихо исчез, и все, никто бы не узнал, почему он погиб и ради чего. Однако в начале разбирательства Данилов был согласен и с тихим исчезновением. Он торопил судей: «Скорее, скорее, что же тянете!» Но потом он вновь ощутил себя Музыкантом. Чем он был хуже тех, кто судил его? Каким таким особенным пониманием смысла существования своего собственного и, скажем, смысла существования людей обладали они, чтобы иметь право выносить приговоры и определять, что хорошо и что плохо? Нет, теперь Данилов не желал признавать за ними такое право. Он получил жизнь и получил право на эту жизнь не менее, а куда, по его понятиям, более значительное, нежели присвоенное ими право судить других и направлять чужие жизни. Вот он и взъерепенился, и пошел на Валентина Сергеевича и на его заместителя чуть ли не в атаку. Он не желал, чтобы они взяли над ним верх. Он, на словах, ставил под сомнение справедливость их оценок и выводов, пользуясь их же логикой и их правилами игры. Да, и он играл, хотя и не лицедействовал. Все шло само собой. Он им дерзил, стараясь дурачить их, и они, судя по первому приговору, поняли это.

Впрочем, может, некоторые и не поняли. Или же им понравилось, как он держался. Они, по ощущению Данилова, с облегчением приняли «повременить».

Конечно, это «повременить» и решило ход дела. Но, может быть, то, как он вел себя, и вызвало «повременить»?

«Не мог я дать им одолеть себя! Я должен был вернуться на Землю!» – думал теперь Данилов. Думал как бы между прочим, словно в чем-то уговаривая себя. Словно там без него действительно могли быть беды. Или даже гибель чего-то. В первую очередь его музыки. Нет, он был обязан жить и присутствовать на Земле. У них – свое, у него – свое. Потому он и сопротивлялся. Как мог сопротивляться в нынешних обстоятельствах.

Поначалу, после разбирательства, его несколько смущало то, что он чуть ли не обрадовался, услышав условие: «Никакого Данилова – человека!» Потом он успокоил себя. И в ближайшем будущем, Данилов понимал это, даже и при благоприятных условиях он вряд ли стал бы добиваться разрыва с Девятью Слоями и превращения его, Данилова, в «чистого» человека. Это он держал как бы на крайний случай. Почему? Зачем ему отношения с миром, ставшим чужим? Не лучше ли было бы освободиться от Девяти Слоев, забыть о том, что они есть, причем сделать это ловко и мирно, не возбудив желаний мстить ему, и тихо жить себе в Останкине, играть на альте, любить Наташу?

«Это никогда не поздно будет сделать», – говорил себе Данилов, хотя и понимал, что он вряд ли тут прав. Но он понимал и другое. Он не мог теперь отказаться от многих своих привычек, освободиться от них, от купания в молниях в частности, без них он стал бы иной Данилов. Да и как же это – увидеть тяжелую грозовую тучу над Останкином и не взлететь, не слиться с молнией! Он не мог себе этого представить. А перенесения к дальним созвездиям? А полеты в Анды, в пещеру? То есть он, может быть, и не стал бы купаться в молниях, летать куда-то или выводить мрачную, сырую тень Филиппа Второго из подземелий Эскориала (он так и не побывал в Эскориале, а все собирался побывать), но сама невозможность купаний, полетов, многого другого, милого Данилову, удручала бы его. Нет, пусть браслет будет на руке, полагал Данилов. При этом Данилов считал, что не только для утоления его привычек нужен ему браслет. Что же, ему тогда в автомате на улице Королева следовало дать юнцам поколобродить и навести страх на десятки людей? Или не стоило проучить виолончелиста Туруканова, дельца и пройдоху? Ну ладно, юнцы и Туруканов – мелочи. Он мог бы и сдержаться. Но случаи более серьезные? Когда зло воспалится сильное и

страшное – и он, Данилов, окажется этому злу свидетелем? Тогда только ропот ему иметь в душе? А потом с этим неслышным ропотом и жить? Или же лишь в игре на альте выражать свое несогласие с явлениями, им неприемлемыми? Нет, он не простил бы себе, что отказался бы что-то спасти или обезопасить от воздействия зла, от его напора и наглости. Что же отказываться, зло-то не отказывается от своих возможностей? Пусть его положение будет рискованным, сложным, порой скверным, ему не привыкать. Что-нибудь придумает.

Однако люстра. Что ж, будет и люстра…

Зло и добро. Они вечно в столкновении. Но ведь и от столкновений добра со злом бывает прок. И какой прок! Иногда, действительно, – скачки в развитии. Все надо понять, коли оставил браслет на руке. Разве раньше он всегда успевал подумать о последствиях своих действий, в особенности в нервных случаях? Теперь, когда он сделал определенный выбор, Данилов призывал себя к благоразумию, к объективности и осмотрительности, к действиям – в крайнем случае (но как определить, где крайний случай?), и обещал себе возможностями не злоупотреблять. Он не терпел вмешательств в свою жизнь, так почему же люди должны были бы переносить чьи-то вмешательства, хотя бы и с самыми добрыми намерениями? Он решил использовать браслет лишь в ситуациях, какие, по понятиям самих людей, могли оказаться безысходными, и лишь тогда, когда люди своими душевными порывами, своими желаниями (их-то Данилов мог почувствовать) подтолкнули бы его к действиям. А так бы он слишком много брал на себя… Данилов понимал, что это он сейчас такой серьезный и ответственный, а потом закрутят его земные дела, вспомнит ли он о благоразумии?

В мыслях Данилова не было теперь никакой стройности, да и откуда ей было взяться? Порой к нему приходили соображения: а не заключил ли он соглашение? Да, они понимают, кто он, но сохранили ему сущность, а он за это должен стараться с их поручениями, особенности его натуры и позволяют им надеяться на успех. «Ну это мы еще посмотрим», – говорил себе Данилов. Нет, полагал он, это, может быть, у них с ним соглашение, у него с ними никакого соглашения нет. Все их поручения он провалит или накормит их воздухом. Пока он был и освобожден от мелких поручений. От всех дел вообще. Ради перспективы с хлопобудами. Но это ведь – перспективы! Причем он с некоторым даже высокомерием согласился встретиться с секретарем хлопобудов (если тот позвонит), все это почувствовали. Сейчас ничего постыдного, ничего непорядочного он в этом своем согласии не

видел. Хлопобуды, деловые люди из очереди, были Данилову неприятны. Он не любил проныр, пройдох и доставал, отчего же с этими людьми не пошутить? Он не знал, какие перспективы углядели Валентин Сергеевич и его коллеги в хлопобудах, и теперь должен был направиться за наставлениями к Малибану.

Прежде Малибан, Данилов узнал это, служил в Канцелярии от Иллюзий. Теперь он получил свою лабораторию. Данилову ее название не сообщили, да и профиль, видно, держали в секрете. Малибан не подчинялся Канцелярии от Того Света, хотя был с ней в отношениях, и Данилов не знал, остался ли он в ведомстве Валентина Сергеевича или же отдан Малибану. Ни Валентин Сергеевич, ни его помощники встретиться с Даниловым не пожелали, ему было указано явиться к Малибану. Данилов вошел в кабинет Малибана. Кабинет был какой-то среднеевропейский, сухой, деловой.

– Собственно, в наставлениях нет нужды, – сказал Малибан. – Примите предложение хлопобудов и ведите себя по обстановке. Просто живите, и все.

– А зачем…

– Зачем нам хлопобуды? Пока я и сам толком не знаю зачем. Но что-то предчувствую… Что-то выйдет… Видите ли, таким, как Валентин Сергеевич или в еще большей степени его заместитель, все ясно, они приняли традиционную доктрину, сомневаются они в ней или не сомневаются, не имеет значения, они ведут свои дела, исходя из этой доктрины. Я в ней сомневаюсь. Я вообще ни в чем не уверен до конца. Я сомневаюсь не тайно, а открыто. Мои сомнения и сомнения моей лаборатории не только позволены, но и признаны необходимыми. Мы проводим опыты… то есть опыты это неточно… ну ладно… Много опытов. В частности и на Земле. Но хлопобуды будут не лишними… Я вас понимаю. Вы морщитесь внутренне. Думаете, что вас приставят к хлопобудам наблюдателем. Нет, в наблюдатели мы взяли бы другого.

«Может, уже и взяли…» – подумал Данилов.

– Вы должны стать своего рода творцом.

– То есть творцом опыта?

– В какой-то степени так. Да, фантазируйте, направляйте хлопобудов, давайте им задачи, толчки и преграды, вы ведь для них то ли пришелец, то ли еще кто. Они – честолюбивы и со своей головой на плечах, но в критических ситуациях обратятся к вам. Подсказок от нас не ждите. И не спешите. Все должно идти естественно. Можете хоть десять лет никак не проявлять себя, если у хлопобудов не возникнет нужда в вас.

– Наверное, я буду не только творцом опыта, то есть вашим лаборантом, но и объектом исследований?

Малибан помолчал, он был серьезен. Потом сказал:

– Да. Но вы в этом не должны видеть ничего обидного для себя. Вы натура одаренная, творческая и потому нам интересная. Я отдаю отчет в том, кто вы есть. И вы не так просты по составу, как вам кажется. Может быть, вы новый тип, отвечающий нынешнему состоянию вселенной. А может быть, и нет. Вы готовы к новым изменениям, к нашему и вашему удовольствию. Отчего же не считать вашу судьбу и вашу натуру поучительными и достойными исследований?.. Что же касается лаборанта, то вы меня не так поняли. Лаборант – это порученец. Мы вам никаких задач посылать не будем. Я повторюсь: живите, и все. Просто реагируйте на ситуации, затрагивающие вас, со всей искренностью вашей живой натуры. Импровизируйте, как в своей музыке.

Данилов насторожился. Неужели этот понял?

– Нет, я не разгадал ваших сочинений, – заметил Малибан. – Я их просто слушал… Кстати, некую неприязнь кое-кто испытывает к вам не из-за чего-либо, а из-за вашей дерзости в музыке. Мол, там вы ставите себя выше…

– Выше чего?

– Это я к слову, – сказал Малибан. – Так вот забудьте о нас и живите. А там посмотрим… Коли нужно, мы вас призовем. Но это не скоро… Да, чуть было не забыл. Обратите внимание на Ростовцева.

– На Ростовцева?

– Нет, к нам он не имеет отношения. Но стоит внимания.

– Хорошо, – кивнул Данилов.

– Вот и все, – сказал Малибан. – Отправляйтесь к себе в Останкино.

И он улыбнулся, впервые за время наставительной беседы. Был он, как и в день разбирательства, в черном кожаном пиджаке и свежей полотняной рубашке. Белые манжеты высовывались из рукавов пиджака, и Данилов, взглянув на них, вспомнил, как писал на манжете о трудах сеятеля Арепо.

– Нет, – опять улыбнулся Малибан. – Та рубашка в стирке. – И тут же он добавил: – Забудьте обо мне. Но не забудьте о люстре. Мне неприятно напоминать вам о ней. Но что поделаешь. Вы ведь и вправду часто бываете легкомысленным. Я не против вашего легкомыслия, я принимаю вас таким, какой вы есть. Но не я буду держать над вами люстру на цепи. А Валентин Сергеевич может и не принять наши соображения в расчет.

Глаза Малибана были холодные, строгие. Позже Данилов не раз вспоминал о глазах Малибана. «Да и что ожидать от него, – думал Данилов, – если для него вся жизнь – сомнение и опыт?..»

Опыты над живыми и разумными, хотя бы и относительно разумными существами, Данилов считал нынче делом безнравственным, но для Малибана-то в них была сладость. «Я им устрою опыты, я им нафантазирую! – храбрился Данилов. – Они и от изучения моей личности получат то еще удовольствие!» Что-что, а храбриться Данилов умел. Малибан как будто бы отделил себя от люстры, вроде бы он был ни при чем. Но Данилов понимал, что и Малибан, если будут основания, с люстрой не задержится.

Сейчас он мог бы отдохнуть и даже развлечься в Седьмом Слое Удовольствий. Но туда его не тянуло. Кончить бы все, считал Данилов, и вернуться в Останкино. Он ждал, что его вызовет Валентин Сергеевич или хотя бы его заместитель, но вызова не было. Множество знакомых, скрывавшихся прежде от Данилова, желали теперь с ним общения. Некоторые даже заискивали перед ним. То есть не то чтобы заискивали, а словно признавали в нем какую-то тайну, для них неожиданную и удивительную. Данилов избегал встреч и разговоров, ссылался на дела. Увидел однажды Граэля. Был он опять в белом бедуинском капюшоне, выглядел расстроенным и даже как будто бы обиженным на Данилова. Губы его разъехались из-под носа к ушам, звуки Граэль выпускал сквозь ноздри.

– Отбываю, – сказал Граэль, – опять в аравийские пустыни! – И он махнул рукой.

– Что ж, – сказал Данилов. – Там тепло.

– Мне это тепло!.. – плаксиво возразил Граэль. – Да что говорить! Вам этого не понять! – И он пропал.

Несколько раз, будучи в окружении здешних лиц в буфете, возле столов канцеляристов, в лифте, – Данилов чувствовал еле ощутимые сигналы. То ли кто-то звал к себе Данилова, то ли сам имел нужду явиться ему. Но робел, стеснялся существ посторонних, чужих ему и Данилову. И лишь когда наконец Данилов оказался один под часами-ходиками с кукушкой, он вместе с сигналами ощутил нежный запах цветов анемонов. Неужели Химеко? Данилов взволновался. Всюду искал он прекрасную Химеко. Но ее нигде не было. И вдруг она выступила из-за платяного шкафа. Данилов кинулся к ней и тут же понял, что приблизиться к ней он не сможет. Она здесь, и она вдали. Но это была живая Химеко, а не ее образ, созданный чьими-либо усилиями. Тонкая, печальная, в зелено-голубом кимоно стояла она теперь против Данилова, палец приложив к губам. Данилов кивнул, согласившись молчать. Химеко опустила руку. Она улыбнулась Данилову, но улыбнулась грустно. Данилов, забыв про свое согласие, хотел было сказать Химеко, что ей не надо

ничего бояться, что он желает говорить с ней, но она снова приложила палец к губам. А потом показала рукой куда-то за спину, видно предупреждая, что сейчас исчезнет.

Химеко поклонилась ему, подняла голову, своими черными, влажными теперь глазами она долго смотрела на Данилова, как бы вбирая его в себя, затем тихо кивнула ему и растаяла.

Данилов желал броситься вслед за Химеко. Но куда? И зачем? Усмирив себя, он присел на кровать. Чуть ли не плакал. Химеко прощалась с ним. Никто ее не вынуждал к этому прощанию, полагал Данилов, она сама постановила, что – все. И согласия со своим решением она не испрашивала, видно, все знала про него. «Нет, так не может быть! – думал Данилов. – Мало ли как все сложится!» В чем была теперь Химеко права – в том, что не позволила ни себе, ни ему произнести ни слова. «Истина вне слов…» Да и о чем были бы слова? О Дзисае? (Вдруг и вправду усердия Химеко с искупительной жертвой помогли Данилову?) О том, что она всегда может рассчитывать на его поддержку, если, конечно, эта поддержка ее не унизит, не покажется ей лишней? Все это и так само собой разумелось…

И хотя Данилов тешил себя надеждой на то, что судьба их когда-нибудь непременно сведет с Химеко, сидел он опечаленный, тусклый. И долго бы горевал, если бы его не призвали к Валентину Сергеевичу.

Разговор с Валентином Сергеевичем вышел неожиданно короткий. Валентин Сергеевич похвалил Данилова-шахматиста, сказал, что очень любит шахматы, и напомнил, как он в собрании домовых на Аргуновской затрепетал, увидев движение слона Данилова. «Так это ж были не вы», – сказал Данилов. «И не я, и я», – ответил Валентин Сергеевич. И Данилову почудилось, что на колени тот Валентин Сергеевич намеревался стать перед ним искренне. Этот Валентин Сергеевич заметил, что не изменил своего мнения о Данилове, хотя и задумался кое о чем. Потом он сказал: «Попросить нас вы ни о чем не желаете?» Данилову, по выражению глаз Валентина Сергеевича, показалось, что ради этого вопроса его и призвали. «Нет, – сказал Данилов. – Мне не о чем просить…» «Ну что ж, – кивнул Валентин Сергеевич. – Ваше дело. Отбывайте». Данилов был отпущен, ушел, так и оставшись в неведении, кто над ним главный – Валентин Сергеевич или Малибан.

В Четвертом Слое он увидел Анастасию. «Вот он!» – сказала Анастасия и взяла Данилова под руку. Местность тут же преобразилась, Данилов и Анастасия оказались в затененном уголке сада, сад, похоже, был запущенный, всюду краснела бузина (это дерево Данилов любил), лишь кое-где в зарослях

бузины, над крапивой и лопухами, стояли давно отцветшие кусты жасмина. Под бузиной белела скамейка. Анастасия указала Данилову на нее, они присели.

– Какая ты! – сказал Данилов.

– Какая же? – обрадовалась Анастасия.

– Прямо казачок!

Анастасия была в белой шелковой блузке с легкими свободными рукавами, украшенной по проймам золотой тесьмой, талию демонической женщины стягивал кушак, узкие брюки из белого бархата были вправлены в красные сапожки.

– Откуда выкройку брала?

– Из «Бурды», – сказала Анастасия. – Ну хоть красивая?

– Еще бы не красивая! – сказал Данилов.

– А что ты пялишь на меня свои бесстыжие глаза! Ему бы обходить меня за версты, а он сидит со мной – и ему не совестно!

Впрочем, все это было произнесено Анастасией хотя и громко, но без всякого напора и желания кокетничать. Скорее нежно и робко. Если прежде явления Анастасии Данилову, особенно в земных условиях, сопровождались световыми столбами, сотрясением воздуха, волнением вод и минералов, если прежде вокруг Анастасии все бурлило, все стонало, а Анастасия была сама страсть, то теперь в зарослях бузины и листочки не шелестели, и не осыпались спелые ягоды. Анастасия же проявляла себя чуть ли не скромницей. Что же она?

– Ты не сердись на меня, – сказал Данилов. – Ты ведь знаешь мои обстоятельства.

– Я не сержусь, – взглянула на него Анастасия. – У меня хватает приятелей. Я ими довольна. А к тебе равнодушна.

Данилов не знал, что сказать ей на эти слова. Потом вспомнил:

– Спасибо тебе.

– За что?

– За то, что выходила меня после поединка. За то, что дыру заштопала шелковыми нитками. За все. Ты ведь и рисковала тогда.

– Рисковала! – махнула рукой Анастасия. – А то что же!

Она внезапно повернулась к нему, притянула его к себе, сказала:

– Данилов! Останься здесь! Зачем тебе Земля?

– Что ты, Анастасия? Ты же смоленских кровей.

– Нет, – сказала Анастасия. – Я на Земле чужая. Мне лучше здесь. Каждому из нас лучше здесь. Останься! Я теперь все могу. Ты – на договоре. А будешь здесь свой, со всеми правами. Я устрою. Только останься. Ради меня!

В ее глазах была мольба и любовь.

– Я не могу, – сказал Данилов. – Прости меня.

– Тогда уходи! – закричала она. – Уходи! Сейчас же! Прощай! Все! И не оборачивайся!

Данилов пошел, голову опустив, было ему скверно. Он не обернулся. Анастасия, может быть, рыдала теперь на белой скамье. Впрочем, он бы ничего не увидел. Ни скамьи, ни бузины, ни Анастасии не было.

Теперь и Анастасия… Но что он мог ей сказать?

Надо было отбывать, как распорядился Валентин Сергеевич. Данилов подошел к шкафу, где висела его земная одежда.

45

Данилов ткнулся головой в доски двери. Потянул на себя, она не поддалась. «Я же убрал из нее гвозди», – подумал Данилов. Он осмотрел дверь, гвозди были на месте. «Как же так?» – удивился он. Пришлось возиться с гвоздями.

Дверь открылась, Данилов оказался под аркой дома шестьдесят семь. Часы на углу Больничного переулка показывали двадцать минут первого. «Вот оно что!» – сообразил Данилов. Он слишком торопился вернуться и впопыхах заскочил в уже прожитое им земное время. Лишь через пятнадцать минут к остановке «Банный переулок» должен был подойти троллейбус с ним, Даниловым, и пьяным пассажиром, бормотавшим между прочим и про люстру. Данилова в том троллейбусе не было, а пьяный пассажир ехал. «Вот почему гвозди-то в двери. Я их еще не успел вынуть…»

Чтобы избежать новых недоразумений, Данилов сдвинул пластинку браслета и перевел себя в земное состояние. Мимо шли люди, каких Данилов не увидел перед отлетом в Девять Слоев. Он мог дойти теперь до метро «Рижская» и отправиться домой. Но что-то удерживало его. Скорее всего он хотел дождаться троллейбуса с пьяным пассажиром и спросить, какую люстру тот имел в виду и что советовал с ней делать. «Это мальчишество!» – говорил себе Данилов. Однако потихоньку шел к остановке. «Отсюда позвонить Наташе или из Останкина?» – думал Данилов. Он бы позвонил сразу, но копеек в его карманах не оказалось. Не было и гривенника. Времени до прихода «того» троллейбуса оставалось минут семь. Данилов стоял, смотрел на строения, спавшие вдоль проспекта Мира, сейчас он уже не видел в шестьдесят седьмом и шестьдесят девятом домах мерзких гримас, не казались они ему и ужасными. Но и радости при их виде не испытывал Данилов. Он стоял грустный. Вспоминал о прощаниях с Химеко и Анастасией. И приходили и тоска, и ощущение вины…

Но вот подъехал «тот» троллейбус. Данилов опустил в автомат пятак и, подергав металлическую ручку, снова не получил билета. Опять, как бы ища поддержки, он обернулся в сторону пьяного пассажира, сказал про билет, но пьяный пассажир не отозвался. А ведь в прошлый раз (если посчитать – в прошлый раз) он промычал «А!» и махнул рукой. Но тогда Данилов сел в троллейбус в Останкине и говорил с пассажиром при подходе к Банному переулку. Возможно, теперь, после Банного переулка, пассажир заснул всерьез и не было никакой

надежды на разговор о люстре. Данилов подошел к пассажиру, подергал его за плечо, спросил несколько раз: «Вы не проспите?», но пассажир и звука не произнес. «Зачем приставать к нему! – отругал себя Данилов. – Что он может прояснить мне про люстру!»

На Колхозной Данилов сошел с троллейбуса, спустился в метро и последним поездом поехал в Останкино.

Дома он пожалел, что оставил инструмент в театре. Он жаждал играть. Наверное, только взяв инструмент и смычок в руки, он и почувствовал бы вконец, что вернулся. Жара в квартире не было, ничем не воняло. Фарфоровое блюдо, на которое клали лаковую повестку с багровыми знаками, было возвращено в сервант.

«Звонить Наташе или поздно?» – пришло сомнение. Нет, не может она спать, решил Данилов. Он набрал номер Наташи. Наташа сразу взяла трубку.

– Все хорошо, – сказал Данилов. – Завтра увидимся. Прости, если доставил беспокойство. Спи.

И повесил трубку.

Телефон тут же зазвонил. «Нет, Наташа, не надо сейчас…» – хотел было сказать Данилов, но услышал голос пайщика кооператива Подковырова.

– Владимир Алексеевич, извините, – стремительно заговорил Подковыров, – поздний час, но я выгуливал собаку, видел свет у вас и решился. Уважая в вас чувство юмора, а опять бы хотел проверить себя. Вы слушаете?

– Слушаю, – сказал Данилов.

– Вот. Короткая мысль. Если падаешь духом, учитывай, с какой стороны ты намазан маслом. А? Как? Хорошо?

– Хорошо, – обреченно вздохнул Данилов.

– А как вы считаете, надо уточнять, каким маслом?

– Нет, не надо.

Он хотел было отключить телефон, но подумал: а вдруг позвонит Наташа. Однако никто не позвонил.

Уснул он быстро, хотя поначалу ему казалось, что он не заснет вовсе. А когда проснулся, почувствовал, что вот-вот что-то должно случиться или уже случилось. Он поднял голову и на одном из стульев увидел знакомый футляр. Данилов вскочил, чуть ли не прыгнул к стулу, растворил футляр и увидел альт Альбани.

46

Наташа не позвонила и утром. Возможно, она посчитала, что Данилов шутил, и не придала значения его звонкам, ведь он не слышал ее ответов и не знал, как она приняла его слова. Возможно, и в том, серьезном, разговоре она видела долю шутки. Коли так, оно к лучшему. Впрочем, вряд ли Наташа, та, какую Данилов знал, могла посчитать все шуткой… И не позвонила она утром оттого, что все понимала. И когда она увидит Альбани, она ни о чем не спросит. Так думал Данилов.

В театр Данилов не взял Альбани.

И потому, что предвидел вопросы и остроты на репетиции и в яме. И потому, что не желал радостей Валентина Сергеевича или кого там, кто возвратил ему украденный инструмент. Выходило, что он ни на минуту не исчезал из Москвы, но пока в его московской жизни, как будто бы главной реальности Данилова, была ощутимая щель, вызванная пребыванием в Девяти Слоях. И она, эта щель, еще не представлялась Данилову иллюзией. Края ее не смыкались. Увидев Альбани, он тут же вспомнил о похитителях инструмента. Если бы он принялся носиться с Альбани, то-то бы им было удовольствие. Впрочем, может, он и ошибался. Может, для них это было простое дело. Когда следовало – отобрали, прояснилось – вернули. Не на складе же хранить инструмент, там хватает хлама. И все-таки Валентин Сергеевич не случайно перед расставанием интересовался, нет ли у Данилова просьб. Он-то знал: Данилов мог просить об одном.

Так или иначе, обнаружив Альбани, Данилов и в руки его не стал брать сразу, а, походив возле открытого футляра и одевшись, не спеша, как бы нехотя, поднял инструмент и положил его на стол. Ему бы опять любоваться альтом, часами оглядывать все линии его грифа и обечаек, а потом играть и играть, забыв обо всем, снова ощутив инструмент частью своего тела, своим голосом, своим нервом, своим сердцем, своим умом. А он лишь проверил звук (его ли это инструмент, не подделка ли умельцев Валентина Сергеевича), и, убедившись, что Альбани – подлинный (тут его обмануть не могли), сыграл легкую мазурку Шумана. И, укрыв альт кашмирским платком, закрыл футляр.

Но чего это ему стоило! Он будто бы пожары в себе тушил и пока лишь сбил пламя. Однако сбил…

Впрочем, он чувствовал, что радость его теперь – скорее умозрительная, не было в нем легкого присутствия счастья, не было порыва, какой не потерпел бы оглядки ни на кого и ни на что, не было упоения. Ну, вернули – и ладно. Они и должны были

вернуть…

«Еще сыграю на Альбани, – сказал себе Данилов. – А сегодня и тот альт будет хорош…» В театр ехал на троллейбусе. Думал: надо сообщить в милицию и в страховое учреждение о находке альта. Дело это виделось ему деликатным. Страховое учреждение ладно. Но вот в милиции от него, наверное, попросят объяснений, каким образом объявился пропавший было инструмент. Или что же он, Данилов, морочил головы, а сам запрятал альт где-нибудь во встроенном шкафу и забыл? «Подкинули! – отвечал Данилов мысленно работникам милиции. – Подкинули!» И это не было ложью.

Выскочив из троллейбуса, Данилов побежал к пятнадцатому подъезду, он опаздывал. Наталкивался на прохожих, извинялся, бежал дальше. Его ругали, но без злобы и привычными словами, никто не обзывал его сумасшедшим. Когда-то, года через три после выпуска, он несколько месяцев жил в Ашхабаде. В Москве в приятном ему оркестре место лишь обещали, и Данилов, поддавшись уговорам знакомого, улетел в предгорья Копет-Дага, играть там в театре. В театр он ходил московским шагом, и многие признавали его сумасшедшим. Один кларнетист говорил, что Данилов вредит своему искусству, что удачи художников и писателей в пору Возрождения и даже в девятнадцатом веке объясняются тем, что люди никуда не бежали, а жили и думали неторопливо, к тому же были богаты свободным временем. Данилов хотел бы верить в справедливость утверждений кларнетиста, однако верь не верь, но утверждения эти были сами по себе, а жизнь Данилова сама по себе. К тому же Леонардо наверняка тоже вечно куда-то спешил, а уж Рафаэль – тем более. Словом, кларнетист Данилова не уговорил. Да и жизнь требовала от него все более резвых движений. Если бы тротуары заменили лентами эскалаторов, то и тогда Данилов несся бы по ним, куда ему следовало.

Данилов бежал и думал, что теперь-то и в Ашхабаде публика вряд ли посчитала бы его ненормальным…

Играли в репетиционном зале. Что-то беспокоило Данилова. Он чувствовал, что это беспокойство протекает от стены, за какой находился зрительный зал. Но причину беспокойства понять он не мог. В перерывах Данилов не имел отдыха. Вместе с Варенцовой они просмотрели планы шефских концертов. На тормозном заводе и в типографии Данилову предстояло играть в составе секстета. Данилов считался как бы деловым руководителем секстета, и когда он спросил, кто поедет с секстетом из вокалистов, Варенцова назвала ему баритона Сильченко и меццо Палецкую, однако Палецкую именно ему надо

было уговорить. Данилов кинулся искать Палецкую. Потом Данилов поспешил в струнновитный цех. Мастер Андрианов давно обещал Данилову заметку для стенной газеты «Камертон», сам приходил, а потом пропал. «Номер уже скоро надо вешать…» – начал было Данилов, но, упредив его возмущенно-заискивающую речь, Андрианов достал из кармана два исписанных листочка. Данилов поблагодарил Андрианова и побежал на репетицию. «Еще бы две заметки выколотить, – думал Данилов, перепрыгивая через ступеньки, – из Собакина и Панюшкина. И будет номер». Успел до прихода Хальшина, дирижера. Альтист Горохов, всегда осведомленный, шепнул ему: «Говорят, Мосолов будет наконец ставить „Царя Эдипа“. То есть не то чтобы говорят, а точно». Горохов знал, что новость Данилова обрадует, Данилов давно считал, что Стравинского у них в театре мало. «А потянем? – усомнился вдруг Данилов. И добавил мечтательно: – Вот бы решились еще на „Огненного ангела“». Данилов, восторженно относившийся к прокофьевскому „Огненному ангелу“, годы ждал, чтобы решились. Впрочем, он понимал, отчего не решаются. Мало какому театру был под силу „Огненный ангел“. „Об „Огненном“ и надо дать в „Камертоне“ статью! – осенило Данилова. – Но кто напишет? Панюшкин? Или взяться самому?“

Заметку Андрианова Данилов положил рядом с нотами. Хальшин уже стоял на подставке (повторяли второй акт «Фрола Скобеева»), Данилов в паузе перевернул андриановские листочки и прочел: «Большая люстра». Андрианов увлекался прошлым театра, порой сидел в архивах, не раз приносил любопытные заметки (в газете Данилов завел рубрику «Из истории театра»). Теперь он делился сведениями о большой люстре зрительного зала. «Вот оно отчего», – сказал себе Данилов, имея в виду беспокойство, возникшее в нем в начале репетиции. Сейчас, играя, он взглядывал на листочки Андрианова, читал про мастеров бронзового дела и хрустального, читал про рожки, кронштейны и стаканы для ламп. «Всего большая люстра состоит из тринадцати тысяч деталей», – заканчивал заметку Андрианов.

А вечером, когда играли «Тщетную предосторожность», Данилов не мог пересилить себя и не смотреть на большую люстру. Из ямы она была хорошо видна ему. Куда лучше, нежели ноги балерин. Теперь уже не смутное беспокойство испытывал он, а чуть ли не страх. Прежде Данилов любил люстру, называл ее хрустальным садом, не представлял без нее театра, теперь она была ему противна. Причем эта, провисевшая в театре, судя по исследованиям Андрианова, восемьдесят шесть лет, была куда больше и тяжелей той! Порой Данилов голову пытался вжать в

плечи, до того реальным представлялось ему падение тринадцати тысяч бронзовых, хрустальных, стальных, стеклянных и прочих деталей. Наверняка и их падение было бы красиво, игра граней и отсветов вышла бы прекрасной, правда, откуда смотреть… «Да что это я! Чуть ли не дрожу! Пока ведь нет никаких оснований…» Так говорил себе Данилов, однако в антрактах тут же бежал из ямы. И люстра-то висела не над ямой, а над лучшими рядами партера, туда бы ей и падать. А Данилов выскакивал в фойе и буфеты. Но и там повсюду висели свои люстры, не такие праздничные и огромные, однако и они были бы для Данилова хороши. «Если я такой нервный, – ругал себя Данилов, – надо не тянуть с хлопобудами, надо позвонить Клавдии».

Но Клавдии он позвонил лишь на следующий день.

По дороге домой он несколько раз успокоился, люстра будто бы осталась в театре, хотя некоей тенью с потушенными огнями она плыла над ним и в Останкино. Дома в Останкине была Наташа. Она открыла Данилову дверь, впустила его в квартиру и прижалась к нему. Данилов ничего не говорил ей, только гладил ее волосы, потом Наташа отстранилась от Данилова, в глазах ее он увидел все: и ночное прощание с ним, и нынешнюю радость. Он был благодарен Наташе, он любил ее и знал, что от ноши, какую она взялась нести, связав свою судьбу с ним, она ни за что не откажется, она согласна и на ношу более тяжкую, она сама выбрала эту ношу, она – по ней. «Что будет, то будет, – думал Данилов. – А сейчас хорошо, что она со мной».

– Ну вот, ты и вернулся, – сказала Наташа. – Раздевайся, мой руки, и пойдем на кухню…

Конечно, она видела футляр на стуле, и Данилов, приняв из ее рук стакан чая, сказал как бы между прочим:

– Альбани отыскался.

И она, словно бы посчитав возвращение Альбани делом простым и не заслуживающим особого разговора, сказала:

– Да, я поняла.

Все она поняла, и между ними теперь не было игры, а было принятие каждым их жизней такими, какими они были и какими они могли или должны были стать. Их жизни были одной жизнью. При этом оба они принимали право каждого (или возможность) быть самостоятельными и независимыми друг от друга. Чувство некоей отстраненности от Наташи, как от человека, какого не следовало впутывать в собственные тяготы, было Даниловым нынче забыто. Он уснул чуть ли не семейным человеком.

Утром, когда Наташа уехала на работу, Данилов позвонил Клавдии Петровне.

– Что ты хочешь от меня? – спросила Клавдия.

– Я от тебя? – опешил Данилов. Потом сообразил: действительно, на этот раз – он от нее. – Я… собственно… Я бы не стал… но ты сама давала мне советы… относительно хлопобудов…

– Ты хочешь, чтобы я тебя пристроила?

– Я был бы тебе очень признателен…

– А зачем тебе хлопобуды?

– Ну хотя бы, – сказал Данилов, – чтобы доставать нужные мне книги…

– Ты всегда был бестолковым человеком…

– Потом ты считала, что я смогу быть тебе полезным.

Клавдия замолчала, наверное, задумалась.

– Ну хорошо, – сказала она. – Попробую свести тебя с Ростовцевым. Но учти. Попасть в очередь трудно.

– Я понимаю, – вздохнул Данилов.

Когда он повесил трубку, он чуть кулаком по аппарату не стукнул. Зачем он звонил? Зачем ему Клавдия? Если дважды пегий секретарь хлопобудов упрашивал его занять место вовсе не в очереди? Секретарь собирался звонить через два дня, то есть завтра. Да что секретарь! Ведь он, Данилов, мог просто сдвинуть пластинку браслета и решить дело в полсекунды. И вот – на тебе! – затеял жалкий разговор с Клавдией, понесся куда-то сломя голову! Он собрался позвонить Клавдии и сказать ей, что раздумал, но она опередила его.

– Ну все! – заявила Клавдия. – Кланяйся в ножки! Будешь обязан мне по гроб жизни.

– Хорошо, по гроб жизни, – согласился Данилов.

– Я умолила Ростовцева встретиться сегодня с тобой.

– Сегодня у меня трудно со временем.

– У него! Ты бы молчал! Я и так пожалела тебя. У тебя окна с четырех до шести. В пятнадцать минут пятого будь в кафе-мороженом. Горького, девять.

– Ладно, – сказал Данилов.

– Данилов, – сказала Клавдия. – Для меня это все серьезно… Что-то происходит в последние дни с Ростовцевым… Чем-то он увлечен… Я прошу тебя, ты… так… между прочим… выясни, что с ним… Вдруг он откроется тебе… Зачем-то он ходит на ипподром…

– А как же твоя независимость? – спросил Данилов.

– Ее не достигнешь сразу, – сказала Клавдия.

«Стало быть, – думал позднее Данилов, – она подпускает меня к Ростовцеву неспроста… Он, видно, отбивается от рук, и ей нужна информация о нем…» Данилов не стал говорить Клавдии о

том, что очередь ему не нужна. Он пожалел Клавдию, почуяв ее действительную, а может, и мнимую (не все ли равно!), озабоченность. Да и Ростовцев был интересен ему. Помнил Данилов и о совете Малибана. Словом, в начале пятого Данилов оказался на углу проезда Художественного театра. Постоял минуты две и увидел Ростовцева на лошади. Ростовцев ехал по тротуару ему навстречу и на вид был сегодня простой, не имел ни попугаев на плече, ни трости, ни кальяна. Среди прочих людей, оказавшихся в ту пору на улице Горького и нисколько не удивленных всадником, он выделялся лишь не по сезону легким костюмом, видно жокейским. Ростовцев спрыгнул с лошади, привязал ее к липе и пошел к Данилову. Данилов раскланялся с Ростовцевым, протянул ему руку, сказал, что, по всей вероятности, и Ростовцев знает, с кем имеет дело, хотя они и не были друг другу представлены. Да, согласился Ростовцев, это так. Они вошли в кафе, разделись (Ростовцев сдал в гардероб жокейскую кепку) и поднялись на балкон. Заказали пломбир и бутылку «Твиши». Тут Данилов все же взглянул на демонический индикатор и опять не обнаружил присутствия в Ростовцеве чего-либо особенного.

– Как я понял из слов Клавдии Петровны, – сказал Ростовцев, – вы, Владимир Алексеевич, хотели бы попасть в очередь хлопобудов?

– Да, – сказал Данилов.

– Простите, зачем это вам?

– Мне… собственно… – замялся Данилов, подумал: «Предварительный досмотр, что ли? А вдруг он потребует вступительный взнос? У меня пятерка. Тут хоть бы за мороженое расплатиться…» – Знаете, может, Клавдия не слишком поняла меня… Я не так чтобы отчаянно рвусь. Если для вас содействие хоть сколько-нибудь обременительно, давайте сейчас же и забудем об этом деле…

– Нет, – сказал Ростовцев строго и как бы имея право на эту строгость. – Не обременительно. Но зачем это вам?

– Из-за книг! Дежурить в магазинах у меня нет возможности, переплачивать на черном рынке – тем более.

– А вам нужны книги?

– Да, – сказал Данилов. – Я собираю. И читаю… О музыке, об искусстве, об истории, о народовольцах… Сейчас вышел «Лувр» в большой серии, но как его достать? А дальше будет хуже. Без книг я не могу.

Тут Данилов не врал.

– Я вас понимаю, – сказал Ростовцев. – В книги стали вкладывать деньги. Как в ковры и драгоценные камни… Что ж, в

вашем желании есть резон… Я сам книголюб… Сейчас пытаюсь собрать все о лошадях…

– У вас прелестная лошадка, – льстиво вставил Данилов.

– Это случайная кобыла, – небрежно сказал Ростовцев. – Взял, какая была свободна. У меня сейчас действительно хороший жеребец.

Вспомнив о жеребце, Ростовцев несколько переменился. Этот румяный рослый человек сегодня не казался Данилову злодеем. Но был он серьезен, строг и как бы давал понять, что разговор может произойти деловой и холодный. Теперь же он заулыбался, отчасти даже мечтательно, и опять, как в Настасьинском переулке, стал похож на кормленого и обаятельного ребенка.

– Вы увлекаетесь верховой ездой? – спросил Данилов.

– Да, увлекся!

И Ростовцев, не дожидаясь расспросов Данилова, даже не обратив внимания на то, есть ли у Данилова подлинный интерес к его откровенностям, принялся рассказывать о своем увлечении. Сначала он просто, поддавшись моде, стал ходить в клуб любителей верховой езды в Сокольники («Как Муравлев», – отметил Данилов). Сам горожанин, никогда не садился в седло, оказался неуклюж, чуть ли не с табуретки влезал на лошадь. А ведь в юные годы был спортсмен… Падал с лошади, ломал ребра, два месяца лежал в больнице. Но не отступил. И вот он уже вместе с другими катался аллеями Сокольнического парка. Но именно катался! А в нем уже пробуждалась страсть. Ноздри у него раздувались! Предки, возможно скифы, возможно конники Мономаховой рати, оживали в нем. Да и хотелось ощутить себя настоящим мужчиной – всадником. И чувство прекрасного ждало удовлетворения – есть ли более красивое животное, нежели конь, особенно когда он в движении? Словом, это долгий разговор, подробности которого вряд ли будут интересны Данилову («Отчего же!» – искренне сказал Данилов), но он, Ростовцев, увлекся лошадьми всерьез. Проник на ипподром, там у него и прежде были связи, теперь эти связи укрепились, он на бегах свой человек. Прочел массу книг, множество публикаций в забытых теперь газетах и журналах. Вот, скажем, раскопал перевод трактата Киккули о тренинге хеттских колесничных лошадей. («Кого, кого?» – заинтересовался Данилов.) Киккули, Киккули, сказал Ростовцев, был такой замечательный лошадник-меттаниец Киккули, это в четырнадцатом веке до нашей эры. Тогда хетты поняли, что принести победу армии могут лишь колесницы. («Ну, ну!» – подтолкнул Ростовцева к продолжению рассказа Данилов.)

– Киккули писал, – произнес Ростовцев взволнованно: – «На десятый день, когда день только начинается, а ночь кончается, я

иду в стойло и возглашаю по-хурритски к Пиринкар и Саушга, чтобы они дали здоровье для лошадей… а потом веду их на ипподром…» Как он любил лошадей! – закончил Ростовцев и покачал головой, то ли сожалея о Киккули, то ли давая понять, что теперь лошадей любят не так. И стал рассказывать о сути тренинга Киккули, схватил бумажную салфетку, шариковой ручкой в подкрепление своих слов начертил на салфетке какой-то график. Оказалось, это был график изменения нагрузки в рыси и галопе у экземпляров Киккули на протяжении 185 дней. Ростовцев при этом пояснил, какие аллюры были у древних лошадей, и сообщил, что Киккули начинал подготовку лошади к армейской службе без всяких раскачек, с решительной четырехдневной проверки, и сразу было ясно, что за лошадь поступила. В первый день лошадь перед Киккули делала утром один реприз рыси и шага в 18 км и два реприза галопа в 420-600 м и вечером два гита по 6 км и по 420 м галопа. И так далее. (Тут Ростовцев несомненно пользовался сведениями, взятыми из книги В.Б.Ковалевской «Конь и всадник», вышедшей, однако, лет через пять после разговора в кафе-мороженом.)

– Я не утомил вас? – спросил вдруг Ростовцев.

– Нет, – сказал Данилов. – Вы хотите управлять и колесницами?

– Какие сейчас колесницы! Нет, я езжу верхом, но для жокея я тяжел и велик, сами видите, я хотел бы участвовать и в рысистых испытаниях, там вес не так важен. Но там не колесницы, а так, тачки.

– Вы теперь мечтаете о рысистых испытаниях?

– Я не мечтаю, я готовлю себя к ним… А мечтаю… Я мечтаю слиться с конем, управлять им без удил, без уздечки, достичь тут свободы и совершенства!.. С уздечкой-то и удилами каждый сможет… А были когда-то нумидийцы и греки, те держали просто палочку в руке, и лошадь подчинялась им… В конце прошлого века один французский кавалерист – Кремье Фуа – позволил себе без седла и без удил, а лишь с помощью палочки, с помощью слов и движений своего тела повторить на конкурном поле все нумидийские номера… Неужели я это не смогу?

– Наверное, сможете… – произнес Данилов.

Ростовцев, ушедший в мечтания о жеребце без седла и без удил, словно бы очнулся и, обезоруженный, растерялся. Смотрел на Данилова робко, с виноватой улыбкой. Такой, простодушный, стеснительный, он был приятен Данилову. Но вскоре Ростовцев опять стал серьезен:

– Простите… я отклонился… У вас мало времени. И у меня. Так зачем вам хлопобуды?

– Как? – удивился Данилов. – Я же говорил…

– Насчет книг мне понятно, – сказал Ростовцев. – Ну, а если добывать книги без хлопобудов? Я кое-что знаю о вас. Я наблюдательный. Вы мне симпатичны. Зачем вам лезть в эту дребедень?

– В какую дребедень?

– В очередь к хлопобудам! В будохлопы эти!

– Я вас не понимаю.

– Вам следовало бы понять их. Ведь это мираж.

– То есть?

– Мираж, наваждение, липа, туфта! Вы мне действительно симпатичны, и я считаю своим долгом открыть вам глаза. Эти хлопобуды – мое порождение.

Данилов насторожился. Он не был заинтересован в том, чтобы вся эта хлопобудия оказалась миражом.

– У меня натура такая, – сказал Ростовцев. – Я озорник. Склонен к розыгрышам и мистификациям. От меня натерпелись многие. Я натерпелся от самого себя. Но, увы, неисправим… И вот с хлопобудами… Года три назад я сидел в какой-то компании. Познакомился с социологом Облаковым и двумя экономистами. Они были короли бала, шумно, умело говорили, я же человек иного склада и ума, и характера, мне многие их слова были смешны, казались далекими от земных забот. И я, для того чтобы поддержать светский разговор, взял и высказался насчет инициативной группы хлопот о будущем, как о некоем возможном направлении исследовательских и практических работ. Я дурачился, пользовался неизвестной мне терминологией, пародировал ее, но они не поняли ни насмешки, ни пародии, напротив, оживились. А что, говорят, плодотворная идея, надо, говорят, попробовать. Тут бы мне и о них, и об «идее» забыть, но взыграла моя дурацкая натура. Они явились ко мне в Настасьинский, вот, говорят, наши наметки, хотели бы услышать ваши замечания. И меня понесло. До того мне захотелось, чтобы на самом деле возникла инициативная группа хлопот о будущем и выстроилась очередь (я уже чернильные номерки на ладонях предчувствовал, сам рос после войны), что расстарался. И все возникло, и все выстроилось. И теперь все как будто бы потекло само собой и вдали от меня. Впрочем, не все. Облаков и его сотрудники – люди неглупые, аналитики и организаторы, люди деловые, но фантазии, следовательно, у них нет, воображение – бедное и робкое, ум хоть и с научным аппаратом, но такому уму примусы в коммунальной квартире расставлять. Я же в этой истории – дилетант, существо внебытовое и внеслужебное, моя фантазия раскована, не испугана практическим знанием. Я им

предлагал идеи. Они казались им бредовыми и подоблачными. Но всегда находился человек, напоминавший о необходимости безумных идей. Хлопобуды начинали думать: «А что? Есть ведь что-то…» Кстати, они привыкли и к слову «хлопобуды», а поначалу не принимали его. Вот. Затея стала самостоятельной, независимой от меня. Но многие направления хлопобудам дал я…

– И прогнозы для Клавдии Петровны?

– Да, мои… Как бы узнавал тайным образом и в обход очереди сообщал ей… А все придумывал…

– И про голографа, и про горящие дипломы, и про изумруды от вулкана Шивелуч?

– Да, – вздохнул Ростовцев.

– Но ведь это нехорошо, – сказал Данилов строго, он теперь чувствовал себя чуть ли не представителем интересов Клавдии, чуть ли не нежным ее другом, которого дурачили вместе с ней, доверчивой женщиной. – Я не знаю степени ваших приятельских отношений с Клавдией Петровной… Но ведь это нехорошо. Зачем же заставлять женщину пускаться в столь тяжкие хлопоты? А с камнями и просто рисковать. Тут, на мой взгляд, мало остроумия.

– Эти хлопоты были ей нужны! – горячо сказал Ростовцев. – И вы это знаете не хуже меня. Она бы сама придумала себе предприятия.

– Но вы ее подталкивали к делам бесплодным, – сказал Данилов менее решительно.

– Кто знает, бесплодным или нет, – сказал Ростовцев. – Я-то, возможно, шутил безответственно, но ее энергия и вправду превратит лаву в изумруды.

– Думаю, вряд ли.

– Вы читали в вечерней газете об опытах с шивелучской лавой?

– Нет, не читал, – быстро сказал Данилов. И тут же отругал себя: опять забыл разобраться с камнями.

– Прочитайте. Номер от третьего дня.

– Не будет у Клавдии никаких изумрудов, – сказал Данилов сердито, – зря запутали женщину!

– Да, – сказал Ростовцев, – может, вы правы. Я виноват, что так далеко зашел… Я не могу рассказать обо всех обстоятельствах, да вам и неинтересно было бы слушать о них.

– Неинтересно, – сказал Данилов.

– Я и сейчас не уверен, что она относится ко мне серьезно, как к равноправному ей существу… Поначалу-то я ей был просто нужен… Несомненно… Но пришло к ней и увлечение, иначе ей было бы скучно… Мне тем более… Однако в последнее время она

стала иметь какие-то иллюзии на мой счет. Будто бы я ее вещь, терять которую нежелательно. Но, может, я дал повод считать себя ее вещью? Впрочем, повод этот чрезвычайно банальный и нынче не берется в расчет… Теперь вот сцены… Вам это вряд ли понять…

– Отчего же! – сказал Данилов. – Мне другое трудно понять. В ваших розыгрышах есть оттенок издевки. И вы не держали ее за равную себе. При этом как будто бы и злились на нее. Чем она вам так досадила?

– Да не она! – поморщился Ростовцев. – А вся ее порода! Вы поняли, кто они?

– Предположим…

– А мне противны все эти проныры, сертификатные мужчины и дамы, сытые и с деньгами, желающие и еще ухватить куски! Ищущие способов устройства или помещения собственного капитала. И капитала материального, и капитала положения. Шутить с ними я решил потому, что они сами расположены к этим шуткам. Им подавай то, чего у них еще нет. Именно у них, и ни у кого другого.

– Так. И вы позволили себе быть судьей людей вам неприятных.

– Я им не судья! И нет у меня средств быть им судьей. А выразить свое отношение к ним, как мог, я посчитал себя вправе.

– Ваше дело. Но что же Клавдия-то? Остальные для вас – порода, вообще, хлопобуды. А она-то – живая женщина, просто человек, неужели вы были с ней лишь циничны?.. Впрочем, мне-то что!

– Прошу вас, не считайте меня циничным и расчетливым человеком. Я шальной, легкомысленный, меня захватывает сам процесс розыгрыша или игры, меня как несет, так и несет… И в этом мое несчастье… Или счастье… А с Клавдией было не только неприятное для нее, вы всего не знаете. Но и всерьез я не мог относиться к ее деловым порывам. Отсюда и изумруды… А-а-а! – взмахнул ложечкой Ростовцев. – Надоело!

– От хлопобудов вы бежали к лошадям?

– Да, – кивнул Ростовцев, – как только возникла очередь хлопобудов и зажила своей жизнью, у меня стал пропадать к ней интерес. Теперь, похоже, пропал совсем.

– Но придет пора, вы проедетесь перед публикой по конкурному полю на жеребце без седла и удил, и вам надоедят лошади.

– Надоедят, – согласился Ростовцев. – В прошлом апреле съехал на спор на «Москвиче», чужом разумеется, в Одессе с Потемкинской лестницы. Теперь мне эта лестница скучна. А

лестница красивая.

– Всю жизнь вы эдак?

– Да, – сказал Ростовцев. – Натура такая.

– Вы ведь где-то работаете?

– Работаю.

– У вас на двери висела табличка: «Окончил два института, из них один – университет».

– Да. Институт физкультуры, специализация – плавание, но уже не плаваю и не учу плавать, а купаюсь. Потом университет, механико-математический факультет.

– Ваша работа связана с чем-нибудь небесным?

– Да, – Ростовцев сделал пальцами летательное движение, – именно с этой механикой.

– Что же, работа вам скучна?

– Нет. Не совсем. Но нас там – сотни, тысяча. И я – пятидесятый, сотый, тысячный. Я разработчик частностей чужих озарений. Это естественно. Таков уровень развития науки. И человечество разрослось. У Леонардо был выход всему. Во мне же и в других многое не имеет выхода. Оттого-то мои коллеги имеют хобби – в нашем отделе, например, все мастерят дома цветные телевизоры. А я шучу и сажусь на кобыл.

– Ну и весело?

– Ничего… Но и не в веселье дело… И потом, еще одно. Чем больше открытий в науке, хотя бы и той ее сфере, к какой близок я, тем больше тайн. И приходит мысль: «А не разыгрывает ли кто нас? Не шутит ли над нами? Не чья-либо шутка – моя жизнь?» Вот и самому хочется шутить, чтобы себя успокоить, уравновесить что-то в себе.

– Тут вы не правы, – сказал Данилов. – Вы просто начитались зарубежной фантастики.

– Может быть, – сказал Ростовцев задумчиво. – Но как поступить с Клавдией, ума не приложу.

Он взглянул на Данилова, словно выпрашивая совет.

– Это ваше дело, – сказал Данилов. Ему было жалко Клавдию. Но и Ростовцев не вызывал у него сейчас грозных чувств. – А в очередь я все же допрошу меня пристроить. Шутки, шутками, а книги мне нужны.

– Хорошо, – кивнул Ростовцев, он, наверное, думал о своих отношениях с Клавдией, оттого, вздыхал и рассеянно окунал ложечку в растаявшее мороженое.

– Спасибо, – сказал Данилов. И как бы удивился: – Но что же получается? Вот вы говорили – мираж. Но это не так. Очередь есть. Я буду иметь книги, надеюсь. А других-то ждут приобретения посолиднее. И все эти неприятные вам люди, в

конце концов, получат от очереди действительно выгоду. Не сомневаюсь. Новые связи, новые влияния, новую информацию, новые места и вещи. И это благодаря вам! В какой-то степени… А вы умываете руки и уходите к кобылам.

Соображения Данилова были искренние. Однако он и лукавил. Он понимал: музыка скоро так заберет его, что всякие хлопобуды станут ему в тягость. Да и зачем его усилия, если есть Ростовцев, выдумщик и озорник. Он, конечно, если бы не остыл к движению хлопобудов, еще не одну кашу заварил бы в их очереди. В конторе Малибана не переставая скрипели бы самописцы, а он, Данилов, играл бы себе на альте.

– К чему вы клоните? – поднял голову Ростовцев.

– К тому… что… – смутился Данилов. Но тут же и продолжил: – А к тому, что вы, на самом деле, безответственный. Сами дали этим делягам инструмент для новых приобретений и захватов. И сбежали. Так-то вы выразили свое отношение к ним? Нет, это не годится. Если они вам не по душе, вы и дальше обязаны морочить им головы. А то как же? Иначе благодаря вам они станут процветать… Разве это хорошо?.. Я и буду вам помогать, мне эта порода тоже неприятна…

– Надо подумать, – неуверенно сказал Ростовцев.

– Что тут думать! Думать надо было перед тем, как вы затеяли хлопобудию!

– Пожалуй, вы меня убедили…

«Ну и хорошо, – думал Данилов. – Все равно он никуда не денется от хлопобудов. Вот прокатится на манер французского кавалериста и опять сочинит что-нибудь для Облакова. И Клавдия не выпустит его из своих рук». Последнее соображение в особенности обнадеживало Данилова. В театре он должен был быть через полчаса. Они еще поболтали с Ростовцевым. Данилов осторожно поинтересовался, как Ростовцев выбирает время и для Одессы, и для лошадей. Оказалось, что в Одессе Ростовцев был в командировке, раз в неделю он имеет творческий день, и есть один начальник, он Ростовцева порой отпускает со службы. Кстати, этот начальник стоит в очереди к хлопобудам.

– Вот видите! – сказал на всякий случай Данилов, имея в виду начальника и очередь. – А чего вы за мной шлялись? – спросил Данилов.

– Я думал, что вы тоже из той породы. Долго приглядывался. Хотел и для вас придумать особенное. Но потом вы мне стали приятны…

Они выпили бутылку «Твиши», заказали еще одну. Данилов немного захмелел, сидел благодушный, испытывал к Ростовцеву расположение, чуть было не перешел на «ты». Заметил, что и на

Ростовцева подействовало вино, обеспокоился.

– Вам не повредит? – спросил он. – Вы же за рулем.

– Нет, не повредит, – ответил Ростовцев.

Тут заржала лошадь, и Ростовцев сказал, что пора. Данилов с ним согласился.

– Вы ведь простудитесь! – волновался Данилов. Ростовцев его успокоил, уверив, что он закаленный, одно время был моржом. Данилов проводил его к лошади, жал ему руку, потом с удовольствием смотрел на то, как Ростовцев ехал улицей Горького в сторону Белорусского вокзала.

Вечером, в одиннадцать, Данилову позвонила Клавдия.

– Ну что? – спросила она.

– Ничего, – сказал Данилов. – Встретились. Он приятный собеседник. Спасибо тебе.

– Зачем он ходит на ипподром?

– Любит лошадей. Он не играет.

– Я сама знаю, что не играет. Я была на ипподроме.

– Стало быть, ты знаешь обо всем лучше меня.

– Ты ничего не разузнал?

– Ничего.

– Какой же ты бестолковый! Но хоть что-то ты должен был почувствовать!

– Он тебе дорог?

– Ах, Данилов, оставим это…

– Оставим, – с готовностью согласился Данилов.

– Всегда приходится рассчитывать лишь на саму себя!

– Да, – вспомнил Данилов, – с камнями ты что-нибудь делала?

– С какими камнями?

– С шивелучскими.

– Пока ничего.

– Ну и хорошо, – сказал Данилов.

Наташа сидела в комнате и во время его разговора с Клавдией, Данилов это чувствовал, была в некотором напряжении. Никаких объяснений относительно Клавдии у них с Наташей не было. Теперь Наташа то ли сердилась на Клавдию, а может быть, на него, Данилова, то ли ревновала его к Клавдии. Эта ревность была приятна Данилову. Он хотел подойти к Наташе, приласкать ее, сказать ей что-нибудь, но и опять зазвонил телефон.

– Прошу извинения за поздний звонок, – услышал Данилов голос пегого секретаря хлопобудов, – днем я нигде не мог застать вас. А мы договорились…

– Хорошо, – сухо сказал Данилов, – я приму ваше

предложение. Хотел бы, чтобы вы учли, что мое согласие вызвано вовсе не вашими (он чуть было не произнес «угрозами», но рядом была Наташа)… условиями… Нет, причина тут в определенной моей корысти.

– Я очень рад, – сказал секретарь. – Я сейчас же сообщу Облакову. Желательна ваша встреча с ним. Позже мы обговорим место и время встречи.

Данилов повесил трубку. Подумал: «Валяйте, сообщайте. Потом сами не будете рады». Он ждал вопросов Наташи. Она ни о чем не спросила.

Сегодня, на вечернем спектакле, большая люстра снова смущала его. Дома он обходил легкую немецкую люстру с тремя рожками. «Да что я! – ругал себя Данилов. – Как напуганный баран…»

47

Он и еще несколько дней с опаской поглядывал на люстры. Даже плоские люминесцентные светильники тревожили его. Потом стал спокойнее. Та, растворившая его, люстра понемногу отдалялась, уходила в сон. Края щели как будто бы смыкались.

Данилов отправил вежливые письма в Госстрах и в милицию, старшему лейтенанту Несынову. Просил извинения за хлопоты, к которым он вынудил милицию, и сообщал, что, по всей вероятности, ему подбросили украденный инструмент. Он понимал, что у старшего лейтенанта тут же возникнут вопросы: «Как же это подбросили в запертую квартиру и почему?» Данилов без всякой радости ждал звонка из милиции или вызова к следователю, но шли дни, а его не вызывали.

Встретился Данилов в Настасьинском переулке с Облаковым и лучшими умами хлопобудов. Держался с ними строго, заявил, что они ошибаются, строя на его счет какие-то фантастические предположения, впрочем, это их дело. Его же они заинтересовали, оттого он и согласился сотрудничать с ними, хотя и не очень понимает, какая им от него будет польза. Может, музыкальная консультация? Хлопобуды вели себя деликатно, сдержанно. Давали понять, что они знают, какая и когда будет польза. Приглядывались к нему. И было видно, что они люди трезвых мыслей и чувств, не слишком верят чьим-то сведениям или подозрениям насчет него. Но не прочь были бы им и поверить. («А вдруг это озорство Ростовцева?» – подумал Данилов. Позже, встретив Ростовцева, Данилов спросил румяного шутника, не представил ли он его Облакову особенной личностью? Нет, чего не было, того не было.)

– Да, – сказал Данилов, расставаясь с хлопобудами. – Чуть было не забыл. Никаких выгод я не ищу. Ну, только книги… А вот рецензий, хороших гастролей и прочего мне не надо. То есть не надо мне мешать, как случалось в последние недели, но и способствовать чему-либо в моей судьбе не следует.

– Хорошо, – сказал Облаков.

Сказать-то он сказал, однако виолончелист Туруканов, очнувшийся от потрясения с монреальскими галстуками или забывший о нем, через несколько дней подошел к Данилову и, намекая на нечто им двоим известное, говорил с ним почтительно, даже заискивающе. Один из дирижеров, кого Клавдия видела в очереди в Настасьинском переулке, раскланивался с Даниловым теперь куда приветливее, чем прежде. Выяснилось, что и на гастроли в Италию Данилов поедет.

И критик Зыбалов прислал Данилову письмо, извинялся, что не упомянул фамилию Данилова в газете, сообщал, что его игра на альте ему очень понравилась, что она выше музыки Переслегина, а впрочем, и симфонию Переслегина он хотел бы услышать снова, чтобы оценить ее объективнее. Клавдия же подкараулила Данилова вечером у входа в театр и набросилась на него с упреками. Что же он ее водил за нос, упрашивая о записи в очередь!

– Из-за чего они тебя пригласили?

– Я сам не понимаю, из-за чего, – сказал Данилов.

– Не лги мне! Ты им понадобился?

– Им нужен музыкальный консультант. Вдруг придется читать ноты или оценивать песни.

– Музыкантов тысячи, лауреатов сотни, а позвали тебя. За какие заслуги позвали тебя?

– Что ты на меня напала? – сказал Данилов.

– Ты не увиливай от ответа!

– Я не могу ничего объяснить тебе, – сказал Данилов строго. – Я не волен.

Эти слова сразу же успокоили Клавдию Петровну. Теперь она смотрела на Данилова с тихим интересом. И радость была в ее глазах.

– Надеюсь, что ты не забудешь, кто я тебе.

– А кто ты мне?

– Данилов, не надо… Ты знаешь, кто я тебе.

– По-моему, ты начинаешь питать ложные надежды. К тому же ты имеешь в очереди куда больше возможностей, чем я.

– Хорошо, – быстро сказала Клавдия, как бы соглашаясь с ним, словно он был одержим бредовой идеей и что же раздражать больного. Потом она все же не выдержала: – А ты, оказывается, вон какой загадочный. Только прикидываешься простаком и бестолочью…

– Извини, Клавдия, – сказал Данилов. – У меня спектакль. Загадки же мои ты давно могла бы разгадать.

– Может быть, я была слепая… – уже следуя к двери, он услышал печальные слова. Данилов даже остановился в удивлении. Посмотрел на Клавдию. Однако свет не падал на ее лицо…

Играл он в те дни много, играл с жадностью.

Играл на Альбани и на простом альте.

Играл Данилов и дома и в театре. Играл в яме с упоением даже музыку опер и балетов, какую прежде считал для себя чужой. Теперь у него было желание войти внутрь этой музыки без чувства превосходства над ней и ее композитором, понять

намерения и логику композитора и обрести в музыке, пусть так и оставшейся ему чужой, свободу мастера, которому подвластна любая музыка («Ну не мастера, а мастерового», – скромничал при этом Данилов). В вещах, им любимых, он, как ему казалось, такой свободы достиг. Или уже достигал ее без особенных усилий и напряжений. То есть эти усилия и напряжения были в его музыке всегда, десятки лет, и были порой мучительными, сейчас же они словно истаивали, звуки рождались сами собой. Данилов помнил слова Асафьева: «В конце концов, техника есть умение делать то, что хочется. Но на всякое хотение есть терпение…» Выходило, что он, Данилов, во всем поспешный и непоседливый, в занятиях музыкой был именно терпеливым. И кое-чего добился.

Дома он играл вещи наиболее трудные для альта, и они получались. Он и прежде не раз играл их, и прежде бывали удачи, но теперь Данилов полагал, что мышление его альта (или альтов), выражения чувств инструментом стали более точными и близкими к правде. И тембром звучания и произношением инструментов Данилов часто оставался доволен. И будто бы забыл, каким неуверенным неудачником, каким ругателем самого себя он был в пору репетиций симфонии Переслегина и потом, после концерта.

Ему казалось, что теперь у него словно подготовительный период. Будто впереди у него – прорыв. Будь он более рациональной личностью, он бы вычислил варианты этого прорыва, а то и «проиграл» бы их в мыслях, вынуждая себя к поступкам. Но тогда бы он был другой Данилов.

Все чаще он думал о своей внутренней музыке. Ведь пока она звучит лишь внутри него – это своего рода тишизм. А что, если взять альт и попробовать… Но не будет ли тут нарушение его принципа – не использовать в музыке особенных возможностей? Нет, считал Данилов, он сам придумал приемы музыкального мышления (при этом, опираясь на опыт именно земной музыки, что было немаловажно), никому он тут ни в чем не обязан и не применял никаких неземных средств. Стало быть, его условие не нарушено. Исследователи не поняли его музыки, ну и ладно (или поняли?). А от людей он ничего не собирался скрывать или утаивать. Наоборот, он имел потребность выразить перед людьми самого себя. Он хотел им говорить о своем отношении к миру и жизни. Слова ему не стали бы помощниками. Смычок и альт – другое дело. К тому же, пользуясь созданными им приемами, он мог мыслить и переживать прямо в присутствии слушателей (хотя бы и в присутствии одного слушателя), не обращаясь к чужой музыке, а – своей музыкой. Он импровизировал бы. К импровизациям же, когда-то обычным, теперь в серьезной музыке

почти забытым, его тянуло.

Но он говорил себе, что желает именно мыслить альтом и выражать им чувства – и потому импровизировать, а не потому, что желает показать свою виртуозность и не потому, что в нем пробудился композитор. Он, конечно, не исключал возможности, что вдруг – когда-нибудь! – примется писать музыку, – в консерваторскую пору он увлекался и композицией, потом все забросил, а тогда сочинил десятки пьес, каждый день занимался упражнениями по контрапункту (семьдесят фуг в месяц), гармоническим анализом, сольфеджио… Нет, теперь он никак не мог назвать свои импровизации (а он на них, в конце концов, отважился) сочинением музыки. Нот исполненного Данилов не записывал, прозвучавшую в его квартире (Наташи в те часы не было) музыку не повторял. Да и противоестественным казалось ему заучивать собственные мысли наизусть.

И все же Данилов не удержался и дважды записал свою музыку на магнитофон. Хотел послушать ее как бы из зала. Прослушав, ходил взволнованный. Но все это было не то! Иногда он злился на альт. А чаще на самого себя. В той своей, мысленной, музыке он был сумасшедше богат: весь звуковой материал, который существовал в природе и в изобретениях людей, все инструменты, и забытые, и сегодняшние, и будущие, весь мелос мира – все было к его услугам, звукосочетания рождались мгновенно и любые. Теперь же он имел один альт, пусть и Альбани, но альт! Что он мог!

Данилов отчаивался, считал, что никакие мысли и никакие чувства подлинно он не сможет выразить альтом, что его звуки еще косноязычнее слов. Но и бросить свои импровизации не мог. Играл и играл снова. Говорил себе: отчаивается он оттого, что избаловал себя мысленной музыкой. Теперь же пусть рассчитывает лишь на себя и на альт. И пусть не прибедняется. Техника у него сейчас отменная. И следует не заниматься самоедством, а следует дерзать, коли в этом у него есть потребность. Возможности альта далеко не исчерпаны. Это не оркестр, но это альт.

Однажды он играл Наташе. Наташа хвалила Данилова, хотя и сказала, что музыка для нее не совсем привычная. А потом, когда к нему в Останкино зашел Переслегин, Данилов решился играть и перед ним. Объяснил ему, что за музыку он просит выслушать. Данилов играл минуты четыре, нервничал, мысли его были скорые и отрывочные, музыка вышла резкая, бегущая куда-то, иногда и с прыжками, колкая, порой словно бы с заиканиями, случались в ней паузы – как бы остановки мыслей, такты шли неравномерные, движение по вертикали было своеобразное.

– Интересно! – сказал Переслегин. – На самом деле интересно. Играете вы сильно. Что делает ваш альт! А музыка похожа на вас. Нет, вы не всегда такой. Но иногда таким бываете. И не было в вашей вещи банальности.

– А не кажется вам, – осторожно спросил Данилов, – что я нарушил много правил?

– Ну нарушили! Но это правила учебников! Да и сколько новых правил уже возникало в двадцатом веке. И сколько еще возникнет. Ритмы, интонации, мелодии, да и самые звуки наших дней особенные, что же бояться нарушения правил! Какие удобны вам теперь средства выражения, такие и используйте. Людям вы будете дороги, если скажете свое. А не повторите произнесенное. А у вас свой язык, это видно и по одной фразе.

Переслегин, похоже, убеждал сейчас не только Данилова, но и самого себя.

– Ведь жизнь действительно особенная, новая, зачем же ее в музыке укладывать в якобы обязательные формы? Вы нарушили правила? Но я слышал не опыт с нарушениями, а музыку, при этом близкую мне, живущему в семидесятые годы. Завтра ваши нарушения станут правилами. И мои.

Данилову слушать Переслегина было приятно. Он нуждался сейчас в поддержке. Однако иные утверждения Переслегина он мог бы оспорить. Он любил всю музыку. Ему порой, коли было подходящее настроение, хотелось высказаться и в старой манере. Хотя бы и в романсно-ариозном, как говорил один его профессор, стиле конца прошлого столетия. Он желал развивать мысли и поместив их внутрь сонатной формы. Или фуги. И не потому, что был всеяден или не имел своего направления. Нет, Данилов имел направление. И думал о нем. Правда, он говорил себе, что ему не следует теоретизировать, куда интереснее двигаться в искусстве на ощупь. Тут он был определенно неточен. Это ученик музыкальной школы или увлекшийся дилетант могли двигаться на ощупь. Данилова же сейчас и Земский признавал профессионалом высокого класса. Его «на ощупь» было особого рода. Просто он не желал быть в музыке расчетливым. Но одно дело – не желать… Что же касается всеядности, то ее не было, а была жадность. Принявшись создавать музыку, Данилов жаждал опробовать все. Готов был примерить любое платье, чтобы выбрать наилучшее для себя. Он сидел с Переслегиным и думал о том, что желает сыграть вальс. И уже мелодия возникла в нем. А отчего бы и не вальс? При этом он не то чтобы хотел сочинить новый вальс. А хотел высказаться в форме вальса. Ну, а потом? А потом его могли увлечь частушки, ритмы белгородского «Тимони», с его пританцовываниями и припрыгиваниями, какие

давно жили в Данилове, приобретения биг-бита, новые танцы, сменившие шейк (джерк, фанки, чикен и хасл в частности, с их непривычными движениями), мотивы расхожих песен, способные вызвать иронию его альта, но и необходимые как приметы быта летящих дней для выражения его, Данилова, мыслей. Многое, многое, многое! И конечно, Данилов помнил о прекрасной музыке и приемах ее исполнения африканской, индийской и дальневосточной школ, и те приемы волновали Данилова. Отчего бы его альту не поучиться, скажем, у бамбуковой флейты сякухати? Словом, звуки, мелодии, удары, звоны, ритмы, интонации теснились в нем, мучили, будоражили его, требовали выхода, воплощения альтом. Формы же, какие понадобились бы для этих воплощений, Данилов не собирался выбирать заранее. Он на это не был способен. Формы, иногда именно и из учебников, полагал он, должны были явиться сами, необходимые и естественные. Было бы ему что произнести. А как произнести, это он уже умел.

Так думал теперь Данилов. Однако Переслегину ничего не высказал, словно бы согласившись с ним во всем.

А Переслегин пришел вот зачем. Появилась возможность исполнить его симфонию во второй и в третий раз. Правда, опять во Дворцах культуры. Ну и что же? Переслегин опять писал музыку, и опять для альта. В некотором роде экспериментальную, какую на первый взгляд альту технически исполнить трудно. Однако и в симфонии были эпизоды, как будто бы для альта невозможные. Но Данилов их сыграл. А своими импровизациями он еще более подзадорил Переслегина. Правда, тот принялся и за оперу по мотивам рассказов Зощенко (эта новость вызвала чуть ли не ревность Данилова, измену учуял он), но сочинение для альта он закончит. Расстались Данилов с Переслегиным довольные друг другом, поощрив себя на новые труды.

А после ухода Переслегина Данилов почувствовал себя скверно. Его тошнило. Кружилась голова. Билось сердце. Да что сердце! Все внутри Данилова как будто бы пришло в движение и стало куда-то смещаться. Данилов прилег на диван. Легче не было. Его раскачивало вместе с диваном. Минут десять. Потом прошло. Но и позже воспоминание о дурноте было неприятным. Данилов в театре сбегал в медицинский пункт, попросил измерить давление. Оно было нормальное. И сердце работало хорошо, ровно, без шумов. Наутро Данилов развернул в троллейбусе газету и среди прочего на пятой странице увидел заметку. Вчера в Турции был зафиксирован подземный толчок силою в семь-восемь баллов. Эпицентр землетрясения – вилайет Диярбакир, там в домах трещины. Есть жертвы. Сообщалось и

время (московское), когда Диярбакир трясло. Именно в те минуты и было Данилову плохо. В те десять минут! Вспомнил Данилов Нового Маргарита и его предложение о чуткости к колебаниям. Как давно это было. В совершенно иной, нереальной жизни. Однако вот началось… Наташе он не сказал ни о дурноте, ни о медпункте. Швейные дела шли у нее сейчас хорошо, она даже подумывала, не уйти ли ей из НИИ. Данилов понимал, что рано или поздно она уйдет, но пока советов не давал, говорил: «Смотри сама». Зимой знакомая Наташи художница по костюмам одевала для новой программы известный ансамбль с хором и танцевальной группой. К ее услугам был костюмерный цех. Но она пришла тогда к Наташе с просьбой сшить особо дорогие для нее костюмы. Наташа обрадовалась. И все сшила прекрасно. А потом стала ходить в музеи, листала альбомы народной одежды и сама взялась сочинять костюмы, будто бы ей тоже надо было одеть ансамбль. Данилов смотрел ее эскизы, радовался им, но хвалил их сдержанно – он был лицо заинтересованное. Показал эскизы художникам театра, те сказали, что работы яркие и почти профессиональные. Советовали Наташе учиться. Наташа смеялась, говорила: «Да куда мне! В мои-то годы!» Но съездила в текстильный институт, узнала условия приема. Сказала: «Год или два потерплю. Посмотрю. Почитаю школьные учебники, ведь все забыла. И надо всерьез заняться рисунком, если мы с тобой желаем рассчитывать на что-то…» В НИИ у них была изостудия, Наташа ходила теперь туда. Данилов ее не торопил. Ему и нынешняя Наташа была хороша.

Иногда он позволял себе отдыхать. В стеганом халате лежал на диване, листал книги, чаще по искусству (у хлопобудов он добыл пока только «Американский детектив»), блаженствовал. Наташа сидела за столом, фантазировала свои костюмы, напевала тихо. Слуха у нее не было, Данилов вначале смеялся над ее мелодиями, она смущалась и умолкала, теперь же пела и при нем. Неправильное ее пение умиляло Данилова, как умиляет родителей коверканье их младенцем слов. (Данилов даже пробовал на альте передать Наташины неправильности, но это было уже не то, холодная неграмотность инструмента, и только). Никуда Данилова в эти минуты не тянуло, о купаниях в молниях и полетах в Анды он как будто бы и не помнил. Да что купания и полеты, он и в гости к Муравлевым ходил в эти месяцы редко. Рядом сидела Наташа, что еще нужно было Данилову? Он закрывал глаза, слушал милый голос и иногда размышлял, отчего в его судьбу вошла именно Наташа. Однажды он подумал так. Изменения в нем происходили тихо и не сразу, вернее, готовились, накапливались в нем тихо и долго, а произошли-то,

может быть, быстро, и вот когда они произошли и в нем, Данилове, утвердилось новое, впрочем существовавшее в нем и прежде, но не столь отчетливо и решительно, понимание мира и его ценностей, тогда он и столкнулся с Наташей, и она, пусть и не самая ослепительная и блистательная, была из тех женщин, какие ему стали дороги. Данилов понимал, что если и есть в этом его размышлении доля истины, то небольшая. Может быть, сотая доля. И вообще все это – умозрение, пустое умствование, к какому он все равно не способен. Отчего же не ослепительная и не блистательная? Наташа была ему хороша и близка. С ней он чувствовал себя спокойно. Она для него – и нерушимая стена. Словами Данилов мог сказать об этом тускло. Взять же альт в тот момент было ему лень. Данилову тогда и с дивана не хотелось вставать.

Впрочем, не так уж много он пролеживал на диванах.

Жизнь его и всегда была полна хлопот. Эти же месяцы, весенние и летние, вышли совсем суетливыми. В театре готовились к поездке в Италию, было много срочных вводов. Данилов играл и в составе секстета театра – на шефских концертах и с солистами на телевидении. С баритоном Бондарчуком их записали для «Голубого огонька». Прошел слух, что секстет пригласят на гастроли в Японию. От всех левых концертов Данилов вынужден был отказываться. Денег, пусть и не густо, он все же сумел заработать, отдал кредиторам часть долга. Снова пришлось переодалживать пятьсот рублей. Последнюю ссуду Данилов получил от известного игрока Миши Кошелева.

Из Госстраха пришла бумага: его письмо приняли к сведению. Из милиции не звонили и не писали. За брюками в пункт химчистки Данилов не зашел. Для итальянской поездки они пригодились бы. Теперь Данилову и стыдно было идти в химчистку – вдруг там, на самом деле, теряли из-за него квартальные премии. А может быть, брюки были уже отправлены фабрикой в комиссионный магазин или на Преображенский рынок. Посылать Наташу в химчистку Данилов не решился. Что же ей-то краснеть? Однако и терять добро было нехорошо. Забегу перед гастролями, пообещал себе Данилов. И не забежал. Решил, купит штаны в Италии. Да и Наташа обещала ему сшить брюки. Он надеялся.

В гастрольный состав Николай Борисович Земский не попал. Он как будто бы и не стремился попасть. Да что там, говорил, в Италии? Мафиози да тиффози. Макароны же и у нас есть. Подолгу с Даниловым он не разговаривал. Видел, что Данилов задерганный, ботинки стаптывает, какие тут особые разговоры. Но два раза все же спрашивал Данилова всерьез и с ехидцей: не

разгадал ли Данилов тайны М.Ф.К. «Не разгадал, Николай Борисович, – отвечал Данилов. – И некогда разгадывать». – «Больно ты жаден стал до звуков. Не переешь». Отношение Данилова к Мише Кореневу было теперь иным, нежели несколько месяцев назад. Вроде бы Коренев отдалился от Данилова, истаял в прошлом. В пору сомнений Данилова, неуверенности в самом себе терзания Миши Коренева были ему близки, и тайну его, хотя скорее всего ее не существовало, Данилов жаждал открыть. Сейчас же пришла полоса не то чтобы удачи и благополучия, а скорее действенного упоения музыкой, удовольствия от своей игры, понимания ее высоких свойств. Нужда в печальных исследованиях как будто бы отпала. Понятно, что до поры до времени… Размытый образ Миши вызывал теперь лишь летучую (после разговоров с Земским) жалость Данилова. И все. Хлопобуды Данилову пока не звонили. Данилов был рад. Ростовцева он встретил лишь однажды, пешего, на Кузнецком мосту. Ростовцев был хмурый и рассеянный, жеребец без седла и удил относился к нему пока без уважения.

– Я думал о ваших словах, – сказал Ростовцев. – Вы правы. Я кое-что изобрел для этих хлопобудов.

– Очень хорошо! – обрадовался Данилов. – Только знаете, не хотелось бы, чтобы ваше изобретение нанесло ущерб Клавдии Петровне…

– Ладно, – пообещал Ростовцев.

Клавдию Петровну Данилов пожалел по привычке и из опасения, что, коли ей будет нанесен ущерб, расхлебываться с этим ущербом придется опять ему, Данилову. Клавдия присмирела, видно, выискивала в Данилове какие-то особые свойства, прежде ею не подмеченные, но открытые хлопобудами. Она даже, при всех своих стремлениях к независимости, одно время виляла перед Даниловым хвостом. Потом, наверное, посчитала, что на Данилова и с особыми свойствами она имеет права. Узнав об Италии, она сразу стала делать Данилову заказы. Данилов заявил ей, что, если: у нее есть нестерпимая нужда в итальянских вещах, пусть обращается к Наташе. Наташа записывает просьбы знакомых. «Ну ты даешь! К Наташе!» – фыркнула Клавдия и, была бы рядом дверь, хлопнула бы дверью. Однако список вещей Наташе представила. Данилов повздыхал и решил, что придется купить Клавдии какую-нибудь дрянь. А то сживет со света.

Куски лавы от вулкана Шивелуч она держала в кладовке, не допуская к ним и профессора Войнова (тот все никак не мог добиться хорошей длительной командировки). Стало быть, эти камни Данилова пока не тревожили. А вот как деликатным

способом покончить с изумрудами и бабочкой Махаон Маака с изумрудными зубами, он не знал. Но надо было кончать. Дело и так зашло далеко. Готовились научные публикации, целые лаборатории обхаживали изумруды, бабочку держали в зимнем саду института, кормили редкими орехами. Она росла и тучнела.

К Кудасову вернулся аппетит. Сомнительные раздумья больше не угнетали его. Удручало его жизнь лишь то обстоятельство, что Данилов по причине занятости почти не появлялся у Муравлевых и, значит, обеды и ужины у них шли скромные, порой без мясных блюд или же с одними сосисками. Он ловил теперь запахи в других домах.

Водопроводчик Коля не попадался на глаза Данилову. В пивном автомате Данилов его не встречал и не знал, идет ли из Коли дым или уже иссяк. Он рассудил, что, если бы Колю дым стал удручать, Коля, наверное, обратился бы по поводу дыма к нему, Данилову. Хотя почему именно к нему? Потом из разговора с привратницей Данилов узнал, что Коля ушел из сантехников и работает мойщиком в троллейбусном парке в проезде Ольминского. Его и не видно во дворе. Остался ли при Коле дым, Данилов спросить постеснялся.

Кого Данилов хотел увидеть, так это двух барышень, каким он вернул невинность. Но времени на розыски их не было, да и гуляли они девушками не слишком долгий срок. «Пусть еще погуляют до зимы», – решил Данилов.

И он уехал в Италию.

И была Италия. То есть сказка. Написать о ней что-либо я не в силах. Да и не был я в Италии.

В августе Данилов имел отпуск, они с Наташей дикарями отправились в Коктебель. Данилов лет пять уже отдыхал в Коктебеле. В последние месяцы, после турецкого землетрясения, он не раз испытывал дурноту. Но то землетрясение хоть было в восемь баллов, а потом-то он ощущал происшествия куда менее значительные. Толчки силою в три-четыре балла, рядовые извержения курильских и камчатских вулканов, удары цунами. Опять внутренности в нем словно бы смещались. Сердце стучало или, еще хуже, – замирало. Вот-вот могло вырвать. И неприятнее всего было ощущение беспокойства, тоски или даже безысходности. Наташа заметила дурные состояния Данилова. Пришлось опять идти к врачам, раздеваться до пояса, просвечиваться и глотать кишку. Все анализы были хорошие, во внутренностях – светло и непорочно. «Переутомление», – сказали Данилову. И Данилов был склонен считать, что переутомление. Коктебельские купания как будто бы приободрили его. Во всяком случае толчки в боливийской провинции Кочавамба силою в пять

баллов вызвали у Данилова лишь трехминутный озноб. Правда, весь август Данилов не брал инструмент в руки.

Как только Данилов вернулся в Москву, ему позвонил Переслегин. Оркестр Чудецкого в первых днях октября должен был играть во Дворце культуры автомобилистов. В программе – поэма Стравинского «Песнь соловья» и симфония Переслегина. Стало быть, есть нужда в нем, Данилове.

– И еще, – сказал Переслегин. – Вы можете исполнить там свои вещи. Как вы их называете? Импровизации?

– Импровизации… – взволнованно произнес Данилов. – Но ведь я их не записываю… Стоит ли мне…

– Стоит! – решительно сказал Переслегин. – И напрасно вы их не записываете. И глупо! Расточительно! И нет в этом уважения к любителям музыки. Это мальчишество в конце концов!

Данилов чуть ли не обиделся, хотел сказать, что импровизации и есть импровизации, почему же не быть верным принципу? Но потом подумал, что он обманывает себя. Он хотел записывать свою музыку! Иногда он и записывал ее на магнитофонную ленту. И потом слушал. И испытывал потребность повторять свои мысли. Хотел, чтобы их услышали другие люди. Сотни людей! Считал, что имеет право на разговор с ними, конечно, при условии, что его мысли на самом деле не банальные и достойные внимания. Что же касается принципа, решил Данилов, то он сможет импровизировать и при повторном высказывании. В тот день Данилов купил нотную бумагу.

В театр он брал теперь лишь Альбани. Оставлять инструмент на ночь в шкафу не отваживался, возил домой.

В свободные часы несся на репетиции оркестра Чудецкого. Концерта ждал с нетерпением и страхом. Ругал себя за то, что согласился играть свои вещи. А на тумбах возле Дворца автомобилистов уже висели афиши с программой концерта.

Снова съехались на концерт все знакомые Данилова (и я с женой). В фойе Данилов углядел и несколько человек из очереди хлопобудов. Видно, и они любили музыку. Ворвалась в помещение взволнованная Клавдия Петровна, приволокла с собой профессора Войнова. («Ого! – обрадовался Данилов. – Нас принимают всерьез».) Прогуливался в фойе, не подходя к буфету, строгий критик Зыбалов. Некоторое удивление Данилова вызвало присутствие Николая Борисовича Земского. Земский должен был сегодня вечером сидеть со скрипкой в яме. Данилов не удержался, подошел к Земскому, спросил: «А вы-то как же, Николай Борисович?» Земский сказал хрипло: «Больничный листок. Люмбаго». В глаза Данилову он не смотрел. В руках у него был какой-то предмет, завернутый в газету. Предмет этот

Земский, казалось, желал спрятать куда-нибудь подальше, лишь бы Данилов о нем не спросил. Данилов не спросил. Симфонию Переслегина исполняли в первом отделении.

Данилов волновался, однако на этот раз был спокойнее, все видел и помнил. Его игру и игру оркестра приняли хорошо, аплодировали, бросали цветы, оркестранты стучали смычками по пультам, одобряя Данилова. Минут пять Данилов сидел в артистической, выговорившийся, расслабленный. Выключенный из жизни. Но ему еще предстояло играть. Он встал, пошел в буфет выпить воды. Уже в очереди он пожалел, что не взял инструмент. «Да как же это я!» – чуть ли не вскричал Данилов. Он бросился в артистическую, но Альбани там не было. Раскрытый футляр лежал, а инструмент исчез. Данилов носился по комнатам за сценой, выскакивал на сцену, спрашивал знакомых, не пошутил ли кто. Альбани нигде не было. Данилов должен был играть сразу после антракта, но об этом он сейчас не думал. Он даже на индикатор не взглянул, не поинтересовался, нет ли здесь неземных сил.

Наконец он заскочил в туалет при артистических комнатах и увидел Николая Борисовича Земского, терзающего его альт. Собственно, альт уже был растерзан, расчленен, раскурочен и частью разбит в щепы. В руке Земского была пила-ножовка. Ни один мастер, ни сам Альбани вернуть альт к жизни не смогли бы.

Данилов готов был броситься на Земского. Но зачем? Он остановился и сказал тихо, едва найдя силы для слов:

– Как же это вы, Николай Борисович? Вы ведь музыкант…

– Именно потому, что музыкант, – твердо сказал Земский.

Потом Данилов сидел в артистической, лицо уткнув в ладони, чуть ли не плакал, а Земский был где-то рядом и требовал, чтобы немедленно вызвали милицию. Антракт затягивали. Чудецкий подходил к Данилову, спрашивал, не стоит ли сейчас Данилову отказаться от исполнения своих вещей, на что Данилов резко и даже неожиданно для самого себя заявил: «Нет, теперь я точно буду играть!» Думали, как быть. Посылать машину на квартиру Данилова за его простым альтом (на это ушло бы минут сорок) или же воспользоваться инструментом кого-нибудь из альтистов оркестра? Сошлись на последнем. И решили, что Данилов будет играть не сразу после антракта, а вначале исполнят поэму Стравинского. Данилов же пусть немного успокоится. Данилов кивнул и попросил всех оставить их вдвоем с Земским.

– Зачем вы это сделали, Николай Борисович? – спросил Данилов. – Вас возмутила моя игра?

– Наоборот, – сказал Земский, – ты блестяще играл. В этом

все дело. А будешь играть еще лучше.

– Но зачем же…

– Володя, вызови милицию, я прошу тебя, и пусть они составят протокол.

– Никого я не буду вызывать, – устало сказал Данилов. – Зачем теперь милиция…

– Володя, я умоляю тебя… Да и не надо тебе вызывать милицию, я уже звонил туда… Ты им только сделай заявление.

– Я не буду делать никакого заявления…

– Володя, я ведь опять на колени перед тобой рухну. Был уже один случай. Если б тогда мой порыв не вышел напрасным, не возникла бы у меня нужда крушить твой альт.

– Зачем вы его сломали?

– Помнишь тот наш разговор? Ты можешь верить или не верить в мои сочинения, в мой тишизм, но я в них верю. Оценить их могут не сейчас. Очень не скоро. Но кто запомнит обо мне, кто через полстолетия или полтора столетия вдруг проявит интерес к личности и ее творчеству, если эта личность при жизни ничем о себе не заявила, не было ее и нету? Но теперь-то меня запомнят! Ты станешь большим музыкантом, о тебе будут писать статьи и, конечно, где-нибудь упомянут, что какой-то варвар или, может, завистник растерзал в антракте концерта любимый инструмент мастера. Это выгодный для тебя момент. И для меня! Найдется дотошный потомок и пожелает разузнать, что это был за варвар или завистник, помешательство ли толкнуло его к Альбани или им двигал некий высокий принцип. И кто-нибудь оценит Николая Борисовича Земского по делам его. Я и в прошлый раз говорил тебе: мне нужна туфля Золушки. Ведь если бы Золушка не обронила туфельку, она бы по сей день ходила в прислугах у сводных сестер.

– Я помню, – встал Данилов. – Только вы себе придумали странную туфлю… Идите, Николай Борисович, я хочу побыть один.

– Нет! Ты прежде напиши заявление для милиции! – горячо вскричал Земский, страсть горела в его глазах и как будто бы убеждение в том, что Данилов признал его доводы справедливыми и чуть ли не сочувствовал ему. Земскому.

– В милиции инструмент не починят, – сказал Данилов.

– Его и нигде не починят! Я тебе выплачу за инструмент-то. Ты другой купишь. И разве можно сравнивать, пусть даже и хороший Альбани, с тем направлением, какое я могу дать музыке?.. Ты только потребуй составить протокол. Чтоб был на меня документ. Чтобы будущие архивисты наткнулись и на документ. И варвар не остался безымянным.

– Николай Борисович, давайте прекратим разговор об этом, – хмуро сказал Данилов.

И тут Земский на самом деле рухнул на колени перед Даниловым.

– Не губи, Володя! Хочешь, я открою тебе тайну Миши Коренева?

– Встаньте, Николай Борисович, – подскочил Дани лов к Земскому, принялся поднимать его, тяжел был Николай Борисович. – Что вы мне все этой тайной морочите голову! Ее или нет, или она не имеет ко мне никакого отношения.

– Есть тайна. А имеет ли она отношение к тебе, или еще к кому, я сказать не могу.

Николай Борисович вытащил из кармана пиджака помятый конверт, поднял руку с письмом.

– Я получил это письмо от Коренева за день до его гибели, – сказал Земский. – Я не вскрывал его.

Земский протянул письмо Данилову. Данилов невольно взял его, но тут же решил вернуть Земскому:

– Письмо адресовано вам. Я не читаю чужие письма.

– И все же ты разорви конверт. Я догадываюсь, что в нем, и думаю, что твое знакомство с письмом не нанесет ущерба ни мне, ни Кореневу.

Данилов осторожно расклеил конверт, вытащил оттуда сложенный, видимо, нервными руками лист нотной бумаги. Развернул его. Лист был чистый.

– Я так и думал, – сказал Земский.

– Пустой лист, – тихо произнес Данилов. – Что ж, и для меня тут нет большого открытия…

В дверь артистической постучали.

– Войдите, – сказал Данилов. Явившийся Переслегин спросил деликатно:

– Владимир Алексеевич, если вы не хотите играть, решайте, никто вас не осудит.

Данилов сказал тихо, глядя в пустой прощальный лист нотной бумаги:

– Нет, теперь я обязательно буду играть.

– Тогда ваш выход через двадцать минут.

При этих словах в артистическую вступили два милиционера, старший лейтенант и лейтенант, этот с радиотелефоном. «Уж не Несынов ли? – испугался Данилов. – Пойдут расспросы…» Но он тут же сообразил, что Земский, наверное, звонил в местное отделение милиции, а Несынов трудится в Останкине. И был составлен протокол, удовлетворивший Николая Борисовича Земского.

Из зала доносились флажолеты флейты и трели струнных – то соловей залетел во владения императора, и вот уже следовал цветной и прекрасный китайский марш, а потом спорили два соловья, живой и механический, японский. Стравинского Данилов слушал рассеянно, он думал о погибшем скрипаче Мише Кореневе, видел кладбище в Бабушкине, вытоптанный снег под березами, заплаканную вдову и двух девочек, печальную Наташу с розами в руках, видел себя, в частности, и то, как он старался уберечь пальто знакомых Коренева от зеленой, не загустевшей еще краски соседней ограды. Он держал сейчас итог Мишиной жизни, чистый листок, уход в беззвучие, признание того, что произнести нечего или что вообще в этом произнесении нет нужды. Однако нужда была, коли бросился в окно. Что-то ведь произнес, и важное произнес.

Но вот глиссандо арф и золотистыми звуками песни рыбака закончилась музыка Стравинского. Данилову была очередь идти на сцену. Несколько минут в артистической он привыкал к инструменту альтиста Захарова, звук был хороший. Данилов кивнул Переслегину и Чудецкому, пошел к публике. В зале, видно, знали о происшествии с Альбани, тишина была удивительная.

В программе сообщалось, что солист В.Данилов исполнит три свои пьесы. Однако Данилов объявил:

– Импровизация. Памяти утихшего музыканта.

Объявляя, он подумал, а не собирался ли Земский так же назвать свое сочинение? Но в названии ли было дело?

«Стихи не пишутся, случаются»…

Тут случилась музыка.

Данилов пребывал в состоянии, какое он бы не мог сам назвать, в нем были сейчас и любовь, и злость, и отчаяние, вызванные гибелью инструмента, он бы и в сражение теперь же бросился куда-то, и утих бы на Наташиной груди, он непременно желал рассказать людям о судьбе скрипача Коренева и о своем несогласии с ней, само желание рассказать уже и было частью этого несогласия, он жаждал выразить свои понятия о жизни, о любви, о музыке и снова утвердиться в них. Он играл. Он ощущал такую свободу в выражении своих мыслей, переживаний, того, что было с ним или будет, какая к нему пока не приходила. И этот незнакомый ему инструмент, как Альбани, стал продолжением его самого, его голосом, его разумом, его сердцем… Когда Данилов понял, что высказал все, что должен был сегодня высказать, он кончил. Были аплодисменты. Возможно, просто вежливые. А возможно, одобряющие не суть его музыки, а то, что он сыграл, хотя у него и альт перепилили. А Данилов стоял и

думал о той немыслимой свободе, с какой он сегодня играл. Это было воспоминание об улетевшем счастье, но в нем жило и ожидание радостей. Впрочем, всего важнее было то, что он сказал.

Но поняли ли его? Наташа поняла. Но ей он объяснил, что желал передать музыкой. А остальные? Многие говорили: «Непривычная музыка… Странная музыка… Как будто бы тут и не альт… Надо еще послушать…» Даже Переслегин был несколько смущен.

– И все же вы и дальше говорите своим языком, – советовал он.

– Непривычная? – сказал Данилов решительно и даже с вызовом: – Привыкнут!

Но в таком кураже он был лишь после концерта. А наутро опять проснулся разбитый, обессиленный. И о музыке – своей и чужой – думал с отвращением. Все его так называемые импровизации, и в особенности вчерашняя, вызывали в нем чувство стыда. «Пошло бы это все!..» – говорил он себе. И на оставшийся в живых дешевый альт он смотрел чуть ли не с брезгливостью, хотя понимал, что ради прокорма все же будет играть на нем в яме. Впрочем, и Альбани, на его взгляд, не стоил сострадания.

Утром же случился с ним приступ, куда серьезней прежних. Данилов лежал, не шевелился, готов был звонить в «Скорую». Однако отпустило. Землетрясение, по понятиям Данилова, произошло где-то силою баллов в десять-одиннадцать. Но никаких сообщений в газетах о подземных толчках не последовало. Была лишь информация о разгоне студенческой демонстрации в Таиланде. Через день Данилова трясло и било, и опять в газетах упоминался лишь Таиланд. Значит, вот как. Сначала землетрясения, потом цунами, потом избиение студентов. Впрочем, так и было обещано Данилову. Будешь совершенствоваться и дерзить в музыке – обострищь вновь обретенную чуткость. Чуткость к волнениям и колебаниям стихийным, к колебаниям и волнениям людским. Так он скоро и от плача голодного ребенка в Пенджабе станет покрываться сыпью. И от стона ветерана, в ком шевельнется оставленный войной осколок. И от невзгод какого-нибудь художника, подобного Переслегину, кому не дают хода хлопобуды. Да мало ли от чего. «Буду терпеть, – думал Данилов. – Да и какой был бы я артист без ощущения боли, хоть бы и твари лесной».

Дома альт в руки не брал, занимался хозяйством.

Однажды не выдержал и побежал в химчистку. Может, висят там еще его штаны. В Италии он так и не купил брюк, приобрел

пластинки, Наташа, увлекшись народными костюмами, тоже пока не улучшила его гардероб. Но на двери химчистки висел листок с карандашными словами: «В связи с занятостью приемщицы пункт закрыт до 1 ноября». Данилов готов был метать громы и молнии. Экое безобразие.

Он сел в троллейбус. Поехал в театр. Все думал о заботах приемщицы и, возможно, потерянных без возврата брюках. После Крестовского моста он задремал. А когда разлепил веки, ушли и досада на пункт химчистки, и мысли о колебаниях и люстре, наступило спокойствие. Данилов чувствовал, что есть этот троллейбус, бегущий по Москве, и есть он, Данилов, и есть Наташа, и есть его инструмент, и есть его пульт в яме, многого же не было и нет, оно лишь, возможно, возникало в его фантазиях… Именно в фантазиях…

Но вот странность. Данилов, вернувшись с вечернего спектакля, вынул из ящика газету, а из нее выпала официальная бумага из 58-го отделения милиции. В бумаге, подписанной старшим лейтенантом Ю.Несыновым, сообщалось, что музыкальный инструмент (альт) работы итальянского мастера Матео Альбани, Больцано, 1693 год (это подтверждено экспертизой), принадлежавший гр. Данилову В.А., найден. Данилов приглашался в милицию для опознания инструмента.

«Не может быть!» – подумал Данилов.

Но он всегда верил в свое отделение милиции.

Ночь он не спал, а утром бросился к старшему лейтенанту Несынову.

Ехать к тому надо было семь минут на девятом троллейбусе.

notes

1

Тут я должен заметить, что рассказываю о событиях, какие происходили, а скорее всего не происходили, в 1972 году; тогда еще можно было париться в Марьинских банях, а теперь нет Марьинских бань; и ЖЭК N21 перевели из дома с башенкой, а дом за ветхостью снесли; и острова Сан-Томе и Принсипи находились тогда во владении Португалии, еще не подозревавшей о 25 апреля 1974 года; прошу принять это во внимание *(прим. автора)*.

2

А что касается Мадрида, то учтите, что и там семьдесят второй год; у «Калибра» еще стоят Марьинские бани, а в Мадриде живет каудильо; понятно, что дельцы типа Бурнабито процветают; это я так, к слову *(прим. автора)*.

3

Снесли наконец эти дома-то; зимой семьдесят шестого года и снесли; теперь строят новые *(прим. автора)*.